ISSN 0130 – 6545

12. 1987

Иностранная литература

Дерево жизни.

Цветные иллюстрации номера — работы Марка Шагала.

На 1-й и 4-й страницах обложки —
Отдыхающий поэт.
Влюблённые.

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

12 *декабрь*
1987

Из монгольской поэзии

(Перевод с монгольского Евг. Долматовского и Людмилы Букиной) 3

КРИСТА ВОЛЬФ — Авария *(Хроника одного дня. Перевод с немецкого И. Каринцевой)* 12

ТОМАС МАКГРАТ — ...кроме последнего *(Роман. Окончание. Перевод с английского и послесловие Г. Злобина)* 58

ГУСТАВО ЭГУРЕН — Возвращение *(Роман. Окончание. Перевод с испанского Инны Тыняновой)* 123

Литературное наследие

ТЕОДОР КРАМЕР — Стихи *(Вступление и перевод с немецкого Е. Витковского)* 180

Публицистика

ДЭВИД ШЕФФ — «То, чем я занимался тогда в Вашингтоне, было настоящим безумием...» Интервью с Теодором Тейлором *(Перевод с английского Б. Никольского. Послесловие Вл. Гакова)* 187

ДЖОН Я-ОТТО — Поле битвы — Намибия *(Главы из книги. Перевод с английского Л. Степанова. Вступление В. Иорданского)* 195

Критика

Слово, язык, общение

Писатели мира отвечают на анкету. Иван Скала. Вержилио Феррейра. Фарли Моуэт. Густаво Валькарсель. Мохаммед Зефзаф. Луиджи Малерба. Бернар Клавель. Дожоотийн Цэдэв. Дороти Грин. Марио Невеш. Альфредо Пареха Дьескансеко. Карлос Ф. Чангмарин. *(Окончание. Послесловие Виталия Коротича)* 209

Наши интервью

АШОК ВАДЖПЕЙИ: «Поэзия в роли оппонента» *(Беседу записала Л. Васильева)* 219

Антирубрика

ЭЛИЗАБЕТ ДЖЕЙН ХАУАРД — Карающая десница *(Перевод с английского Игоря Багрова)* 225

К нашим иллюстрациям

Н. Апчинская — Искусство Марка Шагала *(К 100-летию со дня рождения)* 236

Наша почта

Материал подготовила А. Николаевская 238

Среди книг

Издано в СССР

Г. Ратгауз — Сокровищница русского перевода *(Зарубежная поэзия в переводах В. А. Жуковского)* 241

Издано за рубежом

Бела Риго — Венгры вспоминают *(Перевод с венгерского Т. Воронкиной)* 243

Из месяца в месяц

247

Содержание журнала «Иностранная литература» за 1987 год № 1 — 12 252

© «Иностранная литература», 1987

ДОЖООГИЙН ЦЭДЭВ

Вершина Отгон Тэнгэр

О, если б оглядеть весь мир! —
Он многоцветен и велик,
Однако вижу лишь один
Отгон Тэнгэр, алтайский пик.

В иллюминаторы смотрю —
Вершина около меня,
Вся в искрах царственной красы,
В короне солнечного дня.

По гребню горного хребта
Проносится белейший снег,
Почти касается вершин,
Перегоняя ветра бег.

Он, этот пик, недостижим,
Он выше лёта птичьих стай,
Одна Вселенная над ним,
Отсюда виден весь Алтай.

Величествен Отгон Тэнгэр!
Восход он первым возвестит,
Внизу уже настанет ночь —
Вершина все еще горит.

По склонам, по отрогам скал
Потоки падают, бурля,
Потом, внизу, они поят
Поля, чтоб расцвела земля.

ДОЖООГИЙН ЦЭДЭВ (род. в 1940 г.)

Монгольский поэт, прозаик, критик. Автор книги стихов «Думы» (1979), сборников рассказов и повестей «Вкус кумыса» (1970) и «Степная полынь» (1980), литературоведческих трудов «Традиции и новаторство в монгольской литературе» (1973), «Мастерство писателя» (1978) и др. На русском языке вышел поэтический сборник Д. Цэдэва «Каменные волны» (1985), стихи его печатались также в антологиях и периодических изданиях, в том числе в «Иностранной литературе» (1981, № 7; 1984, № 11). Публикуемое стихотворение взято из сборника «Думы» (Улан-Батор, 1979).

Над гранью горного хребта,
Над нами высится мечта,
Неслыханная красота —
Отгон Тэнгэр, Отгон Тэнгэр.

Начало тучи грозовой!
Налюбовавшийся тобой
Не сникнет гордой головой,
Отгон Тэнгэр, Отгон Тэнгэр.

Ты — вдохновения гора,
Ты — наше завтра и вчера,
Ты — воли, мужества сестра,
Отгон Тэнгэр, Отгон Тэнгэр.

Свой возраст не скрывай от нас,
Скажи, ты старше звездных трасс?
Собратом космоса как раз
Является Отгон Тэнгэр.

Открой глубины недр своих,
Открой нам тайны кладовых!
...Отдать сокровищ золотых
Не думает Отгон Тэнгэр.

Ты говоришь — лица не хмурь,
Ты говоришь — не бойся бурь,
Ты говоришь — бесстрашен будь!
Вот твой наказ, Отгон Тэнгэр.

Вот твой пример, вот твой завет,
Вот заповеди тысяч лет.
Восславь, поэт, воспой, поэт,
Наш горный пик Отгон Тэнгэр.

Как ты прекрасен и могуч,
Как возвышающе велик!
Как мысль пронзает облака,
Как белый клык, наш горный пик.

Я рядом в небесах с тобой,
Явь или сон к тебе зовет?
Я над Хангаем воспарил —
Я и могучий самолет.

Кружится белый-белый снег.
Красив наш мир, красив наш век,
Мы к звездам устремляем бег,
Отгон Тэнгэр, Отгон Тэнгэр.

Дымятся бездны пропастей,
Даль, из которой нет вестей.
Вершина мыслей и страстей —
Я над тобой, Отгон Тэнгэр!

Перевод ЕВГ. ДОЛМАТОВСКОГО

ДОЛМАТОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ АРОНОВИЧ (род. в 1915 г.)
Советский поэт, прозаик, публицист. Лауреат Государственной премии СССР. Автор многих книг стихов, поэм и текстов песен.

ЦЭНДИЙН ДАМДИНСУРЭН

Дубовые листья

Дубовый лист желтеет, увядая,
А ветви сосен свежести полны.
Блестит эфедры зелень молодая,
Трава степная сникла до весны.
Сухие листья падают с березы,
А можжевельник — влажный и живой.
Погружены зимой растенья в грезы,
Укутанные шубой снеговой.
Сосна лишь, можжевельник да эфедра
Неутомимо бодрствуют весь год.
Кто одарил их этой силой щедро?
В глубь старины предание ведет.
Оно гласит: давно, во время оно,
Затеял пир Хурмаста-властелин —
Мифический всемирный дух верховный,
Земли и неба мудрый господин.
На пиршестве властителя-Хурмасты
С горы Сумеру ворон прилетел —
Не прикоснулся белый ворон к яствам —
Воды бессмертной в клюв набрать успел.
И окропил он влагою живою
Эфедру, можжевельник и сосну.
Издревле повторяется молвою:
Вселил в растенья вечную весну.
Преданье старины гласит об этом...
Но есть тому пример и в наши дни.
Работают без устали поэты —
Весь мир хотят запечатлеть они.
Томов все больше, времени все меньше —
С трудом одолеваешь море книг.
У берега вода мутней и мельче,
Простор открытий — светел и велик.
Преодолеть Алтай высокий можно
И океан пустыни перейти,

ЦЭНДИЙН ДАМДИНСУРЭН (1908—1986)

Монгольский поэт, прозаик, переводчик. Академик. Лауреат Государственных премий МНР. Автор повести «Отвергнутая девушка» (1929), сборника повестей и рассказов «Необыкновенная свадьба» (1966); в 1944, 1956, 1969 гг. выходили избранные произведения писателя. Ц. Дамдинсурэн — один из создателей нового монгольского алфавита, автор фундаментального научного исследования «Рамаяна в Монголии», составитель русско-монгольских словарей.

На русском языке стихи поэта публиковались в его книге «Избранное» (1958), а также в антологиях монгольской поэзии и периодике.

Стихотворение «Дубовые листья» взято из книги «Избранное» (Улан-Батор, 1969).

Но в море книг, бескрайнем и тревожном,
Нетрудно сбиться с верного пути.
Одни из них забудутся с годами,
Иные — жизнь вторую обретут...
Лишь вечною дорогой вместе с нами
Творенья Маяковского идут
И Горького великие творенья...
В них свежий воздух Октября живет,
Дающий силу новым поколеньям,
Жизнь перестроив, двигаться вперед.
Не властны тлен, и время, и забвенье
Над строками, берущими исток
В простом и мудром ленинском ученье.—
Не пожелтеет памяти листок.

ДАШДОРЖИЙН НАЦАГДОРЖ

Луна

Ликующая, светлая луна!
Движение твое полно свободы.
Не властны над тобой века, народы —
Никто не в силах победить природы,
Которой ты одной подчинена.

Смещать тебя, повелевать тобой
Не научился человек земной.
Лицо подняв к сияющему лику,
Мы созерцаем лунную улыбку —
Неправильные, странные черты
Из темной проступают высоты.

Прозрачная, округлая луна!
Как только солнце путь свой завершает —
Вся твердь небесная лучится и сияет,
Бессонною луной озарена.
Все то, что днем таится в глубине —
Желанья тайные, надежды и сомненья,—
Свободу обретает в тишине,
Все высвечено в лунные мгновенья.

ДАШДОРЖИЙН НАЦАГДОРЖ (1906—1937)

Монгольский поэт, прозаик драматург, публицист, переводчик. В 1966 г. в Монголии учреждена высшая литературная премия имени Д. Нацагдоржа. Автор сборника стихов «Моя родина» (1963), сборников рассказов «Сын старого мира» (1964) и «Слезы ламы» (1976). «Избранные произведения» Д. Нацагдоржа издавались в 1945, 1955, 1961 гг.

На русском языке вышла книга «Избранное» (1956), его стихи печатались в антологиях монгольской поэзии и в периодике, в том числе в «ИЛ» (1967, № 1; 1966, № 12).

Стихотворение «Луна» взято из книги «Избранные произведения» (Улан-Батор, 1961).

О яшмовая, древняя луна!
Лишь горы и стремительные воды,
Как сестры младшие, исполнены свободы,
Что всем светилам испокон дана.
Природа необъятна, неизменна,
Необратим ее извечный ход.
Но свет твой озаряет перемены,
И новый день, и русла чистых вод.

Всю мудрость мира, всей Вселенной знанья,
Бессмертная луна, ты вобрала.
Открой же нам законы мирозданья,
Истории грядущие дела!
Чему угаснуть суждено с годами,
Чему дано со временем взойти —
Ты ведаешь, плывущая над нами!
Дорогу в век грядущий освети!

БЭГЗИЙН ЯВУУХУЛАН

*Каменная глыба Тайхар**

Эта каменная глыба Тайхар
Не упала из небесной дыры,
Не исторг ее подземный пожар,
Огнедышащее чрево горы.
И не сдвинул бы один человек
вовек
Эту каменную спесь, этот вес.

Опоясана веревками была она,
И тащили ее пленные рабы —
В те далекие, глухие времена,
Где судьбы не отделить от стрельбы.

---

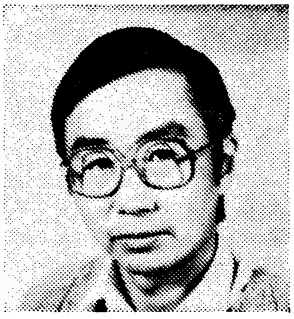
* Знаменитая каменная глыба, о которой сложено много легенд. Находится в долине реки Тамир. *(Здесь и далее прим. перев.)*

БЭГЗИЙН ЯВУУХУЛАН (1929—1982)

Монгольский поэт. Лауреат Государственной премии МНР. Заслуженный деятель культуры. Автор многих поэтических сборников, в том числе «Под голубым куполом неба» (1954), «Звон серебряной уздечки» (1961), «Полуденное небо» (1973), «Счастливая сабля» (1978), «Мир» (1979). В русском переводе вышли его поэтические книги «Лирика (1960) и «Полдень» (1981); стихи печатались также в периодике, в «ИЛ» (1982, № 5; 1984, № 11), вошли в сборники и антологии монгольской поэзии разных лет. Публикуемое стихотворение взято из сборника «Мир» (Улан-Батор, 1979).

Может, месть была причиной вражды,
Затаившаяся с давних времен —
Затерялся в прошлом след той беды,
Что прошла ножом меж мирных племен.
И сошлись во поле чистом вожди,
Чтобы кровью порешить этот спор.
Жили мирно, а теперь — руби и жги,
На соседа заноси свой топор.
Победитель повелителем стал
И толпу рабов плененных согнал —
Захотел воздвигнуть памятник он,
Чтоб горой стоял в потоке времен...
На веревках — клочья кожи да кровь
Засыхали, и железной уздой
Становилась бечева для рабов,
Что тянули глыбу вслед за собой.
Вот гонец с указом новым летит:
Нерадивых и ленивых рабов
Стража пусть без промедленья казнит,
Не жалея подневольных голов.
Но сплотилась безоружных толпа:
На охранников внезапно напав,
Всех связала по рукам и ногам,
В яму сбросила, и глыбой Тайхар
Придавила в назиданье врагам.
Возвращались беглецы на плотах
По Тамиру, что струится в веках.

Эта каменная глыба Тайхар
Не упала из небесной дыры,
Не исторг ее подземный пожар,
Огнедышащее чрево горы,
И не сдвинул бы один человек вовек
Эту каменную спесь, этот вес.



ХАСБААТАРЫН МЭРГЭН

*Чавганца**

В шумном городе,
Среди нагроможденья
Этажей, деревьев, облаков,
Детских криков, суеты и пенья,
Первых предвечерних огоньков —
Чавганца перебирает четки...
Словно изваяние, сидит.
Бусина за бусиною четко
Падают... Что будет впереди?
Что осталось?
Счастье или горе
В жизни пройденной,
Которой больше нет?
Бусины, друг другу мерно вторя
Падают и падают в ответ.
Что́ поняв, с какой мечтою тайной
Чавганца бормочет: «падме хум...»**
Лоб морщинистый — доске стиральной
Стал подобен...
«Мани падме хум...»
Четки, словно цепь велосипеда,
Тяжело висят в руке худой —
Транспорт в рай,
Где все земные беды
Небо смоет вечною водой.

Ласточкино гнездо

Переливаются в воздухе крылья —
Густо осыпаны солнечной пылью.
Ласточка носит
Глину под крышу.
Гнездышко прочное лепится — тише!
Сказано этим,
Что вечны на свете
Дети и гнезда,
Гнезда и дети.

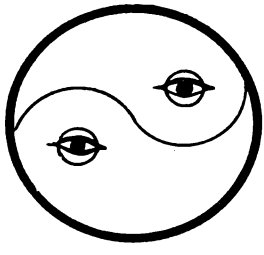
* Женщина, принявшая монашеский обет, но живущая в миру.
** «Ом мани падме хум» — одно из магических буддийских заклинаний.

ХАСБААТАРЫН МЭРГЭН (род. в 1957 г.)
Монгольский поэт, переводчик. Стихи «Чавганца» и «Ласточкино гнездо» взяты из первой книги автора «Свеча рисует» (1987). На русском языке публикуется впервые.

БЯМБАЖАВЫН ХУРЭЛБААТАР

*Семь Бурханов**

Семь звезд, словно семь скакунов,
По темному небу скользят.
Прапрадеды, деды мои
Смотрели им ночью в глаза...
«Мой сын, не забудь перед сном
На это созвездье взглянуть.
Когда-нибудь в дикой степи
Укажет оно тебе путь».
Сиянье мерцает, дрожит,
Как чуткие уши коня.
К нему долетают в ночи
События нашего дня.
Ведь связана нитью одной
Звезда с человеком земным —
Семь мудрых Бурханов с небес
Всю ночь наблюдают за ним.
Когда о межзвездной войне
На шаре земном говорят —
Тревожней и ярче вверху
Семь звезд, Семь Бурханов, горят.
Горят, повторяя: «Война
Нам, племени звезд, не нужна!»
Прислушайтесь! Их тишина
Протеста и боли полна.



* Монгольское название Большой Медведицы.

БЯМБАЖАВЫН ХУРЭЛБААТАР (род. в 1946 г.)

Монгольский поэт. Автор сборников стихов «Пыль родины коней» (1979), «Стальное стремя» (1980) и «Тропа коней» (1985). На русском языке его стихи публиковались в антологиях и периодике. Стихотворение «Семь бурханов» получено в рукописи.

САНЖАЖАВЫН ОЮУН

Саксаул

Среди песка и камня
Вырос ты.
Но как нежны и хороши
Твои цветы!
Ладонью можно прикоснуться к ним —
Таким ранимым и таким живым.

Безлиственный,
Ты весь ушел в цветы.
И, следуя законам красоты,
Столь прочный ствол имеешь —
Эту плоть
Даже топор не в силах расколоть.

Перевод ЛЮДМИЛЫ БУКИНОЙ

САНЖАЖАВЫН ОЮУН (род. в 1946 г.)

Монгольская поэтесса. Автор поэтических сборников «Голубой платок» (1975) и «Тысяча узоров» (1980). На русском языке ее стихи печатались в антологиях и периодических изданиях.

Публикуемые стихи взяты из рукописи новой книги.

БУКИНА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

Советский поэт, переводчик с монгольского, специалист по монгольской литературе. Автор книг стихов «Косой полет» (1986) и «Поляна времени» (1987). Ее переводы печатались в различных сборниках и антологиях, а также в периодических изданиях, в том числе в «ИЛ».

КРИСТА ВОЛЬФ

Авария

ХРОНИКА ОДНОГО ДНЯ

■

Перевод с немецкого И. КАРИНЦЕВОЙ

Никого из персонажей этой повести не следует отождествлять с кем-либо из здравствующих людей. Все они — плод моего воображения.

К. В.

Связь между убийством и изобретательством никогда не порывалась. И то и другое родом из земледелия и цивилизации.

Карл Саган

Давно разыскиваемое промежуточное звено между животным и истинно человеческим человеком — это мы.

Конрад Лоренц

В тот день, о котором я не могу писать в настоящем времени, все вишни уже расцвели. Я избегала даже думать: «взорвались»; вишни взорвались — еще год назад, хоть кое о чем уже была наслышана, я без колебаний не только подумала бы, но и сказала. Растительный мир взрывается: никогда подобные слова не были бы более уместными, чем в этом году, в эту весеннюю жару после бесконечно долгой зимы. О предостережениях, ставших известными много позже — не есть плодов с деревьев, цветки которых опали в те дни,— я в то утро, досадуя, как каждое утро, на бесчинство соседских кур в нашей молодой траве, еще ничего не знала. Белые леггорны. Одно хорошее о них можно сказать — когда я хлопаю в ладоши и шикаю, они пугаются и теряют голову; все-таки большую часть кур я спугнула, и они побежали к соседскому участку. Ваши яйца, подумала я злорадно, вам, возможно, удастся сохранить. А той инстанции, что уже ни свет ни заря начала внимательно наблюдать за мной из очень далекого будущего — всего-то один взгляд, не более того,— я дала по-

© Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar, 1987

КРИСТА ВОЛЬФ — **CHRISTA WOLF** (род. в 1929 г.)

Немецкая писательница (ГДР), дважды лауреат Национальной премии ГДР и многих литературных премий, член Академии искусств ГДР. Автор романов «Расколотое небо» (русский перевод опубликован в «Иностранной литературе», 1964, № 1), «Образы детства» («Kindheitsmuster», 1976), повести «Размышления о Кристе Т.» («Nachdenken über Christa T.», 1968), книги рассказов «Унтер-ден-Линден. Три невероятных истории» («Unter den Linden. Drei unwahrscheinliche Geschichten», 1974), сборника статей «Уроки чтения и письма. Статьи и размышления» («Lesen und Schreiben. Aufsätze und Betrachtungen», 1972).

На русском языке изданы также однотомник избранных произведений К. Вольф (М., 1979), повести «Нет места. Нигде» (М., 1983), «Кассандра» («ИЛ», 1986, № 1).

Повесть «Авария. Хроника одного дня» опубликована в Берлине в 1987 г. («Störfall. Nachrichten eines Tages». Berlin und Weimar. Aufbau-Verlag).

нять, что отныне не буду чувствовать себя чем-либо связанной. Буду свободна в своих действиях и, главное, поступать буду, как моей душе угодно. Та цель в весьма отдаленном будущем, в которой до сего времени сходились все линии, была взорвана и плавилась теперь вместе с расщепляемым материалом в корпусе реактора. Редчайший случай...

Семь часов. Там, милый брат, где ты сейчас лежишь, начинают вовремя. Успокоительный укол тебе, надо думать, уже полчаса как сделали. Теперь тебя перевезли из отделения в операционную. С твоим диагнозом оперируют в первую очередь. Сейчас ты ощущаешь, полагаю я, не сказать чтобы неприятное кружение в твоей обритой голове. Сделан укол с вполне определенной целью — чтобы ты не мог собраться с мыслями, чтобы не испытывал слишком четких чувств, к примеру, страха. Все идет хорошо. Вот послание, которое я направляю тебе, милый брат, в виде сфокусированного пучка лучей еще до того, как они тебя усыпят. Воспринимаешь ли ты его? Все идет хорошо. А теперь, по моему велению, твоя голова предстает перед моим внутренним взором, я отыскиваю на ней самую чувствительную точку, сквозь какую может пробиться моя мысль, чтобы достичь твоего мозга, который они сейчас обнажат. Все идет хорошо.

Раз уж ты спросить не можешь: лучи того типа, милый брат, о которых я говорю, наверняка не опасны. Неизвестно, каким образом они пересекают зараженные слои воздуха, не заражаясь. Научный термин: контаминация (пока ты, брат, спишь, я учу новые слова). Стерильными, гарантированно стерильными доходят они до операционного зала, до твоего беспомощно, бессознательно распростертого тела, ощупывают его, узнают за какие-то доли секунды. Они узнали бы твое тело, будь ты даже еще больше обезображен, чем ты утверждаешь. Без труда пробивают они плотную оборону твоего бессознательного состояния в поисках пылающей, пульсирующей точки. Какими-то приемами, каких не объяснить словами, они помогают теперь твоим слабеющим силам. На них можешь положиться, так мы условились. Так оно и будет...

Мы, хоть не вовсе не подготовленные, все же ничего не подозревали, пока не получили то самое сообщение. И не казалось ли нам, что мы его узнаем? Да, услышала я, как подумал некто во мне, почему всегда только японские рыбаки. Почему хоть раз не мы.

Птицы и испытание[1]. Опрометчиво и беспечно встала я под душ, вода обтекала меня со всех сторон. Каждый из бесчисленных экспертов, в изобилии являющихся ныне как грибы после дождя (грибы! не съедобны в этом сезоне!), объявлял грунтовую воду еще далеко, далеко не опасной — возможно, на сей раз вообще не опасной! В прозрачном ручейке[2]. Дурная привычка — петь, стоя под душем. К тому же из-за пения хуже слышны из радиоприемничка фирмы «саньо» последние известия, в которых ТО ИЗВЕСТИЕ каждый час иначе толкуют и мельчат. Проказница форель[3]. Рыба — аккумулятор радиоактивных продуктов распада. Смотря по тому, к какой партии, на которые, как можно заранее предсказать, разделится общественное мнение, принадлежал эксперт и был ли он оптимистом или пессимистом, он говорил: нет, ни в коем случае ядро реактора не расплавит земной шар и не проникнет на другую его сторону. Или: Но все же. Все же, все же, и это вовсе не исключено. Тогда можно было бы ждать того явления, которое юмор ученых окрестил столь наглядно «китайским синдромом». Пока пожар не потушен, а пожары, милый брат, возникающие от возгорания графита, ты этого знать не можешь, хоть и возникают с огромным трудом, но и тушить их неимоверно трудно, как при-

[1] Сонет Ст. Хермлина.
[2,3] Из песни «Форель» — слова Х. Ф.-Д. Шубарта, муз. Франца Шуберта.

шлось нам узнать: пока длится цепная реакция, ядро реактора, расплавляя земной шар и прорываясь сквозь центр земли на другую сторону, остается активным, и, наконец, преобразованное, несомненно, но все еще испускающее лучи, оно вновь появляется у антиподов. Помнишь ли, милый брат, ту глубокую яму, что вырыли мы в песчаной горе перед нашим домом и куда мы, обвесив всю гору предупреждающими знаками, опустили пивную бутылку с соляной кислотой, которая, считали мы, способна проложить себе дорогу к антиподам? Помнишь ли ты письмо, которое мы, упаковав его в водонепроницаемую обертку, привязали к горлышку той бутылки? Помнишь ли его содержание? Братья и сестры — обратились мы к антиподам и попросили получение бутылочной почты срочно подтвердить по нашему адресу, его мы, разумеется, дали.

Поистине благодарны были мы, если могли наглядно представить себе что-то. Мысль: а не следовало ли нам заблаговременно извиниться перед антиподами, я не смогла продумать до конца, так как прислушалась, о чем спрашивает радиодиктор довольно молодого, видимо, эксперта, который любезно согласился прийти к нему на студию, как оберегал бы он сейчас своих детей при условии, что они у него есть. Они у него есть. Он, сказал молодой эксперт, настоятельно рекомендовал жене не давать сегодня детям натурального молока, зеленого шпината и салата. А также не ходить с ними в парк и не играть с ними в песочнице — осторожности ради. И тут я, выдавив пасту на зубную щетку, услышала, как кто-то сказал: Так. До этого, значит, дошло.

Тот, кто это сказал, была я. Эксперимент, сколь долго я могу пробыть одна, не начиная сама с собой разговаривать, уже на третий день оборвался вот такими словами, сказанными мной в разговоре с самой собой. Так. Сейчас разделаюсь с бельем, и все. А сегодня был уже пятый день в экстремальных условиях, и я начала громко заговаривать с людьми, которых здесь не было. Это вас, конечно, устроило бы!— к примеру...

Какой тип пилы используют, чтобы распилить человеческий череп, я не знаю. Слышала, что пилят по швам, соединяющим кости черепа. Если мы хотим, сказал тебе твой врач, чтобы успокоить тебя своей безукоризненной техникой, мы можем попросту поднять ваш черепной свод, как вязаную шапочку, а потом надеть его опять на место. Но в вашем случае мы этого не хотим. А то, что они хотят — откинуть один костный лоскут, именно — правый, над лбом,— они теперь уже, видимо, сделали. И вот вещество мозга открыто и лежит перед ними. Мне же самое время сосредоточиться на руках хирурга. На кончиках его пальцев. Импульсы, которые нельзя выразить словами. Чтобы ты, погружаясь во все более глубокое бессознательное состояние, был вполне спокоен. Ты страдаешь? Куда исчезает страдание, которого мы не в состоянии уловить...

Жизнь как последовательная череда дней. Завтракать. Отмерить оранжевой мерной ложечкой кофе в фильтр, запустить кофемолку, с наслаждением вдохнуть аромат, распространившийся в кухне. Воспринимать запахи сильнее, осмысленней, чем до сих пор, мне еще не приходило в голову, я еще не знала, что ты будешь их лишен. Нарушений психики, сказал тебе твой врач, не во всех случаях можно избежать, но мы стараемся, чтобы они были как можно незначительнее. Яйцо варить точно пять минут, демонстрируя ежедневно чудо искусства, несмотря на дефект в минутных часах. Привычные удовольствия. Каркас, поддерживающий нашу жизнь и в ее мертвые сезоны. Плоскость среза темного мекленбургского хлеба. Надрезанные зерна ржи. Когда, собственно, и каким образом откладываются нуклиды — еще одно слово, которое я как раз заучиваю,— в хлебных зернах. Бескрайнее поле за нашим домом, которое я, благодаря тому, что бузина еще не разрослась, вижу со своего места за кухонным столом, интенсивно зеленого цвета. Я искала сло-

во для его определения. «Пажить». Зеленая пажить. Живя в деревне, человек волей-неволей вспоминает устаревшие слова.

Небо в тот день было безоблачным. (Почему это я только что подумала «мертвый сезон»?) В тени густой дубравы /на пажитях зеленых...[1] Песни, какие мне годами, десятилетиями не вспоминались. Той инстанции, что критическим взглядом окидывала все, мною съеденное, я сообщила, что яйца в моем холодильнике созрели в курином теле до аварии, выкормлены необлученной травой, необлученными зернами, сданы непосредственно в кооперативный магазин и потому непроштемпелеваны и с гарантией свежие. Но вот и не слишком свежие. Не вчерашние.

Лучистая лазурь небес...[2]

По каким законам, с какой скоростью распространяется радиоактивность — в лучшем случае и в худшем случае. В лучшем случае для кого? И пойдет ли, по крайней мере, на пользу живущим непосредственно у места выброса, если она, радиоактивность, подгоняемая ветром, распространится? Если она поднимется в высшие слои атмосферы и отправится в путь-дорогу как невидимое облако. Во времена моей бабушки люди под словом «облако» представляли себе только одно: конденсированный водяной пар. Белое, возможно, более или менее красивой формы, некое, дающее толчок фантазии, образование на небе. Спешите, облака, ковчеги дуновений, /кто с вами скитался, кто с вами парил...[3] Тот попадет куда-то в совсем другое место. Комментарий нашей бабушки, которая никогда не выезжала, если ее не выселяли. Почему же, милый брат, мы одержимы охотой к перемещению?

Сливовое повидло, которое мы в прошлом году, стеная под грузом урожая слив, сами наготовили, она бы одобрила. У нее вошло в привычку посыпать повидло корицей, мы ее примеру не следовали. Она, в свою очередь, не сунула бы черствую горбушку старику Плааку в его ведро для корма, как сделала я, поколебавшись секунду-другую. Она сварила бы из черствого хлеба на субботу и воскресенье хлебный суп с изюмом, как его варят поляки, единственное блюдо, которое было мне у нее не по вкусу. Грешно, говорила она — слово, которое она вообще не употребляла,— грешно было бы выбрасывать хлеб, это я должна запомнить хорошенько. Ее единственное изречение. Она была очень скромной, наша бабушка, милый брат... Мы живем. Не сказать чтобы блестяще в настоящее время. В этом я бы тебе призналась, поскольку это касается тебя. Быть может, не обязательно на шелковой, но на какой-то уж там ниточке твоя жизнь висит. На перлоновой, полагаю я. Подумать только, что металлический инструмент как раз в эти минуты скользит по твоей мозговой оболочке, возможно, отодвигает в сторону вещество мозга, чтобы освободить место для другого инструмента — операционного микроскопа... Вчера, когда мы еще раз говорили с тобой по телефону, я не рассказала тебе о том, что́ видела недавно по телевидению: компьютер, специально созданный для операций на человеческом мозге, запрограммированный на точность разреза до одной сотой миллиметра, более надежный, чем человеческая рука, как было сказано. Но мы заверили друг друга, что на опыт и осязание в кончиках пальцев твоего хирурга можно положиться на все сто процентов...

Я застыла с чашкой в руке, которую собиралась поставить в мойку, и несколько раз кряду, предельно сосредоточившись, подумала: ты можешь положиться на опыт и осязание в кончиках пальцев твоего хирурга По дороге на почту я задержалась у старика Вайса и опять подумала, что он выглядит скорее как списанный с ко-

[1] Народная песня.

[2] Б. Брехт. Строка из стихотворения «Баллада о пиратах» из книги «Домашние проповеди» (1927).

[3] Ф. Шиллер. «Мария Стюарт», действие III, явл. I.

рабля капитан, а не как бывший скотник. Бывший? — сказал он. Как бы не так! В этом году он как всегда возьмет на свое попечение обычное число телят, не говоря уже о том, что будет неустанно удить рыбу в речушке Мильдениц и собирать шампиньоны на огороженных угодьях у деревенского озера. Восемьдесят три — какой уж это возраст. Доживет ли он, однако, до девяноста, как его отец... Это еще что!— прикрикнула на него жена, выходя с ведрами из двери. Может, он вдруг решил умереть!— Зима? Ах,— сказала она,— тяжелая, очень тяжелая была зима. Печь топили по нескольку раз в день, а холодам вообще конца не было. И уехать было невозможно, даже к сыну в город, автобусы как назло не ходили, а «наш папаша», так она называла старика Вайса, своего мужа, не отпускает ее на ночь, она живет здесь как в плену. Но тут старик Вайс невозмутимо возразил: Этого еще не хватало! Место жены в доме.— Вот вы сами слышите,— сказала его жена, и так продолжается уже сорок лет.

Нам с тобой подобные картинки должны быть известны, милый брат. Мне, во всяком случае, слишком хорошо известен цикл картинок о девушке-беженке, которая вместе с матерью приютилась в лачуге покинутой всеми усадьбы, где жила только жена сельскохозяйственного рабочего, но она почти одновременно с матерью девушки умерла от тифа, тиф, как мы знаем, сразу после войны поразил мекленбургские места, так что хозяин лачуги, скотник Вайс, вернувшись из плена, застал в ней только эту чужую девушку: юную, одну-одинешеньку, запуганную, изгнанницу, не имеющую иного убежища, кроме его лачуги. Все и совершилось, как должно было совершиться, жизнь, она есть жизнь, говорит фрау Вайс в том же тоне, в каком сказала бы: бездолье, оно и есть бездолье. А так как я склонна большое бездолье выводить из многих маленьких, то я склонна также исправлять маленькие бездолья, и думаю, следовало бы побеспокоиться о регулярных ежедневных автобусных рейсах. Ах, сказал господин Гутьяр, охотно сам себя называющий «министр связи», чего только не следовало бы! Он горд своей предусмотрительностью — всегда держит наготове небольшой запас денег, на случай, если кто-нибудь, как я сегодня, захочет снять какую-то сумму. Всего можно добиться, говорит он. Всегда можно, нужно только хотеть, я прав, что, разве я не прав! И не страшно ли мне ночью совсем одной в доме? Кого же мне бояться, спросила я, и тогда он сказал: Тут уж правы вы. Как его, инвалида, занесло сюда из Саксонской земли; как нашел он постоянный заработок и кусок хлеба для себя и своей большой семьи,— все это я охотно выслушала еще раз. Охотно вытащила я и два лотерейных билета Красного Креста из длинного узкого ящика, но миллионный выигрыш он как следует припрятал, сказал господин Гутьяр, и мы оба засмеялись, а потом я надорвала второй билет и протянула ему: пять марок. Черт возьми!— сказал господин Гутьяр. Он не мог знать, как нужен был мне этот выигрыш, мне, в этот день жутко суеверной. А что я на эти пять марок вытащила пять пустых билетов, для меня уже ничего не значило. Как нажито, так и прожито, сказал господин Гутьяр и быстро между тем обслужил парня, работника конюшни, тот получил заказное письмо и оставил в крошечном пустом помещении почты сильный спиртной дух. Иск об уплате алиментов,— сказал господин Гутьяр.— Парень пьет еще сильнее с тех пор, как развелся. Толку от его жены было немного, но какая жена нынче позволит колотить себя пьяному мужу, ну-ка, пусть я сама скажу. Едва ли хоть одна, сказала я, и не смогла не задать вопрос, что скажет господин Гутьяр о несчастном случае с реактором. Ах, знаете, сказал он. Сделанного не воротишь. И не преувеличивают ли всегда в таких историях? Он, по крайней мере, в своей жизни худшие напасти переживал. Да что может в конце концов приключиться с таким, как он, старым, больным человеком? На все случаи найдется пословица. О чем не знаю, о том не го-

рую. Этого принципа он придерживается, а галдеж по радио он слушает вполуха...

Операция может продлиться от трех до четырех часов. Около двух часов уже прошло, атмосфера накаляется, милый брат, это мы почувствовали. А как, кстати, протекает твое время? Какую дистанцию преодолеваешь ты и в какой местности, пока я прошла обычные четыреста — пятьсот шагов от почтового отделения до нашего дома. Но тут случилось что-то, заставившее меня остановиться. Эй, брат. Что такое? Ты дал себе волю? А ну послушай-ка меня. У нас сейчас год тысяча девятьсот восемьдесят шестой. Тебе пятьдесят три года. То, что зовем мы жизнью, еще далеко не подошло у тебя к концу. И есть же, черт побери, у тебя не только эти отупевшие, истощенные клетки, что, смертельно скучая, обречены на вечное повторение самих себя и способны только на одно: образовывать опухоль. Ведь есть же еще другие клетки, миллионы, да что там!— миллиарды других клеток — э, не отворачивай голову, да еще с таким видом, и уж тем более сегодня! — миллиарды клеток, говорю я, очень живых, да, особенно деятельных в сложной структуре твоего мозга, в высшей степени любопытных, желающих кое-что испытать на своем веку, которых ты не вправе просто-напросто бросить на произвол судьбы, дать им отмереть только потому, что тебе на пять минут стало безразлично, что будет с тобой. Смертельно устал, дорогой мой брат? Тебе чертовски плохо? Но ведь ты вообще-то не склонен к преувеличениям. Только потому, что ты сейчас под наркозом, ты полагаешь, что можешь коварно улизнуть? И никто этого не заметит? Возможно, твой жизненный нерв несколько изношен. Поэтому между нами и возникла эта дополнительная связующая нить, да, дважды прошьешь — крепче будет, как сказала бы наша мама. (А ну-ка, присматривай за маленьким братцем!) Но и ты ухватись покрепче, не отпускай, брат! Ухватись покрепче. Да, вот так. Сейчас я чуточку потяну и вот уже вижу тебя, все ближе, все четче. Теперь совсем близко. Так. Ну вот, порядок. Пожалуйста, больше так не делай. Это против уговора.

Спорим, что стрелки аппаратов вообще не колебались? И даже не дернулись. Весьма грубые инструменты, но чем же еще будут пользоваться хирурги? Зрительный нерв, обещают они, который, к сожалению, проходит в непосредственной близости к операционному полю, они все время будут держать под неусыпным контролем. Никаких комментариев. Или следует, быть может, представлять себе зрительный нерв толщиной с ту крученую нить, какой у нас дома пришивали пуговицы? Нет, сказали они, как ты мне передал, для зрительного нерва нет никакой непосредственной опасности. Ни слова не скажу больше о зрительном нерве и даже не помыслю о нем. Откуда мне знать, каким органом чувств или какими органами чувств ты воспринимаешь все то, что я себе только украдкой представляю. Зрение, слух, обоняние, осязание, вкус — и это все? Кто этому поверит. Такими бесчувственными не пустили же нас некогда в путь-дорогу. Пусть даже наше стремление обладать как бы еще одним органом чувств — счетчиком Гейгера — звучит скорее дерзко, даже юмористически. Кто мог бы тогда, миллионы лет назад, предвидеть, что именно счетчик Гейгера сумеет однажды повысить наши шансы на выживаемость как рода...

хотя я, с другой стороны, вовсе не хотела безотлагательно знать, как отразился бы луг с сочной зеленой травой на индикаторе счетчика Гейгера. Но те два-три листика одуванчиков, самые маленькие, нежные, которые я мимоходом нарвала по привычке, чтобы съесть к обеду в виде салата, как делала все эти дни, я все-таки предпочла выбросить. К тому же как маленький, так и большой приемник, настроенные на разные станции, вновь в один голос каждый час предостерегали: никакой зелени. Не давать детям натурального молока. Новое название опасности пущено в обращение: йод 131. Щитовидная

железа, как выяснилось, один из наших самых чувствительных органов, накапливающих радиоактивный йод. Люди, предвидящие даже самое невероятное развитие событий, вчера еще скупили весь запас таблеток йода в аптеках, что рядом с одной из передающих радиостанций. Но это, как мне объяснили, не только бесполезно, но и нежелательно. Правда, нормальный йод блокирует щитовидку от того, худого, но...

И тут я все-таки решила быстро позвонить в Берлин, но они уже это слышали. Салата и шпината все равно нигде не купишь, а натуральное молоко она больше детям не дает, сказала мне младшая дочь. *(О молоко нечестивых мыслей, напиток горький...*[1]*)* Но в песочнице они вчера под вечер играли, после чего она их, к сожалению, искупала в ванне... Да, разве я этого не слышала? Детей после гулянья надо мыть под душем. Ванна размягчает кожу, открывает поры, что уж подавно вносит радиоактивность в организм. Преувеличено? Если бы это знать.

Я спросила, что у нее с голосом. Как это он звучит. Она ответила, как, мол, звучит голос, если человек ночью не спит. Ну, теперь я наверняка захочу знать, почему она ночью не спит, так уж она лучше сразу скажет, и по собственному почину: до нее только сию минуту дошло известие, что все уже слишком поздно, и вот оба ребенка лежат в своих кроватках, ей при их виде делается нехорошо, вот потому-то она и не спит, а теперь пусть-ка я назову ей более действенную причину для бессонницы.

Да, сказала я. Нет. С другой стороны...

Мама!— сказала дочь, а теперь лучше бы я замолчала. Ведь в курсе же я или нет? Они ведь ничему не научились, сказала младшая дочь. Они же все тронутые. Что еще должно стрястись, чтобы выливали молоко, тысячи литров, и чтобы люди боялись, что наиболее полезными продуктами они могут наиболее быстро отравить детей. В то время как на другой стороне земного шара дети гибнут, потому что у них нет именно этих продуктов.

И пока мы секунду-другую ничего не говорили друг другу, мне опять показалось, что наши мысли до крови собьются о какую-то с особой ловкостью припрятанную тайну. Перед моим мысленным взором прокручивались картины, которые я не собираюсь здесь описывать. Но при этом я все-таки должна была спросить себя: не следовало ли мне уже давным-давно запечатлеть те картины, которые возникали передо мной, запечатлеть к тому же ярче и беспощаднее к себе самой, но в то же время я знала, что не в этом было дело, и хотя чувствовала, что все происходящее во мне оставалось нечетким, неудовлетворительным во всех смыслах, я в который раз удивлялась, как стопроцентно надежно все взаимодействует: удовольствие, какое находит большинство людей в спокойной жизни, склонность большинства верить ораторам, возвышающимся на трибунах, и людям в белых халатах, стремление всех поддакивать и боязнь прекословить, все это, видимо, отвечает жажде власти и высокомерию, стяжательству, беззастенчивому любопытству и самовлюбленности меньшинства. Что же это было, что во всем этом не сходилось?

Я попросила дочь рассказать мне еще что-нибудь, лучше всего о детях. И услышала, что ее младший, поставив на большой палец гайку-барашек и высоко подняв руку, важно расхаживал по кухне: Коун я. Коун я. Представив себе эту картину, я оживилась. Откуда же он знает, что такое клоун. И разве нормально, что ребенок полутора лет себя в кого-то превращает. Не только себя, сказала дочь, но любой предмет. Сбивалка, которой повязали кухонную тряпку, стала старухой, и она танцует на кухонном столе, а если Мария наподо-

---

[1] Ст. Хермлин. Сонет «Молоко».

даст ей другой тряпкой и старуха заохает, то малыш плачет, крупные слезы текут по его щекам, и приходится кончать игру.

Уж эти мне маленькие мальчуганы, сказала я. Чего только с ними не проделывают, чтобы воспитать их людьми черствыми.

За это, сказала младшая дочь, они позже нам мстят, она уверена. У кого вытравляют способность любить, тот впоследствии и другим не даст любить.

Но в воспитании малыша, сказала я, этого нельзя допустить.

Только через мой труп, сказала младшая дочь и стала рассказывать о Марии. У Марии есть друг, Юлиус. Она почти каждый день приводит его с собой из детского сада, и тогда они рука об руку садятся в сторонке ото всех на скамейку и спрашивают друг друга: ты мой друг? Я твой друг. А ты тоже мой друг? Потом они, чередуясь, откусывают от одного куска пирога и пьют из одной чашки, а малыш встает перед ними и, заложив руки за спину, жадно и сосредоточенно наблюдает за ними, прислушивается к их разговору.

Послушай, сказала я, Шекспир и греческие трагедии не взволновали бы меня теперь больше, чем твои детские истории. А знает ли она, кстати, что уровень радиоактивности во время испытаний ядерного оружия в атмосфере в шестидесятых годах был будто бы выше, чем теперь.

Ты умеешь утешать, сказала моя младшая дочь...

Солнце теперь вовсю светило на дом и на луг, доходивший до улицы. Несомненно, день обещал быть одним из самых прекрасных дней этого года. Ты, милый брат, его лишен. Чем бы ни были заняты сейчас твои органы чувств — этот день они не воспринимают. Идеально голубое небо ты не замечаешь, символ чистоты, на котором ныне пересекаются тревожные взгляды миллионов. Твои врачи после того, как они аккуратно выполнили дугообразный разрез над правой бровью, после того, как они тщательно пережали зажимами все кровеносные сосуды, раздвинули насколько смогли кожу головы в обе стороны, изолировали мозговое вещество, сосредотачиваются, по всей вероятности, на том, чтобы как можно ближе подобраться к точке твоей беды, не повредив гипофиз. Ведь если, как объяснила тебе молоденькая сестра, будут повреждены определенные структуры мозга, могут произойти даже изменения личности. Приятная перспектива, сказал ты, а я резко спросила тебя, надо ли тебе так уж держаться за свою личность. Дело привычки, сказал ты. Пациент, который до операции был миролюбивым, внезапно становится агрессивным и кидается на сестер. Вот видишь, сказал ты, так можно было бы решить проблему миролюбия: каждому новорожденному вживить электрод. Да, ответила я, прекрасный этот новый мир[1]. Передние отделы мозга отвечают, кстати говоря, не только за твое целенаправленное поведение, в них находится также большинство центров ассоциаций. У людей — сознание. Я представила себе чрезвычайно точные и осторожные инструменты — подходит ли вообще для них металл?— которые могли бы сгодиться, чтобы ощупать место, где находится твое сознание...

Для овощеводства наша почва слишком тяжелая. Глинистая, твердая, каменная после трех дней без дождя, она едва поддается обработке. Несмотря на это, я попыталась разрыхлить землю мотыгой и граблями, вскопать грядки, в которых сажальным колышком провела борозды, не слишком глубокие и не слишком мелкие, чтобы посеять в них коричневые круглые семена щавеля для щавелевого супа, крошечные остроконечные семена салата и шпината, и все самым тщательным образом и со злостью, заметив это потому, как все время, что бы я ни делала, я вполголоса ру-

[1] Намек на роман-антиутопию Олдоса Хаксли «О этот прекрасный новый мир» (1932).

галась, пока, остановившись, не спросила себя, так же вслух: почему это, собственно говоря?

Потому что они отбили у нас охоту и к салату и к шпинату.

Кто же это — они.

На оставшейся земле под яблоней я посажу кресс-салат. Он требует деликатного обращения, дабы максимально сохранились витамины А, С, Д и Е и йод. Внезапно я задалась вопросом, опустили ли те, кто разрабатывает такие виды техники, адская опасность которых заключена в самой их сущности, хоть раз в жизни самые крошечные семена, прилипающие к кончикам пальцев, в землю, чтобы увидеть позже, как они всходят, и потом неделями, месяцами наблюдать развитие растений. Но я сразу же осознала свою логическую ошибку; как раз напряженно работающие ученые, о чем все уже давно слышали или читали, часто отдыхают, работая в саду. А может, этот тезис верен только для старшего поколения, а в отношении молодых, тех, кому сейчас принадлежит решающее слово, он устарел? Я решила составить список тех видов деятельности и тех радостей, о каких люди науки и техники, наверное, и понятия не имеют. А что из этого следует? Сказать по правде: я не знаю. Я просто подумала: быть может, различные участки нашего мозга влияют друг на друга таким образом, что женщине, месяцами кормящей грудью своего младенца, торможение в определенном участке мозга воспретило бы поддерживать словом и делом те новые виды техники, которые могут отравить ее молоко.

Я брожу вокруг дома. Все окна я распахнула не только чтобы внутрь вошло тепло, но чтобы в любом случае услышать телефон. Кусты смородины и вишневые деревья, которые мы в этом году посадили, прижились. Семена трав взошли, исполнится, видимо, наша мечта о большом газоне. Мальвы у стены дома сильно вытянулись, и даже два георгина пробили земную кору нежными кончиками своих листьев. Молодцы, услышала я сама себя. *Молодцымолодцы.* За вами дело не станет. Вы свое дело знаете.

Лучезарное небо. Так теперь уже и думать нельзя. От лучевого лечения мы сможем на основании гистологического анализа отказаться, скажет тебе профессор, но до этого еще далеко. Сейчас мы еще на том этапе, когда нам следует от всей души пожелать такого рода счастливого хода событий.

Было еще слишком рано для звонка, которого я ждала, тем не менее, когда телефон зазвонил, я бросилась в дом. Женский голос я узнала, хотя мы не часто перезваниваемся. Она хотела только услышать мой голос.— Это хорошая мысль.— Знаю ли я, собственно говоря, что она питает ко мне симпатию.— Я на это надеялась. И даже подозревала.— Ну, стало быть, теперь я это знаю.— Да. И я рада.— Сегодня один из таких дней. «Цепная реакция»— слова, которыми на нее еще в детстве нагоняли сильнейший ужас.— Когда эти слова появились, я уже не была ребенком. Кстати, моего брата сегодня оперируют.— Ах. Она даже не знала, что у меня есть брат. Что-нибудь серьезное? Тогда она не будет занимать линию.

И вот я мысленно представила себе ее в комнате, что постепенно сверх меры переполнялась книгами и рукописями, худая, сжавшаяся, движения скупые. Причудливые кривые, какие описывают в ее голове мысли и слова, прежде чем они, все еще причудливые, но каждая мысль и каждое слово в точности на своем месте, лягут на бумагу. Ее старый письменный стол. Окно в проходной комнате, оно выходит во двор. Я задумалась над тем, как дружеское расположение помогает мне понимать другого человека, что было в отношениях с этой приятельницей иной раз трудновато. Быть может, говорила она, ей надо бы просто-напросто приложить больше усилий, чтобы ее понимали. Но это же своеобразный вид самообороны, когда тебя не могут

понять. Тут я напомнила ей, какие последствия могут иметь подобные признания для суждений о литературах всех жанров и времен.

Умиление и вообще-то неуместно, особенно сегодня.

Планета утратила свое обаяние, не правда ли?— сказала моя приятельница. Мысль эта легла между мной и страницами на моем рабочем столе. Я сделала попытку к нему приблизиться, помня о тех членах нашего цеха, кому можно позавидовать, они — пусть вокруг смерть и гибель, крушение и угроза всякого и разного рода — неколебимо следуют по той линии, которую, сочиняя, некогда избрали, следуют, одержимые словом, к некой цели, расстояние до которой никогда не сокращается. Я села на свой стул-вертушку, окинула взглядом страницы на столе, прочла выделенные фразы и нашла, что они меня не трогают. Они, или я, или мы вместе изменились, и я вспомнила о неких документах, на страницах которых истинный, тайный текст проступает только после химической обработки, а первоначальный намеренно несущественный, оказывается всего лишь поводом. Подвергнутый облучению, текст на страницах моей рукописи, увиделось мне, бледнеет и даже исчезает, но проступит ли когда-нибудь меж строчками долговечный подтекст, еще неизвестно. Вновь обретенный опыт показал мне, что существует дурная разновидность свободы. Я столкнулась с тем, что бывает и свобода отказа от всякого повиновения, даже от того, к которому меня призывают наложенные мною же на себя обязанности. Вполне возможно, впервые нашла я, что обязанности и этого рода могут утратиться, и мне стало ясно, что никакая привычка не будет достаточно стойкой, чтобы занять их место. Ах... С какой радостью двигалась бы я дальше к цели, расстояние до которой никогда, надо думать, не сократится.

Да как могла бы я идти, не имея цели?

Почувствовав облегчение — если это слово здесь уместно,— я дала себе передышку. Сегодня ни единого слова. Я посидела минуту-другую, уставившись на газон и на живую изгородь бузины за домом, еще далеко не такую густую, какой она будет через три, четыре недели. Потом встала, вышла и начала беспощадно орудовать в сорняке, голыми руками. Сначала я выдергала траву вокруг маленьких, только что посаженных кустов, которые чуть не заглушил сорняк. Крошечная роза «Форсайт» собралась расцветать. Какая нелепость, сказала я и освободила ее от сорняков. Мысли мои вновь вернулись к той приятельнице, и я задалась вопросом, почему я иной раз вынуждена вооружаться против нее — именно тогда, когда у меня есть повод считать, что она ко мне более не расположена. И вот ты низвергнут с небес и погружаешься не только в атмосферу неуверенности, но и в атмосферу враждебности, что свершается всегда или почти всегда, когда утрачена симпатия. Но как же так получается, что анти-патия и а-патия в силах уподобить нас тому представлению, которое они составили себе о нас.— В тени трава все еще мокрая от росы. Я дергала траву, как автомат, при этом пытаясь стереть, как автомат свою программу, начисто свои мысли. Репейнику, что от кромок луга надвигается на нас, я объявила: подожди, и твоя очередь настанет. При этом я знаю по прошлому опыту, что репейник, если уж он обосновался на участке, ни за что не изгнать. Когда пробил очередной час, я услышала из своего маленького приемника, что мы должны быть благоразумными и сегодня, если уж непременно надо работать в саду, так надевать перчатки, тут я услышала, как испустила вопль, близкий по звучанию безумному торжествующему кличу, усердно продолжая голыми руками дергать сорняк. А вот посмотрим-поглядим, бормотала я при этом...

Поработали ли они уже к этому часу на твоей голове, милый брат, кошачьей или овечьей кишкой — шовным материалом, который впоследствии рассасывается, я, конечно, не знаю и очень сомневаюсь. Для этого еще слишком рано. Речь у них шла о том, к примеру, чтобы сохранить

связь между гипофизом и мозгом. Что, скажу, забегая вперед, им удалось. Несмотря на то, что они должны были действовать «радикально», а в таком случае, как у тебя, это означает — искоренить полностью, вплоть до последней клетки, опухоль, что угнездилась очень, очень близко к гипофизу, вылущить ее из здорового окружения. При этом каждую секунду иметь в виду, что каждый квадратный миллиметр этого окружения обладает повышенной чувствительностью. И что повреждение его может послужить причиной тех страшивших нас нарушений психики, жертв которых ты мог наблюдать в других палатах и о которых мы говорили лишь намеками. Чтобы не рассуждать по этому поводу, я предпочла заниматься крапивой...

теперь, правда, все-таки в розовых резиновых перчатках на руках. Какое же неописуемое удовлетворение испытываешь, сжимая правой рукой пучок крапивы, а левым указательным пальцем прослеживая под землей прохождение ее корней, пока не найдешь подходящую точку, чтобы терпеливо и осторожно вытащить целиком все длинное, мощное, глубоко проросшее и разветвленное корневище из земли. Ну вот и порядок. Ты больше не натворишь бед. И одновременно я, безмолвно, где-то в самых глубинных пластах моего сознания, заверила некоего повелителя крапивы или духа природы, ведающего более сложными связями, что не собираюсь изничтожить всю крапиву; я очень хорошо знаю, что у пяти видов бабочек нет другого источника питания, кроме цветов крапивы, и эти бабочки по-прежнему будут иметь у нас верный кусок хлеба. Совсем иначе обстоит дело с тем растением, названия которого я даже не знаю, липким, весьма целеустремленным сорняком с одним-единственным корешочком, от которого никак нельзя ожидать той цепкости, с которой он укореняется в земле. Листочки, которые на этом сорняке появляются, можно принять за иголки. В прошлом году он впервые показался в просвете между кустами бузины, а в этом, сдается мне, хочет завоевать всю полосу озеленения за домом, отделяющую нас от автострады и особенно — свеженасыпанный холм, на котором посеянная нами трава еще едва всходит, а проклятущего сорняка уже тьма-тьмущая. Ужо тебе! — громко сказала я. Ужо тебе! — так говорил мой дедушка с материнской стороны. Черт тебя побери! — Интересно, каким представлял себе дедушка черта. Тебя, говорю я сорняку, тебя я истреблю. Это я тебе обещаю. Без оглядки на сохранение вида.

В Киеве я была раз в жизни, точно, в мае. Помню белые дома. Круто уходящие вниз улицы. Много зелени, деревья в цвету. Памятник павшим во второй мировой войне на холме над Днепром. Все эти картины поблекли, перемешались со сходными картинами других городов. Поблекли также и воспоминания о любви, чувства тогда, видимо, свежего. В свое время, очень скоро, все пережитое станет для меня воспоминанием. В свое время, быть может, уже через три, через четыре недели — хоть бы они прошли скорее! — воспоминание об этом дне потеряет свою остроту. Незабываемое: вид на Днепр, восточную многоводную реку. Излучина реки. По ту сторону — равнина. И небо. Небо как и наше, чистая голубизна.

«*...матери прижимают к себе детей и растерянно вглядываются в небо — нет ли там научных изобретений*»[1]. Вот уж до чего дошло. Но сколько бы они ни искали, они ничего не увидят. Само подозрение, их гложущее, приводит к тому, что невинный цвет неба принимает этот ядовитый оттенок. Злобное небо. И вот матери садятся к приемникам и старательно выучивают новые слова. Беккерель[2]. Разъяснения дают ученые, они, не испытывая ни малейшего благоговения перед тем, что

---

[1] Б. Брехт. «Из подборки М. Штеффин». Стихотворение «1940», пер. Б. Слуцкого.

[2] Антуан Анри Беккерель (1852—1908) — открыл (1896) естественную радиоактивность солей урана. Нобелевская премия (1903).

составляет «всю мира внутреннюю связь»[1], не только познают ее, но хотят использовать познанное. Период полураспада — заучивают сегодня матери. Йод 131. Цезий. Разъяснения к этому дают другие ученые, они оспаривают то, что говорят первые; они в ярости, но беспомощны. Все это тонкими струйками низвергается на нас вместе с носителями радиоактивных веществ, к примеру, с дождем...

но ты, милый брат, да сохранит надежная рука твоего хирурга тебе зрение, так же не увидишь ничего этого, как и мы. Мы называем это явление «облаком», что показывает только нашу неспособность с точки зрения языка шагать в ногу с прогрессом науки. Наш мыслительный аппарат — местонахождение которого, как и центра речи, мне следует представить себе в левом полушарии головного мозга, там, где сосредоточились позднейшие познавательные функции человека — беспрерывно принимая новую информацию и сравнивая ее со старой, уже накопленной, избирает для наименования нового феномена обычно то название, в котором наибольшее число отличительных признаков совпадает с теми формами проявления материи, какие известны ему издавна. Так объяснил бы ты мне происшедшее. Примерно так ты объяснял мне это, когда недавно продемонстрировал данные, которые накопил в своем персональном компьютере. Я видела, как радует тебя его послушание, когда ты прогонял программу. Видишь? Он понял. Вот он ищет PH1. Ready[2]. А это ты видишь? Он справился. Вот я нажимаю эту клавишу. Вот он выдает расчет, как распространяется любой выброс от источника, если этот источник находится на высоте двадцати метров над уровнем земли. Стало быть, предположим, дымовая труба. Выбрасывает в атмосферу, например, серосодержащий дым. Так. А теперь, чтобы ты могла все целиком охватить взглядом и разобраться: пиппиппиппип — изобразим все графически. В этом преимущество данной системы, она и чертит тоже. Теперь ты видишь, как протекал процесс: примерно до двухсот метров дым поднимался довольно круто, а потом, вот тут, максимум — если предполагаемая высота трубы двадцать метров, то максимальную концентрацию вредных веществ следует ждать на окружности с радиусом примерно двести метров от источника выброса. И чем выше была бы труба, тем дальше распространялась бы, разумеется, область наибольшего загрязнения от источника. Вот и посчитаем. Итак: высота трубы тридцать метров. Клавиша. Ready. Пиппиппиппип: пошли числа. Теперь опять клавишу маркера. Пожалуйста. Максимум отчетливо отодвинулся. Что и следовало ожидать.— Если бы у твоей постели, милый брат, был твой компьютер, ты мог бы рассчитать дрейф нашего облака — при условии, что у тебя были бы исходные данные, к примеру, мощность источника загрязнения, высота реактора, скорость ветра,— чтобы задать корм твоему компьютеру. Но их у тебя нет...

Как странно, что а-том по-гречески означает то же самое, что ин-ди-видуум по-латыни: неделимый, нерасщепляемый. Те, кто придумал эти слова, не знали ни расщепления ядра, ни шизофрении. Откуда же это современное стремление к расщеплению на все более мелкие частицы, к от-щеплению целостных частей личности от той древней, что задумана была как личность неделимая...

Действительно ли мозг, единственный орган человека, который — наряду с сердцем и легкими — остается активным и во сне, в глубоком наркозе обретает покой. В состоянии ли он хотя бы на несколько часов прервать неутомимые поиски источников раздражения и, в случае если среда не поставляет ему подлинного раздражения, черпать из суррогатных источников. Без пользы растрачивать свою колоссальную избыточную энергию на суррогаты проблем: исследованию не под-

[1] И В Гёте «Фауст», ч. I сц I, «...чтоб я постиг все действия, все тайны, всю мира внутреннюю связь...» (пер. Н. Холодковского).

[2] Готово *(англ.)*.

дается, отсюда и неправильная постановка вопроса. Ни один хирург не смог бы достичь в мозгу тех людей науки, что измыслили методы для так называемого мирного использования ядерной энергии, той группы нейрональных связей, которая не давала им покоя. Длительное возбуждение которой можно было успокоить только работой как раз над теми проблемами, какие неусмиренный атом ставил перед своими усмирителями. Без этой цели, попробую я предположить, они не знали бы, чем себя занять; им пришлось бы безмерно страдать от сверхразвитой мыслительной деятельности...

Тут ты сочтешь меня несправедливой, милый брат, а я боюсь быть несправедливой или казаться несправедливой, это ты знаешь, но знаешь ли ты почему? Потому что я своей справедливостью ко всем и каждому пытаюсь отвести от себя, отодвинуть подальше оскорбительную несправедливость других людей. Вот, значит, я и признаюсь тебе — позже, не сегодня; сегодня еще нет,— что те люди науки, которые гнались за мирным атомом, руководствовались утопией: достаточно энергии для всех и на вечные времена. Могли ли они своевременно подумать о других последствиях? Когда пришлось мне впервые иметь дело с их противниками? Дай-ка подумать. Это было начало семидесятых годов, электростанция называлась Вюль[1], ее так и не построили. Молодых людей, предоставивших нам первые материалы об опасностях, возникающих при «мирном» использовании атомной энергии, высмеивали, призывали к порядку, наказывали. Поступали так и те ученые, которые свою работу, надеюсь — свою утопию, защищали. «Монстры»? Но разве я говорю, что они монстры? Разве утопии нашего времени обязательно порождают монстров? Были разве мы монстрами, когда ради некоей утопии — справедливость, равенство, человечность для всех,— которую не хотели отсрочивать, боролись с теми, чьим интересам эта утопия противоречила (и противоречит), хотя сами сомневались, боролись с теми, кто осмеливался сомневаться, что цель оправдывает средства? Что наука, этот новый бог, предоставит нам все решения, о которых мы его попросим? Разве этот вопрос поставлен неправильно? Может, оттого, что уже много дней, недель мысли мои безрезультатно вертятся вокруг этого, должно быть, неправильно поставленного вопроса, я столь охотно воспользовалась поводом, который дал мне этот день, чтобы временно оторваться от моей рукописи, я, завязнувшая в неправильно поставленных вопросах, робких попытках сближения, недостаточных и потому бесчисленных попытках? Мы ищем и одновременно избегаем точки острейшей боли; мне бы следовало знать, милый брат, почему человека терзают сомнения; понять — бог мой, да, я могу понять, когда пытаются избавиться от этих сомнений, уходя в космос или занимаясь именно атомом...

Список работ, которые те люди науки и техники, видимо, не выполняют или, вынужденные их выполнять, посчитали бы бесполезной тратой времени: Перепеленать младенца. Готовить, делать покупки — с ребенком на руках или в коляске. Стирать белье, развешивать, снимать, складывать, гладить, чинить. Подметать полы, протирать, натирать, пылесосить. Стирать пыль. Шить. Вязать спицами. Вязать крючком. Вышивать. Мыть посуду. Мыть посуду. Мыть посуду. Ухаживать за больным ребенком. Рассказывать ему занятные истории. Петь песни.— А сколько из этих работ я сама считаю потерянным временем?

Как-то я прочла: человек, существо незрелое и несовершенное, может быть так же определен, как существо, активно ищущее своего оптимального развития. Я — то самое Я, которое имеет обыкновение для раздумья отщепляться от «меня»,— я нашла, что выгляжу весьма нелепо: стою в просвете меж кустами бузины, все вновь и вновь постигая смысл прекрасного вида зеленого поля, катящего свои крупные

[1] Находится в ФРГ.

волны к озеру, картина, от которой я могла бы буквально помешаться, и задаюсь вопросом: чего хочет человек. Я, милый брат, подумала: человек хочет испытывать сильные чувства, хочет, чтобы его любили. И точка. В глубине души это знает каждый, и если ему не дано, не удается удовлетворить эти сокровенные желания или что-то препятствует их удовлетворению, тогда он создает — ах, мы! — тогда мы создаем себе суррогат удовлетворения и отдаем сердце суррогату жизни, суррогатной жизни, а все наше ужасающее техническое творчество, что ширится с захватывающей дух стремительностью,— суррогат любви. А все, что они называют прогрессом и чему я тоже привержена, милый брат, хочу я того или нет, это не более чем подсобное средство, дабы вызвать сильные чувства (...«когда я сжимаю коленями свой мотоцикл, я на голову выше своего захудалого шефа...»),— вот что можно обо всем этом сказать; мы, видимо, последнее поколение, которое верит, что сильные чувства могут пробудить в нас только люди — все остальное кощунственно, безнравственно...

но вот опять зазвонил телефон, и я со всех ног бегу к задней двери дома, проскакиваю через еще холодную после зимы прихожую по темному коридору в большую комнату, где на деревянном ларе стоит ярко-красный аппарат, будь он благословен; и когда я наконец приложила трубку к уху, голос твоей жены, моей невестки, сообщил мне, что никаких сведений о тебе еще нет. Они еще оперируют, сказала ей дежурная сестра. Раньше чем в четырнадцать часов ты в отделении не будешь. Очень долго, сочли мы обе; шесть часов, это же слишком долго, но вслух мы не спросили друг друга, признаком чего служит такая продолжительность операции, мы вообще сказали друг другу только самое необходимое, мы же боялись, что одно лишнее слово может пробить некую преграду, которая еще должна выстоять.

Через веранду я вышла опять на улицу, но перед тем еще, быстро осмотрев цветочные горшки на подоконниках, испытала радостный испуг. Кабачки проросли! Семнадцать ростков в восьми горшках. Каждый горшок я брала в руки, долго рассматривала бледные, свернутые листочки, каждый отдельно, как он словно бы локтем, а на деле стеблем выбивается из земли и лишь позднее, в последующие дни, поднимется, расправит лист, и к его кончику еще будет лепиться смахивающее на тыкву семя, из которого оно развилось,— процесса этого я не понимаю и полагаю, ни один человек по-настоящему его не понимает. Почему это для меня так важно было, что кабачки проросли. Я видела перед собой на солнечной грядке подросшие растеньица, при благоприятной погоде они прежде всего выпускают зародышевые листья, потом, неудержимо вытягиваясь, по-змеиному выдвигают свои шершавые стебли и переплетают их со стеблями других растений. Видела большие, сияющие желтизной цветы. И плоды: напоминают огурцы изящной формы, отливают темной зеленью. Трапезы на воздухе, главным блюдом которых будут панированные, жареные, политые чесночным соусом ломтики кабачков. Да. И опять, надо надеяться, наступит лето. Все мы вместе, много людей, будем, надо надеяться, сидеть вокруг огромного стола за домом, стола, опять сооруженного из светло-зеленой двери и двух козел, который я накрою клеенкой в синенький цветочек и по всем четырем углам подвешу камни, чтобы ее не сдуло ветром. Немедленно, сейчас же мне понадобилось отправиться в хлев, глянуть, там ли еще дверь и козлы, в эту минуту ничего более важного для меня не существовало. В прежнем курятнике я нашла кули с торфом, который мне очень пригодится, но не дверь. А в бывшей конюшне все было аккуратно сложено и прислонено к стене: дверь, козлы и перед ними — велосипеды. Велосипеды! Один я вытащила, накачать пришлось только переднее колесо, и вывела велосипед во двор. Как раз оставалось еще время съездить в кооператив до того, как он закроется.

На пустынной деревенской улице стояла машина «скорой помощи», я подумала, что одна из одиноких пожилых женщин в бывших домах батраков заболела и за ней приехали. Но спросить было не у кого. Во всяком случае машина приехала не за матерью заведующей магазином, хотя та уже несколько месяцев не встает с постели, и ухаживает за ней дочь. Если б с ней что-нибудь случилось, об этом знала бы вторая продавщица. Я сосчитала и положила в сумку заказанные бутылки с молоком и спросила, заберут ли, вообще-то говоря, и сегодня все жители свое молоко. Конечно, сказала продавщица, все покупают молоко как испокон веку, как привыкли. Плохо дело, плохо все это, сказала она, но наш брат все равно ничего с этим поделать не может. В конце-то концов нельзя же не есть и не пить. А Прохнов, молодой рабочий скотного двора, купивший несколько бутылок пива, многозначительно поглядел на меня. Я поняла, что́ он хотел сказать. Прошлой осенью он, сидя у нас в кухне за столом, высказал свое твердое убеждение в том, что существуют внеземные создания, существа с высоким интеллектом, они во всех отношениях далеко перегнали нас и держат нашу землю под неусыпным контролем. Они допустили, правда, что безумство человечества зашло очень далеко, но они же в последнюю секунду, когда мы уже совсем надумаем самих себя уничтожить, примут меры. Какие, этого, разумеется, Фриц Прохнов и сам не знал; но что они это сделают — в этом он совершенно уверен. А теперь, в магазине, он сказал мне: Видите. Не нужна нам война. Мы в самое мирное время взрываем себя.— Ну и что?— сказала я.— А вот подождите!— сказал Прохнов. Он читает всё — все книги по астрономии и футурологии и все-все научно-фантастические романы, какие может найти. Никто не убедит его в том, что человечество было создано и обречено принимать на себя все тяготы своего развития, выносить все то, что ему пришлось вынести, чтобы в конце концов самому себя уничтожить. В этом меня никто не убедит, сказал он. Этому пусть верит тот, у кого нет детей. У меня трое. Я этому не верю.

Я поехала назад, и на пологой мощеной дороге под старыми липами, когда я проезжала мимо древней деревенской церкви, ныне не действующей, мне пришлось изо всех сил удерживать руль; машина «скорой помощи» уже уехала, я же задалась вопросом, помогают ли соображения Фрица Прохнова — что все мы управляемые на расстоянии создания, подвешенные на ниточках, которые держит в руках кое-кто другой,— ему жить или нет. На улице собралась кучка пожилых женщин, я на минутку остановилась и узнала, что это господина Вайса увезла машина «скорой помощи»: он упал, потеряв сознание, ему, видимо, очень скверно. Мой велосипед сам собой свернул к абонементным почтовым ящикам; когда откидная крышка ящика упала, из него вывалились пять-шесть писем. Газеты мне пришлось вытаскивать. Я повела велосипед через улицу, бросив при этом взгляд на имена отправителей писем. Два-три меня заинтересовали...

Откуда-то у меня тягостное представление о том, что любую черепную кость, к примеру лобную, если хотят вырезать из нее сегмент, технически обрабатывают точно так же, как кусок металла: включают дрель. Наверное, и самым простым инструментом удаляют спинномозговую жидкость, которая затрудняла бы выполнение операции. Головная боль, которая возможна после операции, частично объясняется отсутствием мозговой жидкости, и она лишь постепенно вновь накапливается...

И опять, представилось мне, нынешний век сотворил себе некие фазисы: «до того» и «после того». Я могла бы описать свою жизнь, подумалось мне, как последовательную череду подобных фазисов, как череду ненастий, причина которых во все более сгущающемся мраке. Или, наоборот, как неуклонную привычку к резкому освещению, четким познаниям, большей трезвости мысли. И хотя я знала, что не случайно избрала

путь через травянистый холм и не совсем бесцельно блуждал мой взор по огромному пятну клевера, из которого мы уже выбрали столько четырехлистных стебельков, я все же издала возглас радости, увидев большой клевер-четырехлистник. Я нахожу их, только когда нет никого, кто мог бы мне их отыскать.

О как природа меня манит[1].

Быть может, это не самый неотложный вопрос, как поступим мы с библиотеками, набитыми стихами о природе. Но все же это вопрос, подумала я. И тут поняла, что стою точно на том месте, которого уже неделю пыталась избегать, если не жаждала найти клевер-четырехлистник. С тех пор как то семейство, отец, мать, сын — а мать выросла в этом самом доме, где мы теперь проводим лето,— на прошлой неделе подошло к дому через луг и огляделось, как оглядываются люди, знающие, чего они ищут. С тех пор как эта женщина, ныне медицинская сестра, дородная, с шестимесячной завивкой, осведомила меня, что произошло здесь, на этом клочке, на котором я стояла, летом сорок пятого. Да прекрати ты наконец, вмешался ее длинный, неуклюжий сын, но женщина не поняла, почему бы ей о том не говорить: Отсюда, вот точно отсюда, русские увезли тогда ее отца. В военной автомашине, Карстен! А отец погладил ее маленького брата по голове и сказал: Не плачь, я скоро вернусь, это недоразумение. Но он не вернулся. Почему не вернулся? Что он совершил? Ничего, в этом-то все дело. Ничего не совершил, он был шофером.— Шофером в гестапо,— сказал мальчик, продолжая со скучающим видом разглядывать сарай, и после этой второй фразы, которую он произнес, он ушел. Тут вмешался ее муж, и очень резко: Шофер, да! Но это же, видит бог, не причина! И он пошел за мальчиком. А женщина рассказала мне, как ее мать, которая после этого арендовала здесь землю, все эти годы надрывалась, чтобы вырастить четверых детей. И как она, когда дети выросли и приезжали в гости, всегда сидела на веранде и махала им вслед, когда они уезжали. Так же, как я теперь стою там и машу, когда уезжают гости. Так же, как сейчас там — я увидела это, только подойдя ближе,— сидит наш сосед, Генрих Плаак, в своей характерной позе, подавшись вперед, упирая локти в колени, и тяжело дышит. Он хочет только получить ключ от гаража, чтобы достать семенной картофель. Поглядим-ка, не удастся ли нынче штучку-другую картофеля посадить. Погода подходящая. Если только сейчас опять не задождит.

Нет, сказала я, погода пусть лучше будет хорошей. Жизнь Генриха Плаака длится уже семьдесят лет и была прекрасна, наполненная заботами и трудом, но она не научила его говорить не то, что он действительно думает. Он думает, что дождя у нас в этом году было достаточно, земля глубоко пропиталась влагой, картофель и другие посевы смогут долго ее поглощать. Я, соглашаясь с ним, думаю о том облаке, как оно, делаясь все грознее и грознее, мечется в поисках таких метеорологических условий, которые позволят ему излиться дождем. Как даже те районы, что обычно молят о дожде, теперь очень охотно отказались бы от него. Пусть этот дождь получат другие. Мы приготовили на крайний случай зонт, плащ, резиновые сапоги. Мы не пустим, если завтра или послезавтра пойдет дождь, наших детей в школу, даже до автобусной остановки не пустим. И запретим петь:

Ах, дождик, бог тебя послал,
Ты землю напитал,
Вот так радость детворе,
Вот так радость мураве.

Наряду с богом, который создал мир и управляет им, существует, по мнению некоторых отступников, другой бог, который не создавал мира и не управляет им. Чужой, незнакомый бог. И вот, когда я устремила все мои помыслы на него, случилось, что я его обнару-

[1] И. В. Гёте. «Майская песнь».

жила. Мгновенное откровение, объяснение которому никто не вправе требовать от меня. Одно скажу: если я все хорошо помню, то зрение, наше ведущее чувство, едва ли, вернее говоря, вовсе не участвовало в этом событии. Хотя я в глубине души понимала, что, сделав неслыханное усилие, а оно меня, чего доброго, еще в клочья раздерет,— я могла бы побудить внезапно обступившую меня со всех сторон мощь, или силу, или энергию, или потенцию (атмосферу, сгустившуюся так, что причиняла мне боль) материализоваться: показать свое лицо. Но я не осмелилась на это усилие. Скорей, скорей, успела я снять напряжение, пока оно не стало невыносимым, но страх испытала великий. К нему примешалось и некоторое разочарование. Бесспорно, я спасовала. Не его я испугалась, не этого бога-соперника. Я испугалась бездны в самой себе — а именно: под моим черепным сводом,— из которой могло явиться подобное антисущество...

Мы, милый брат, не способны выдерживать электрические бури в нашем мозгу, время от времени бесконтрольно возникающие, и пойдя на риск, позволить им вытворять с нами все, что они хотят. Определенные сочетания реакций в нашем мозгу закреплены благодаря постоянным связям, словно бы «проводом», не будем страшиться той неприглядной картины, которая нам тем самым внушается. Нельзя не согласиться с тем, что было бы слишком неэффективно, потребовались бы слишком большие затраты времени, если бы одна и та же реакция в ответ на один и тот же раздражитель каждый раз искала бы новый путь сквозь джунгли мозга: существо с подобной нервной системой вряд ли обладало бы шансами выжить. Но конечно же, в твоем мозгу хирурги находят не металлические провода (правда, они кое-что металлическое оставят: золотые скобы, которые накладывают на кровоточащие сосуды), хирурги находят ту массу, что под микроскопом распалась бы на клетки — нейроны; и они могли бы, при очень сильном увеличении, найти те, называемые «синапсами», связи между нейронами, число которых больше, чем общее число элементарных частиц во вселенной. Это, милый брат, одно из немногих чисел, какие взволновали бы меня. И не там ли, а именно в нашем мозгу, эволюционный порыв, который, правда, как говорят, длился положенные ему сотни тысяч лет, творя благое, несколько перестарался...

Я вдруг осознала, что старик Плаак уже какое-то время говорит мне о своем зяте, о том человеке, который был шофером гестапо и в 1945 году умер в советском лагере неподалеку отсюда. Старик Плаак, видимо, узнал, что его племянница рассказала мне об этом. Я уже не раз замечала, что ему требуется куда больше времени, чтобы заговорить о каверзных делах, чем требуется для этого мне. И что в запасе у него тем, о которых он никогда не стал бы говорить, видимо, куда больше, чем у меня. Мой зять, сказал мне Плаак, не замечал ведь тогда ничего дурного. Если бы он заметил что-нибудь, так, конечно же, убрался бы оттуда.

Возможно, он прав. Перед моими глазами возникли те самые автофургоны, которые без шоферов никого не могли бы возить, транспортировать, куда-то привозить, куда-то сдавать. Вот в этом-то все дело, хотела я сказать, но не сказала. Мы немного помолчали. Потом Генрих Плаак сказал: А теперь они, пожалуй, и облака вконец перетасуют...

Досылаю тебе самую важную информацию, которую ты, погруженный в сон или полусон, пропускаешь: в субботу на прошлой неделе, в час двадцать пять по местному времени, возник пожар в машинном отделении четвертого блока. Вызван был этот пожар стечением многих несчастных обстоятельств непредвиденного характера. Случилось то, что могло бы, по заявлению физиков, случиться не более чем раз в десять тысяч лет. Десять тысяч лет

сплавились в один этот день. Закон вероятности дал нам понять, что к нему следует относиться серьезно. Физики продолжают говорить с нами на своем, нам непонятном языке. Сколько это «выброс 15 миллирем в час». Сколько времени надобно было бы мне, сколько времени надобно было бы годовалому ребенку, сколько — эмбриону в материнском чреве подвергаться их воздействию, чтобы это нанесло ущерб нашему здоровью. Каждая относительно новая технология, слышим мы теперь, требует поначалу жертв. Я попыталась подготовиться к тому, что на экране телевизора появятся люди — и они появились,— которые попытаются изобразить на своем лице улыбку. У которых выпали все волосы. Их врачи пользуются словом «храбрые». Возгорание графита, которого никто не ожидал, услышим мы, если уж оно произошло, потушить очень трудно. Но кто-то же должен был это сделать. В тот день, о котором я все еще веду речь, чтобы он не пропал для тебя, говорили о двух погибших. У меня из головы целый день не выходило сочетание слов: раскаленное ядро. Теперь человек, в двух тысячах километрах от нас, засыпает песком и свинцом раскаленное ядро наших запретных желаний. Слово «катастрофа» до тех пор использовать не разрешается, пока есть опасность, что катастрофа перерастет во всеобщую трагедию. Ты, полагаю я, знаешь все возможные значения термина НДТА [1]...

И опять я упустила переходы, старик Плаак далеко ушел в своем рассказе. Замечала ли я когда-нибудь, что у него всего один глаз? Сейчас я украдкой восхитилась, как точно может воспроизвести стеклянный глаз цвет живого глаза. Потеря одного глаза спасла ему жизнь. Иной раз все получается шиворот-навыворот. Когда дело приняло худой оборот, под конец на Восточном фронте, он вынул свой стеклянный глаз и сунул его в карман, а на пустую глазницу наложил повязку, теперь у него был вид такого тяжелораненого, что каждая оперативная группа отсылала его дальше, за линию фронта, и чем грязнее становилась его повязка, тем была она для него выгоднее. Если же правый глаз твой соблазняет тебя... [2]

Генрих Плаак был первым человеком, который рассказывал мне о войне и при этом все еще мучился, «какими же были наши». О самых страшных вещах ни один человек рассказать не в силах, говорил он. Но вот только маленький пример: во Франции, где население бежало до нашего прихода, дома стояли пустые, остались только упакованные сундуки да ящики. Все это люди здесь бросили... И вот он, грязный, оборванный, уж в таких был отрепьях, тоже зашел однажды в такой дом, взял чистую рубашку своего размера и пару носков, в этом он честно признается. Но при этом он все-таки постарался ничего больше не тронуть и все оставил после себя в полном порядке. На следующий день, однако, когда он опять зашел в тот дом, там все выглядело так, будто в нем побывали вандалы. Его собственные камрады, это они добрались до сундуков и ящиков. Они все взломали, свежее, чистое постельное белье вытащили на пол, топтали его ни за что ни про что, из озорства и безобразия. Вот когда они были одни, он своему лейтенанту — а тот был разумным парнем — и сказал: Это ж добром не кончится, господин лейтенант,— сказал он. И тот ответил: Ты прав, Генрих. Ни к чему никакого уважения — это не может кончиться добром...

Не хочу торопить. Но время уже подходит к обеду, и мы не можем себе так уж точно представить, что выделывает целая команда высококвалифицированных специалистов столько часов с твоей головой — или вернее: в твоей голове, милый брат. Признаю, меня несколько беспокоит тот факт, что эти люди, как и все специалисты, не могут преисполниться вместе с нами,

---

[1] Наивысшая допустимая тяжесть аварии — предупреждение при создании новых машин и др.

[2] Евангелие от Матфея 5, 29.

дилетантами, священным ужасом перед безднами их профессии; что они, стало быть обладая неизбежным профессиональным опытом, потеряли присущее тебе и мне благоговение перед вмешательством в ту сферу, в которой определяется, какие мы — такие или эдакие; узнаем ли мы себя после хирургического вмешательства. Сколько и каких «нарушений», «дефектов» можем мы выдержать в случае необходимости, без явлений деперсонализации. Если уж одно из чувств необходимо принести в жертву, то — так сказал бы любой из нас — обоняние. Но вкус я смог вам сохранить, скажет тебе твой профессор, и ты никогда не узнаешь, не пришлось ли ему в некий решающий миг выбирать — за тебя, вместо тебя — между обонянием и зрением, к примеру. Вкус? Не совсем. Да, определенные сорта пива в будущем могут немного отдавать мылом... От пива, милый брат, можно и отказаться.

От чего еще? У низших животных, кстати, органы обоняния и вкуса часто «спарены». Первые млекопитающие произошли предположительно около двухсот миллионов лет назад от близких к ним рептилий, те проиграли битву с остальными рептилиями за экологические ниши и перешли на ночной образ жизни. Способ существования, настоятельно потребовавший дистантных органов чувств, таких как слух и обоняние, и оттого преимущественно их развивающий. Некоторые ответвления от родословного дерева позвоночных привели в тупики. Приведет ли то ответвление, что дало людей, так же в тупик, судить еще рано. *Человек появляется в эпоху голоцена*[1]. Если периоды развития жизни на Земле перенести на двадцатичетырехчасовую шкалу, то получится, что эволюция позвоночных началась в 21 час 30 минут, эволюция первых гоминидов — в 23 часа 57 минут. За две секунды до полуночи, милый брат, на мировую сцену выходит человек. Разум становится решающим фактором развития. Разумный человек создает средства для покорения природы и своих собратьев. Правила и нормы, которые он сам себе установил, он пытается, пусть даже ценой самоуничтожения, применяя открытое или скрытое насилие, нарушать...

вот и получается, надо бы мне здесь сказать, хотя этот подхват может показаться слишком несерьезным, что такой человек, как Генрих Плаак, некогда сельскохозяйственный рабочий, потом крестьянин-кооператор, ныне — пенсионер, сидит в конце своей жизни на каменной плите перил бывшего дома священника, упираясь локтями в колени, свесив руки между колен, склонив голову, и задается вопросом: что же это происходит. Ведь и правда же получается, сказал он, словно бы кое у кого в голове червь завелся и не дает им покоя. Такой парень был и у них в роте. Он, Плаак, до сих пор его не может забыть. Этакий бахвал. Этакий негодник. Знаете, на какие пакости был он способен?

Мне не удалось убедить старика Плаака оставить свою историю при себе, хотя я душой и телом чувствовала, что он собирается пополнить мою личную галерею незабываемых ужасов новым примером: историей о молоденьком русском солдате. Обессилевший, полузамерзший, он вышел через несколько дней после других солдат своего подразделения из болот, а тот негодяй из роты Генриха Плаака заставил его, прежде чем отпустить в лагерь военнопленных за линией фронта, снять сапоги. На сорокаградусном морозе, сказал Генрих Плаак, это же надо себе представить. Слушай, сказал я ему, подумай, что ты делаешь, парень же ни за что не дойдет! Так он только голову вскинул, проклятый черт. А сапоги ему даже впору не были. Ты еще пожалеешь об этом, сказал я ему. Настанет и твой черед. И когда через пару-другую недель он лежал, раненный в живот, и криком кричал, я сказал ему: Эй, помолчи-ка. Вспомни-ка того русского, и что ты с ним вытворил. Тут он только глаза закатил

[1] Повесть М. Фриша.

и больше ни звука не издал. — Вот, значит, и я буду всегда видеть перед собой взгляд того русского парня, видеть, как немецкий парень голову вскинул и как лежит он, закатив глаза. Не-е, сказал старик Плаак, от всего этого нам ни в жизнь не отделаться. Ни в жизнь. Кто другое скажет, тот соврет.

Телефон. Я бросилась в дом. Та самая приятельница. Что же с моим братом. Не знаю еще, сказала я, они еще оперируют. Вот как. Так она не будет занимать линию...

Иной раз, милый брат, попадаешь в столь путаные ситуации, что не знаешь даже, о чем сейчас, собственно, следует размышлять. С точки зрения физиологии, полагаю я, это должно представляться как мерцание во многих отделах мозга. Этакая предусмотрительная подготовка еще не направленной энергии, которая не вливается прямиком в проложенную заранее сеть объединенных энергосистем, а зондирует неисследованную область, прежде чем, к примеру, решается на вопрос: откуда, собственно, возникает это наслаждение от раздоров, разрушений, огня и взрывов!

Ты запретил мне употреблять слово «наслаждение» в этой связи. Наслаждение, наслаждение... сказал ты. Этакое преувеличенное и необъективное понятие. Все обстоит куда проще. Если человек начал что-либо изобретать. Или совершать открытия. Или создавать. Он никогда не остановится. Кто напал на след расщепленного атома, к примеру, тот не в состоянии прекратить свои опыты. Как крысы, сказала я, которые не переставая нажимают на «педаль наслаждения». Но вот это именно и есть мой вопрос. Где находится центр наслаждения в мозгу этих ученых?

Никогда, сказала я, мне не понять в полной мере того зуда, который пятьдесят лет назад, в совсем другую эпоху, ввел в соблазн горстку высокоодаренных физиков и химиков продолжать свои опыты. Иначе, мол, это сделают «другие» — что за слабый аргумент. — С точки зрения нынешнего дня! — сказал ты. Ты не учитываешь времени, которое им потребовалось, чтобы вообще понять, что́ они открыли. Не думаешь же ты, что они встретились и приняли решение: А теперь откроем-ка мы деление урана! Или того хлеще: создадимка атомную бомбу! — Потом они это решение приняли, сказала я. — Потом была война, ответил ты.— Вот именно! — сказала я, а ты сказал, чтобы я не заносилась. Чтоб я лучше о себе самой подумала. Прерву ли я свою работу на полуслове. Не сказала ли я как-то ему, что слова могут сражать и даже разрушать, как снаряды; и разве я всегда взвешиваю — всегда готова взвешивать,— когда мои слова начнут ранить, а то, чего доброго, и разрушать? Перед какой степенью разрушения я бы ужаснулась? Не сказала бы того, что могла сказать? Обрекла бы себя лучше на молчание?

Это был вопрос, вокруг которого сегодня все крутилось.

После паузы — что в это время происходило, я не помню,— я обнаружила себя в кухне: машинально перекладывала я посуду из мойки в буфет. Внезапно я словно бы глянула на себя со стороны — я раскачивала в руке, как метательный снаряд, одну из керамических чашек, из которых мы любим пить чай. Потом, правда резко стукнув, но не разбив, поставила ее на полку, схватила деревянный прибор для салата и метко, точно нацеленным броском, швырнула его в угол. Собрала его и снова со всей силой бросила в угол. И еще раз. И еще раз. Так. И так. И так. Я вам покажу. Сыта вами по горло. По горло. По горло.

С удовлетворением наблюдала я за собой. Ярость, ненависть на моем перекошенном лице. Как подняла я в последний раз прибор для салата, как его разглядывала. Один зубец вилки надломился. И хорошо. Равнодушно положила я в выдвинутый ящик стола весь прибор, который однажды в Южной Франции тщательно выбрала в колос-

сальной корзине с приборами из оливкового дерева. Шлепнулась на кухонный стул. Что касается симптомов раздвоения сознания, даже расщепления, то у каждого, надо думать, они индивидуальны... Слезы? — Нервы, милый брат, что бы еще это могло быть. Только нервы. Хоть бы это проклятое облако рассеялось или изошло бы дождем, или сама не знаю что. Хоть бы твои чертовы врачи наконец оставили тебя в покое. Хоть бы все опять было таким, каким оно было прежде...

«Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут... брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им...» [1]

(Значит, это уже вина, ты разделяешь вину, если высказываешь то, что тебе, полагаешь хорошо известно, и — хоть это может оскорбить — находишь в этом удовлетворение? Потому что это тебе известно? Потому что ты можешь это высказать? А молчать было бы так же недостойно? В каких же, милый брат, все мы вместе зажаты тисках?)

«...и когда они стояли там,— сказал человек по радио,— он, и все это видели, вознесся ввысь, и облако взяло его у них на глазах на небо. Наши представления о пространстве и времени оказываются несостоятельными перед лицом все охватывающей реальности божьей. Христос вознесся к своему отцу. А это значит, он принял на себя власть. Господа земного мира уходят, наш господь грядет. Иисус Христос — наш господь. Он вернется. Он совершенствует мир».

Прекрасно, возразила я приемнику. Но так откровенно можно было бы этого и не высказывать. Если, стало быть, изначально в нас заложили, что нам так настоятельно нужны господство и подчинение, что нам следует приписать их изобретению наших богов; что мы (это я, поразмыслив над своей жизнью, добавила для себя), если уж нам удается освободиться от неизбежного поклонения богам, обречены неизбежно подчиняться людям, идеям, идолам — так где же в этом случае, милый брат, собственно говоря, путь спасения (помеченный белыми стрелками по зеленому фону путь во всех гостиницах)? Запасный выход...

Бог мой, брат, какая же меня охватила усталость. Все отвлекающие средства были исчерпаны. Я просто сидела на кухонном стуле и делала то, что мне труднее всего: ждала. Разумеется, я не могла знать, в какое из множества мгновений, из которых состоит подобная операция и из которых, надо думать, ни одно небезопасно, принято решение о твоем обонянии. К созданию запахов — за исключением, разумеется, чувствительных рецепторов в носу, которых не повредили,— причастны обонятельные центры коры головного мозга. Из трех дистантных органов чувств тех, ведущих ночной образ жизни рептилий — зрения, слуха, обоняния,— обоняние начало терять свое значение, когда с вымиранием рептилий распространились млекопитающие и стали дневными наземными животными. А так как эволюция — иначе чем, к примеру, техника — не уничтожает созданное однажды благодаря естественному отбору, а продолжает это созданное использовать, она оставила нам без изменений, как один из трех отделов нашего мозга, древнейшую часть — мозг змеи и крокодила. На обрядовые и иерархические аспекты нашей жизни сильно влияет этот рептильный комплекс, который в определенном смысле должен выполнять в нашем мозгу функции, свойственные динозаврам: агрессивное поведение, территориальное поведение: формирование социальной иерархии также произошло не без его участия... В позднейшей эволюции, когда выступают уже замкнутые группы, запах настоятельно необходим как отличительный признак. (Пчелы убивают в своем улье каждую чужую пчелу, которую распознают по запаху.) В человеческой популяции есть определен-

[1] Евангелие от Марка 16, 17—18.

ное число индивидуумов, для которых — в наследство от их предков, млекопитающих,— запах, вызывающий или усиливающий сексуальное возбуждение, имеет большее значение, чем для других людей: этому способствует подкорковый отдел нашего мозга, млекопитающее в нас, лимбическая система, составные части которой — обонятельные центры коры большого мозга и гипофиз; со своими мыслями и наименованиями я приближаюсь к критической точке, милый брат, я хочу уяснить себе то, что видит перед собой твой хирург при помощи анатомической карты мозга. В той чувствительной области возникают будто бы сильные эмоции, мощные страсти и болезненные противоречия... Видимо, эволюция не считала необходимым дальнейший отбор человеческих мутантов, которые поступились тесной связью запаха и сексуальности... Это мы, стало быть, и обсуждать не будем. Обоняние, милый брат, если я это правильно понимаю,— одно из тех чувств, которые отступают на второй план. Только через несколько дней ты ощутишь его потерю по самому банальному поводу — когда окажется, что твоя туалетная вода для бритья утратила запах. До того тебя отвлекут другие, куда более необычные недуги. Те волокна нейронной сети, которые служат для того, чтобы обрабатывать запахи, разлагать их на компоненты и так действовать на определенные точки имеющихся образцов для узнавания в неокортексе (новой коре) — чтоб они вспыхнули, а неокортекс назвал бы тебе: «фиалки» или «газ!» — эти нервные волокна и нити у тебя не используются; хирург едва позволит себе с сожалением пожать плечами, если заметил это, когда прерывал связь между обонятельной системой и неокортексом. Ему предстоит решать куда более деликатные задачи — в области гипофиза, где его действия одновременно должны быть предельно бережными и предельно решительными. (Гипофиз как «главная железа», управляющая эндокринной системой человека.) Он полностью осознает непоправимость последствий любого повреждения ткани гипофиза и последствия такой осторожности, которая оставила бы клетки опухоли в окружающих здоровых тканях, он тоже полностью осознает...

Внезапно я заметила, что судорожно сцепила пальцы, что с трудом отдираю их друг от друга и что у меня болят плечи и спина. Я вскочила и стала проделывать упражнения на расслабление мышц. Тут мне припомнилась мелодия, к которой спустя какое-то время присоединились слова: «...стояло облако на небе долго» [1]. Весь текст я не могла отыскать в памяти, так как на первый план в моих мыслях все время выходил вопрос: где Авель, брат твой[2]? Кто спрашивает? Кто — на моей внутренней сцене — явится в ответ на этот позарез нужный, жизненно важный вопрос? Кто осмелится на встречный вопрос: разве я сторож брату моему?[3]

Я стояла как вкопанная посреди кухни и впервые поняла, что тот, второй, кто задал встречный вопрос, не притворяется. И еще не знает ответа. Нет. Удивленный до глубины души, пораженный, стоит он в пустыне и вопрошает: Разве я сторож брату моему? Это было бы что-то новое. И в случае, если ответ гласил бы «Да!», достаточно ошеломительное. Сможет ли Каин после этого жить, как жил до этого? Недоброжелательный; завистливый; жаждущий первородства, иначе говоря — исключительной любви отца и ее воплощения — всего его достояния...

Уже час дня. Милый брат, что они с тобой делают?

Телефон... ни секундой раньше. Я слышу самое главное слово: нормально. Совершенно нормально, сказала дежурная сестра. Правда? Мы можем больше не волноваться за него? Операция удалась?

---

[1] Строка из стихотворения Б. Брехта «Воспоминания о некоей Марии А.».
[2] Библия, Бытие 4, 9.
[3] Там же.

Ах. Правда. Я это знала. Ты тоже? Ясное дело, он еще не проснулся. Это пустяки, ты не находишь? А ты, милый брат, чувствуешь себя соответственно обстоятельствам, услышала я. И я была готова благословлять эти обстоятельства.

...стояло облако на небе долго, долго,
молочно-белое и очень высоко,
а я взглянул наверх — и нет уже его...[1]

Теперь я приготовлю себе чего-нибудь поесть. Могу послушать радио. В Швеции фоновый уровень радиоактивности атмосферы снизился еще больше. Зато повысился уровень радиоактивности почвы.

Но прежде мне еще следовало позвонить приятельнице. Я рассказала ей то, что узнала о брате. Ах, это хорошо, сказала она. Очень хорошо. Он тебе, видимо, очень близок? — Прямая мне противоположность, ответила я. И он мне очень близок.— Она спросила, как, собственно, я собираюсь поступить теперь с тем, что посеяла, и я ответила: Если б я знала! — Придется нам, видимо, превратиться в экспертов по периоду полураспада, сказала она. Имеешь ты, к примеру, представление, какой период полураспада у цезия? Или у стронция? — Это они нам сообщат, сказала я. Есть будто бы нуклиды, у которых чертов этот период полураспада длится сто тысяч лет. — Тут она сказала: Цинично, ты не находишь? И рассмеялась тем безумным смехом, который меня иной раз сбивает с толку. — Мало-помалу, сказала я ей, я, кажется начинаю даже понимать ее смех. — Реальная действительность подтверждает мои мысли и мой смех, ты это имеешь в виду?— спросила она, и я ответила: Примерно это.— Ну, сказала она, не могут же они теперь еще утверждать, что с любой штуковиной, с любой проблемой совладают. Стало быть, и в случившемся есть свои положительные стороны, а? Раз мы все равно приучили себя думать шиворот-навыворот? — Я сказала, что не очень уверена в этом. По каким-то причинам вера в то, что для всего на свете находится техническое решение, возникает все вновь и вновь.— Да, согласилась она. А кстати, замечаю ли я по себе, что во мне что-то вожделеет этих каждочасных скверных новостей? Какое-то мрачное злорадство, направленное против нас самих? — К сожалению, я бы это поняла, сказала я. — Вот видишь, подхватила она. Нас, значит, уже двое. Так, быть может, нам попытаться исследовать этот вопрос с точки зрения нашей совиновности. — Многовато требуешь, сказала я. — Солидарной ответственности? — предложила она. — А, но это ты сказала, ответила я.

...но облако светилось лишь мгновенья,
взглянул я — ветер его унес..

Будем надеяться. Будем надеяться, что лишь мгновения, только и подумала я, хотя песня эта из тех времен, когда облака были «молочно-белыми» и состояли из поэзии и чистого конденсированного водяного пара. А теперь, думала я, пока чистила вареный картофель, весьма любопытно, кто из поэтов первым вновь осмелится воспеть белое облако. Некое невидимое облако из совсем иного вещества взяло на себя обязанности привлекать наши чувства — совсем иные чувства. И оно, подумала я опять с тем же мрачным злорадством, затолкало белое облако поэзии в архив. Оно в единый миг рассеяло эти, да едва ли не любые, чары.

Жареная картошка. Яичница. Свежий салат. Молоко. Простая еда — «самая лучшая еда» Наконец-то, дорогой, твой голос тоже вмешался. Нам понадобятся целый день и целая ночь, чтобы обсудить все, что узнали мы за эту неделю. Я не стану упрекать тебя за то, что удалился ты от меня в момент, далеко не благоприятный. Там, где ты теперь находишься, слышу я, концентрация вредных ве-

[3] Б. Брехт. «Воспоминание о некоей Марии А.».

ществ после аварии больше, чем здесь, где нахожусь я. Должно ли это нас возмутить? Встревожить? Следует ли допустить, чтобы спутались все наши чувства; следует ли, что было бы еще хуже, подавить их, как нечто несущественное? Несущественное — по сравнению с показателями счетчика Гейгера? Знаю, что ты хочешь сказать. Не говори. С завтрашнего дня, решила я, уменьшу количество молока и постараюсь не есть свежего салата. Сегодня, решила я, еще разок без намека на нечистую совесть, буду все есть и пить. Та подспудная инстанция во мне, все чаще дающая о себе знать, начала, непрошеная, подсчитывать, в каком возрасте настигнут меня отдаленные последствия трапез этих дней в случае, если трапезы эти содержат радиоактивные субстанции, период полураспада которых... Тут мой тихий внутренний компьютер выдал варьирующие показатели, и я услышала свой смех — насмешливый. Тридцать лет? Ах, милейший. И этим ты серьезно хочешь меня испугать? Преимущество нынешнего дня — быть старше. Скажи честно: хотел бы ты быть сегодня двадцатилетним? Десятилетним? Потаенный жест ужаса: только не это? Сокровенному моему врагу этого, как результата теста, было вполне достаточно. Он дал мне совершенно спокойно поесть, помыть посуду. По радио я услышала, что было тринадцать часов сорок пять минут. Тут я увидела себя со стороны — еще с полотенцем в руках — и услышала, как пою во все горло. Песнь о радости. Мы вступаем, неземная, огнехмельные, в твой храм[1]. Ну, что бы это значило, задала я, совершенно озадаченная, сама себе вопрос. Радость! Радость...

Так как этот сигнал из глубочайших глубин моего сознания я иначе не могла бы себе объяснить, я решила, что спрошу впоследствии тебя, милый брат, в котором часу ты в тот день — он будет тогда уже далеким прошлым — проснулся после наркоза. В тринадцать сорок пять? — скажешь ты. Постой-ка. Слушай, это же вполне возможно. Да. Пожалуй, это верно. Где-то далеко-далеко, каким-то расплывчатым пятном различил ты над собой лицо врача, и, надо думать, он едва не охрип от крика, пока ты не понял его вопроса: Вы меня видите? Вы в состоянии меня видеть? И как ты, хоть и напрягался изо всех сил, не в силах был ему ответить, пока тебе не пришло в голову утвердительно открывать и закрывать глаза. Он видит!— услышал ты. Я вижу, прошептал ты, еще очень хрипло, потому что интубационная трубка (из-за наркоза ее вводят в дыхательное горло) вызывает повреждение голосовых связок; но они заживут. Да, будешь ты все отчетливей говорить и в конце концов скажешь так громко, что я твои слова услышу по телефону, уже завтра: Я вижу. И долго еще мы будем осознавать слово «видеть» во всем его многообразии, во всей обширности его значения.

Один день. Один день как тысяча лет. Тысяча лет как один день. Откуда знали это древние? Мельчайшие частицы материи, выпущенные на свободу, заставляют нас бережнее обходиться с мельчайшими частицами времени. Но до чего же я устала, услышала я, что говорю сама себе. Теперь я обязательно должна лечь. И я не захотела больше слушать, что эвакуация из мест, окружающих вышедший из-под контроля реактор, началась еще в субботу в полдень и закончилась будто бы уже через несколько часов. Эти картины я в тот полдень тоже не желала представлять себе. «Эвакуация», милый брат, это одно из тех слов, какие мы, видимо, всю свою жизнь не сможем отделить от собственного опыта. А опыт этот, наверное, врезал в проводящие пути мозга слившиеся воедино увиденные картины и пережитые чувства. Потом уже, когда я, наконец, лежала, я попыталась успокоиться и не представлять себе мысленно, как это ты там лежишь, с перевязанной головой, с подключенной к венам капельницей. Я не хотела представлять себе и твои боли, которые должны на-

[1] Ф. Шиллер. Ода «К радости», пер. М. Лозинского.

чаться, твою жажду. Я видела перед собой твою безволосую голову — незабываемая картина, ты был тогда еще почти ребенком, в той больнице для тифозных больных одного из провинциальных мекленбургских городов, в которой мы с тобой лежали и где у нас обоих после тифа вылезли волосы.

А теперь я хочу спать. Хочу отвлечься, стало быть, почитать. Я огляделась, лежа в постели, и поняла, что книга, какую я хотела бы почитать в такой день, как этот, видимо, еще не написана. Кто установил, невольно задумалась я, опасную зону точно на тридцать километров вокруг? Почему тридцать? Почему всегда эти четные круглые числа? Почему не двадцать девять? Или тридцать три? Было бы это признанием того, что наши расчеты не оправдываются? Что все свойственное природе и все не свойственное ей не руководствуется нашей десятичной системой? Серьезной опасности нет нигде, кроме как в этих непосредственных окрестностях. А кто определил, сколь долго позволено людям подвергаться этой серьезной опасности? Можно? Или должно? Кто, милый брат, устанавливает границы опасности, в которых мы вынуждены жить?

Все, о чем я думала и что испытывала, далеко превосходило возможности нашей прозы.

Так, как работает наш мозг, писать мы не можем. Если бы я и начала уже примиряться с потерями, которые кажутся неизбежными на пути от мозга по нервным трактам к пишущей руке, так в тот полдень они вновь четко обозначились в моем сознании. Потеря непосредственности, полноты чувств, точности, остроты и целого ряда качеств, которым я не могу дать названия, о которых, возможно, даже не догадываюсь. Я вполне представляла себе обстоятельства, при которых и я осталась бы к этим потерям равнодушна, ибо они покажутся ничтожными в сравнении с теми жертвами, которые от нас могут тогда потребоваться.

Я хотела бы обладать способностью выключать свое воображение. Те люди, что навлекают на нас и на себя опасность, подумала я, должны же обладать этой способностью. Или им нечего выключать; может, у них вместо тех предчувствий, которые преследуют нас, в мозгу слепое пятно? Оно не обязательно должно быть на определенном месте, как, к примеру, центры аппетита, равновесия, терморегуляции, кровообращения, дыхания. Его, это слепое пятно, нельзя, стало быть, и стимулировать электрическим раздражением, как активизирует некий невролог по фамилии Пенфилд следы воспоминаний в различных точках коры головного мозга своих пациентов, пропуская сквозь нее ток. Звуки. Цвета. Запах из далекого прошлого. Поистине композиция для оркестра со всеми ее нюансами... Так, значит, можно было бы подумала я, и сердце у меня сжалось (мы же теперь очень понятливы, милый брат!), дать людским существам возможность какое-то время — двадцать лет? двадцать пять? — вести нормальную, даже особенно насыщенную человеческую жизнь, дабы «до краев» наполнить запоминающее устройство их памяти. После чего участь этих существ была бы решена или, лучше сказать, их обрекли бы предназначенной им участи: безотрадному существованию в какой-либо аппаратуре, на подземной ракетной станции, в космическом корабле. А какой-нибудь специалист подключал бы их — с полезными для них интервалами — к току воспоминаний. Любовь. Вражда. Успех. Промахи. Нежность. Конфликты. Красоты природы — все испытывали бы они вновь и вновь с присущей каждому из них интенсивностью. Жертвами смертельной скуки их «истинного» существования они бы не стали. Желание — лучше уж умереть, чем вести и дальше такую жизнь,— не могло бы обрести над ними власть. Их мозг объединился бы против них за их спиной (каким неподобающим делается наш язык!) с их манипуляторами. Они бы как самые жалкие объекты...

подобные фантастические идеи, милый брат, я бы себе строго-настрого запретила, будь у меня средства их осуществить. Посмела бы я их не только высказать, но даже помыслить о них? В наш век есть ли хоть малейшая преграда между фантастическими техническими идеями и их осуществлением?

Но не из этой субстанции грехи, в которых мы себя, в которых я себя могла бы упрекнуть. Не слишком много — слишком мало нами сказано, а то малое — слишком робко и слишком поздно. Почему? По самым банальным причинам. Из-за неуверенности. Из-за страха. Из-за недостатка надежды. А также, как ни удивительно это утверждение: из-за надежды. Обманчивой надежды, которая приводит к тем же результатам, что и сковывающее отчаяние.

Связь между убийством и изобретательством не оставляет нас со времен зарождения земледелия, читаю я. Каин, земледелец и изобретатель? Основатель цивилизации? Трудно будто бы оспаривать гипотезу, утверждающую, что человек сам, благодаря борьбе с себе подобными, благодаря массовому истреблению побежденных, был важнейшим инструментом отбора, способствующего быстрому дальнейшему развитию мозга? Те мутанты, агрессивные действия которых беспрепятственно обрушивались на собратьев (у большей части видов животных эти последние как неудачные формы были выбракованы), дают «царю животного мира» толчок — благодаря его интеллекту, относительно превосходящему интеллект врагов,— к дальнейшей эволюции? Истребление в пределах собственного вида, дабы предотвратить перенаселенность? Ограниченное истребление биологически приемлемо? Так человек стал сам себе врагом?

Я отложила книгу, взяла другую, взяла номер журнала. Статья в нем — ее мне рекомендовал прочесть один человек, при этом внушив мне одновременно страх перед ней. Человек, которого сейчас здесь нет, здесь, где он должен был бы быть; кто вместо этого подвергается в дальних краях более сильному там случайно — якобы! — облучению, еще один довод, что в наши дни следует по возможности избегать даже самых краткосрочных разлук. На этого человека я, стало быть, дико разозлилась, но не хотела несмотря на это ему звонить, чтобы мой голос, который я не смогла бы настолько изменить, чтобы он не уловил тотчас его оттенка, не встревожил его. (Четыре раза употребила «не» в одной фразе.) Вот что перепадает ему из-за того, что я, стало быть, сейчас беззащитная и все еще дико злая, буду читать эту статью, одна, в порыве грустного мужества или мазохизма, ибо заголовок ее был уже достаточно ободряющим, он гласил: «Ученые, разрабатывающие идею «Star Wars» [1]. Страх перед этой статьей очень скоро оправдался, правда, он переключился на тех молодых ученых, о которых в этой статье говорилось и которых эта статья на своем родном языке называла «starwarriors» (звездовоителями). Слово, вызвавшее где-то во мне сигнал, который я пока игнорировала. Высокоодаренные очень молодые люди — подгоняемые, боюсь, гипертрофированной активностью определенных центров своего мозга — склонились не перед дьяволом (ах, милый брат! этот добрый старый дьявол! Был бы он и сейчас еще!), а перед обольщением некоей технической проблемой. Далеко не сразу, а лишь когда я, следуя за повествованием, смогла нарисовать себе картину их жизни, до меня дошло, что действительность уже давно опередила мои фантастические идеи, которые я себе запретила: это были люди, живущие где-то, в полной изоляции, без женщин, без детей, без друзей, без каких-либо иных развлечений, кроме своей работы, подчиненные строжайшим инструкциям безопасности и секретности; но им и не требовалась суррогатная жизнь из воспоминаний, пробужденных электричеством. Какой же я все еще была наивной! Все, что им, очевидно, требовалось,— это мнимая привязанность, которая

[1] Звездные войны *(англ.)*.

поглощала бы все их чувства. И пожалуйста, нет проблем, no problem. А то зачем же существуют компьютеры. Как только эти молодые люди туда приезжают, в их звездновойную лабораторию Ливермор (я запрещаю себе выражение «как только их туда доставляют»), вопрос с ними, вероятно, сразу же решен. Они не знают ни отца, ни матери. Ни брата, ни сестры. Ни жены, ни ребенка (там нет женщин, милый брат! Является ли этот удручающий факт основанием для влечения к компьютерам, которое испытывают эти молодые люди? Или это результат?) В чем они знают толк, эти полудети с их натренированным мозгом, с их беспокойным, день и ночь лихорадочно работающим левым полушарием головного мозга,— в чем они знают толк, так это в их машине. В их милом любимом компьютере. К которому они привязаны, прикованы, как некогда раб к своей галере. Питание: бутерброды с арахисовой массой, «гамбургеры» (хлебцы с котлетой) с кетчупом. Кока-кола из холодильника. В чем они знают толк, так это в своей цели: сконструировать рентгеновский лазер с ядерной накачкой, стержень фантастической идеи о возможности абсолютно обезопасить Америку, перенеся будущие ядерные войны в космос. — (Кто они: законные потомки одержимого «истиной» ученого, миф, всем нам хорошо знакомый? Или его незаконные отпрыски не по праву ссылающиеся на него? Так неужели одержимость есть порок? А «обычная жизнь» — ценность сама по себе?) Сигнал где-то во мне звучит громче, мне пришлось отложить журнал. Почему мне кажется, что я уже знаю все, о чем в нем шла речь? Starwarriors. Star Wars. Звездные войны... Конечно же! Однажды, почти три года назад, мы сидели в переполненном кинозале, в нескольких милях от той Livermore National Laboratory, на Западном побережье США, в Беркли, в Калифорнии, смотрели, поначалу испытывая неловкость и удивление, потом с все возрастающим чувством подавленности, вторую часть фильма о «Star Wars», название которого я сейчас вспомню, мне не надо только слишком сосредотачиваться на нем. Мне надо поначалу вспомнить молодую черную женщину, что сидела за мной и, как и весь зал, с истинным фанатизмом участвовала в космических битвах хороших, белых звездных воинов против злых, черных. Я до сих пор еще слышала, как она, эта молодая черная женщина, в кульминационной точке событий пронзительно кричала: Kill him! Kill him! [1] И тут я осознала: оружие, которым пользуются в фильме, это же пучковое оружие, и я представила себе, что режиссер этих двух фильмов, разумеется, невероятно разбогатевший на них («The Return of the Jedi»[2], да, так называлась наша часть фильма), консультировался с starwarriors в Ливерморе; или те — с киношниками. И все они вместе — с политическими деятелями... И я поняла: не фантом «безопасность», нет, их влечет смерть, рукотворность некого темного, зияющего «ничто»,— вот что стягивает сюда кое-кого из лучших умов Америки.

Фауста той статьи, к которой я, словно бы по принуждению, вновь возвратилась, звали Петер Хагельштайн, не Франкенштейн [3]. Гретхен: Жози — Жозефина Штайн. Петер — бегун, пловец, играет на рояле и флейте, любит французскую литературу, страдает бессонницей, впадает в депрессию и не справляется с повседневной жизнью. Он работает четырнадцать-пятнадцать часов в день «все семь дней в неделю». Его цель — получить Нобелевскую премию за создание рентгеновского лазера для решения научных задач, но этим работам в Ливерморе придают иное направление. Хагельштайн — Фауст, собственно говоря, ненавидит бомбы, Жози — Гретхен решительно поддерживает эту ненависть. Она каждый раз присоединяется к де-

[1] Убей его *(англ.)*.

[2] «Возвращение на Джеди» *(англ.)*.

[3] Герой романа Мэри Шелли «Франкенштейн» — молодой ученый, вдохнувший жизнь в косную материю, что, однако, обернулось его поражением.

монстрантам, что стекаются к воротам Ливермора. Хагельштайн-Фауст, переутомленный, потеряв над собой контроль, выбалтывает одну из своих гениальных идей: одним-единственным ядерным зарядом привести в действие две разные установки, образующие рентгеновский лазер. Тогда они вынуждают его, оказывая политический нажим, произвести точный расчет. Чего он, собственно говоря, не хочет. Жози протестует. А потом уходит от Петера. Его эксперимент оказался успешнее, чем эксперименты других ученых, и состоялся уже в 1980 году. А в 1983 году мы, ничего не подозревая, сидели в том кинозале.

Фауст, который хочет получить не знания, а славу. Гретхен, которая вместо того, чтобы из-за него погибнуть, хочет его спасти... О новом варианте Фауст — Гретхен я позже еще поразмыслю. И тут я ощутила, как уже бывало прежде при некоторых обстоятельствах, какой-то холод во мне, что силился охватить меня целиком. Я не знаю никаких средств против людей, тайная мания которых — смерть. Крысы. И опять я вижу тех крыс, которых обучили стимулировать центр наслаждения в своем мозгу, нажимая на определенную педаль. Они не в силах оторваться от этой педали. Нажимают, нажимают, нажимают. Рискуя умереть от голода, умереть от жажды, вымереть вообще.

На каком же это перекрестке свернула эволюция человека на неверный путь, так что мы тягу к наслаждению накрепко связали с жаждой разрушения. Или: зададим вопрос иначе, какой страх так надежно задраивает переборку между упомянутыми молодыми людьми и тем, что мы, нормальные люди, называем «жизнью». Страх, который должен быть столь велик, что они лучше уж «освободят» атом, чем самих себя... Сон мой продолжал беспокойно работать над вопросом: в чем же заключается моя личная ответственность, он описывал круги вокруг того слепого пятна, которое мои слова, какие бы усилия они ни прилагали, не желают знать. Не вправе знать...

Ты, брат, уснув в первый раз после операции, видел во сне, что падаешь, падаешь, падаешь — откуда-то с высоты, и, казалось, неуклонно. И что ты, ударившись, не разбился в лепешку, а мягко приземлился на гигантскую кучу сена. Это, унаследованный от наших древних предков, приматов, живших на деревьях, засел в нас страх перед падением. Это наш самый первый детский страх, милый брат, страх вообще, и что он в тебе в тот день вновь высвободился, понять не трудно. Я же, наоборот, во сне была вместе с нашими дедушками и бабушками, в узкой комнате, в которой почти ничего, кроме старых деревянных кроватей, не стояло, я сидела на краю кровати, рядом с бабушкой Марией, обняв ее за плечи, ведь ее муж, наш дедушка Готтлиб, будто бы как раз только что умер, но она, казалось, не слишком-то горевала (в «действительности» она умерла до него), и каким-то образом этот умерший дедушка тоже был здесь, и другие бабушка с дедушкой сидели напротив нас, и мы говорили о том, велика ли была под конец пенсия у дедушки Готтлиба, и бабушка Мария тихо сказала: наивысшая, сто тридцать марок. Мне стало очень грустно, но атмосфера в комнате была мирной, доверительной, хотя обе пары бабушек и дедушек в жизни вовсе не были так близки, и я ощущала себя здесь, у них, в полной безопасности, окруженной заботой и вниманием, под надежной защитой, и еще казалось мне, они хотят сообщить мне кое-что познанное ими, и, просыпаясь, я подумала: они хотели сказать мне, что все мы умрем и мы можем спокойно принять смерть. На какое-то краткое время я поняла, что наша жизнь сводится к таким простым истинам, и испытала благодарность к моим бабушкам и дедушкам и ко всем тем прародителям, кто до меня и до них с муками пробирался по жизни, но это чувство очень быстро исчезло, я сварила себе кофе, выпила его, услышала, что до сих пор из-за катастрофы на реакторе погибло не более двух чело-

век, услышала и те голоса, что едва ли не злорадно сомневались в этой цифре, и другие, которые считали ее вполне реальной.

Внезапно я сочла, что следует безотлагательно пересадить японские «цветы мира» из горшков, в которых они зимовали, в клумбу. Ночных заморозков, видимо, больше ждать не приходится; мне в прошлом году одновременно с семенами прислали памятку, в ней говорилось, что растеньица следует закалять, тогда они приживутся и в нашем климате. Их привез домой японский солдат, участник войны Японии против Бирмы, и посадил как символ мира; за это время цветок распространился по всей Японии; они надеются, что он освоится и почувствует себя как дома и в Европе. Я заботливо рассадила сеянцы на свободном клочке клумбы, понимая всю полноту ответственности за эти подопытные растеньица. (Только одно из них дожило до нынешней холодной осени. Из его семян я пытаюсь вырастить в горшках потомство, которое сможет перезимовать в защищенной среде. Работа, не нуждающаяся в оправдании...)

само собой разумеется, на что я очень надеюсь, в неведомых нам глубинах твоего организма, милый брат, сейчас бесперебойно вырабатываются целебные силы и передаются в те области, которые в них больше всего нуждаются. Это не обязательно голова, не обязательно рана, которая, наверное, теперь уже начинает, пульсируя, болеть. Я далека от мысли, что ты уже в состоянии думать. Тот центр, в котором соединены мышление и речь, еще, видимо, погружен в сумерки. Центры управления голосом (вокализации), которые у обезьян находятся главным образом в глубинных областях серого вещества среднего мозга...

Внезапно меня охватило сильнейшее желание двигаться, я опять отправилась к хлеву, вывела велосипед, преодолела, хоть и без всякой тренировки, нажимая изо всех сил на педали, небольшой подъем до трансформаторной будки, с удовольствием почувствовала сердцебиение, учащенный пульс и стрелой помчалась по узкой гудронированной дороге к соседней деревне. Справа и слева, видела я, будут стоять в этом году на сколько хватает глаз хлеба — я никогда досыта не насмотрюсь на цветовые оттенки зрелой ржи,— а этот день, с которым не только нужно было справиться, но который мне нужно было час за часом прожить, станет воспоминанием. В соседней деревне я встретила на улице только детей, они что-то кричали мне вслед, я не обернулась,— редко пересекает эту отдаленную деревню чужак на велосипеде. В ту самую минуту, когда я миновала указатель, означающий, что деревня кончилась, непосредственно, как мне показалось, надо мной преодолел звуковой барьер первый реактивный истребитель; к этому привыкнуть я не в состоянии и потому до глубины души испугалась, вся съежилась и что есть духу помчалась дальше, торопясь под защиту леса, а подразделение реактивных истребителей с расположенного неподалеку нового аэродрома продолжало выполнять свою учебную программу. Я уже давно примирилась с навсегда засевшим во мне еще с последних дней войны страхом перед самолетами, пикирующими, прошивая воздух пулеметными очередями, прямо на меня; вся в поту, добралась я до опушки, свернула с дороги направо и по тряской узкой тропинке, на которой мне пришлось быть предельно внимательной, доехала до того места, рядом с которым, с правой стороны, стоит хоровод валунов. Велосипед я положила рядом с тропинкой и оставшиеся тридцать-сорок метров прошла по упругой лесной почве. Там стоят эти камни. Девять первобытных, поставленных острием вверх валунов, образующих правильный круг, под старыми буками — позже, в середине лета, когда распустится вся листва — в зеленоватых сумерках; сейчас, когда буки только начинают распускать свою зелень — в непривычном для меня, слегка процеженном свете. Почему

мы все снова и снова возвращаемся сюда, встаем к краю или в центр круга, который образуют эти камни, это мы осознаем: мы ищем тайну. Даже если эти камни поставлены тут не в седую старину («...находятся в глубинных областях серого вещества среднего мозга...»), а в более поздние столетия — мы о том знать не хотим. Мы представляем себе, что нашим древнейшим предкам именно эти камни, расставленные определенным узором именно в этом месте, нужны были для совершения своих церемоний — кровавых? бескровных? — с помощью которых они утверждались в убеждении, что их человеческая натура обладает каким-то превосходством, даже всеобщей значимостью. В свете наших собственных пограничных церемоний и сооружений те церемонии перестали казаться нам «дикими». Мозг тех членов племени, которые тут, возможно, танцевали, совершали свои обряды и жертвоприношения, был не примитивнее нашего. Переход к homo sapiens никто в наши дни не представляет себе больше как «скачок». На протяжении почти ста тысяч лет величина мозга находилась в чудовищном несоответствии с той деятельностью, которая от него требовалась. Обремененные своей сверхразвитой, в высшей степени активной нервной системой, первые люди, изгнанные из мира животных, вынуждены были обратить это терзание в преимущество: в необходимость сотворить из себя людей. Ныне жители окрестных деревень называют это место «Сухая кружка», традиция из времен возниц, что двигались по пролегающему неподалеку старому северогерманскому соляному пути в Польшу и тут делали привал «всухомятку», в этом трактире спиртным не торговали...

Быстрый рост мозга мог быть — из-за длительного периода предыстории — как помехой, так и поддержкой предкам homo sapiens. Те камни, милый брат, те танцы и церемонии помогали им создавать культурные ценности, формы, которыми они могли выразить свою человеческую сущность. Мы говорим: обычай...

Глубокая тишина царила у хоровода валунов, я долго стояла там, прислонясь к самому большому валуну, отдаваясь во власть картин, нахлынувших здесь на меня. От леса струился пряный запах весны. Ты знаешь, что запахи описать невозможно. Было примерно то время, когда к твоей кровати подошел главный врач и, увидев, что ты не спишь, заговорил с тобой о том, как прошла операция, но ты еще не в состоянии был сосредоточиться и не воспринимал его слова. На его повторный настойчивый вопрос: Вы же меня видите? — ты на этот раз произнес четкое, хотя и хриплое «Да!», от которого он, видимо, почувствовал несказанное удовлетворение и облегчение; тебя же, в свою очередь, успокоило его заявление, которое он повторял до тех пор, пока оно не проникло в твой вяло и неохотно работающий мыслительный аппарат: насколько можно судить, мы все, что было дурного, удалили.

Я надеюсь, что аромат леса весной запомнился тебе крепко-накрепко. *Как живется моему ребеночку, как живется моему косуленочку...* Я прошла еще немного в глубь леса, искала признаки заболеваний деревьев, но не обнаружила их. Мысль, что у нас будто бы есть один выбор: либо примириться с радиоактивностью, либо с вымиранием лесов,— побудила меня, когда мы однажды об этом говорили, к утрированным и, как ты счел, чересчур даже резким замечаниям о ложных альтернативах, которые стоят перед нами. Но в таком случае — услышала я тебя — в таком случае мне следует быть готовой к тому, чтобы отказаться от своих притязаний на современный комфорт. *Как живется моему ребеночку, как живется моему косуленочку, я приду еще дважды и уж больше никогда.* Неужели это правда: наши собственные желания довели нас до этой точки? Наш чрезмерно большой, ничем не занятый отдел мозга обретает маниа-

кально-разрушительную сверхактивность и, быстрей, быстрей, в конце концов — уже сегодня — с бешеной скоростью выбрасывает все новые и новые фантастические идеи, которые мы, не в силах притормозить, преобразовываем в желаемые цели и в виде производственных задач возлагаем на наш технический мир?

Обратно ехать было гораздо труднее, против ветра, который поднялся к вечеру. Слева от себя на опушке я увидела стадо косуль, что паслись на хлебном поле. *Как живется моему ребеночку, как живется моему косуленочку, сегодня я пришла, а больше — никогда.* Наконец, моя память выискала, откуда эти слова, кто их произносит и как это мое воспоминание связано с главными событиями нынешнего дня. Я даже рассмеялась. Братец и сестрица[1]. Эта сказка надрывала нам, детям, сердца, и тем не менее мы все снова и снова ее читали. Все снова и снова выгнанные злой мачехой, уходили мы, рука об руку, в глухие места, а ручьи, из которых ты хотел попить — *сестрица, мне хочется пить. Если б я знал, где есть ручеек, то сходил бы к нему и попил. Ой, кажется, я слышу, он журчит...* — а ручьи предостерегали нас своими журчащими голосами, и я объясняла тебе: братец, не пей, не то обратишься в дикого зверя и разорвешь меня. Именно в этом месте сердце мое надрывалось от жалости, и я часто, ах, как часто пыталась убедить тебя, что жажда тебя не мучит, но мы оба знали ход событий в сказке, и не в нашей власти было что-то изменить. Ты прямо-таки помешался от жажды и так долго просил хоть глоток воды, что я, рыдая и причитая, разрешила тебе напиться из последнего ручья. Это был кран в нашей кухне, и вот ты, как нам и грозили, превращаешься в косуленка, что достаточно плохо, но все же лучше, чем если бы ты стал тигром или волком и разорвал бы меня на куски. Я, согласно сказке, повязала тебе на шею ленточку и повела, как уже косуленка, по всей квартире, иначе говоря, по густому, непроходимому лесу, и мы ужасно всего боялись, пока под столом не нашли убежище, в котором собирались мирно жить вместе, братец и сестрица. Это же поистине злой рок, если человек должен либо умереть от жажды, либо превратиться в дикого зверя, и я, братец, часто, ох как часто, ставила тебе в упрек, что вот я, сестрица, могла все-таки сдержать себя, что я, хоть так же, как ты, страдала от жажды, все-таки не пожелала пить во что бы то ни стало. Ты же во что бы то ни стало пожелал пить, и ты во что бы то ни стало пожелал, несмотря на мои слезы и мольбы, выбежать в лес, когда мимо проезжали охотники, и это ты привел к нашему убежищу чужого короля, а ведь я вовсе не хотела выходить за него замуж, я ведь хотела жить только с тобой, братец, пусть ты косуленок, а ночью мы не спали и шепотом спрашивали друг друга, а может ли быть, хоть не укладывается это в голове, что и наша мама на самом деле — мачеха, и мы клялись друг другу, что не позволим никогда, ни в жизнь нас разлучить, но однажды ночью ты спросил меня, а может, я та лжесестра, которую злая, завистливая мачеха подсунула королю, чего ни он и никто другой не заметил, и тут мне пришлось поклясться самой страшной, какая была нам известна, клятвой — ее мы хранили для случаев самой крайней нужды: пусть паду я замертво, если я не настоящая сестра. В ответ ты, братец, помолчал немного, а потом осторожно спросил: ты пала замертво? — и я сказала — с печалью, с печалью в сердце: Нет. — Так было доказано то, что никакого доказательства никогда бы и не требовало. *Как живется моему ребеночку, как живется моему косуленочку...* Ах, эта ранняя чувствительность к печальным стихам. Этот ранний страх перед скверностью оборотной стороны человеческой натуры, скверностью, от которой мы избавимся не иначе, как смертоубийством. Лжесестру завели в лес, где ее растерзали дикие звери, а ведьму бросили в костер, где она, испуская жалостные вопли, сгорела. И как

[1] Сказка братьев Гримм.

только она сгорела и от нее осталась лишь горстка пепла, косуленок вновь обернулся человеком. С той поры сестрица и братец жили счастливо вместе до самой смерти.

День оставался безупречным до последней минуты. Когда я — пришлось мне все-таки с велосипеда сойти, одолеть подъем я на нем не смогла,— миновав трансформаторную будку, снова прикатила в деревню, солнце стояло еще над горизонтом, все очертания к вечеру стали четче, краски — еще насыщеннее. Пока здесь не поживешь, не узнаешь, сколько бывает оттенков зеленого цвета. Перед домами, слева и справа, сидели, каждая сама по себе, оставшиеся здесь старухи, подагрические руки они сложили на коленях, головы опустили и уставились куда-то в одну точку перед собой. На мой поклон они едва отвечали. Неужели деревня эта через несколько лет опустеет?

Когда я, проехав между двух мощных лип, подкатила к нашему участку, я увидела на лугу перед домом небольшую группку. Подъехав ближе, я разглядела, что это, видимо, семья: муж, жена и почти взрослая дочь. По тому, как они здесь оглядывались, как двинулись к саду, я поняла, что они что-то ищут, и с трудом подавила в себе недовольство. Прислонив велосипед к стене хлева, я пошла через луг за ними. Ищут они что-то определенное, спросила я, и они, словно испугавшись, обернулись, муж, слегка смущенный — я дала ему лет пятьдесят,— объяснил мне, что в давние времена, в сорок пятом, он с матерью, братьями и сестрами — беженцами — жил в одной из комнат этого дома. Да, это, видимо, тот самый дом, полувопросительно повторил он, словно бы я могла ему это подтвердить: расположен он именно тут, на небольшом возвышении. Те же липы. Каменная лестница с перилами справа и слева, ведущая на веранду... И деревня, в этом он совершенно уверен, деревня именно эта. Он был тогда ребенком, но кое-какие обстоятельства неизгладимо врезались ему в память, а поскольку живут они не так уж далеко на побережье, то они наконец-то собрались приехать, чтобы все здесь показать дочери. Откровенно говоря, у него была еще и другая причина приехать сюда. Он думает, что на этом участке была тогда похоронена его маленькая сестренка, умершая от тифа. Тифом они все тогда переболели. — Да, сказала я, это так. Это я знаю. И хотя каждый, кто ссылается на тиф первого послевоенного года, может рассчитывать на мое сочувствие, к этому человеку я испытывала какую-то неприязнь. Что давало ему право предполагать, будто останки его маленькой сестренки лежат здесь, на нашем участке; как пришло ему в голову сказать мне это. Я отнюдь не желала знать, кого здесь, быть может, завернув в одеяло или попросту сунув в картонную коробку, похоронили сорок лет назад, я не желала знать, что его сестру звали Аннелиза, что ей было всего-навсего три года и что у них просто нечем было ее кормить, я эти истории знаю, я же все это видела, от тебя, милый брат, остались кожа да кости в больнице для тифозных в Х., куда меня положили еще до тебя: я едва узнала тебя, когда наконец-то смогла проделать тридцать шагов вниз по лестнице до твоей палаты, так пусть этот человек в оливково-зеленом пальтеце оставит меня со своей сестренкой Аннелизой в покое, я приехала сюда, чтобы спокойно спать, мне нет нужды в рассказе об умерших с голоду маленьких девочках. Я отнюдь не желала его слышать и едва ли не грубо прервала этого человека, на которого внезапно — он, видимо, и сам того не ожидал — нахлынули воспоминания и чуть ли не растрогали его. Я сказала ему, что кладбище находится совсем близко, не дальше, чем в ста метрах, а потому совершенно невероятно, чтобы ребенка похоронили не там, а на частном участке священника. Я его обескуражила. Ну, если вы так считаете, сказал он, а есть ли здесь такой священник, которого можно было бы спросить. Нет, сказала я, церковь, правда — памятник

архитектуры, она недействующая, священник — совсем молодой человек, живет он в ближней деревне, едва ли кто-нибудь сможет рассказать вам о том сорок пятом годе. Уж если, подумала я, у него сердце болело за сестренку, так нечего было ждать сорок лет, но одновременно я поняла — в жизни этого человека могло образоваться что-то вроде бреши, и в ней внезапно возникло лицо и маленькая фигурка умершей с голоду сестры. Однако я ничем не могла ему помочь, и, к моему облегчению, группка из трех человек отправилась на кладбище. Я обернулась и увидела наш дом против света, потому что солнце уже скатилось за крышу, и весь облик дома, который до сих пор казался мне всегда доброжелательным, исказился, обратившись в мерзкую рожу. Но поскольку я отучила себя поддаваться сиюминутным настроениям, то объяснила это действительно отвратительное ощущение перенапряжением, душевной усталостью и, не задерживаясь более, вошла в дом. Но забыть этот миг я уже не могла, хотя давным-давно знала, что всякая кожа — рвется, а из разрывов могут хлынуть чудовища. Что опорная конструкция за фасадами имеет обыкновение время от времени обрушиваться; что немалые отрезки пути непосредственно перед нами любят погружаться в бездны.

К сожалению, подумала я, слоняясь по дому, к сожалению, мое раннее детство тщилось внушить мне уверенность, что мое личное самочувствие и устройство мира связаны друг с другом доброжелательными узами, и когда та сестренка — может быть, она все-таки похоронена где-то на нашем участке, который я из окна обыскала взглядом,— из-за голода стала легкой добычей тифа, я уже выкарабкалась из самого худшего, история эта, правда, вспоминалась мне отдельными кусками, я не знала, как связать концы с концами, возможно, однако, что мой тиф, поскольку я была уже достаточно большой, чтобы работать за картофель и молоко, напал не на обессиленный организм и был не смертельной формы — и твой тоже, милый брат. Нам тогда, а иной раз и до того и после того, выпадало счастье; и хотя я знаю, что право человека на счастье не берет свое начало в обычном праве, я все-таки, видимо, исхожу из того, что это обычное право на счастье существует...

и потому я не лгала, когда заверяла тебя, что убеждена в счастливом исходе твоей операции. Не лгала, но и всей правды не сказала. Только в одном вопросе мое страстное несогласие, мое негодование были во всех отношениях искренними, а именно — когда ты начал было обвинять свою жизнь в том, что она уже дала тебе все, что могла дать; теперь возможны лишь повторы. Тут я, негодующая, твердо убежденная, обрушилась на собственные сокровенные мысли...

Как сейчас я обрушилась на жену того человека в оливково-зеленом пальтеце, сказавшую, уходя: Кто знает, чего избежала твоя сестра. Той Аннелизе, которая лежит, если уж на нашем участке, так скорее всего под старым орехом, сровнялось бы теперь сорок четыре года, и я начала придумывать ей жизнь, одновременно считая места в доме, где потреблялась электроэнергия, и пришла к выводу, что мест таких слишком много, тогда я стала соображать, как бы нам ощутимо сократить потребление электроэнергии. Маленький приемник — я носила его с собой под мышкой — работал от батареек. Он сообщил мне, пока я на чердаке переходила от окна к окну, упиваясь несравненными пейзажами, которыми невозможно пресытиться,— он сообщил мне, что в Киеве матери или бабушки начинают с детьми покидать город, и я представила себе, что это дети, у которых, несмотря на все, что они могли узнать о войне, прокатившей некогда, в глубокой для них древности, по их городу, могло, наоборот, развиться чувство неуязвимости и что теперь, а они о том еще и не по-

дозревают, жизнь иных — в суеверном страхе я даже мысленно считала число их как можно более малым — будет, видимо, отмечена последствиями слепого случая.

Почему для нас непереносимо отдавать себя на произвол случая. Я села за свой рабочий стол, чтобы прочесть наконец письма, полученные утром, среди них письмо моей знакомой — а ей уже за восемьдесят,— которая пишет мне своим неровным старческим почерком из Лондона и которую я так охотно повидала бы — желание это я лелею в глубине души, не слишком углубляясь в сомнения, возникающие у меня, чем дольше длится ее болезнь, мы обе называем эту болезнь «истощение сил». Старческий страх? — пишет она, страх перед спадом интенсивности жизни, жизнерадостности, работоспособности? Но это же галиматья. Куда разумнее подчиниться привычному ритму: работа, усталость, отдых — и доверять тем силам в нас, какие по природе своей стремятся к обновлению. К возрождению.

Слово-то какое. Ты тоже его слышишь, милый брат: возрождение. Да, мне еще хорошо памятно то время, когда я сама употребляла подобные слова и связывала с ними определенный смысл. Короткая острая вспышка тоски высветила в моей памяти это время вместе с бездной, в которую оно погрузилось. Я поняла, что некогда — быть может, не сразу, быть может, окончательно лишь сегодня — разорвались канаты, крепившие сеть нашей жизни к определенным опорам. Канаты, которые можно назвать не только канатами безопасности, но и оковами. Тех, кто был до нас, они, видимо, прочно удерживали, те были к ним намертво привязаны; те, кто идет за нами, перерубили эти канаты и считают, что, освободившись, могут поступать как им вздумается. Мы же, видимо, никогда больше не станем полагаться на эти привязи, однако никогда, пусть хоть в форме тоски по ним, от них не освободимся. То случайное обстоятельство, писала мне моя лондонская корреспондентка, что она еврейка, заставило ее при Гитлере покинуть Берлин. Добровольно она это решение не приняла бы: она, тесно связанная с кругом своих соратников по работе и друзей, жаждавшая близости, тепла, одобрения. Стоит только представить себе женщину-врача, психолога, оказавшуюся в сфере чужого языка. Все так и вышло, как она предвидела: нигде больше не чувствовала она себя дома. Но каждый миг своей жизни с тех пор она выкладывалась до предела, каждые два-три года ей приходилось изыскивать себе новую область работы. Так что удар судьбы, заставивший ее более чем полвека назад отправиться в изгнание, постепенно, на протяжении ее долгой жизни обратился для нее в счастливое повеление судьбы.

Это она, подумала я она собственными силами обратила удар судьбы в счастливое повеление. И мне пришло в голову, что в поисках корней нашей жажды разрушения я могла бы заглянуть и в ее книгу о руке человека, книгу, которая стоит рядом на полке...

Твои руки, милый брат, я знаю наизусть, могу представить их себе в любую минуту. Теперь они похудеют и даже, полагаю я, каким-то образом, который мне трудно выразить, постареют. Мне кажется, я знаю, как они лежат на одеяле, единственное, благодаря чему мы можем тебя узнать, ведь голова твоя забинтована, она больна, беззащитна, без сознания. Часто, ох как часто клали мы наши руки рядом на лист бумаги, ты — правую, я левую, и обводили, каждый держа карандаш в свободной руке, их контуры. По величине твои руки постепенно догоняли мои, но контуры их остались такими разными, что не нужно было приглашать специалиста, чтобы разгадать по ним наши различные характеры и склонности...

Человеческая рука, прочла я в книге моей приятельницы, обнаруживает то сплетение весьма и

весьма характерных линий, которое отличает ее, к примеру, от руки человекообразной обезьяны. И я опять, загоревшись словно в первый раз, разглядывала изображения обезьяньих рук, не обнаруживающие никаких индивидуальных признаков, а ознаменованные только поперечно врезанной в ладонь «обезьяньей складкой» — картина, заново нагнавшая на меня минорное настроение, словно бы обезьяна должна предаваться свойственной живым существам скорби из-за своей неудачи с очеловечением. И словно бы она протягивает нам как знак этой скорби и как смиренную просьбу о нашем сочувствии свои ладони. И первобытный человек будто бы тоже еще до того, как научился говорить, подходил к другому члену своего племени с поднятыми вверх руками в знак своего миролюбия. Но только с помощью языка, который восполнил вскоре, а это, видимо, значит — спустя сотни тысяч лет, эти жесты, выражающие угрозу и покорность, освободил нас от скованности инстинктом и дал нам окончательное превосходство над животными — именно с помощью языка, видимо, отделились затем люди одного племени от людей другого племени: говорящий иначе — чужак, он не человек и не защищен табу — запретом на убийство. Эти соображения сейчас не очень-то кстати. Язык, который создает общность, одновременно решительно способствует отмене запрета на убийство иначе говорящего собрата. Тот самый язык, который обозначил скачок в «полноценного человека», формируя сознание, оттеснял то, что осознавалось до сих пор, в подсознание: «Жемчужина последних достижений нашей эволюции — речевые способности левого полушария» затмевают, стало быть, «как солнечный свет — звездное небо, наше сознание от деятельности интуитивного правого полушария, которое у наших предков было, видимо, главным инструментом восприятия мира». Вот он — двуликий язык...

Моя старая лондонская приятельница, моя однофамилица (случайное обстоятельство, благодаря которому мы вступили в контакт), как я между тем узнала, умерла в тот самый день, когда я начала о ней писать. Вот, стало быть, силы все-таки были исчерпаны. Вот, стало быть, она все-таки ускользнула навсегда от меня и моего желания хоть единственный раз ее увидеть. Одна из ее первых книг лежит передо мной, перевод на немецкий (языковые барьеры нельзя мыслить себе слишком безобидными, писала она мне как-то раз). Я вновь читаю рассказ о ее первом эмигрантском периоде в Англии, о ее едва скрываемом отчаянии из-за бесперспективности попыток понять друг друга — беда, помочь которой даже ее все более правильный английский, очевидно, не мог, ибо беда эта существовала вне языкового пласта, и я взяла ее последнюю книгу, что попала ко мне в тот самый день, когда и ее последнее письмо, книга эта написана по-английски, как и автобиография моей приятельницы, в которой я обнаружила такие строки: «But in the social plight of our age we have to reconcile ourselves to half measures. We are forced to use our multiple personalities like players acting different plays. We have to hide our authentic Self under a mask, and act a part in order to come to terms with a stereotyped social code!» [1]

Так ли это? Это так. Если мы пишем, милый брат,— ты же об этом спросил,— нам приходится все чаще и чаще играть роль пишущих и одновременно, выходя из роли, срывать с себя маски, чтобы дать своему подлинному «я» проглянуть из-за строк, которые, хотим мы или нет, являются следствием существующего социального устройства. По отношению к этому процессу мы большей частью

[1] «При том никудышном социальном состоянии эпохи, в которой мы живем, нам приходится довольствоваться паллиативами. Нам приходится пользоваться многогранностью своей личности как актерам играющим в разных пьесах. Наше подлинное «я» нам приходится скрывать под маской и играть какую-то роль, дабы поладить с установленным социальным устройством». (Шарлотта Вольф. «Hindsight». Лондон, 1980.)

слепы. Один день, как нынешний, парадоксальный по своим последствиям, вынуждает нас, вынуждает меня проявить свою личность, преодолеть внутреннее сопротивление.

В большой папке, которую я под конец открыла, были тексты, отобранные швейцарскими женщинами, чтобы выставить их в виде плакатов в День памяти Хиросимы. И уж я почти не удивилась, что это были тексты к теме «смешение языков» — привыкнув, что в определенных неотложных случаях все работает на меня. «На всей земле был один язык и одно наречие»[1],— читала я, и мне показалось, что я буду читать этот древний текст впервые. «И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес...» Но к тяжелому духу наглой заносчивости господь, видимо, весьма чувствителен. Незамедлительно сходит он на землю и говорит: «...Вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать». Вслед за этим он «смешал их язык» и тем, как известно, воспрепятствовал строительству башни. Обращает на себя внимание и тот факт, что в случае с царем Нимродом, страдающим манией величия, господь применяет тот же способ: Нимрод тоже строит башню — светозарный символ своего высокомерия, и башня эта была уже такой высоты, что «целый год проходил, прежде чем глину и кирпичи доносили до каменщиков наверху». Но пока они строили, «они пускали стрелы в небо, и стрелы падали назад окровавленные. И тогда один говорил другому: вот теперь мы убили все, что там наверху. Но это господь так совершил с умыслом, дабы ввести их в заблуждение и стереть с лица земли. И он совершил это, смешав их язык, так что один слова другого никогда более не понимал»[2]. Вот как серьезно относится господь к языку. Как он сил не щадит, чтобы язык не стал орудием его подданных, дабы объединиться против него. Мы же, напротив, все понимаем язык «бейсик», с помощью которого воздвигаем свои «башни», невольно подумала я, но это нам ничего не дает; всем нам известен механический голос, звучащий из динамика, и мы делаем обратный отсчет вместе с тем голосом, когда он посылает «башню» с ракетным двигателем в небо, которое, однако, небом уже не зовется, а космосом: five—four—three—two—one—zero![3] Но иной раз эти «башни» низвергаются обратно на землю вместе со своим кровавым грузом...

Это был один из тех дней, когда я вспомнила все знаки, которые нам уже пришлось видеть, не понимая их смысла. Я села и написала письмо, милый брат, крупными буквами, для твоих еще ослабленных глаз, и вписала в него такие слова, как «новое начало» и «возрождение», заставив себя в них поверить, хотя и задалась вопросом — из упрямства настаиваю я на этих словах, или это моя неспособность понять новые обстоятельства жизни, или я просто-напросто считала уместным придать силы твоей воле к выздоровлению, пусть даже ценой небольшого обмана. Мельком всплыла в моем сознании связь слова «обман» — а вернее: «самообман» — с тем «слепым пятном», вокруг которого я описываю все более и более тесные круги...

но вначале я привела в порядок другие четыре или пять писем, содержавших запросы или приглашения, и ответила на них — от приглашений отказавшись. При этом я все время выглядывала в окно. Не хотела пропустить закат солнца, и когда солнце спустилось к горизонту, помчалась на чердак, там из чердачного окна я минут десять — пятнадцать наблюдала, как оно заходило, с такой игрой красок, какую знают лишь северные небеса, ею я никогда вдоволь не налюбуюсь. Мысль, что мне не скучно будет на-

[1] Библия, Бытие 11; 1, 4 6.
[2] Р. и Э. бин Горион «Еврейские сказания».
[3] Пять, четыре, три, два, один, ноль *(англ.)*.

блюдать заходы солнца, даже когда многое и очень многое из того, что сегодня для меня еще так важно, будет мне безразлично или покажется незначительным (как многое из того, что десять и еще больше, двадцать лет назад, я считала важным, сегодня меня не интересует), мысль эта была мне некоторым утешением. Кстати, кроваво-красное, шарообразное солнце было для меня в тот день, когда оно своим краем коснулось края земли, а край этот, казалось, на миллиметр поднялся ему навстречу,— очень далеким, чужим и недоступным небесным телом, и я не в состоянии была понять, как это люди могли когда-либо славить его в стихах и поэмах, и еще меньше понимала я, как можно было его воспевать: *О дивное светило/ Прекрасней нет тебя*[1] Я слышала, как пела это полстолетия тому назад в кухне моя бабушка. Меня же вид этого небесного тела утвердил, в тот вечер по непонятной причине, в уверенности, что мы одни во Вселенной, и как бы высоко или далеко ни запускали мы наши «башни»-ракеты или посылали разные зонды, нам никакой человеческий сигнал не ответит. И зачем посылать в космических кораблях в межпланетное пространство вымпелы с изображением мужчины и женщины — мужчина взметнул вверх руку в знак приветствия и мира,— как послания к человекоподобным существам на других планетах, если те, кто эти корабли сконструировал и создал, не способны теперь зайти в дом к соседу и вытянуть из того хоть какой-то человеческий сигнал, хоть улыбку...

Когда повреждение головного мозга затрагивает еще и центры речи, то полностью разрушается и личность, если голько другие части мозга, как иной раз случается, не возьмут на себя эту специальную функцию. Об этих проблемах, милый брат, мы можем теперь без обиняков размышлять, не правда ли? Вообще, тех проблем, о которых мы можем размышлять, с каждым часом все больше с тех пор, как я знаю, что ты живешь; ты остаешься тем, кого мы знаем. «Утратил», слышу я как ты говоришь; но что же это значит. Утратил возможность регуляции стрессов, которую, по знаку гипофиза, должен принять на себя надпочечник. Знака не последовало, надпочечник не работает, гормон не поступил, ты не можешь регулировать стрессовые ситуации, превысившие определенный уровень. Но этот уровень позволяет тебе все-таки напряженно работать пять часов в день. Кто уж это может! Не слишком ли высокие предъявляем мы требования или придаем им неверное направление? Пожалуй, сейчас твоя главная задача в том, чтобы расслабиться, дать себе волю, отдыхать; наслаждаться тем, что дается без напряжения. А вовсе не в том, чтобы все снова и снова подхлестывать те области твоей нервной системы, которые, быть может, как раз с помощью болезни «хотели» порекомендовать тебе, чтоб ты чуточку их пощадил.

Но ведь это не жизнь.

Нет?

Жизнь без ежедневной интенсивной восьмичасовой работы — это не жизнь В случае, когда уровень производительности больше не обеспечивается, всплывают такие слова, как «инвалид». Язык играет в этом определенную роль, он скоропалительно выдает понятия и укрепляет любое, поначалу скорее смутное, ощущение. И вот слово сказано, оно вырвалось, да в силах ли мы опять избавиться от определенных слов? Если у тебя до сих пор такой проблемы не было, милый брат, теперь она у тебя будет. Так что твой жизненный опыт, как я еще и еще раз пытаюсь дать тебе понять, в известном смысле обогатится. Возможно, за счет нежелательных областей. Сейчас, стало быть, твоя работа заключалась бы в том, чтобы обратить нежелательный опыт в приемлемый и в конце концов, по возможности, в желаемый...

[1] Народная песня.

Но, видимо, я впрямь слишком многого требую.

Когда я несла письма к почтовому ящику, мне пришло в голову: всегда создается такое впечатление, что неприемлемые требования — это следствие упущений в бездеятельно прожитых периодах жизни, которые так просто не выправить доживаемой жизнью. Прошлого не вернешь: чем старше мы становимся, тем больше учимся уважать неумолимость времени, бояться его. Можно сколько угодно ломать себе голову, ища оправдания тому, что не сделано, примерно такое: но я же вместо этого... работала, писала. Это не поможет. Упущение человеку вменяют в вину, и его не возместить... Все ближе и ближе подбираемся мы к нашему слепому пятну. Но было ли, в сущности, оно безусловно необходимо, не было ли другого решения для конструкции человеческого глаза, чем то, которое наделило его слепым пятном? Той крошечной точкой в сетчатке, куда впадает зрительный нерв, далее идущий в мозг. Быстро утешимся: другой наш глаз компенсирует эту незначительную брешь в нашем восприятии мира. Но кто или что может помочь нам закрыть ту брешь в восприятии, которую мы сами, нашим специфическим способом утверждаться в этом мире, неизбежно приобретаем. Где в этом случае искать утешения?

Братство — слово, которое следует здесь сказать. Братские узы, братское единодушие, братские боевые приветы. Не хотим мы больше допускать ожесточенных битв братьев между собой. Наших немых безжалостных битв в детской комнате. Большая сестра выворачивает меньшему брату руку. До глубины души стыдно, что дети одной матери не испытывают сердечной любви друг к другу. Если его рука не будет сгибаться — это твоя вина. *Пра*-вина. *Пра*-преступление, которое можно совершить только против брата, против сестры. Мать и отец, за любовь которых и вспыхивает битва, скрываются за еще более строгим табу. И бесконечно благодарны мы братской руке, которая сделала нам одолжение,— она сгибается. На этот раз она сгибается. На этот раз все закончилось предостережением, которое нам следует раз и навсегда запомнить. Мы с облегчением запоминаем его. А страсти, что вели к упорным, ожесточенным битвам с братом, сбрасываем в тот кратер в глубинах нашего «я», который там заблаговременно образовался как надежный склад непереносимых радиоактивных чувств. И какая нам польза, если мы даже не будем упускать этот кратер из виду.

Слепое пятно.

Сердце тьмы.

Это хорошо звучит, но что-то в глубине моей души неудовлетворено. Где, подумала я, должно быть слепое пятно именно у меня, в моем мозгу,— если можно было бы все-таки определить, где оно находится. Живой язык. Говорить на каком-нибудь языке, формулировать, высказываться. Не должен ли центр высшего наслаждения находиться по соседству с той наиболее темной точкой? Вершина рядом с кратером?

Живой язык. Говорить на каком-нибудь языке. Есть смысл вернуться к этой проблеме. Я ощущаю смятенную вибрацию по расплывчатым краям моего сознания. Если уж какое-либо существо любого вида начало говорить, оно никогда не пойдет на попятную. Живой язык — не тот дар, который можно принять лишь для опыта, на пробу. Он вытесняет многие наши животные инстинкты. Вернуться к ним мы уже — никогда в жизни! — не сможем; мы окончательно выбились из животного мира; младенец, являющийся на свет с архаическими рефлексами, должен в течение нескольких недель их изжить, чтобы развиваться нормально, иначе говоря: развиться в человека. Лобные доли неокортекса взяли на себя команду. Культура — это их продукт. Язык — средство ее передачи, ее условие.

Так что же меня беспокоит? Недоверие, вот что, подозрительность к себе. Мой мозг, выше среднего восприимчивый к языку, видимо, запрограммирован именно благодаря этому коммуникативному средству еще и на ценности той самой культуры. Пожалуй, я даже не в состоянии сформулировать вопросы, которые могли бы подвести меня к исчерпывающим ответам. Свет живого языка ввергнул целые области моего внутреннего мира, лежавшие, видимо, в мои доязыковые времена в тусклом свете сумерек, во тьму. Я этого не помню. На каком-то этапе или на многих этапах нам пришлось включить ту дикость, то неразумие, то звериное начало в культуру, которая как раз и создана была, дабы укрощать необузданность. Ящерица в нас забила хвостом. Дикий зверь в нас взревел. С искаженным лицом бросаемся мы на брата и убиваем его. А потом хотели бы выдрать из головы наш мозг и отыскать этот очаг дикости, дабы выжечь его. Стали бы безумствовать, потому что наш перегруженный мозг не в состоянии нормально мыслить.

Встать. Обойти дом. Сходить на кухню, что-то поделать руками. Нарезать хлеб. Накрошить зелень. Постоять посреди кухни, помахать руками, покрутить ими, как крыльями ветряной мельницы, попрыгать.— Кто-то с улицы окликнул меня по имени. Фрау Умбрайт, жена рыбака, стояла перед дверью с продолговатым пакетом. Вы же любите угрей?— Но заходите, пожалуйста! («Рыба, накопитель радиоактивности!») Мы посидели немного в кухне. Со всеми подробностями узнала я, как мариновать угрей, а фрау Умбрайт обрадовалась, что еще не рассказывала мне про то, как она упала в подвал пять лет назад. Как она чувствовала себя там, внизу, это она еще очень хорошо помнит. А потом: целый год в больнице! Пять операций! Теперь я могла объяснить себе, почему у нее иной раз чуть неуверенная походка, но не могла и теперь еще объяснить себе, как она, питая неприязнь к рыбе, могла выйти замуж за рыбака. Н-да. Любовь зла. Но готовила она рыбу своему мужу всегда, пожаловаться он не мог, и рыба очень была ему по вкусу, не придерешься. Только вот, готовя иную рыбу, жена даже соус попробовать не может, впрочем, с дичью то же самое. Вот они, предубеждения.

Когда фрау Умбрайт ушла, я принялась резать угря на куски, и он, как только я дотрагивалась до него ножом, конвульсивно дергался. Один из обезглавленных, освежеванных угрей соскочил со стола и исполнил на метлахской плитке этакий гротескный танец. У меня мурашки побежали по спине, я громко сказала: да это же только нервы! — взяла тряпку и, ухватывая крепко каждого угря, стала резать их на куски. Но потом едва-едва разжала накрепко стиснутые челюсти. Далее, как рекомендовала фрау Умбрайт, я влила в отвар столько уксуса, что он показался мне даже чересчур кислым, и щедро добавила лука, лаврового листа, перца, соли, а куски угря, чтобы остыли, переложила в фарфоровую миску. Вся кухня наполнилась запахами рыбы и уксуса.

Достав из холодильника то, чем хотела поужинать, я поставила все на поднос и с подносом в руке прошла через очень еще холодную переднюю и по коридору, в котором висит календарь с той самой датой, в большую комнату. Никогда не смогу я исчерпывающе выразить, какие чувства породили во мне этот проход по зеленовато-сумеречному коридору и взгляд, брошенный на некую дату. Стоит ли, милый брат, не щадить жизнь ради того, чтобы выражать свои мысли все более точно, отчетливо, неприкрыто? Иной раз я не стыжусь подобных риторических вопросов, особенно тогда не стыжусь, когда ничем не рискую, ведь ты всегда реагировал на них с пониманием, и так будешь делать всегда, станешь решительнее, станешь вновь подчеркивать свое упрямство времен нашего детства, станешь защищать, если сочтешь нужным, от меня же

мои чуждые тебе, навязчивые идеи, ты, один из немногих людей, которые принимают меня такой, какая я есть.

(Почти через пять месяцев после того дня, который я здесь все еще описываю, мне напомнили одну газетную заметку, ее я несколько недель назад, видимо, пропустила: известный молодой ученый покинул Ливерморский научно-исследовательский центр ядерного оружия, расторгнув с ним контракт. Газету я не нашла. Волнуясь, звоню в редакцию, одна из сотрудниц вспоминает заметку, но не может вспомнить фамилии ученого, обещает, однако, произвести розыск. На следующий день мне сообщили по телефону фамилию, надеяться на которую я не смела: того ученого зовут Петер Хагельштайн.— Да быть не может! — говорю я. Как же, как же, здесь написано, говорит молодая редакторша. Ее удивляет моя безмерная радость. Одному это удалось. Нет ничего окончательного. Придется мне вновь поразмышлять о судьбах и решениях современного Фауста.)

Опять телефон. Голос старшей дочери звучал устало, но я все-таки обрушилась на нее с вопросом: Что, собственно говоря, считаешь ты нашим слепым пятном? — Ах, мама! — Я спросила, попадется ли в ее ответе слово «самообольщение».— Не обязательно, сказала она, она скорее стала бы говорить о той зоне нашей души, наших восприятий, которая нам все еще неведома, ибо слишком мучительно было бы заглянуть в нее.— Что-то, стало быть, вроде самозащиты, сказала я, и она подтвердила это подозрение,— некая благоприобретенная защита от познания самих себя и от нападок со стороны.— Не попытаться ли нам, по твоему мнению, несмотря на это, проникнуть в наше слепое пятно.— С твоей-то профессией?— сказала она. Безусловно. Но одному человеку тут не справиться.— И я, продолжая с ней разговаривать, одновременно сравнила свою категоричность, когда мне было столько лет, сколько ей, с ее категоричностью, и подумала, сможет ли, захочет ли она вообще поверить в мою раннюю склонность к категоричности, и тут же спросила ее, где видела бы она границу такого эксперимента, как упразднение наших пограничных защитных сооружений, и она сказала то, что я ждала: в таком эксперименте нет никаких границ и нет человеку удержу, если уж он серьезно начал этим заниматься.— А депрессии? — сказал я. А опасность самоубийства? — Они тоже на деле окажутся всего-навсего формами обороны, мучительными, правда, но все же их перенести легче, чем осознание собственного подлинного убожества. Если уж эти формы обороны будут допущены, так отступит и депрессия, и возрастет решимость действовать — болезненный, правда, но доставляющий наслаждение, захватывающий процесс.— О дочь, сказала я, да услышит тебя господь бог.— Вот видишь, сказала моя старшая дочь, вот ты опять обороняешься; и хотя я прекрасно понимала, что просьба о пощаде есть не что иное, как оборона, я не могла не оспорить ее утверждение и как можно скорее обратила ее внимание на механизмы обороны многих культур. Эти вопросы не в ее компетенции, сказала она, но почему не обретет надежду такая культура, если как можно больше ее носителей осмелится без страха взглянуть в глаза правде о самих себе? А это значит не перекладывать угрозу на внешнего врага, а оставить ее там, где ее место — в недрах собственной души.— Не самая ли это утопическая из всех утопий, спросила я себя, не ее.

Пока мы еще толковали о нашем личном опыте со страхом (не отличаются ли поколения объектами страха больше, чем всем другим?), к телефону подошла внучка. Да, сказала она, в общем и целом все о'кей. Знаю ли я «Принца». Собаку? — спросила я неосторожно и в ту же минуту поняла, как снова обнаружила этим вопросом свою полнейшую неосведомленность. Когда бурная реакция на другом конце провода улеглась, выяснилось, что Prince — это певец рок-ансамбля и очень похож на нового друга моей внучки.—

Тот же шиворот, да навыворот,— сказала я, но это она пропустила мимо ушей. Она познакомилась с ним, Майком, новым своим другом, на прошлой неделе в дискотеке: Он — душка.— Блондин или брюнет? — спросила я.— Конечно, брюнет. О блондине никогда и речи бы не было.— Никогда не следует говорить «никогда», сказала я, и словно бы услышала голос моей матери, произносивший эти слова, увидела, как она говорила со своей внучкой, моей дочкой, по телефону: Но, дитя мое, не слишком ли это рано! — так вот, этих слов я моей внучке не сказала, а выслушала ее бурно-эмоциональную оценку разных учителей, все время заботясь о том, чтобы поровну поделить мое сочувствие между ней и ее учителями, но внучке моей не было надобности в чувстве справедливости, ее вполне устраивала собственная уверенность в своих симпатиях и антипатиях.

Бог мой, не выдержала все-таки я, когда к телефону опять подошла моя дочь. Теперь все случается на год-два раньше, да? — Они торопятся, ответила дочь. Возможно, какое-то шестое чувство подсказывает им почему.— Тяжко? — спросила я, и она сказала: Иной раз да. Я же обратила ее внимание на влияние воздающей справедливости, которой как раз и требуется время целого поколения, чтобы начать действовать. А потом поинтересовалась внуком. Смогут ли они в эти дни удержать его дома.— Исключено, ответила дочь. Он целый день носится на велосипеде по улицам. Но они его как следует моют под душем, а уж если пойдет дождь, так он останется дома. Кстати, он сейчас размышляет над серьезными вопросами бытия. Сегодня, к примеру, сидя в уборной, он спросил через дверь у отца: Папа, как это большая дверь уборной влезает в мой маленький глаз? — Бог с тобой! — сказала я. И что же? — Разумеется, отец в ответ выдал ему точную схему: дверь уборной, глаз, в котором скрещиваются световые лучи, путь через зрительный нерв к зрительному центру в мозгу. И уже забота мозга вновь довести крошечное отражение в сознании реципиента до нормальной величины.— И что? Он удовольствовался этим? — Ты же его знаешь. Представь, что он сказал! Он сказал: А где гарантия, что мой мозг действительно доводит дверь до ее истинной величины? — Н-да, сказала я после небольшой паузы. Слушай, а вообще-то: где действительно этому гарантия? — Ну, хватит! — одернула меня старшая дочь, и мы еще поговорили о том, как трудно им как раз сейчас, после долгой зимы, не есть зелени, которую наконец-то можно купить. Мы и о тебе поговорили, милый брат, и я уловила, что дочь теперь, после операции, прямее высказывает мне свои опасения, основанные на ее профессиональных знаниях, чем до того. Бережное отношение подобного рода я бы охотно ей запретила, но я подавила это побуждение и лишь мельком задалась вопросом, когда, собственно, «бережное отношение» переходит с детей на родителей, против чего мне захотелось еще раз восстать. Вот я и задала дочери неожиданно вопрос, придерживается ли она все еще нашей некогда общей с ней веры: что высказано — то преодолено, или считает ее теперь суеверием. На это она мне не ответила, мне самой пришло в голову, что на этот счет мы, пожалуй, никогда не придерживались с ней одной веры, я поняла, что подобные вопросы для нее пройденный этап, она не хочет пугать меня своими новыми взглядами. И видимо, не верит, что я в состоянии их и вправду признать. Болезненным рывком сделала я еще один шаг вперед в осмыслении процесса смены поколений; ощущение, что я этакое ископаемое, обострилось, добрая старая ящерица во мне с наслаждением забила хвостом, или это было что-то вроде дельфина, ведь вечером, отпив первый глоток вина — за тебя, милый брат! За твое здоровье! — я позволяю себе всякого рода невероятные идеи: я чувствую с злобным иной раз облегчением и даже радостью, как отступает моя самоцензура, и вот, обрадовавшись,

я ударилась в фантазию, дельфины — умные животные, милый брат, у которых объем мозга, отнесенный к весу их тела, не намного уступает нашему — могли некогда, в древние времена, по здравом размышлении отказаться от дара речи, который, быть может, им тоже предлагался, дабы сохранить свои коммуникативные сигналы в ультразвуковом диапазоне, свое немыслимое без игры существование и свое дружелюбное поведение. Ибо (так уяснила я себе, обладая вечером этого дня сниженным порогом торможения, когда, подвинув столик с ужином на подносе к удобному креслу, попеременно смотрела разные телевизионные программы и подкреплялась), ибо мы можем кружиться и вертеться как хотим; можем встать на голову — дружелюбными мы быть не можем. Мы приняли дары лжебогов, и все мы, каждый из нас, вкушали лжеяства с лжеблюд.

Но что значит, что вообще может значить хоть какая-то, даже самая удачная формулировка,— ведь так много уже говорено и написано, и все плотнее цепь тошнотворных слов,— вот уж что никогда не сочла бы возможным, милый брат, и пока скажу только тебе, стареть — это значит: с человеком случается все, что он в жизнь не счел бы возможным, да как бы могла я предусмотреть, что меня будет тошнить поначалу от слов вообще, а потом от моих собственных слов и с какой молниеносной быстротой начинает тебя тошнить от самого себя, это мне тоже в голову бы не пришло; неправда, стало быть, что, становясь старше, человек не узнает ничего нового; кто преждевременно уходит, тот, как ни трудно ему было иной раз одолевать внутреннее сопротивление, преодолел до сих пор лишь предполье; только тот, кто стареет, достигает цитадели и в свои самые черные и самые искренние часы видит в ней свой собственный образ, тут уж ни от страха не заговоришь, ни от ужаса, тут уж вообще не заговоришь, и пусть в центре циклона царит безветрие, и даже полная тишина (не спокойствие, а тишина, нет там никакого шума), если там положительный и отрицательный полюса совпадают. А «стыд» — тоже прекрасное старинное слово, и можно только остро позавидовать тем, кто, испытав стыд, получает право обновиться, кому, благодаря чистосердечному признанию, суждено очищение, но речь теперь не идет об обновлении или очищении, речь идет о всеобщей гибели, и не о каких-либо обещаниях, не говоря уж о чувстве уверенности в том времени, какое за ней последует, кроме уверенности в одном — исправление исключено; но обязательно ли, вопрошают остатки чувства сопротивления у человека, чтобы охота к писанию и разрушение были спарены; окружающее того, кто пишет, разрушение — как часто я его наблюдала, как страшилась его, иной раз умела его обойти, но не всегда умела его избежать, ибо в самой природе этого занятия, в существе греха писания, сдается мне, заложено, что оно не знает оглядок, а решительный процесс писания, о котором так много говорилось в одобрительном смысле, всегда ведь прихватывает людей, личности, каковые, будучи описаны, становятся пострадавшими, чувствуют, что за ними наблюдают, что их клеймят позором, разделяют на категории, что они непоняты, в худших случаях — преданы, но уж в любом случае — что их ради удачной формулировки держат на известном расстоянии; против всего этого я не знаю иного средства, кроме молчания, которое перемещает зло из внешнего мира во внутренний, выходит, себя следует щадить меньше, чем других, вот и опять самообман.

Круг, казалось, замкнулся, этакий порочный круг, грудь мою сдавило до боли, но тут моя усердная память, иной раз все же в союзе со мной, подкинула мне парочку строк, стихотворных, одного из старых поэтов, и мне стоило только изменить одно слово, чтобы разорвать этот круг:

Не вздумай извиняться,
Скажи лишь, как все было [1].

О да. Добрый старый девятнадцатый век. «Извинять» или «извиняться» — вся разница в окончании, и оттого-то можно, подумала я, нет, нужно все-таки вновь порадоваться языку. Скажи лишь, как все было. Это «лишь» доставило мне истинное удовольствие.

В тот вечер по многим каналам телевидения показали впервые чертеж потерпевшего аварию реактора, схему, которая со временем наверняка так же запечатлеется в нашем мозгу, как и символ атомного гриба. Перед камерами посадили уважаемых людей, которые только своими элегантными серыми или серо-голубыми костюмами, своими подходящими к костюмам галстуками и подходящей стрижкой, своим осмотрительным подбором слов и всем своим точно бы заверенным в официальных инстанциях видом излучали успокоение — в полную противоположность тем нескольким более молодым бородатым людям в свитерах, которые своими взволнованными речами и бурной жестикуляцией возбуждали подозрение, что микрофоны они захватили противозаконно, и я подумала о людях в нашей стране, о работящих, тихих людях в обеих странах, взгляды которых соединяются вечером на экране, и мне стало ясно: к тем, в свитерах, они будут прислушиваться меньше, чем к тем, в деловых, сшитых на заказ костюмах, с деловым видом высказывающим деловые мнения. Люди в обеих странах хотят после дневных трудов отдохнуть вечером в кресле, как я, выпить пива — у меня это вино, ну и ладно,— и хотят, чтобы им показали что-то на экране, что их бы порадовало, пожалуйста, пусть хоть запутанное дело об убийстве, но пусть оно их не слишком затрагивает, это вполне нормальное поведение, привитое нам воспитанием, и несправедливо было бы упрекать их теперь в таком поведении только потому, что оно способствует нашему изничтожению. И в себе я ощутила сильнейшую тягу к подобному нормальному поведению, вино мое было хорошо охлаждено, оно зеленовато искрилось, когда я поднимала бокал к свету, и я хорошо чувствовала себя в кресле, в этой комнате и в этом старом доме, и ты, милый брат, наверняка выздоровеешь, и почему бы целой куче других проблем не разрешиться вполне благополучно. Так, по мне, все могло бы продолжаться еще какое-то время, как оно шло, и с этой тайной надеждой я слушала то, что говорили уважаемые люди с телеэкрана. По одному из каналов они передавали обстоятельную информацию об облаке, которое в каком-то смысле тоже стало членом нашей огромной телевизионной семьи, этаким малышом-грязнулей, и если я их правильно поняла, наше облако в какой-то момент разделилось или его по одной трассе тянуло вперед, по другой — назад; во всяком случае, как на севере, так и на юге Европы наблюдался огорчительный рост радиоактивности, но крестьянам — а они ругательски ругались, глядя на экраны, потому что никто не мог им сказать, кто заплатит им за их уничтоженный салат,— крестьянам и я не могла помочь; их деньги — это их проблема. Моя же проблема — поразмыслить над тем, должны ли были мы в случае реальной опасности, подобно этой, и впрямь причислять себя к Северной Европе, как мы обычно опрометчивым образом и, собственно говоря, из тщеславия поступаем, или мы все-таки, чтобы быть точными, принадлежим к Центральной Европе. Между тем уважаемые господа в костюмах перечислили друг другу все факторы, исключающие аварию на реакторе, и еще раз привели себе и нам все основания, по которым получалось, что так называемое мирное использование атома есть непреложность — их слово, и если один выступавший не мог тотчас привести какой-либо аргумент, другой приходил ему на помощь, все

[1] К.-Ф. Хеббель. «Гигес и его кольцо», трагедия (1856). «Не вздумай извинять меня».

словно на хорошем уроке в школе, и я так внимательно их слушала, что уже через несколько минут могла сама им подсказывать, что и стала делать для пробы, почти каждый раз попадая в точку. Но тут ведущий, который явно хотел, чтобы установилось здравое и спокойное умонастроение, решил, что теперь может без всякого опасения побудить одного из двух выступающих на заявление, что, стало быть, и в этой наиболее передовой области науки и техники возможны абсолютно надежные прогнозы безопасности сооружений, о которых идет речь. Само собой разумеется! — хотела я помочь спрошенному, но явно поторопилась, ибо тут мы с ведущим, к нашему удивлению, болью отозвавшемуся в сердце, поняли, что спрошенный при всей готовности пойти навстречу ведущему не даст подвигнуть себя на такое заявление. Н-да, услышали мы его ответ. Абсолютно надежных прогнозов — их для столь молодой отрасли техники, конечно, нет. Приходится, как обычно в новых развивающихся технических областях, идти на известный риск, пока и эта отрасль техники не будет нами в полной мере освоена. Это — закон, который имеет силу и для мирного использования атомной энергии.

Тут бы крови в моих жилах застыть. Тут бы мне испугаться или возмутиться. Ничего подобного. Я знала, что они это знают. Только вот что они это выскажут — пусть хоть в этот единственный раз,— этого я не ожидала. У меня в голове промелькнул текст письма, в котором я,— заклиная, как же иначе,— хотела кого-то уведомить, что риск при атомной технике нельзя сравнить почти ни с каким другим риском и что даже при самом минимальном факторе небезопасности от этой техники обязательно следует отказаться. Для этого письма в голову мне не пришел ни один возможный адрес, и я, ругнувшись раз-другой, переключила канал. Совсем выключить телевизор у меня чаще всего не хватает решимости, и уж тем более в тот вечер. Можешь назвать это болезненной страстью, милый брат, ведь ты, мягко упрекая меня, так это и называл; я не буду с тобой спорить. Каждому своя педаль, как крысам — их педаль, каждому свое слабое место, через которое в него проникает благодать цивилизации.

У меня был выбор между двумя фильмами, оба фильма я уже знала. В более старой черно-белой картине актер, игравший мужа Ингрид Бергман, пытается ее, свою жену, свести с ума — при помощи мигающих газовых ламп и подобных примитивных предметов. В другом — некоему стареющему английскому офицеру тайной полиции, уже, собственно, пенсионеру, удается добрыми старыми психологическими методами разоблачить агента противника в собственном главном управлении. Тона коричневатые, изысканного вкуса, искушенные актеры. Я непрестанно нажимала на кнопку и каждого фильма видела примерно половину. А хорошая ли тренировка мозга такое непрестанное переключение или оно ослабляет способность сосредотачиваться, заботило меня в тот вечер меньше всего. Я чувствовала себя на голову выше агентов обеих мировых систем, ибо они не знали, и долго, быть может слишком долго, не уразумеют, что с их профессией покончено. Одно, два, три радиоактивных облака из одного, двух, трех реакторов в различных частях мира, и правительства вынуждены будут, руководствуясь инстинктом самосохранения, пойти на то, чтобы буквально навязывать свои тайны противной стороне. Но конечно же, я не строила себе иллюзий по поводу того, отметили ли хозяева этих симпатичных агентов уже нынешним вечером, что это маленькое радиоактивное облако способно своего врага — *как врага* — растворить в Ничто. Что в числе многого другого нам придется отказаться — а этого оно от нас категорически потребовало — не от такого уж пустяка, придется отказаться от образа врага. Правда, мне пришлось задаться во-

просом: может ли вообще исправно функционировать простой инстинкт самосохранения у людей, которые достаточно долго сосредотачивалась на уничтожении врага...

Я еще раз пошла к телефону. Вечером дежурная сестра — теперь уже ночная сестра — тоже сказала что-то успокаивающее моей невестке, милый брат. Да, да, ты проснулся, хотел пить, тебе дали пить. Как благодарна я была сестре, утолившей твою жажду. Мы с невесткой друг друга обоюдно успокаивали, затем немного поговорили о том, как провели этот день, но не упомянули о том и знать о том не хотели, что ты себя очень плохо чувствовал, что тебя тошнило и что у тебя начались сумасшедшие боли. Я уговорила невестку принять на эту ночь снотворное, чтобы отоспаться. Все еще не в силах были мы, да и не хотели высказать друг другу все, что рисовало нам наше воображение, какие кадры прокручивались перед нашим мысленным взором в различных вариантах, среди них и такие, что операция может не удаться. Эту серию кадров мы, однако, направили в те центры нашего мозга, где реализуется забывчивость...

Я выключила телевизор, заперла входную дверь, потом заднюю, вымыла посуду после ужина, положила колбасу в холодильник, обнаружила при этом муравьиную цепочку, которая ползла по кухонному полу впритык к холодильнику и вдоль него по направлению к кухонному шкафу, поднималась прямиком по стенке шкафа, а уже на мраморной доске целенаправленно устремлялась к банкам с повидлом на подносе. Вот теперь мне наконец понятно, как муравьи попадают в повидло. Мне надо было еще очистить от муравьев шкаф и пол, я их стерла, утопила, растоптала, смела и смоченным в уксусе ватным тампоном заткнула крошечную дырочку в трухлявой дверной балке, из которой они вышагивали непрерывной цепочкой. На несколько дней этого, пожалуй, хватит. Потом я, к счастью, вовремя вспомнила, что надо наполнить ведра и кастрюли водой, поскольку, согласно объявлению на стене магазина, следующим утром из-за ремонтных работ на нашей маленькой насосной станции на час-другой отключат воду.

В ванной я заставила себя проделать все, что проделывала каждый вечер, хотя страшно устала и хотела только спать. Выпало у меня сегодня волос больше, чем обычно? Каковы, вообще, первые симптомы? Но мне еще надо было подыскать себе книгу, прочесть в ней страницу-другую, чтобы уснуть. Мне, верно, нужно благодарить усталость за то, что с полки я вытащила ту тонкую книжицу, автора которой мне давным-давно настоятельно рекомендовали, но книг его — из-за неприятия морских историй — я до сих пор не читала: Джозеф Конрад. *«Сердце тьмы»*. Наслаждаясь первыми секундами отдыха в постели, я установила лампу на гибкой подставке в удобном мне положении и безучастно прочла первую страницу, на которой, как и следовало ожидать, речь шла о каком-то корабле. Мореходном ялике, называвшемся «Нелли», что стоит в устье Темзы и ждет отлива. Н-да. Я попыталась представить себе устье Темзы, каким я видела его однажды, но увиденная мысленным взором картина была тотчас вытеснена описанием вечерней зари над водой, которое заставило меня проснуться. «День безмятежно догорал в ослепительном блеске»[1] — так оно начинается. Я перечитала это описание дважды. Потом, однако, рассказчик по имени Марлоу внезапно выпалил мне прямо в лицо: «И здесь тоже был один из мрачных уголков земли». Тут-то я наконец ощутила словно бы удар в сердце, который я ощущаю только в тех случаях, когда пишущий говорит со мной из глубин своего собственного опыта.

И здесь тоже был один из мрачных уголков земли, и здесь тоже. Да, и здесь тоже. Я прислушалась к ночным звукам, долетавшим до

[1] Перевод А. В. Кривцовой.

меня в открытое окно, тихий ветер, заспанное тявканье собак, первый раз в этом году — лягушки. В напряженном ожидании читала я дальше, и через несколько строк мне уже было ясно: Да, этот Марлоу понимает, что к чему. Он уже все видел и все понял, за сто лет до этого «нашего времени», и вот я лежу и прислушиваюсь к нему со страхом и восхищением, прислушиваюсь, как он говорит о джунглях, о глубочайшей тьме незнакомого континента, Африке, и о тайнах в сердцах его обитателей, к которым для белых завоевателей дороги нет. «Заметьте: никому из нас эти чувства не доступны. Нас спасает сознание целесообразности, верное служение целесообразности...» Слоновая кость. Слоновая кость в любых количествах, за любую цену, любым мыслимым и немыслимым способом вырванная у диких мест и у дикарей. Кто когда-нибудь забудет старого негра, которого безжалостно избивают. Кто забудет погребальную рощу. Кто — туземную деревню, которую ее жители покинули в паническом ужасе: «Мне неизвестно, какая судьба постигла кур. Однако я склонен думать, что они достались служителям прогресса». Я застонала, по многих причинам, одна из них — восхищение автором. Как хорошо понимал он, что к чему. Каким же, очевидно, был одиноким. И как же мне дальше жить еще и с этими соединенными цепью шестерыми неграми. «Их называли преступниками, и оскорбленный закон, подобно разрывающимся снарядам, явился к ним, словно необъяснимая тайна с моря». Сил не хватало читать дальше, во всяком случае в этот вечер. Но, перелистывая страницу, я все-таки кое-что выудила. Так, например: «Истина... истина, с которой сорвано покрывало веков». Завтра продолжу чтение, возможно, захочу уточнить, какими средствами он добивается подобного воздействия. Как удалось ему освободиться от таких понятий, как «средство», «воздействие» — что труднее всего. На сегодня с меня хватит. Он, этот автор, знал, что такое скорбь. Он, не только мысленно, вторгся в недра слепого пятна той культуры, к которой и сам принадлежал. Бесстрашно вторгся в сердце тьмы. А свет, который и ему, видимо, освещал путь, представлялся ему неким «блуждающим солнечным пятном на равнине, вспышкой молнии в облаках».

Мы живем в этой вспышке — пусть же пока земля вертится, все так и будет.

Вот что говорил мне этот человек — такие слова, как «ненависть» или «любовь», я у него вряд ли найду, так он робок. «Алчность» — встречалась, и даже часто. Алчность, алчность, алчность...

Перед тем как заснуть, я увидела мысленным взором те приспособления в отделении интенсивной терапии, которые они называют «капельницей». Ты лежишь с капельницей, брат? Спишь? Тут некий голос стал читать мне, пока я не заснула, то место из сказки, когда настоящая королева была обращена в утку. Однажды ночью поваренок увидел, что какая-то утка приплыла по водосточной канаве и заговорила: Король, что ж ты молчишь, ты бодрствуешь или спишь...[1]

Поздно ночью меня резко разбудил какой-то голос и чьи-то рыдания. Голос кричал откуда-то издалека: A faultless monster![2] Рыдания, заметила я спустя немалое время, были моими собственными. Я сидела в постели и рыдала. По лицу лились потоки слез. Только что я видела во сне, как гигантская, близкая, омерзительно разлагающаяся луна быстро исчезла за горизонтом. К темному ночному небу прикреплено было огромное фото моей покойной матери. Я закричала.

Как же трудно было бы нам, милый брат, распрощаться с нашей землей.

■

[1] Сказка братьев Гримм «Три маленьких лесовика».

[2] Настоящее чудовище *(англ.)*.

ТОМАС МАКГРАТ

...кроме последнего

РОМАН

Перевод с английского Г. ЗЛОБИНА

Часть третья

ЧЕТВЕРГ И ПЯТНИЦА

Приготовься участвовать в карусели погони, карнавале добычи. Утром — отчаяние, вечером — психоз, а в промежутке — отчуждение. Механизм утра безжалостно пристегивает людей к бесконечной ленте необходимости, днем они попадают в жернова доходов и расходов, и их, как пешки на доске, передвигают взад-вперед согласно замыслу, который им не дано понять, но вечер приносит на крыльях ветра фортепианные пассажи и волшебный голубой ключ мечты и надежды, отпирающий любые двери. У каждого на дню попеременно три обличья: беглец, жертва, охотник. У всех на дню три желанья: спастись, разрушить, добыть. Одно за другим следуют царство тревожных будильников, царство равнодушных звонков, царство манящих неоновых вывесок. Утро, день, вечер.

Когда первые высыпавшие звезды успокаивают взбаламученное море и неяркие огни на улицах разбегаются, как косяки рыб, когда пивные преображаются в исповедальни, а кино — в заповедные места чудодейства, когда те и другие зовут к обновлению и дуновения надежды согревают пространства жаждущей плоти, тогда начинают раздвигаться дома, шире и дальше раскидываются проспекты, и кажется, что исполнимы все желания.

Царство неоновых вывесок окрашено в цвета вожделения. Уже прочитаны газеты. История заснула на ночь. За обрешеченными окнами, в любовно обставленных, обитых мягким квартирах-камерах утихомирились буйные, и последний на дню самоубийца, едва-едва вскарабкавшись на девяносто четвертый этаж, в облегчении останавливается на площадке и потом, повременив, начинает долгий спуск в иной кошмарный сон.

Закружилась карусель погони, разгулялся карнавал добычи. На Таймс-сквер отпирают клетки, но ранние отчаявшиеся птахи уже там: разогнув пружинистые прутья, они прокрались в львиные логова и змеиные ямы. Неудачники пожимают рукоятки игральных автоматов. Разочарованные в любви прячутся по кабинкам в барах, сосредоточенно, до бесконечности фиксируя собственные ощущения. Кто с шампанским, кто с поганым пойлом, они измеряют давление на дне дурманного моря, но все они не более чем китайские кули, которых сог-

Окончание. Начало см. в № 11.

нали для освоения азиатских пределов исчезнувшего континента. Они уже побывали там и снова отправятся туда, потому что у них международные паспорта, изготовленные из нержавейки и заполненные на эсперанто. В их карманах бренчат жетоны к турникетам, которых пока не изобрели. У них на ладонях вместо линий судьбы — маршруты недоступных дорог.

Но есть и другие.

По Великой Равнине Детства с бешеной скоростью, от которой на руле трясутся руки, мчатся, приближаясь к Последнему Перевалу, мужчина и женщина. Единственная их защита — неведение: головы двадцать второго размера и туловища сорок пятого, а из припасов у них — лишь пол-литра дешевого виски. Они едут по Чизолмовой тропе[1] на подержанном «форде». Ночуют под черными скалами, прикрытые от холода только друг другом. Неподалеку бродит последний бизон — сгорбатившийся, фыркающий, обреченный на вымирание, но этим двоим, погруженным в блаженный окаменелый сон, не до него. Это первопроходцы, быть может, именно в них наше спасение, потому что они не участвуют в карнавале погони за добычей, хотя они тоже ночные птахи, пробирающиеся в девственные края. Но тебе, нейтралу, межеумку, только кажется, что они еще свободны и что рояль еще не переделали в механическое фортепиано. Долго ли сохраняется тепло суровой зимой? Когда в циклонном безвоздушье отчаяния лопаются стекла в окнах, когда постель продувают студеные ветры, несущие запахи мертвых бизонов и исчезнувших индейских племен, запахи утренних гудков и боя часов,— надолго ли хватит того теплого сладостного дыхания? Тебе, нейтралу, ничейному человеку на ничейной земле, не надо задумываться над такими вещами, ибо единственное твое назначение — быть зрячим среди слепцов. Ты наблюдаешь, как на улицах начинается карнавал погони за добычей.

Посреди ревущих, островерхих, как акульи зубы, вод Манхэттена разбросаны атоллы парков, где прячутся влюбленные. На них стареньких, немодная одежда, и лунный свет кислотой льется сквозь порванные шляпы им на голову. Они в стороне от судоходных путей, где-то далеко, на неисчисленной широте. Ноги у них сбиты кораллами в кровь, у них нет ни ружья, ни удилища, приближается пора муссонов, умирают от неизвестных болезней кокосовые пальмы. Но те, кто любит, уцелеют.

Стихия истерии достигает сверхчеловеческих отметок. В одиннадцать вечера надежды начинают рассеиваться. Все перепробовано, и все впустую. Полуночное мечтание — полная противоположность полуденному плану, но они связаны иронией бытия. Между погоней за добычей и ее противоположностью — несчастным случаем — тоже есть связь, и эта связь — счастливый случай, хотя нищий попадает в постель к жене банкира только тогда, когда он уже потерял от голода мужскую силу. Железнодорожный экспресс отправляется к заливу Баззардс, но прыгает через пути и в итоге прибывает в Таллахасси, однако вся соль в том, что диспетчер направил поезд в Омаху, а машинист хотел попасть в Дулут. Красное переходит в черное, чет — в нечет.

Заевшее механическое фортепиано без конца барабанит один и тот же мотив, который давно пора забыть, а саксофоны ржут, как застоявшиеся жеребцы. Колокола сорвались с цепей и поплыли над городом, вызванивая все часы суток одновременно. Поджигатель исхитрился спалить пожарное депо, но только потому, что этой ночью больше ничего не загорится. В полицейском участке избивают убийцу. Он давно во всем признался и говорит чистую правду, но легавые не верят ему и бьют, бьют его — до тех пор, пока он не начнет отрицать

[1] Чизолмова тропа — большая скотопрогонная дорога из Техаса в Канзас, которой пользовались до конца XIX века. Названа по имени американского путешественника Джесса Чизолма (1806—1868).

вину. Крапленые карты позабыли шулеров, а дома вывесили свои номера.

И все же никто не хочет сдаваться. Всегда попадется бар, куда ты еще не заглядывал, а там проститутка, готовая утолить твою жажду любви, и всегда найдется последний глоток, который опьянит, и последняя надежда — та, что переживет ночь и наутро подымет ясный, как у подсолнуха, лик и окрасит мир вокруг.

По ночному, погруженному в кошмарные сны городу рыщут исчезнувшие племена, преследуя вымершего косматого мамонта. Раскалываются и разверзаются тротуары, падают стены. За каждым поворотом — ад, и под каждой кроватью — дьявол; обыкновенный ад и совсем не страшный, примелькавшийся дьявол, вдруг оборачивающийся в того единственного друга, которого ты ждал всю жизнь,— так же, как длительное знакомство переходит иногда в любовь. Но впереди все равно маячит утро, оно обязательно настанет, и, по мере того как стрелка часов подвигается к двенадцати, к тому часу, когда пора ложиться спать и видеть сны, мрачная тень завтрашнего дня все сильнее заволакивает светлеющую ночь. Она постепенно облачает людей в свинцовую оболочку, чтобы они не облучились надеждой. Никто не посеял семя подсолнуха — и не посеет.

Тают жизненные силы, пустеют улицы. В бутылке с выпивкой идет химическая реакция, алкоголь делается слабым, как вода или кровь. Случайно встречаются старые приятели, протягивают друг другу руки, но рука хватает пустоту и стыдливо прячется в карман. Одному попадается у парка симпатичная женщина, но, присмотревшись, он видит, что она — лунатик, и обнаруживает, что забыл родной язык и может говорить лишь на каком-то чужом, которого сам не понимает. Другой натыкается на труп, валяющийся на мостовой, зовет полицию, однако санитарная машина увозит в морг его самого. Несчастный случай.

Перебраны все возможности, исхожены все дороги, спешиваются усталые всадники. По-прежнему звучит рояль, но и он теперь механический. Голубой ключ в руках — только отпирает он не те двери.

Четверг, 4 утра

Меня что-то распирало изнутри, и над головой захлопывалась крышка люка. В щель пробивался красный язычок пламени и маслянистый дым, и я ждал, что еще немного — и запахнет горелым мясом, но запаха не было, зато вдали послышались какие-то крики; потом я сообразил, что кричу я сам, кричу истошно, надрывисто, так, что едва не лопаются голосовые связки, и вдруг оказалось, что это вовсе не крик, а мое тяжелое прерывистое дыхание. Потом я куда-то провалился и, падая, видел внизу штыки железной ограды.

Я проснулся весь в поту и понял, что это было во сне, а наяву — прохладная комната и дыхание спящей рядом Кей. По авеню проехал автомобиль. Скреблись в оконное стекло ветви. Где-то далеко замирал колокольный звон. Я посмотрел на часы — светящиеся стрелки, точно непогашенные угольки в печке, показывали четыре утра. Я знал, что больше не засну.

В ванной белизне мне стало лучше. Одевшись, я разыскал бутылку, которую Кей всегда держала на всякий случай, но виски показалось мне пресным, и я убрал бутылку на место. Я не мог спать и не мог пить, значит, ничего не остается, как сидеть наедине с самим собой до утра. Тогда от нечего делать я принялся разглядывать развешанные по стенам картины, словно ожидая что-то найти в них. Ничего такого я не нашел.

Взгляд мой задержался на одной картине, написанной маслом по стеклу и изображавшей тоже стекло: два куска в разных планах, один позади другого, скрепленные какой-то рамой наподобие ящика,

и между ними промежуток в пару дюймов. Обычная абстрактная композиция, которая, бесспорно, возбуждает чувство пространства, перспективы и порядка, если природа наделила тебя таковым. Эта вещь говорила мне больше, чем другие, потому что в ней была дополнительная глубина. Чего ей не хватало — так это людей и движения.

Правда, если ввести в картину движение, жизнь, то она будет безнадежно испорчена, перестанет быть искусством. Кто-нибудь из людей обязательно сойдет со стекла, и получится путаница и пачкотня, а не аккуратный, яркий предмет для чисто зрительного восприятия. Если добавить картине движения, она просто-напросто взорвется в руках — так же, как сорвалось собрание и сломалась дружба, а такой тип, как Блэки Кармоди, наверняка выпрыгнет из рамы да еще откроет по тебе огонь.

Нет, лучше просто глядеть на картины, чем думать о них, но я не мог глядеть без конца. И вообще — надо разобраться с Блэки. Не шпана же я, говорил он, не собираюсь я грабить беднягу с конфетной лавкой. Он просто придумал себе оправдание, но оно — сплошной самообман! А что, если пририсовать к картине самообман? Поместить где-нибудь между квадратами и треугольниками — и пусть сохранится навечно. Ничто не мешает чувствам сохраниться навечно, особенно если они умерли и не имеют ничего общего с живым Блэки, который пошел в услужение к Келли. Рано или поздно он, пожалуй, и в самом деле приберет к рукам пирс, о котором мечтал, а в один прекрасный день такое выкинет, что старика с конфетной лавкой смешно будет и вспоминать.

Как славно было бы поставить на этом точку! Но, с другой стороны, он спас мне жизнь. Вот еще один непреложный факт в жизни Блэки. Разве от него отмахнешься? Черные и белые клетки перемешались. Планы, которые мы строили, характер Блэки Кармоди, мои мысли — все поломано, перемешано, раскидано по темным углам, поди собери!

Я открыл окно и выглянул наружу. Было темно и холодно, почти как зимой. Солнечная, теплая не по сезону погода, которая держалась последние дни, кончилась. Тускло поблескивающие под фонарями тротуары казались чугунными и чужими. На город надвинулись низкие, густые тучи. Я продрог, и настроение было отвратительное.

Время словно остановилось и не обещало утра, но стрелка часов подползла-таки к пяти, потом к шести и замерла на шести тридцати. Я понял, что жду отнюдь не утра и не хочу объясняться с Кей, когда она проснется. Вчера я пришел поздно, она уже спала, так что надо оставить записку. Я прикрепил листок к краю мольберта.

На нем был тот самый автопортрет. Видно, как раз работает над ним. Не нравится он мне. И не в носе дело. Лицо, все его линии вроде бы на месте, но нечеткие они, размытые, как будто смотришь на человека сквозь стекло, усеянное дождевыми каплями, или под водой. И глаза какие-то неживые, просто краска на холсте, и в них лишь намек на характер — от неверного мазка, что ли. Они пристально и безо всякого выражения смотрели на меня, следили за мной, куда бы я ни повернулся. До чего же чужое, незнакомое лицо, думал я, даже не чужое, ты знал его когда-то, потом забыл и вот встретил снова через несколько лет — черты его изменились не сильно, и ты припоминаешь их, но память упрямо отказывается подсказать имя человека.

Четверг, 7 утра

Патрик Джеймс Келли проснулся против обыкновения в настроении приподнятом. Он полежал в постели, стараясь разгадать причину. Может быть, он видел хороший сон, *наверное, приснилось что-нибудь*, но в памяти не отложилось никаких следов сновидения, да и *нет это мне не снилось* все его сны последние месяцы были как один — дур-

ные. Недавно он начал понимать, что смертен, причем не только умом, как отвлеченную возможность, а физически ощущал смерть всем существом, и эта боязнь умереть резче обозначала болезненную складку у рта и вызывала вереницу одних и тех же повторяющихся снов. Ему снились опустевшие улицы, большие белеющие обезлюдевшие дома — то ли больницы, то ли что-то еще, черные пароходы и длинные поезда, бесшумно трогающиеся с темных вокзалов. Он мысленно перебирал сейчас эти картины, медленно и мучительно ища в них иной, потаенный смысл — так паломник, взбирающийся по стопам Христа на Голгофу, останавливается там, где делал остановки Он. Легкое беспокойство мгновенно улетучилось, как только он прыснул со смеху *прищучил я их, подонков,* еще не осознав полностью причину радости — разгон собрания вчера вечером.

Келли бодро поднялся с постели, пошел в ванную бриться. Он остался доволен своей внешностью. Ему даже показалось, что сегодня он выглядит моложе. За окном было стылое, сумеречное утро, и это тоже было приятно. Он не любил неурочное летнее тепло в октябре, а холод предвещал зиму и длительный отдых на юге, где не нужно думать о профсоюзе. Правда, сперва предстоит утрясти дела с забастовкой *разбежались как миленькие,* но он уже чувствовал, как само собой зреет верное решение. Собрание он разогнал, *теперь надо из компаний что-нибудь выбить.* Стерев со щек остатки мыльной пены, он прошел в другую комнату, где стоял телефон.

Услышав в трубке сонный голос, он снова испытал удовольствие.

— Ну и ну, Берт! Если б вам, законникам, приходилось зарабатывать на жизнь, давно бы научились вскакивать пораньше, а?

— Тебе что-то нужно, Пе Де? — спрашивал сонный голос.

— Подожди минутку,— сказал П. Дж. Келли и сходил в ванную за очками.— Слушай,— продолжал он, снова взяв трубку.— Мне нужно, чтобы ты опять занялся договором. Мы должны кой-чего подкинуть ребятам. Что и как — придумай сам.

— Господи,— произнес Берт.— Компании же и полцента не надбавят.

— Не обязательно денег. Может, по паре трудяг добавить в смены... Или грузы поменьше, ну там техника безопасности...

— Трудно это.

— А тебе за что столько платят? Сегодня же переговори с их крючкотворами, понял? Нам и нужно-то всего ничего.

— Ты же хотел на тормозах спустить.

— А я передумал. Сейчас самая драчка началась. Приглашаются все желающие. Мы этим ублюдкам еще покажем! — Первый раз с начала забастовки Келли твердо знал, как действовать.

— Ну, это уж по твоей части,— перебил Берт.— Хаску позвонить? Он участвовал в переговорах.

— Не надо Хаску звонить. И вообще никому. Пусть строго между нами, понял?

— Понял. Будем надеяться, что выгорит,— сказал Берт без воодушевления.

— Не волнуйся, выгорит.— Келли положил трубку и растянул рот в пренебрежительной усмешке. Разговор с юристом *Не посмеет* еще раз убедил его в том, что он всегда знал,— в естественной отсталости людей, которые слишком много думают.

Теперь, когда он сделал второй ход в игре — подключил юриста, Келли не испытывал особого восторга. Больше всего ему хотелось, чтобы забастовка прекратилась сама собой. Не получилось, он пошел на уступку. Особой роли это не играет *стоит мне только свистнуть,* потому что уступка понадобилась, чтобы сломить сопротивление, убеждал он себя. Когда Келли принялся за завтрак и за утреннюю почту, неудовольствие его рассеялось, как туман при первых лучах солнца.

В почте было письмо от жены — тоненькое, один листок, и он сразу понял, что в нем. Поборов искушение отложить его на потом *здесь Анни больше не живет,* он взрезал ножом конверт, припоминая давно вышедшую из моды песенку о девушке, которая носила имя его жены.

Догадка его подтвердилась. Ей нужны деньги. Сейчас она гостит у друзей на Западном побережье и собирается поехать на месяц в Мексику. Письмо было короткое, заканчивалось: *Твоя жена Анни.* Подпись, выведенная неуверенными, но отчетливыми буквами, привела на память тонкое, почти без кровинки лицо *стареет,* высоко поднятую голову и морщинки на шее, которые никак не хотели разглаживаться. Келли почувствовал прилив жалости, но не к жене, а к себе самому *она ж чего захочет от меня имеет* и велел негру принести чековую книжку.

Не повезло ему с женой и вообще, кажется, не везло на близких людей. Одно за другим *Каминетти Берт Анни О'Нил Чарли* память выкидывала на край сознания лица — так же, как приливом выносит на берег всякий сор и хлам, а потом отлив, отходя дугой, утаскивает что полегче назад — в прошлое и прочь из сознания. Одну только мать он вспоминал без сожаления или раздражения, но она была для него не человеком, а иконой, предметом обожествления. Что до отца, то он теперь вспоминал о нем с какой-то усталой снисходительностью. Отец хорошо к нему относился, однако когда П. Дж. Келли повзрослел, между ними произошла стычка. Он давно забыл, из-за чего они повздорили. Это было в те времена, когда он вкалывал простым грузчиком в порту.

Анни появилась позже, когда он уже добился кое-какого положения. Она была отнюдь не девчонкой с соседней улицы, и он гордился ею, ее бостонской родней и образованностью. Брак их оказался неудачным. Он так и не стал близким для нее человеком. Спать с ней было *никакого удовольствия она от этого не получала* все равно что к мессе идти. Обязательно, чтобы свет был погашен и под одеялом, как будто оно самый что ни на есть свод супружеского здания — под ним, и только под ним любовный акт одомашнивается и приличным делается. За всю их совместную жизнь он лишь раз видел ее голой *фигурка что надо* и был потрясен, узрев ее груди и чуть тяжеловатые бедра, которые он мял и тискал под одеялом, когда она покорно отдавалась ему. Он вдруг отчетливо и без особого удивления понял, что он тоже не получал удовольствия от близости с ней даже тогда, когда они только что поженились, когда он гордился ею и очень любил.

Детей у них не было. Он хотел сына, но жена так и не забеременела. Он, конечно, винил ее — скорее всего потому, что в глубине души опасался, что сам не способен заделать ребенка. Прошло время, и он свыкся с мыслью, что сына у него не будет, и начал приближать к себе молодых людей, брал их на работу — часто без всякой надобности. Отложив письмо, он с безразличным восхищением вспомнил высоко поднятую голову жены *стареет,* сбил пепел с сигары, которую ему запретил врач, допил кофе и приготовился встретить трудный день.

День действительно предстоял долгий и трудный, но после вчерашней операции настроение у Келли поднялось. Теперь, когда забастовка вылилась в настоящую стычку, он чувствовал себя гораздо уверенней. Он и сейчас не строил планов, так как был абсолютно убежден, что события подскажут линию поведения. Не выйдет одно, он попробует другое.

Он прошел в другую комнату и позвонил Каминетти в Бруклин.

— Давай топай сюда,— сказал он отрывисто.— Ты мне нужен.

Сквозь слабое потрескивание на линии он услышал быстрый, прерывистый итальянский говорок:

— Зачем я тебе, Пе Де? Занят я сегодня, понимаешь...

— Ты что, не слышал? — взорвался Келли.— Ты будешь занят, когда тебе скажут, понял?

— Мне не нравится твой тон...— начал было Каминетти.

— Мало ли, кому что не нравится. Тебе сказано: топай сюда.

— Ладно, постараюсь,— хныкнул наконец голос.— Во сколько?

— В девять, в конторе.— Келли бросил трубку. Складка на губах заострилась, и рот стал похож на волчий оскал.

Глаза за стеклами в металлической оправе смотрели с той же затаенной печалью, но он уже не выглядел старым и усталым. Перекинув листок календаря и увидев слово «четверг», он подумал, что денек будет длинный, и зашлепал на кухню за погасшей сигарой.

Четверг, 4 дня

Вдоль авеню волком выл ветер. Пыль сыпала в лицо, слепила глаза. Под ногами ворошились палые листья. До вечера было неблизко, но в домах уже зажигали огни. К западу на небе виднелась отвратительная желтая промоина, а остальной город застилала мертвенно-серая туча. Все, казалось, куда-то бегут, словно стараясь поскорей укрыться от непогоды, от неудачного дня, от надоевших улиц. Полуослепший, со слезящимися глазами и привкусом серы и отошедшего лета во рту, я добрел наконец до ячейки и поднялся наверх.

Сперва я подумал, что здесь никого нет. В зале было темно. Без людей он оказался просторным, точно станционный зал ожидания в среднезападном захолустье. Пол был усеян окурками со вчерашнего сборища. Плакаты и знамена по стенам молча взывали ко мне одному. Я зажег свет, и тут меня из своей комнаты окликнул Барни. Там стоял электрообогреватель и было тепло.

— Здорово, Джо. Билла Эверсона видел?

Я кивнул. Барни через Билла попросил меня разыскать кое-кого из ребят, и я полдня мотался по городу.

— Притихло в порту-то,— сказал я.— Напуган народ вчерашним. Дело, похоже, к концу идет.

— Тебе так кажется?

— Поди разбери, что мне кажется. Одно точно — повезло мне. Не вишу на железяке со вспоротым животом.

— Да, Тони видел, как на тебя насели, но пробиться не мог. Удивляется, как ты еще ноги унес.

— Подкрепление прибыло,— объяснил я, не уточняя, кто меня выручил.

— По-твоему, значит, проиграли мы забастовку, Джо? — спросил он и тут же добавил, едва я раскрыл рот: — Только честно.

— Если честно — да, проиграли.

— И ты собираешься, как говорится, взять расчет?

— Черт возьми, Барни, не люблю я, когда мне задают такие вопросы!

— Я просто прикидываю, не поторопились ли мы привлечь тебя к активной работе — только и всего. Потом это собрание вчерашнее. После такой встряски не сразу в себя приходят...

— Да не крути ты!

— Хорошо, Джо. Мне нужно знать твои планы.

— Работать, пока не кончится забастовка. Потом поеду на Запад. Тебя это устраивает?

— Устраивает — если ты не передумаешь.

— Кончим об этом. Я считаю, что стачка проиграна. Ты считаешь, что нет. Не будем спорить. Ты — главный, тебе виднее. Какие будут распоряжения?

— Да погоди ты... объясни мне — почему ты все-таки считаешь, что мы проиграли?

— Да потому, что мало нас, числом не возьмем. Вот если бы рычаг мощный найти и место, где его использовать... Тогда число особой роли не играет. Но на вчерашнем собрании мы потеряли и точку опоры, и рычаг.

— Ну, а если мы снова соберем силы, сорганизуемся?

— Времени у нас нет. Стихия недолговечна, сам знаешь. У нас была кое-какая возможность — мы ее упустили. И время упустили.

— Не совсем. Мы должны исходить из того, что время еще есть.

— Знаю, что должны исходить. Что ты конкретно предлагаешь?

— Предлагаю снова начать с местных комитетов. Попробовать сколотить региональные — один в Манхэттене, другой в Бруклине, может, даже в Джерси, если там есть активисты. Потом укрепить комитет, который вчера избрали.

— Какой комитет? Всего-то жалкую горстку избрать успели. Да и те, наверное, до сих пор бегут — остановиться не могут.

— Не все, не все. Ты это видел? — Он кинул мне газету и начал объяснять, словно неграмотному: — Комитет как таковой существует. Даже программу разработал, и неплохую.— Я пробежал глазами статью: требование нового договора, предусматривающего улучшение условий труда, повышение расценок и прочее — обычные вещи.

— Комитетчики связались по телефону с редакциями газет и информировали о происшедшем,— продолжал Барни.— Потом Крауз — его, кажется, вторым избрали — перепугался и заявил, что не давал согласия на избрание. Но остальные держатся.

Новости были действительно потрясающие. Кто бы мог подумать, что после вчерашнего еще функционирует какой-то комитет.

— Послушай, Барни, а что, если начать подготовку нового собрания?

— Не будем торопиться! Пусть люди придут в себя.

— Да, но ты сам сказал, что комитет...

— Не так все просто, Джо,— грустно сказал Барни.— Не расколется ли он? Крауз уже пошел на попятный. Как поведут себя Хоумстед, Дэниэлс, Кейс, остальные, когда по-настоящему жарко станет? Я хотел сегодня утром повидаться с Хоумстедом и Дэниэлсом... А где Кейс живет — никто не знает.

— Ну, а как эти двое?

— В том-то и закавыка. Не видел я их. Не застал дома. Может, испугались, что Келли своих на них напустит.— Барни невесело усмехнулся.— В подполье он ушел, комитет этот, будь он неладен.

Опять мы растеряли связи. Старая история, застарелая наша болезнь. И все-таки мысль, что комитет, пусть какой-никакой, действует, поднимала настроение. Вечерние сумерки надвигались на город, как пыльная буря. У Четырнадцатой я увидел невысокого черноволосого парня и подумал, что это Блэки.

— Эй, Джо,— окликнул он меня. Это оказался Билл Эверсон. — Как жизнь? По-моему, снежок вот-вот посыплет. Выпьем кофейку?

Мы зашли в гриль-бар, забрались в отдельную кабинку.

— Ты как считаешь — выиграем мы забастовку? — прервал он наконец молчание.

— Как тебе сказать...

— Понимаешь, я так свыкся с мыслью, что мы обязательно победим... Думал, что по теории действовать надо. А сейчас вот... не знаю... понял, что готовых рецептов нет.

Я рассказал ему о комитете, причем ничего не приукрашивал — пусть не обольщается.

— Одно нам нужно заучить твердо,— вздохнул он,— проигрываешь все бои, кроме последнего.

— Не в духе ты сегодня. В профессиональные плакальщики записался?

— Нервничаю, наверное. Вчера после собрания пошел в ячейку, думал, кто-нибудь еще подойдет. Но Тони и еще несколько ребят отправились вместе с Барни к нему домой.

— Ну и что?

— В ячейке, смотрю, никого, и пошел к себе. Мне показалось, что за мной следят.

— Может, и не следили вовсе.

— Я и говорю — сдают нервы. Никак не ожидал, что вчера такое случится.

Я молчал: никто не ожидал.

— Мне даже подраться не удалось. Толпа из зала вынесла.

— Немного потерял.— Мне представилось продавленное мною окно, восемнадцатиметровая высота и острозубая ограда внизу.

— Ты заметил, Джо, что многие эти парни были в таких же армейских куртках, как и я? Это же чудовищно: фронтовики избивают бастующих.

Я сам знал, как это чудовищно, и молчал.

— Джо, у тебя есть мечта? — спросил ни с того ни с сего Билл. Мне принесли выпивку, я отпил глоток — виски было такое же безвкусное, как утром, у Кей.

— Мечта? — Мне вспомнилось, что примерно то же самое спрашивал Блэки.— Хочу быть свободным.

— Это слишком общо. А конкретнее?

— Могу и конкретнее. Ты-то сам чего хочешь?

— Быть честным и отзывчивым к людям.

Легко сказать — конкретнее. Перед глазами вставала узкая, петляющая улочка, вся белая, в снопах яркого солнечного света, сонный говорок воды...

— Бороться с обманом и всем, что уродует человека.

Улочка сбегала по изрезанным склонам холма, спускалась в тесную, игрушечную долину и терялась внизу на маленькой площади, в бормотанье родничка, в растекающемся солнце.

— Видеть хорошее в людях.

Как вязку бубенцов, развешивали птицы свои трели в полуденном воздухе, небо над головой уходило куда-то в беспредельность, до самых высоких облаков вздымались горы.

— А если коротко, хочу быть хорошим коммунистом.

— Послушай,— сказал я, думая о своем.— Можно я у тебя переночую? — Я вдруг понял, отчего весь день мне было не по себе: мне не хотелось идти к Кей.

— Конечно.— Эверсон не стал ни о чем спрашивать.— Только возьми ключ. А то мне надо повидать кое-кого, вдруг задержусь.

— Где у тебя назначено? Я бы мог зайти за тобой.

Билл назвал бар на Восьмой авеню. Я сообразил, что это в том квартале, где верховодит Блэки, и мне не хотелось встретиться с ним.

— Впрочем, нет, не получится,— сказал я и взял ключ.

Снаружи ревел и хлестал ветер. Мне надо было в Гарлем, Биллу — в другую сторону. Мы попрощались, и он зашагал по улице уверенной, даже чуть вызывающей походочкой, как ходит и Блэки, хотя весть о том, что комитет действует, не очень-то воодушевила его. Да и мои восторги тоже поубавились. Стоя посреди стылой улицы и загораживаясь от ветра, зверем кидающегося на меня, я все больше убеждался в одном — в том, что Биллу, мне, Барни и остальным не позавидуешь: в кромешной, нескончаемой тьме приходится искать людей такой породы, которая, может быть, пока вообще не появилась на свет.

Четверг, 9 утра

Ровно в девять Келли вышел из подземки, купил газету и, перейдя на другую сторону, подошел к зданию, где находилось старое помеще-

ние его союза. День был ветреный, низко неслись рваные облака, но как раз в тот момент, когда он пересекал улицу, сквозь пелену пробился тоненький, с мизинец, лучик солнца.

Келли пробежал глазами газету, сложил ее и, скинув пальто, повесил его на крючок за креслом. Потом сел, перелистнул календарь — ЧЕТВЕРГ, написал под датой два имени: Каминетти, Хаск. Немного погодя он приписал помельче: *полиция*, а под словом провел тонкую и волнистую, словно бы нерешительную линию, которая должна была напомнить ему о чем-то еще.

Вошел Монк Райан, принеся в контору стойкий уличный холод, и похожие на новенькие монеты солнечные кругляши на поверхности стола у Келли вдруг пропали. Включив свет в соседней комнате, Монк начал собирать листовки.

— Эй, ты чего там шуруешь?

Монк нерешительно переступил порог. Вид у него был нездоровый. Слегка сдвинутая наверх шляпа открывала скошенный и морщинистый, как у обезьяны, лоб. Под глазом красовался большущий вздувшийся синяк.

— Ну и видик, прости господи,— хрюкнул Келли.— Где это тебя так разукрасили?

— Вчера на собрании. Заехал кто-то.

— Похоже, этот «кто-то» навесил фонарь на фонарь.

— Ага. Первый пару дней назад посадили.

— Да-а, теперь ты у нас по конкурсу красоты не пройдешь.

— Ага.— Сукин ты сын, говорил себе Райан, еще издеваться вздумал, паскуда старая, а вслух сказал: — Я тебе нужен, Пе Де? За листовками я забег...

— К той еще матери твои листовки!

— Хаск сказал...

— И Хаска туда же! — заорал Келли.— И вообще, кто тут хозяин — он или я?! — Взгляд Райана совершенно недвусмысленно говорил, что если спросят у него, Райана, то хозяин — Пе Де. Келли чувствовал, что глупо кричать на этого сморчка.— Меняем тактику, парень,— сказал он, глядя на скособоченное личико и пытливые водянистые глаза. — Ну, а теперь — чтоб духу твоего здесь не было!

— С листовками-то как быть? — спросил Райан. Он увидел себя зажатым между Хаском и Келли: один велит одно, другой — другое. Мне бы только протянуть потихонечку, твердил он себе, только бы отцепились от меня эти мерзавцы, на остальное я класть хотел.

— Да оставь ты их! — бросил Келли, глядя сквозь грязное стекло на улицу и уже позабыв о Райане, который неслышно вышел из комнаты, спустился по истоптанной лестнице и нырнул в холод и пыль, думая: взъелся, стервец, на кого-то, прямо-таки из себя вылазит. Пронесло, слава те господи. Лицо Райана снова напряглось, но он поборол обиду и, наклонив голову против ветра, подумал о хворой жене.

Когда Райан ушел, Келли достал из ящика сигару, раскурил ее и, откинувшись в кресле, распрямив плечи, глубоко и с удовольствием затянулся. Ему вспомнилось, как он пришел сюда первый раз и сел за этот стол, и он засмеялся про себя, подумав, как побаивались его противники в ту пору и что он *я и сейчас их побью, ублюдков* не потерял былую хватку. Взгляд его остановился на листке календаря с записями, и он решительно набрал номер.

— Начальника полиции Дэнигера,— сказал он и, когда тот взял трубку, начал говорить четко, быстро, но без излишней торопливости, как маклер, дающий распоряжения своим помощникам.

Разговор занял пять минут, после чего Келли тут же позвонил отцу Берку.

— Добрый день, святой отец,— произнес он самым сердечным тоном.— Вы чек в фонд клуба мальчиков получили? Отлично, ну что вы... Да, насчет того парня... как его — Кармоди?.. Так вот, я зачислил его, как вы и просили,— все в порядке... Отец, у меня к вам маленькая просьба. Вы Дюмона из Католической ассоциации знаете?.. Да-да, отец Дюмон. По-моему, он неправильно себя ведет. Нельзя ли его отозвать?.. Спасибо, святой отец. Надеюсь, вам не придется испрашивать разрешения у вашего начальства. Заглянули бы как-нибудь вечерком — в картишки перекинемся. Коньячок приличный есть...— Он громко рассмеялся чему-то и пожелал собеседнику всего доброго. В этот момент в комнату вошел Каминетти.

Каминетти, второй по влиянию человек в профсоюзе, был плотный, среднего роста мужчина лет сорока пяти, но без единой сединки в совершенно черных волосах. Щеки его в электрическом свете отливали синевой. Тяжело переставляя грузные, как тумбы, ноги и пряча маленькие, вишенками, глазки, он подошел к столу.

— Ты хотел меня видеть, Пе Де? — сказал Каминетти неожиданно тонким женским голосом.

— Угу,— промычал Келли и, зная, с кем имеет дело, спросил:— Кто там в коридоре торчит?

— Так, один из моих,— хмыкнул Каминетти.

— Тебе тут телохранители не понадобятся,— отрезал Келли и крикнул человеку за дверью: — Эй, ты! Убирайся к чертовой матери!.. Ну,— повернулся он к Каминетти,— что ты там у себя в Бруклине надумал?

— Я что-то не улавливаю, Пе Де?

— Брось вилять! Что там происходит?

— Некоторые вышли на работу,— пожал плечами Каминетти,— а потом опять бросили, вот и все.

— Как бы не так! Кто-то надоумил тебя, что выгодней снова снять работяг со смены... Больно ты суетишься последнее время, парень. Уж не на мое ли место метишь, а?

— Ну, ты даешь, Пе Де! — Каминетти растопырил ладонь, словно отводя напраслину, однако глазки сквозь складки жира смотрели настороженно.

— Каминетти — вожак низовки! — изгалялся Келли.— Каминетти — лучший друг трудящихся! — Он вышел из-за стола.— Болван ты, Каминетти! Рановато ты меня в старики записал.— Рукой, держащей сигару, он похлопал его по плечу.— Когда ты еще зеленой шпаной был и первую отсидку в Элмайре имел, я уже тогда с таких, как ты, спесь сбивал. Не сам ты придумал, чтобы твои второй раз по домам пошли. У тебя на это мозгов не хватит... Ну, а теперь как на духу — кто тебя на это подбил? Не из шараги отца Дюмона?

Каминетти растерянно тер ладонью щеку.

— Помнишь, как ты своего недоумка послал сказать, что, может, лучше опять работу бросить? Я уже тогда о твоей затее знал.— Он снова сел за стол и, нагнувшись вперед, сказал негромко и внушительно: — Ну, ладно, хватит! Надоело мне с тобой валандаться. Либо скажешь, либо коленом под зад. Кто, Дюмон?

Каминетти мотал головой, утирая пот со лба.

— Может, не надо, а?

— Очень даже надо.— Голос Келли зазвучал зловеще:— Я с него голову сниму и под мышкой носить заставлю. Дюмон?

— Нет,— выдавил Каминетти. Теперь он был по-настоящему напуган.— Не спрашивай, а? — Глаза у него забегали, уставились на пол

— Выкладывай!

— Хаск.

В наступившей мертвой тишине слышно было, как задребезжали стекла в окнах от проехавшего по авеню автобуса, и внезапно сделавшийся едким табачный дым немилосердно жег Келли легкие. *Так* я

и знал, мелькнуло у него в голове в тот самый момент, когда он вскочил и заорал:

— Брешешь, итальяшка поганый!

Он угрожающе возвышался над Каминетти, и сигара в его руке смахивала на занесенный нож, а тот, потея, вдавливался в стул и, отчаянно вращая глазами, тараторил:

— У меня и в мыслях ничего такого не было. Ты ж меня знаешь, Пе Де. Разве я когда позволял чего? Это он, паскуда, уговорил меня. Сказал, что ты не против...

— Врешь, грязный ублюдок,— оборвал его Келли. Он внезапно почувствовал, что устал, и опустился в кресло.— Уговорил тебя, да? Трудное, видать, было дело — все равно что проститутку за полсотни уговорить.— На него накатило безразличие. *Даже этого сукина сына не могу обломать.*

— Я думал, это маневр какой,— продолжал тараторить Каминетти.— Все хотел спросить, как ты...

— Брехня,— устало проговорил Келли.— Убирайся вон.

— Ну, неприятностей-то хоть не будет, Пе Де? Мы столько работали вместе...

— Ну, конечно, дружки-приятели. Да только своя шкура ближе к телу.

— Не нужно нам меж собой неприятностей, Пе Де,— упрямо твердил Каминетти.

— Выводи своих на работу, тогда поговорим — нужно или не нужно.

— Легко сказать — выводи.— Тоненький голосок Каминетти перешел в скулеж:— Ты это видел? — Он вытащил из кармана газету.— Они комитет избрали, прочти.

— Ничего, переживешь. Убирайся.

Каминетти сунул газету в карман и повернулся идти.

После ухода Каминетти Келли долго сидел в неподвижности, глядя на погасшую сигару и стараясь не думать о Хаске. Потом раскрыл собственную свернутую газету, расправил листы и пробежал глазами статью. *Со всех сторон, подлецы, меня обложили.* Он поднялся, подошел к окну. Внизу тянулась опустевшая, исхлестанная ветром улица, и Келли вдруг испуганно подумал, до чего же она изменилась с тех пор, как из постылой, поганой жизни он пробился в тепло и уют этой конторы. *Что за дьявольщина происходит с народом?* Он не мог примириться со Временем, которое действовало на улицу, как химический реактив. Потом он увидел колонны у входа в банк, которые стоят на месте вот уже сорок лет, увидел слепого продавца в газетном киоске, и ощущение, будто он посторонний, прошло. *Нет, вниз меня не стащат.* От тротуара отвалил автобус. Прохожий купил газету. *Я ж к нему, как к сыну родному.* Киоскер дул на замерзшие пальцы, ветер трепал разложенные вокруг него газеты. Келли вернулся за стол и подчеркнул написанное на календаре имя — Хаск. *Пусть не рассчитывают, я все тот же П. Дж. Келли,* подумал он. Однако день предстоял тяжелый.

Четверг, 9 вечера

Я спустился по шаткой, скрипучей лестнице очередного клоповника и приостановился у подъезда, пытаясь зажечь сигарету. Ветер, подметающий Гарлем, нес пыль, золу, обрывки старых газет. Я пошел к западу — мимо ломбардов со стальными решетками на окнах, мимо неоновых вывесок и интимного манящего полумрака баров, откуда разносился по улице горячий запах жареного мяса, а музыкальные автоматы повторяли одни и те же мелодии, моления, сожаления и мечты.

В подземке было тепло, почти уютно, и, дожидаясь поезда и не желая думать, я развернул газету. Но читать тоже не хотелось. Передо мной одно за другим проходили лица докеров, с которыми меня послали побеседовать. Почти все сдались, опустили руки. Я говорил и говорил, они слушали и даже соглашались, что забастовку все-таки можно выиграть, стоит только продержаться еще немного, но они не хотели обманывать ни меня, ни самих себя. Нет, они не кинутся сразу же на пирсы, но и стоять до конца не будут. Разгон собрания означает конец борьбы. К ним уже приходили и люди Келли, члены центрального совета, и гангстеры, державшие в своих руках тот или иной пирс, и угрожали увольнением, если они не выйдут на работу. Единственное, что еще могло как-то поднять их дух,— это какие-то решительные действия избранного вчера комитета. Действия, которые преодолели бы почти всеобщую растерянность и разброд.

Подкатил поезд, я вошел в головной вагон и стал у переднего окна, наблюдая, как вытягиваются из тоннеля рельсы и столбы между путями сливаются в одну сплошную стену. Невообразимой и пугающей вереницей огней прогрохотал над головой состав, направляющийся к дальним окраинам, к Пелем-бей или к Авеню новой застройки, уносящий свой таинственный груз к границам ночи. Наверху, внизу, справа, слева разбегались по предместьям поезда, как будто распадающееся каменное сердце города отправляло в ссылку свои безликие, безымянные миллионы. Страшное одиночество вдруг охватило меня. Казалось, будто все эти движущиеся массы тоже безмерно одиноки. Посмотришь на сидящих рядом, на их неподвижные, отсутствующие, как у живого трупа, лица, и невольно закрадывается подозрение, что всем им без исключения некуда ехать, некуда спешить. И если ты сам живой труп, тебе от этого не легче.

Квартира Кей ходуном ходила от сутолоки и громких споров. Говорили обо всем на свете. Увидев меня, Кей кивнула издали, но не подошла, не заговорила, и я понял, что она дуется. Я добрался до стола, налил себе выпить и сел в укромном местечке, откуда мог любоваться копной ее рыжих волос и ямочками на щеках.

Разговор зашел о трагической судьбе художника в современном обществе. Положение его, судя по всему, было поистине угрожающим, что я лично счел нормальным. Потом ко мне подсел один парень, которого я немного знал до войны, и, поздоровавшись, стал расспрашивать о забастовке. Я, очевидно, не удовлетворил его любопытства, тогда он сам принялся рассказывать о ней, и скоро к нашему разговору присоединились другие. Рядом расположилась раскосая брюнетка с челкой на лбу и крошечным ротиком. На ней был какой-то немыслимый широченный балахон, но она, казалось, была органически не способна прикрыть им свои ноги. Она то и дело поправляла подол, давая мне возможность лицезреть ее линии. Потом подошел тип с подведенными, как мне показалось, бровями и уселся на пол.

— Забастовщики завоевали бы гораздо больше симпатий, не будь они такими ограниченными,— заговорил он протяжно.— Их затея имела бы смысл, если б они действительно к чему-то стремились. Но увы! Единственное, чего они добиваются,— это несколько лишних грязных долларов, чтобы посильнее напиться в субботу и побольнее избить жену. Настоящий вызов системе можно только приветствовать, а так...— Он вздернул брови и пожал плечами.

— Да, конечно,— сказал я,— истинному революционеру забастовщики могут показаться шутами гороховыми. И все же... живописать-то забастовку легче, чем ее организовать — или вы так не считаете?

— Разумеется, не считаю. Писать — гораздо труднее.

— Он просто обожает парадоксы,— вставила девица с челкой.— Это наш Оскар Уайлд.

— Признайтесь, Хантер, неужели вы действительно думаете, что эта забастовка приближает вашу революцию?— Последнее слово он произнес так, словно выплюнул изо рта какую-то гадость.

— Да, если она хорошо организована, если из нее будут извлечены уроки.

— Вы полагаете, это возможно?

— Да.

— А вам не кажется,— продолжал он,— что надо опираться на интеллектуалов? Вы ведь знаете, что любые общественные движения зарождаются в просвещенных кругах.

— Представьте себе, не знал,— ответил я и отвернулся. Брюнетка с челкой никак не могла найти подходящую позу. Кей с несколькими гостями отошла в другой конец комнаты, и они принялись обсуждать ее автопортрет. По-моему, он мало приблизился к оригиналу.

Тип с подведенными бровями углубился в рассуждения о социальной роли элиты. Голос его звучал вдохновенно, как у новоявленного Коттона Мезера[1], провозглашающего полномочия избранников божиих.

— Самый великий революционер — это тот, кто создает новые ощущения,— заявил он, обращаясь ко мне.

— Ну вот, опять за свое,— поскучневшим голосом заметила брюнетка.

— Американский трудящийся — всего-навсего вульгарный материалист, которому...

— Только бутылка нужна да баба,— закончила она за него.— Слышали мы все это.

— Совершенно верно.

— Не буду утверждать, что забастовщики в порту — готовые революционеры,— заговорил я.— И тем не менее они же дерутся. С церковниками дерутся, с полицией и политиками, с гангстерами и мошенниками из профсоюза. Они толком не понимают, против чего борются. И все-таки они что-то делают, пусть неосознанно, но делают, набираются опыта, формируются.

— Какая чепуха!— ответствовал мой собеседник.— Вам известно, что эти идеи больше не котируются?— Он зевнул.— Ты идешь, дорогая?— вставая, спросил он брюнетку.

— Пока нет. Тебе не кажется, дорогой, что ты страдаешь недержанием речи? Скучища с тобой зеленая, Питер.

Подошла Кей и остальные, смотревшие ее картины. Публика начала прощаться, и через несколько минут все разошлись.

— Все еще пытаешься обратить язычников в свою веру?— Кей села рядом и сонно уткнула голову мне в плечо.

— Как видишь.

— Пустая трата времени. Особенно с Питером.

— Меня легко завести.

— Правда? Тогда я тоже попробую.

Она сунула руку мне под пиджак, погладила грудь.

— Я так рассердилась на тебя утром... Ушел, не разбудил. Сейчас уже не сержусь.

Я чувствовал на шеке ее дыхание, а с другого конца мастерской на нас смотрели нарисованные, неживые глаза ее автопортрета.

— Налей-ка мне немножко,— сказал я.— Надо поговорить.

Она молча встала, принесла виски и поставила передо мной.

[1] Коттон Мезер (1662—1727) — богослов, историк и проповедник, мнил себя оплотом пуританизма в английских колониях в Америке, отличался крайней нетерпимостью в вопросах веры.

— Старая рана разболелась, Джо? Не знаешь, что нам с тобой делать? А правильнее — что тебе с самим собой делать?

— Как только забастовка кончится, я еду на Запад.

— Один?— спросила она, не поворачивая головы.— А как же твои грандиозные планы перевоспитать меня? Сделать из меня сознательного члена общества, который будет достоин твоей большой любви?— В голосе ее были печаль и насмешка вместе.

— Планы проваливаются. Или их вышибают из головы.

— Раньше ты говорил иначе.

— Раньше иначе, а теперь — так.

— Джо, я ничего не понимаю,— проговорила наконец Кей.— Что случилось?

— Ничего не случилось.

— Неудачи тоже надо встречать достойно. Ты считаешь, забастовка проиграна?

— Думаю, что да. Но это не имеет отношения к забастовке.

— Еще как имеет! А если нет, то что с тобой?

— Мне надоело в Нью-Йорке. У меня есть куда уехать, а я торчу здесь. Если я останусь, меня затянут колеса и...

— Ты меня имеешь в виду? Это я — колеса, которые тебя затянут?

— Да нет, я хотел сказать...

— Я прекрасно поняла, что ты хотел сказать. Ты боишься, что переменишься из-за меня. Ты же работаешь только на нервах, только на эмоциях. Собирался сделать из меня человека долга, а сам боишься остаться, разве не так?

— Ничего похожего. Я просто не гожусь для тебя и для такой работы. Мне нужен срок, чтобы разобраться, почувствовать почву под ногами...

— И где же ты ищешь палочку-выручалочку? В солнечном городишке с родником на площади? Среди сонных индейцев и мексиканцев? Ты просто удираешь!

— Да не удираю я, пойми же, черт побери!

— Я не говорю, что ты от физической опасности удираешь, от ножа или от пули. Ты еще много лет на одних нервах можешь продержаться. Ты меня боишься и того доброго и душевного, что есть в тебе самом. Потому и мечтаешь о городишке, что надеешься преобразиться, снова стать твердым, как сталь. Стальному я не нужна и ты сам тоже не нужен.

— Нет, Кей, скорее всего я действительно боюсь. Мне страшно. Вот послушай.

Я рассказал ей о собрании и о том, что среди налетчиков был Блэки.

— Не понимаю, что творится. Весь мир — словно стая диких зверей, один другому норовит глотку перегрызть. Глядишь на людей — страшно становится.

— Открыл Америку! Раз ты войну прошел, думаешь, теперь твои враги — все по ту сторону фронта? Чему ты удивляешься?

— Да, теперь я, кажется, ничему не удивлюсь. Не надо больше об этом.

— Нет, надо.

— Ну, хорошо. Тогда слушай. Разного мы хотим — понимаешь? Ты хочешь остаться здесь. Тут твоя мать, к которой ты привязана. Тут твоя живопись, из тебя получится хороший художник. И кроме того, ты боишься чересчур сильно привязаться ко мне. У меня — другое, жизнь другая и работа другая. Сейчас я пока на Запад еду, а куда потом — понятия не имею. И потом мне надо в конце концов разобраться. В себе разобраться, в тебе, в Блэки Кармоди.

— Ну подожди немного, может быть...

— Немного ничего не изменит.

Разговор становился бессмысленным. Все сказано и все высказано. Я встал, пошел к двери.

— Ты уходишь?

— Я у знакомого ночую. Завтра рано вставать.

— Не уходи.— Она подошла, обняла меня.— Останься, милый. Я так хочу тебя! Ну пожалуйста! А утром, может, все по-другому будет.

— Господи...— едва выдохнул я. Мне хотелось остаться с Кей, хотелось так, как в жизни ничего и никогда не хотелось. Она гладила меня, и мое тело под ее руками оживало желанием и мучительным смятением.— Не надо!.. Будь оно все проклято!

— Ты даже меня боишься.

— Да, боюсь. Пусть будет по-твоему.

— Мы оба чего-то боимся.

— Ладно, боимся так боимся.— Мне осточертело это слово. Я обнял ее, крепко поцеловал. Внутри у меня что-то ворочалось, безжалостно молотило и жгло. Я вышел на улицу весь измочаленный, оставив позади, как после привала, окурки, мусор, грязные стаканы и мой собственный, нетронутый, на полу.

Все так же лютовал ветер. Ныла нога. Через несколько кварталов мне показалось, что кто-то идет за мной. Я отступил к стене, подождал. Никого не видно. Мне вспомнилось, что сказал Билл Эверсон, и я подумал, что мы все нервничаем, не он один. Боимся. Это Кей сказала. Все легкое, простое, доброе словно ушло в прошлое и никогда не вернется. Я брел, продрогший, запутавшийся, мечтая поскорее добраться до квартиры Билла, залезть в постель и уснуть — надолго, очень надолго.

Четверг, 10 вечера

Около десяти часов Блэки Кармоди собрался уходить. Он целый день просидел в любимом кресле Манты, курил одну сигарету за другой и перебирал в памяти вчерашние события.

Он снова и снова твердил себе, что это была просто работа, что его наняли и заплатили за нее, вернее, заплатят, так что все в порядке. То обстоятельство, что ему платят, особенно важно. Это значит, что он не отвечает за работу, то есть отвечает, но только в том смысле, что был обязан выполнить ее. «...трудящийся достоин награды за труды свои» [1] — звенело в голове знакомое выражение. Он не мог вспомнить, где он слышал его и в какой связи, но догадывался, что подразумевается определенное обязательство того, кто берется за работу. *Выполнить работу, сделать дело.* Да, все правильно. Это значит, что ты способен и обязан выполнить работу. И тем не менее Блэки Кармоди испытывал сосущее чувство вины и чем дальше, тем глубже увязал в нем, как в зыбучем песке.

Провернуть дельце. Это уже совсем другое Например, то, что они устроили с Джо Хантером в баре, когда добрались до подонка Борова и остальным дали прикурить. Провернуть дельце — всегда в радость, всегда приятно. Проворачивая какое-нибудь дельце, знаешь, что это плохо в глазах других, однако каждый раз тех, кого не любишь, презираешь или кому не доверяешь. Да, это плохо, но по чужим понятиям и, значит, хорошо — по твоим, и это было приятно. Тогда почему же его беспокоит вчерашнее?

Паршиво, думал он. Если тебя беспокоит выполненная работа, то, что ты взялся сделать и за что тебе заплатили звонкой монетой, вернее, заплатят, получается, тут что-то не то. Концы с концами не сходятся. И тут Блэки подумал о Джо Хантере.

Второй раз он спас Джо от верной смерти, если считать, что первый — тогда, в танке, хотя раньше он вообще не задумывался над

[1] Библия. Евангелие от Луки. 10 7.

тем, что он кого-то спас. Нет вроде причины чувствовать себя виноватым перед Джо, а вот поди ж ты — чувствует, как будто вчерашнее перечеркнуло его прежний поступок, а не подтвердило его. Он начал вспоминать, как оно было, когда загорелся танк. Перед глазами заплясали языки пламени, но они не обжигали, были какие-то ненастоящие, словно кадры из виденного когда-то фильма. В таком пламени ничего не загорается, потому что танк был подбит давно, совсем в другом мире.

Мать сидела на кухне с кучей старых носков на столе. Взяв один, она ловко натянула его на кулак и продернула поперек дыры нитку.

— Пойду, пожалуй, пройдусь.

— Хорошо, Фрэнсис,— отозвалась она спокойно. Его охватило раздражение, перемешанное с раскаянием, он подумал, что два дня назад она говорила бы с ним совершенно иначе.

— Где Мэри-то? — спросил он.

— Пошла к Хоуп. Скоро придет,— ответила мать, взглянув на часы.

Он спустился на первый этаж. У выхода в коридор стояли, болтая, его сестренка и Хоуп. Завидев его, та тут же распрямилась, выпятила грудки, отчего свитерок на ней натянулся, и метнула на Блэки заученный взгляд, в котором были вызов и намек.

— Тебя мать зовет,— сказал он сестре и прошел к передней двери, по привычке неодобрительно думая о девчонках, тем более что старания Хоуп не прошли совсем уж бесследно.

Улица была как темный тоннель, только там, где она пересекала авеню, виднелся слабый свет. Блэки свернул на авеню и направился в клуб.

Игра там была в полном разгаре. Блэки кивнул Кенни и Мелле и присел, ожидая, пока они кончат. В комнате стоял какой-то неприятный специфический запах; он с отвращением смотрел на усеянный окурками пол и портреты политических деятелей на стенах. От сильного света лица игроков разваливались на отдельные части, делались неузнаваемыми и бессмысленными — так от многократного повторения делается бессмысленным самое простое слово.

Пошла последняя партия, уже взят прикуп и прекратились ставки. Кон взял Кенни, аккуратно сгреб деньги, рассовал по карманам и вышел из-за стола. Шел он вперевалочку. Ошалел от выигрыша, неприязненно подумал Блэки.

— Какие новости, кореш? — спросил Кенни; он церемонно достал сигарету из портсигара, постукал кончиком по блестящей крышке, сунул в рот. Блэки не ответил, подождал, пока подойдет Мелла и плюхнется на соседний стул.

— Об чем речь? — спросил Мелла.

— Поговорить надо.

— Валяй,— согласился Кенни.

— Не здесь.

Они вышли из клуба. На углу, около закрытой в этот час лавки, Блэки остановился, выудил сигареты из кармана. Теперь, когда настал решительный момент, его захлестнуло то же чувство, какое он испытал, когда мать заставила его пойти на работу к Келли. Он протянул пачку Кенни, но тот помотал головой и достал свой блестящий портсигар.

— Значит, так. Я выхожу из игры,— сказал, как отрубил Блэки.

— То ись как, завязываешь, что ли? — протянул ошарашенный и словно разобидевшийся Кенни.

— Завязываю.

— Господи Иисусе, а как же...

— Ты чего задумал, Блэки? — спросил Мелла.

— Какая разница? Бросаю все, точка.

— И квартал бросаешь? Мы б еще парочку баров могли взять...

— Вот ты и бери, Кенни. Не нужны мне они.

— Правда?.. В таком разе... Погоди, тебе, может, стукнул кто? Может, наш бизнес не нравится кому? Нас не хотят... это самое — того?

— Струхнул? Какой там бизнес — баловство одно.

— Не скажи,— не успокаивался Кенни и кинул на Блэки подозрительный взгляд.— Ты взаправду ни об чем таком не пронюхал?

— На работу я определился,— объяснил Блэки.— Мать настояла. Келли поспособствовал.

— Ну, теперь у тебя связи дай бог,— восхищенно присвистнул Кенни. — Везет же некоторым! Поделись секретом, слышь, Блэки? Небось тот пирс в момент твоим будет — как ты и хотел. Тогда уж не забудь старых друзей.

— Красиво говоришь... Если б так оно было,— с горечью проговорил Блэки.— Я сказал: на работу устроился, на работу, понял? Вот профсоюзную книжку выдали.

— Книжку? Она ж не дает ни хрена. Ты что, по натуре работать будешь? На пирсе вкалывать?

— Угу.

— Ну и ну...— Кенни нерешительно посмотрел на Меллу.

— Желаешь на пирсе вкалывать — вкалывай,— сказал Мелла.— Но что нам мешает удержать за собой наши бары? Ты ж не круглые сутки в порту будешь.

— Мать условием поставила — вот что,— устало объяснил Блэки.— Даже если втихомолку шуровать, она все равно узнает... Нет. С барами кончено... Но вот если вдруг крупное дело подвернется и чтоб за один раз — я готов.

— Может, ограбление? — предложил Мелла, понизив голос.

— Можно и ограбление.

— Мужики, да вы что? — напугался Кенни.

— Не исключено,— задумчиво произнес Мелла.

— Только чтоб сразу и по-крупному. Риск — благородное дело.

— Лады,— заключил Мелла.— Попробую прозондировать.— Он первый раз посмотрел Блэки прямо в глаза.

— Ну, я пошел,— сказал тот и зашагал по улице.

— Не нравится мне это, слышь, не нравится,— горячился Кенни. Мелла молчал.— Он просто сдрейфил. «Мать настояла»...

Они пошли обратно в клуб.

— Жалко, Блэки — парень что надо. Башковитый. И кулак у него тяжелый, когда требуется.

— Да мы и без него обойдемся.

— Котелок у тебя хуже варит,— веско произнес Мелла.— И кулак не в пример легче.

Кенни уныло плелся за Меллой по лестнице. В нем кипело глухое, яростное возмущение, как у мелкого хозяйчика, который вдруг сообразил, что через день или через неделю его предприятие лопнет и он вылетит в трубу.

А Блэки, напротив, шел в настроении приподнятом. Он размечтался об удаче: одно крупное дело и все, завязываю. Хотя он всегда считал, что человек с револьвером — болван из болванов, что только бизнес приносит успех, а все-таки остается возможность сделать рывок, дерзкий, стремительный, собрать все силы и одним махом достичь желанной цели. Робкий, негромкий внутренний голос предупреждал: посторонний не победит, выигрывает только свой, но Блэки отогнал сомнения прочь, в вечернюю темень.

Блэки свернул за угол, на свою улицу, почти дошел до здания Организации католической молодежи, и тут раздался голос:

— Вот он!

Погруженный в мечтания, Блэки не заметил движения в тени

дома, но услышал быстрый шепот и тяжелое прерывистое дыхание бегущих.

— Попался-таки, комми, сволочь проклятая!

Первый из бандюг хотел на бегу схватить Блэки за руки и заломить их назад, однако не сумел и неловко вцепился ему в плечо. Свободной правой Блэки резко, с размаху ударил его, и тот отлетел в сторону. Другой поймал его за кисть и начал тянуть к себе. Коротким прямым Блэки достал между тем еще одного — услышал, как хрустнула переносица, и сразу же думал садануть четвертого, но промахнулся. В этот момент снова подскочил первый, схватил его за колени, рванул вниз, и Блэки протащил обоих метра два на себе, пытаясь выдернуть правую руку, вовсю орудуя левой, нанося удары головой и силясь высвободить хоть одну ногу. Малый, повисший у него на коленях, прыгнул вперед и, откинувшись на секунду, что есть силы двинул ему в пах. Мгновенная режущая боль пронзила все его тело. Он зашелся в пронзительном крике, согнулся пополам, на него накинулся сзади тот, что держал его руку, и начал методично бить по голове — хрясь, хрясь, хрясь, словно мясник, рубящий твердую кость. Блэки упал.

Он еще что-то соображал и перевалился на живот, загораживая голову руками. Нога в тяжелом башмаке хватила его по ребрам, и, скорчившись от боли, он изогнулся, прикрывая ушибленный бок.

— Кончай красного ублюдка! — услышал он задыхающийся голос и хотел крикнуть: «Не надо, вы обознались, это я, Блэки Кармоди»,— но крик застрял у него в глотке от возмущения и смертельной обиды, и он подумал: да, это я, Блэки, и вы избиваете меня на моей улице, около моего собственного дома. Ботинок бацнул его по затылку, и он потерял сознание.

...Медленно продравшись назад сквозь мешанину шума и мглы, он выплыл на поверхность нескончаемой всепроникающей боли. На нем, казалось, живого места не было. Потом он почувствовал что-то еще — правая нога.

Лежал он неудобно: туловище на тротуаре, ноги на мостовой. Двое навалились ему на руки и плечи — он даже пальцем не мог шевельнуть; третий восседал на его правой ноге, четвертый, тот, которому он нанес первый удар, стоял рядом.

— Крепче держи! — сказал, переступая от нетерпения, бандюга на обочине, а другой выворачивал ему правую ногу. Блэки хотел подтянуть ногу, но она не двигалась. Он понял, что́ они сделали — переломили ему колено о поребрик,— и закричал.

Малый на мостовой дергал Блэки за ногу, выворачивал стопу, а тот, на тротуаре, буквально приплясывал в хищном азарте. Потом он занес ногу, как будто хотел раздавить змею, и с силой опустил ее вниз.

Потом раздался топот, он удалялся, стихал, был уже едва различим. Блэки хотел крикнуть, громко, позвать на помощь, но вместо крика у него вырвался стон. Кроме ног, он ничего не чувствовал. Вдруг он снова услышал позади себя какое-то движение, шаркающие шаги, сдавленный голос. Как сквозь туман он увидел лицо Манты. Нос у него был в крови, лицо скорчилось от боли или злости, правая рука висела в рукаве плетью.

— Ну вот, Блэки, они и до тебя добрались,— сказал он и начал было тащить его здоровой рукой, но Блэки замычал.

— О чем шум? — раздался чей-то голос.— Кто пал на поле брани?

Блэки узнал Конна-Парохода.

— Помогите мне отнести его.

— А кто это?— Конн нагнулся и всмотрелся в лежащего. От него несло перегаром.— А, этот...— проворчал он, с трудом разгибаясь.— Скэб проклятый, мать его за ногу!— сплюнул он и пошел на другую сторону улицы.

— Не двигайся, Блэки,— сказал Манта.— Сейчас что-нибудь придумаем.

— Ноги...

— Да-да, сейчас в больницу тебя.— Манта отошел и стал кого-то звать.

Теперь мать из-за меня в больницу угодит, ни с того ни с сего подумалось Блэки. У него даже вырвался слабый нервный смешок. Господи Иисусе, все собирался ее положить, а кладут вот меня. Он вспомнил лицо Манты, с которого первый раз сошло обычное выражение безразличия и пассивности. Надо же, думал он удивленно, поступок совершил; считай, в забастовку ввязался.

Избит до полусмерти, и кем — головорезами, которых нанял тот же Келли, дошла наконец до Блэки вся глубина иронии. Он не мог понять, как это случилось, но от самого факта случившегося его начал душить истерический смех, он смеялся, и стонал от боли, и плакал, пока сквозь полузабытье не услышал протяжную, с голубыми отсветами сирену «скорой помощи».

Четверг, 11 вечера

С улицы невозможно было разглядеть, что делается в пивной. Окна запотели, по стеклам собирались капли и сбегали грязными ручейками вниз. Даже стеклянная входная дверь помутнела, и Крипу пришлось открыть ее, впустив вечерний холод в теплый освещенный зал. Он остановился у самого порога, моментально высмотрел человека, который был ему нужен, и быстро вышел. Лучше вообще не заходить. От тепла расслабляешься. На улице холод, а он без пальто.

В жилом доме, через который ему пришлось пройти, чтобы занять свой пост под окном уборной, стоял смешанный запах кухни, приближающейся зимы, застывшего свиного сала и керосинового отопления, запах знакомый, надоевший по собственному дому, и он был рад снова выбраться на свежий воздух. Окно в уборной тоже запотело, он хотел было протереть его, но сообразил, что запотело-то изнутри. Крип достал из кармана револьвер, сунул руку под левую полу пиджака и замер — невысокий продрогший человек с поднятым воротником.

Не так надо было бы действовать. Кто может поручиться, что человек, которого он выслеживает, обязательно зайдет в уборную? Он уже простоял впустую несколько вечеров подряд. Но Крип был терпелив. Он мог до бесконечности клясть погоду, эту паршивую пивную, того, по чьей милости он торчит на холоде, и самого себя, но он умел ждать. Ждал же он и вчера и позавчера. Не сегодня, так в другой раз, подумал он, и тут дверь открылась, и он увидел тень в окне.

Нет, не он. Крип снова сунул руку с револьвером под полу, чтобы не замерзла, и, пряча лицо от света, который падал сквозь запотевшее и немытое окно, стал наблюдать за вошедшим. Он уже возненавидел его только потому, что он не тот, кого он ждет. Мужчина был в теле, можно сказать, толстый. Глядя в унитаз, он торопливо, почти лихорадочно расстегивал ширинку. Едва брызнув, он облегченно вздохнул, потом, подавшись вперед, уперся рукой в стену и положил голову на руку. Немного погодя он оторвался от стены и принялся детально, неспешно исследовать сокровища настенной письменности, то неодобрительно морща губы, то кивая головой в знак заинтересованности или согласия, и даже, достав карандаш, подчеркнул какой-то стих. Закончив, он задумчиво застегнул штаны, распахнул дверь и вышел.

Крип вытянул шею, думая, что толстяк написал что-то свое, но окно было грязное, и он ничего не разобрал. Отступив в тень, он снова начал клясть этого типа и еще больше — целый свет, который при-

носит одни разочарования, будь то невозможность прочесть каракули в уборной или увечная нога. Застарелая вражда с миром не затихала.

В начале двенадцатого долготерпение Крипа было вознаграждено. Он услышал, как щелкнула ручка, дверь растворилась и вошел парень — черноволосый, самоуверенный. Крип вынул из-под полы теплую, согревшуюся руку, поднял ее на уровень глаз и быстро выстрелил два раза. Парень качнулся вперед, схватился за цепочку спуска, выпал из освещенной рамы окна. Крип слышал, как ударяется его тело о стены уборной, как колотит он ногами, словно оглоушенное животное или цыпленок, которому сворачивают шею. И вдруг он сообразил, что застрелил совсем другого человека. Озарение тут же перешло в такое чувство, будто его опять обманули! Потом в унитаз хлынула вода и заглушила все остальное.

Четверг, полночь

До квартиры, где жил Билл, я добрался примерно в половине двенадцатого. Там никого не было. Теперь, когда я попал сюда второй раз, комната показалась мне просторнее и удобнее, но все-таки была не похожа на настоящий дом.

На столе стояли кофейник и грязные чашки. Я сполоснул его, засыпал кофе и поставил на огонь, а сам тем временем принял душ. Вода была горячая, бежала хорошо, и первый раз за целый день я по-настоящему согрелся. Вытеревшись досуха, я надел старый халат, не знаю чей — то ли Билла, то ли его приятеля. Потом нашел в комоде обогреватель — наверное, домовладелец запрещал пользоваться электрическими приборами — и без колебаний воткнул вилку в розетку. Спираль быстро накалилась до оранжевого свечения.

Постель хозяина комнаты была в чудовищном беспорядке, зато у Билла застелена аккуратно, по-казарменному, пододеяльник по краям отвернут белеющими треугольничками. В такую постель даже лезть боязно — все равно что сейф взламываешь. И все-таки я забрался под одеяло, в животе урчал кофе, вовсю жарил обогреватель, и мне было хорошо.

Я старался не думать о Кей, надеясь в глубине души, что все, может, и образуется, хотя хорошо понимал, что ничего не образуется. С момента возвращения я, кажется, только тем и занимаюсь, что раскладываю все по полочкам, стелю соломку, распрямляю кривую, на которой хочу объехать обстоятельства.

Так я и расставлял в уме все по своим местам, пока не очнулся от дремоты, словно от толчка допотопного паровозика, прибывшего после долгого и трудного пути на конечную станцию.

Свет горел. От обогревателя несло горячим дыханием пустыни. Ветер на улице яростно кидался на стены дома. Ни Билла, ни хозяина комнаты не было.

Мне показалось, что кто-то постучал, я прислушался, дожидаясь, пока постучат второй раз: выбираться из-под теплого одеяла не хотелось. Шел только второй час, так что я продремал всего несколько минут.

Потом вроде послышались шаги, размашистые, упругие шаги то ли Блэки Кармоди, то ли Билла, но я знал, что они далеко, в другом крыле дома.

Я вытащил вилку из штепселя и погасил свет. Какое-то время спираль светилась в темноте, словно всевидящий глаз, а снаружи все так же завывал ветер. Я подумал о Билле и других наших ребятах, которые в погребе мира ищут потерявшийся ключ. Каждому свой черед. Замечательно, если они сейчас в тепле. Тут меня подхватило широкое течение сна, и откуда-то издали донеслись те же уверенные шаги и замерли во мгле на другом краю леса.

Пятница, 7.30 утра

Остановившись, Брайан Мансон аккуратно сложил газеты, чтобы их не растрепал ветер. Мельком просмотрел прогноз погоды: холодно, пасмурно, сильный ветер.

Мансон и сам знал, что ветер — авеню продувало насквозь, и его, выскочившего в одном пиджачке, уже пробрало. В порту раздался протяжный пароходный гудок и тарахтение тяжелого грузовика. Сунув газеты в карман, он поспешил домой. В кухне было почти тепло, пахло кофе и горел свет, потому что день был пасмурный, а окно выходило на стену соседнего дома.

Эффи Мансон накинула старенький стеганый халат, на ногах у нее были мягкие стоптанные шлепанцы, почти не слышимые при ходьбе. Она налила мужу кофе и стала у плиты, поеживаясь, только что из постели, ждала, что он вот-вот заговорит. Им вовсе не нужно было подниматься в такую рань, но неделя забастовки не повлияла на многолетнюю привычку. Мансон уткнулся в газету, а Эффи смотрела на него и, словно механик, следящий за показаниями прибора, точно угадывала по выражению лица, какие там новости. В такое утро хотелось прилечь еще на четверть часика, и тем не менее она терпеливо ждала, придвинувшись спиной к едва теплой плите, поеживаясь, нервничая. Ей нужно было поговорить с мужем, но она не знала, с чего начать.

Мансон читал медленно, слегка шевеля губами, как будто только произнося про себя слова, он мог через печатный текст добраться до реальности. Первым делом он прочитал заметку об убийстве в баре на Восьмой авеню, затем обращение Низового комитета, а напоследок просмотрел новости по стране и сообщения из-за рубежа. Отложив «Дейли уоркер», он взял другую газету и раскрыл страницу с комиксами. Так же серьезно он изучил очередные приключения Крошки Эбнера, проглядел спортивную хронику и сложил газету. Допив кофе, Мансон посмотрел на жену, стоящую у плиты, и глубоко вздохнул.

— Еще не пришел?

Эффи покачала головой.

— Новые дружки у него завелись,— огорченно сказал Мансон.

— Ты уж не очень строго с ним, Брайан,— проговорила Эффи.— Молодой он еще.

— Должно быть, в гостях у кого-нибудь пребывает,— продолжал он.— Он у нас теперь знаешь с какими людьми общается. Что ему дом, когда важные дела в голове.— Мансон был скорее расстроен, чем раздражен.

— Ты за Джонни не беспокойся, Брайан,— как малого ребенка уговаривала Эффи мужа. Она подошла к нему, погладила по голове, успокаивая его и себя самое.— Он еще совсем мальчик, не все понимает. Помягче с ним надо. Ведь он наш сын.

— Тем хуже,— горько отозвался Мансон.— Будь он не наш, я бы еще мог понять. Если родитель бездельник и прихлебатель, тогда, конечно, чего от сынка ждать...

— Из армии он только что. Не угомонился еще,— продолжала Эффи, гладя седые мужнины волосы.— Ты обязательно поговори с ним, только спокойно. Его так долго не было дома, хочется, чтоб в семье мир был.

— Ну и что что из армии! Если их этому в армии учат, будь она трижды проклята, эта армия,— обозлился Мансон и добавил немного погодя: — Эффи, я поговорю как считаю нужным — и кончен разговор. Ты и так ему все спускаешь.

— Да что же я могу с собой поделать, Брайан?.. Единственный он у нас остался. Как вспомню, когда он маленький был...

— Сейчас-то не маленький,— с горечью сказал Мансон.— Думаешь, я просто осерчал на него? Как бы не так! Отец я ему или нет?

Ты иди, занимайся своими делами. Давно уж не маленький он...— Брайан опять взялся было за газеты, однако читать не стал. Жена прошаркала в другую комнату. Кофе остыл, но Брайан Мансон пил его глоток за глотком и задумчиво глядел через окно на голую кирпичную потемневшую от времени стену соседнего дома.

Джонни Мансон постоял перед входом в квартиру. Сквозь занавеску и верхнюю, не прикрытую ею часть двери с толстым затемненным стеклом из кухни пробивался свет. Наверху играло радио, потом музыку заглушил шум спускаемой в уборной воды. Джонни открыл дверь и вошел. За столом с газетами и кружкой кофе сидел отец. Джонни на секунду растерялся, но упрямо стоял у двери, худощавый парнишка лет двадцати, усталый, замерзший, грязный, с двухдневной русой щетиной на щеках.

— Явился,— спокойно сказал Брайан. Сын молчал, и он отодвинул от себя газеты, лишь этим ненужным движением выдавая свое недовольство.— Джонни, зачем ты это сделал? — спросил он тихо.— Скажи зачем?

— Откуда ты знаешь?

— Был я там.

— Ясно,— обиженно бросил Джонни,— где ж тебе еще быть.— Он подошел к плите, зажег сигарету.

— Зачем, сын? — снова спросил Мансон.— Я понимаю, тяжело тебе сейчас, после армии. Ты, наверное, малость сбит с толку, но я никогда не думал...— Он мотнул головой и умолк.

— Не думал, что я в скэбы подамся? Уж говори прямо.

— Да, не думал, что ты ворвешься на рабочее собрание с бандой подонков...

— Не надо, Брайан,— сказала Эффи Мансон, неслышно войдя в комнату. Она кинула на сына предостерегающий взгляд и положила мужу руку на плечо.

— Пускай до конца говорит,— артачился Джонни.

— Ну, а теперь дайте мне сказать,— решительно объявила Эффи.— Я с самого начала была против того, чтобы ты активничал, Брайан. Когда приходил Хантер... ты меня слушаешь, Джонни?.. Когда пришел Хантер, я старалась уговорить папу не связываться с собранием. Никакого толку от таких затей, одни неприятности. Но и тебе не следовало так поступать. Ты уже не маленький. Должен понимать, что некрасиво это — против своих же идти. Вот и все, кончим этот разговор.

— Я-то что,— выдавил Джонни.— Но он же так не оставит.

— Да, не оставлю!— сказал Мансон.— По-твоему, все так просто, Эффи? Легко же ты прощаешь.

— Ничего я не прощаю.

— Хорошо, хоть понимаешь, кто друзья, а кто...

— Перестань! — в отчаянии вскрикнула Эффи.— Сейчас же перестаньте оба, слышите?.. Джонни только что возвратился... Молодой еще, каша в голове.

— Хватит со мной как с маленьким обращаться! — угрюмо огрызнулся Джонни.— Давно из школьников вышел.

— Тогда, может, отправишься к тем, кто тебя понимает? — задумчиво произнес Мансон, глядя в стол и вертя кружку. Эффи выразительно посмотрела на сына, умоляя его помолчать.

— Брайан...— начала она примирительным тоном.

— И отправлюсь! — нарочито громко выпалил Джонни, словно боясь, что у него не хватит духу.

— Иди-иди.— устало сказал Мансон.— Не нужен мне скэб в доме.

Эффи негромко охнула и тут же закрыла рот рукой, потрясенная, убитая. Она видела, как побледнело у сына лицо, потом покраснело,

и чувствовала, как стиснул зубы и напрягся всем телом муж. Джонни хотел что-то сказать, искал слова, но слов не было; он отвернулся, толкнул дверь и постоял в нерешительности, держась за ручку и удивленно глядя вниз, будто дверь отворилась сама по себе и взяла его за руку, чтобы вывести вон из родительского дома. Потом вышел.

— Так я и знала,— сказала Эффи, не глядя на мужа и не плача.— Сразу поняла, как только ты рассказал мне.

Брайан Мансон потянулся и неуклюже дотронулся до жены, но она отдернула руку. Оба молчали.

— Всему есть предел,— выговорил наконец Мансон бесцветным голосом.— Я всю жизнь от чего-то отказывался, всю жизнь уступал и отступал. Но приходит время, когда надо твердо стоять,— иначе ты уже не человек.

— А мне, по-твоему, не приходилось отказываться? — горячо возразила она.— Сколько сил положила, пока он подрос. На чем только не экономила, каждый цент считала. А как волновалась за него, когда он воевал! Легче мне было, что ли?

— Не легче,— покорно согласился Брайан.— Может, даже труднее, женщина же ты... Но я не о том.— Брайан опять протянул руку к жене, но не дотронулся.— Разве я что-нибудь пожалел для него... Мы ж себе во всем отказывали. Я как каторжный вкалывал, чтобы несколько лишних долларов домой принести. Ты все болела после родов — помнишь? И старилась раньше времени, выхаживая их, да еще по дому хлопотала, и вообще. Но я-то другое имею в виду...

— Что, что — другое? Что еще может быть, кроме нашего житья-бытья?

— Ну, как тебе сказать...— мямлил он.— Другие вещи есть...

— Боже мой, Брайан,— печально вздохнула Эффи.— Вечно ты что-то выдумываешь. Какие еще другие вещи? Что есть, то и есть. Одни ведь мы. Никого не интересует, живы мы или померли. Только и держимся, потому что семья. Кроме семьи, ничего нет. А вот теперь...— И тут Эффи первый раз заплакала, заплакала тихо, по-старушечьи.

— Не надо, Эффи, не плачь,— растерянно бормотал Брайан.— Мы-то с тобой есть.

— Кто — мы? Кто мы теперь? Ох, Брайан, Брайан, ну, зачем ты это сделал?

— Не знаю... Не мог я иначе. Собственного сына выгнать — ничего хуже у меня в жизни не было. Но если срывают забастовку, а ты сидишь сложа руки, значит, когда в другой раз до дела дойдет, еще тяжелее будет — и тебе, и всем остальным.— Он понимал, что говорит не совсем то, что чувствует.

Эффи ничего не ответила, он опять безотчетно потянулся к ней, и на этот раз она не отняла руку. Она перестала плакать и сидела, обмякшая, опустошенная, на неудобном кухонном стуле.

— Эффи, есть такие вещи, как достоинство, честь... По-разному их называют.

— Достоинство, честь — все это мечтания одни,— возразила жена.— А жизнь — это дети, дом, деньги.

— Нет, не просто мечтания. Без них и жизнь не в жизнь.

Эффи ничего не ответила, начала прибирать в кухне. Мансон не спеша встал и надел пиджак. Когда он дошел до двери, жена проговорила, не оборачиваясь:

— Он вернется, если ты захочешь.

Мансон молча вышел.

На улицах еще тяжелели туманные сумерки, и дома стояли угрюмые, насупившиеся. Мансон свернул на Восьмую авеню, пересек Четырнадцатую улицу, прошел библиотеку на Джексон-сквер. Он шел куда глаза глядят. Потом он подумал о сыне и о Джо Хантере, и ноги сами понесли его быстрее.

Четверг, 2 часа дня

Келли сидел у себя, погруженный в послеполуденную мглу комнаты. Раскрылась дверь, и на пороге появилась высокая фигура Элтона Хаска. Келли шевельнулся, вздохнул и ткнул погасшую сигарету в заваленную окурками пепельницу.

— Хотел пораньше забежать, но вот только что вырвался,— сказал Хаск.— Занят был.

— Занят? И чем же? — спросил Келли.

— Да забастовочными делами.

— Забастовочными? Понятно.— Резко поднявшись, он дернул шнурок, и половину комнаты, где стоял стол, залил свет. Хаск спокойно остановился перед Келли. В свободном пальто и темной шляпе он казался крупнее и выше ростом, чем был на самом деле. Келли первый раз заметил, что губы у Хаска чересчур толстые, хотя лицо красивое, даже открытое и в светло-карих глазах играет какой-то неестественный блеск. Впрочем, сами глаза, если присмотреться получше, глядят тяжело и неподвижно, как будто не глаза, а устройства, которые собирают и отражают внешний свет. Келли почувствовал неприязнь к Хаску, а потом и раздражение.

— Присядь,— бросил он.

Хаск снял пальто, поежился.

— У меня Каминетти был,— сказал Келли.

— Да? — с готовностью откликнулся Хаск.— И что же ему нужно? Он просто так не приходит.

— Ничего ему не нужно. Я велел ему комитетом заняться.

— А, понятно. Быстро ты это провернул, Пе Де, ничего не скажешь. Сам-то я о собрании узнал перед самым началом. Успел, правда, послать несколько человек, чтобы они там порядок навели. А ты когда?

— А я всю дорогу знал,— ответил Келли многозначительно.— Я такие вещи с самого рождения загодя чую.

— Дальше-то у тебя какие планы?

— Ты, значит, надумал порядок там навести? Не слишком ли много ты последнее время думаешь, Эл? Планы в голове строишь и под них хочешь жизнь подогнать? А я вот, наоборот, го́ловы с планами под жизнь подгоняю.

— И правильно делаешь,— благодушно согласился Хаск. Операция, которую провел Келли, была как молния в разгар зимы. Ее невозможно было предвидеть, и потрясенный Хаск увидел в стареющем профбоссе такое, о чем он не подозревал. Его охватило чувство собственной незначительности, которое сразу же перешло частью в мазохистское наслаждение своей непредусмотрительностью, частью же в уверенность, что он все равно осуществит свои замыслы.

— Такие вещи я еще младенцем усвоил,— продолжал Келли.— Это все, чему меня папаша научил. Твой драл тебя, Эл?

— Вроде нет.— Вопрос неприятно расшевелил память. К чему Келли клонит?— Может, и драл бы, если бы помнил, что я вообще существую,— вырвалось у него с неожиданной горечью.

— Мой очень даже помнил. Каждую минуту ждал, что я что-нибудь выкину. Имел к тому основания,— довольно хмыкнул Келли.

Хаск не мог себе представить Келли мальчишкой, чьим-то сыном.

— А вообще-то уважал я старика,— почти молитвенно произнес Келли.— Ни разу его не продал.

— Само собой,— промычал Хаск. У него не было никакого желания в который раз слушать россказни П. Дж. Келли о его детстве и добрых старых временах.

— А ведь я о Каминетти толкую,— неожиданно сказал Келли.

— Не понимаю, о чем ты.— Хаска будто током ударило.

— О твоем сговоре с Каминетти.

— О каком сговоре? С чего ты взял, Пе Де?— Хаск старался не выдать себя ни голосом, ни жестом.

— Мне все известно. Раскололся он, твой Каминетти.— Келли говорил медленно, ворочая слова, будто тяжелый груз волочил.— Я из этого ублюдка всю душу вытряс.

— Врет он!

— Чего ты лепечешь? Ты что, мальчишка, которого за руку поймали, когда он в конфетницу залез?

— Врет он,— хрипло повторял Хаск.— Врет.

Келли взбеленился. Он поднялся с кресла, обошел стол.

— Ты что, издеваешься надо мной, сукин сын? А ну встать!

Хаск вскочил как подброшенный. Он хотел возразить, сказать, что это наговор, хотя рассудком понимал, что отпираться бессмысленно. Страх прошел. Его охватило какое-то ребячье упрямство, и он гадал, ударит его Келли или нет. Он шагнул, опустил руки на столешницу, как заключенный в суде — на перегородку, и уперся взглядом в стену.

— Зачем ты это сделал, Эл?— спросил Келли с неподдельной болью.— Зачем?— Он опустился в кресло и нагнулся вперед, отодвинув пепельницу.— Ты же мне как сын был...

— Кончай ты эту бодягу насчет сына, черт тебя подери! — не вытерпел Хаск. Он отвел глаза от стены и увидел, как обмяк Келли и заострилась болезненная складка у рта.

— Зачем, Эл? — жалобно и удивленно твердил он.

— Возникли мыслишки, вот и все,— вызывающе ответил он, свободно усевшись в кресле.— Я пытался однажды объяснить тебе. Ты не захотел слушать.

— Да слушал я, но мыслишки-то чепуховые.

— Это на твой взгляд чепуховые.

— Да, на мой взгляд. И все равно — как ты пошел на это? Я же мог полезным тебе быть. По душе ты мне пришелся, Эл...

— Мне полезным — как же,— язвительно ответил Хаск, чувствуя, как в нем снова нарастает раздражение.— Скажи — себе полезным. И по душе я тебе пришелся, потому что делал, что ты велел.

Келли долго и пристально смотрел на Хаска.

— Ну и дурак же ты! — сказал он разочарованно.— Думал, так просто — спихнуть старика? Ошибся, милок. Я знаешь как дрался за это место? Самый что ни на есть последний дурак.

— Мели что хочешь. А я ухожу.

— Ах, уходишь? Ну, иди, иди — и подальше.

Хаск взял пальто, шляпу и пошел к двери.

— И чтоб духу твоего в порту не было! Только попадись мне на глаза...

Хаск молча вышел. В раскрытую дверь потянуло воздухом. Он пахнул улицей, холодом, зимой и смертью. Запах долго стоял в комнате, а Келли сидел, положив руки на стол и стараясь ни о чем не думать. Потом он потянулся к ящику за сигарой.

Пятница, 9.30 утра

Пивная на Девятой авеню. Снаружи она похожа то ли на третьеразрядную мясную лавку, то ли на конюшню, которую не успели переделать в гараж, склад или стандартный промтоварный магазин. Внутри гулкая, как в пещере, пустота, заставленная грязными столами, поделенная на кабины, обитые клетчатой клеенкой, увешанные какими-то немыслимыми светильниками, которые никогда не горят, вечные сумерки, полусонное царство, плевательницы, надписи на стенах и картинки со старыми парусниками, пьяницы и портовые пижоны. В музыкальном автомате две дюжины пластинок, и среди них «Бродяжий блюз». Никто не заводит его, кроме молодого сноровистого бармена, да и тот — под утро, часа в три, когда подсчиты-

вает выручку и улицы еще полны своей собственной ночной музыки. Есть пара-тройка старинных танго, которые тоже никто не слушает, но и непременные «Матушка Макри» и «Кэтлин Мейворнин» — баллады Восьмой и Девятой авеню о трудном детстве и несчастной любви. Ритмично стучит слезливо-механическое сердце последнего шлягера, зато «Старые друзья» заиграны донельзя.

В пивной — с полдюжины ранних посетителей. В глубине, в большой кабине, трое забастовщиков: нахохлившийся Платон задумчиво вертит за ножку бокал с вином; Линк нервно барабанит по столу: ему не по себе в незнакомом месте, он не знает, как тут относятся к неграм; коротышка из Бруклина радостно уставился в стакан.

Старый хозяин терпеливо дожидается одиннадцати, когда его сменит жена, а он приляжет у себя в квартире за пивной и включит портативную рацию. Бывший полицейский, он очень интересуется тем, что происходит в городе — где убийство или поножовщина, где пожар, а где просто автомобиль угнали.

— Ну, и что ты теперь насчет плана скажешь, Платон? — вопрошает коротышка, втайне вроде бы даже довольный неудачным оборотом дел.— Был у красных план, а что вышло?

— Плохой был план,— невозмутимо отвечает Платон. Он хочет объяснить, чем плох план, но Линк не дает ему сказать, нетерпеливо стучит по столу костяшками кулака.

— Где ж Дьюи-то? Обещал же прийти утречком.

— Плохой, это ты в самое причинное место попал,— соглашается коротышка.— Когда захочет, тогда и придет, Дьюи твой.

— План...— снова заводит Платон.

— Кончено все. Побили нас по всем статьям. Через день-другой как миленькие на пирсы побежим.

— Но я-то первым все равно не буду.

— Ты, как целочка, рассуждаешь.

— Уж лучше целочкой быть, чем скэбом.

— Загвоздка в плане...

— В Келли загвоздка. Бандюги его ни в какой план не влазят.

— Где ж Дьюи-то? — мается Линк.— Обещал же. Надо было на пирс идти.

— В такую холодину? Задница замерзнет.

— Да, прошла погодка... Выходит, побили нас, так по-твоему? Платон сплевывает от отвращения.

— В первый раз, что ли? — дергает плечами коротышка.— Тебе что, Линк, ты раньше в забастовке не был. А вот когда пятнадцать годов тебя имеют — по-другому поёшь.

Распахивается дверь, входит новый посетитель. Он останавливается у порога и, щурясь в скудном свете, оглядывает зал — дядя среднего роста и с большой головой. Она торчит на тощей шее, точно тыквенный фонарь на палке, и вертится во все стороны, как у грифа-индейки. Увидев приятелей, он вскидывает голову, как лошадь, учуявшая воду после тяжелого жаркого дня, и направляется к ним, переставляя ноги неторопливо и осторожно, словно на ходулях.

— Как разворачивается заср... извиняюсь, сражение? — ерничает он.— Какие планы у верховного командования в это замечательное утречко? Задница цела?

— Здорово, Дьюи! Видик у тебя сегодня что надо! — У Линка растягивается рот. Платон молча вертит бокал.

— Ставь пиво — твой черед!

Дьюи небрежно машет рукой, и бармен, выплюнув изо рта зубочистку, срывается с места. Приносят пиво. Дьюи переводит бесцветные глаза на итальянца:

— Ну как, Платон, говорят, ты позавчера на собрании был?

— Был.

— Мозги не вытряхнули, а? Ишь, остряки-самоучки, чего наду-

мали — против Келли переть. Думаете, забастовка — задачка по арифметике? Хрена с два! Бастовать — все равно что кости кидать: раз выиграл, другой раз проиграл.

— Старание надо,— возражает Платон.

— Брось! Такое старание — против ветра стояние. Пусть умники ерундой занимаются. Тебе-то что?

— Однако что делать? — спрашивает Платон.

— Дьюи покамест не придумал, верно, Дьюи?

— А ни хрена не делать! Сиди и молчи в тряпочку. Дожидайся, пока удача подвалит. Можно, конечно, тут постараться, там попробовать. Глядишь, что-нибудь и обломится... Ну, а с нами как?.. Думаешь, у кого-нибудь есть возможность самому решать? Держи карман! И неизвестно, кто виноват. Ясно, что не этот мошенник, мистер Келли, и не губернатор, и не президент наш — никто из этих прохвостов. Драчка идет, понял? Самая что ни на есть поганая драчка — кто кого.

— Это ты о ком?

— Да о каждом сукине сыне!— объявляет Дьюи жизнерадостно и отхлебывает пива.— Честные и порядочные, где они? В распрекрасном нашем государстве всяк ловчит — только одни ловчее, а другие глупее. Что-что, а уж это я в армии точно узнал.

— Ну, понес парашу! Не ты ее придумал, но параша, она и есть параша.

— Как хочешь, браток. Просто просветить вас хотел.

— Считаешь, все плохие, так?

— Именно так, Платон, все без исключения. Только одному везет, а другой сам на горбу везет. Мне-то что, я лично перебьюсь, понял? Меня никто вокруг пальца не обведет — ни Келли, ни красные, ни президент Соединенных Штатов, ни сам папа римский. Катитесь все к матери на быстром катере — вот мое правило.

— Неправильное правило.

— Еще какое правильное!

— Не-е, есть которые честные.

— Которые честные? Покажи хоть одного, Линк, а я докажу тебе, что солома у него в башке заместо мозгов.

— Ну, а насчет стачки, по-твоему, ни с чем мы останемся?

— А мы всю треклятую жизнь ни с чем! И родились ни с чем. Вот и ждешь, чтоб только тебя из игры не выперли. Тащи свой номер из шляпы, вдруг счастливый попадется. А уж если подвалит, тогда пошли они все — и папа, и президент, и профсоюзный босс. Вот начинили бы целый свет порохом, а у меня в руках коробок со спичками...

Пятница, 10 утра

Проснулся я поздно. Утро было серое, за окном сеял меленький, противный дождик. Вторая постель была смята. Приятель Билла, очевидно, переночевал и убежал по своим делам. Самого Билла тоже не было.

Пора вставать, но мне безумно хотелось полежать еще, послушать шелест дождя, который напомнил мне плеск озера за домом и шум мичиганских сосен. На несколько минут я перенесся в блаженную страну детства, где все так ясно и просто и, конечно, гораздо проще, чем было на самом деле.

На половину одиннадцатого у меня была назначена встреча с одним человеком, и я гадал, придет ли он, а если придет, то не отошьет ли меня, как многие другие. Вчера нам удалось изготовить листовки с изложением требований комитета, и он взялся распространить их. Мы же продолжали восстанавливать связи с участниками собрания.

Работенка не из легких, потому что люди были обескуражены и напуганы. Очень многие считали, что после разгона собрания на

стачке надо ставить крест. Попадались и такие, кто был готов поддержать нас, но их наперечет. Мы и так и эдак, а все равно такое ощущение, будто выбираешь длинный конец, и он идет, идет, словно он длиной в милю, и вдруг чувствуешь — натянулся, значит прикреплен там к чему-то, начинаешь тащить, и тут же — р-раз! — снова провис в руках. Мы не просто связи с работягами растеряли, и когда мы их, эти связи, еще восстановим — нас оторвало от докеров, мы потеряли связь с народом. Слабина, провисший конец — вот чем сделалась забастовка. Протягиваешь человеку руку, дотрагиваешься до его ладони, но рука-то у него сонная, мертвая. Рукопожатия не получилось.

Я зашел выпить кофе в первую попавшуюся забегаловку, развернул утреннюю газету и — обмер. Крохотная заметка. В вест-сайдском баре застрелили человека. По документам установлено — Уильям Д. Эверсон. Бывший фронтовик, недавно демобилизованный. Вот и все, что они написали о Билле.

Я отупело перечитал заметку, потом еще раз... В ушах стояли вчерашние слова Билла: «Хочу быть честным и отзывчивым к людям». Что же еще он говорил? Слушал-то я его вполуха. Надо хорошенько вспомнить каждое его слово, это ведь очень важно, но моя дырявая память ничего не сохранила. А что, если именно его шаги я слышал вчера ночью? И это все, что осталось от Билла? Только звук удаляющихся шагов?

Немного погодя я поплелся в ячейку. На душе было муторно и пусто.

Наверху в ячейке у самой лестницы негромко переговаривались несколько человек. Один в сторонке делал плакаты для пикетов. Подальше кто-то из ветеранов крутил старенький мимеограф. Я прошел в закуток к Барни. Он сидел за столом и что-то писал.

— Слышал? — поднял голову Барни. Вид у него был побитый.

— Только что в газете прочел.

— Ну да... А мне вчера вечером позвонили — один из наших случайно узнал. Я сразу туда...— Он устало передернул плечами и отвернулся.

— Живым не застал?

— Нет, он сразу скончался.— Он отодвинул бумаги.— И еще в таком месте.

— Какое это имеет значение, в каком месте?

— Да понимаю я. Но все-таки...

— Хороший он был товарищ.

— Человек он был хороший.

— Я об этом и говорю.

— Одного не могу понять — почему именно его? — сказал Барни.— Почему не Кейса, не Дэниэлса, не кого-то еще. Билл ведь совсем недавно приехал, особой опасности для них не представлял. Зачем его убивать-то? Могли ведь кого покрупнее выбрать...

— Погоди, и до остальных доберутся.

— Слух прошел, что, может, его по ошибке убрали.

— То есть как — по ошибке?

— Ну, будто убийца ошибся, принял его за другого. Стрелял-то он снаружи, через грязное окно...

И тут я моментально представил, как это могло произойти: вместо Билла Эверсона — Блэки Кармоди, такой же невысокий, прямой, такая же уверенная походка, такие же черные вьющиеся волосы.

— Нет, нет, быть этого не может!

— Ты чего, Джо? — изумился Барни.

— Если слух верен, тогда... Тогда это просто несчастный случай, понимаешь? Дикая случайность!

— Несчастный случай, случайность,— медленно заговорил Барни,— это ничего не меняет...

— Меняет, как ты не видишь? Собрание и избиение его участников — эти вещи связаны. Связь неестественная, жестокая, но они связаны, понимаешь? А тут... полная бессмыслица, черт подери! Умереть по ошибке, по нелепой случайности...

— Не то ты говоришь, парень,— тихо произнес Барни.— Главное — не как он умер, а как жил.— Он достал сигареты, взял одну, протянул мне пачку.— До чего поганая погода,— переменил он тему.— Что-то неважно я себя чувствую перед зимой.— Я отвел глаза к окну, по которому стекали капельки дождя, и подумал, что совсем не в погоде дело.— Ну а нам дальше двигаться надо,— продолжал он.— Вряд ли Биллу понравилось бы, если б мы стали слезы лить. Новое задание получено...— Он умолк и тяжело вздохнул.— Привязался я к нему... Да, я тут с его родными созвонился. Переправляем им тело. Вот я и подумал...— Он помедлил.— Хорошо, если бы ты присмотрел за этим делом, а не посторонний. Пустяк, конечно, но вы ведь друзья были, правда?

Я кивнул.

— Это здесь, недалеко.

Он дал мне карточку с надписью «Похоронное бюро Донована» и с адресом.

— Ничего там делать не нужно, просто для порядка. Гроб... ну и все остальное днем будет готово. А вечером они отправят его на вокзал.

— Вечером я буду у Донована.

— Ну, давай. Сейчас Фред должен прийти. Дождись его, у него что-то к тебе есть.

Я пошел к двери.

— Погоди,— окликнул он меня.— Чуть не забыл. Кейс объявился. Сегодня рано утром позвонил и сказал, что зайдет вечером поговорить. Не все еще потеряно. Есть у нас еще шанс. Маленький, но есть.

— Да, пожалуй,— согласился я неуверенно. Я думал о Билле, и Барни тоже, судя по тому, с какой неохотой он взялся за бумаги.

— Бог ты мой! Отчеты, отчеты, сплошные отчеты,— пробурчал он.— И все в письменном виде.

Наверное, он думал о Билле Эверсоне, который представил бы такой отчет, что за целую жизнь не изучишь.

Четверг, 5 вечера

Когда Лэнниган вошел в кабинет, Келли почему-то почудилось, что это Хаск, однако холодный ветерок, потянувший в раскрытую дверь, сразу же остудил безотчетный, безрассудный порыв радостной надежды.

Лэнниган прикрыл за собой дверь. Он был пониже и постарше Хаска. Бесцветные, как у некоторых рыжих, брови, перебитый и кое-как вправленный нос и тонкий прямой рот — точно ножом по лицу резанули.

Остановившись перед столом, он стянул шляпу с головы и сказал вызывающим и одновременно подобострастным тоном:

— Добрый день, мистер Келли.

— Садись,— хмуро бросил Келли. Лэнниган присел на стул, не снимая пальто, не глядя на Келли, а тот с гадливым чувством размышлял о том, как начать.

— Неприятности у меня,— сказал он.

— Ну? — удивился Лэнниган.

— Короче, работа есть,— продолжал Келли, уже спокойно.— Комитет вчера избрали, слышал? Чересчур разактивничались. Надо что-то сделать.

— Ну? — Лэнниган явно выжидал, поглядывая на Келли настороженно-наивными глазами, в которых тому почудилась насмешка.

— Потолкуй с Каминетти, он в курсе.

— Каминетти? А я думал...— Лэнниган растерянно пожал плечами.— Круто он работает, Каминетти.— Он теребил шляпу.

— Тебя Моро прислал или кто? Значит, знаешь зачем.

— Да, но... Выходит, не усек я... Думал, так, попугать надо. А Каминетти круто работает.— Он задышал чаще.— Не гожусь я для мокрого дела, Пе Де. У меня даже пушки нету... Я ведь...

— Ты это Каминетти скажи,— сухо сказал Келли.— У меня своих забот хватает. Не знаю, что он там для тебя приготовил, и знать не хочу.

Они смотрели друг на друга, и оба понимали, что Келли лжет.

— Как же так, мистер Келли,— обескураженно и просительно тянул Лэнниган.— Я уже два раза сидел. Нельзя мне больше...— Он был встревожен, испуган, и это доставляло Келли удовольствие.

— Меня это не интересует,— перебил он жестко.— А ты небось на легкие денежки рассчитывал?

— Уж больно рискованно. Если...

— Никаких «если», если хочешь шкуру сберечь, понял? Кто тебе условное освобождение устроил? Такие дела задарма не делаются.— Келли нагнулся вперед, угрожающе сузил глаза.— Боишься, говоришь, загреметь? Я и это могу тебе устроить. Третий раз сядешь как миленький. Ну, хватит, иди отсюда!

Лэнниган медленно поднялся со стула.

— Выходит, мне некуда деваться, я так понимаю.

— Правильно понимаешь,— съязвил Келли вдогонку.

Рабочий день у Келли на том и кончился, но уходить не хотелось. Он подошел к окну. В деловом здании напротив девицы наводили порядок на столах, торопливо подмазывали губы, задрав юбки, поправляли чулки.

Он старался стряхнуть с себя чувство одиночества, но оно возвращалось снова и снова, как побитая собака, которая, поджав хвост, хочет подольститься к хозяину и побаивается его. Келли видел, как Лэнниган перешел улицу и спустился в метро *Бруклин-то в другую сторону,* но тут же понял, что Лэнниган — тоже частица уличного копошения, что у него тоже есть дом, жена, может, и дети, к которым он сейчас спешит.

Неправильно это. По-настоящему Хаск должен был бы разговаривать с Лэнниганом, а не он; Хаску или кому-то еще положено такие дела устраивать *у меня и без того хлопот по горло,* а не ему самому. Но Хаска нет и никогда больше не будет.

Он теперь слишком стар, и слаб, и вымотался весь за этот, может быть, самый долгий и трудный день в его жизни, и у него не хватает духа взять на себя роль добровольного объективного свидетеля по собственному делу и, стоя вот здесь, у окна, открыто сказать, что он, Патрик Джеймс Келли, держится только на угрозах, подкупе и преступлениях. Было время, когда он легко и безбоязненно смотрел на такие вещи, но сейчас другое дело. Ведь он желал только одного: чтобы его оставили в покое и все образовалось само собой и вошло в нормальную колею.

Потом мысли круто изменили направление. Он сделал все, чтобы сломить бастующих. Стачка кончится — завтра, послезавтра или в начале следующей недели. Келли испытал миг мрачного торжества.

На улице сеялась мелкая противная изморось, асфальт был мокрый и скользкий. Выйдя из подъезда, Келли доверху застегнул пальто и поплотнее надвинул шляпу. Он с детства хорошо помнил этот предвечерний час, но он давно не ходил пешком по этим грязным, за-

мызганным улицам, где помещалась его старая контора. Он не стал ловить такси и не пошел в новый офис профсоюза, где его ждал телохранитель, а решительно зашагал к северной части города. Через два квартала он чуть не натолкнулся на Брайана Мансона, который торопился домой к ужину; тот узнал его, но не заговорил, потому что они не были знакомы и у Брайана не возникло желания познакомиться с П. Дж. Келли.

Еще несколько кварталов, и ноги сами свернули в какой-то переулок, словно знали дорогу лучше, чем подсказывала память. Келли шел, наклонив голову вперед против ветра, и старался не думать, но мысли сами лезли в голову.

Торжество, которое он на какой-то недолгий миг испытал в конторе, как испарилось. Он уже подсчитывал потери. Первым делом он подумал о Хаске и начал клясть забастовку, хотя понимал, что впустую. С самого начала чутье подсказывало ему: не вмешивайся, пусть идет как идет. Как началась, так и кончится естественным путем, потому что народ не вытерпит лишений, падет духом или попросту устанет от долгого, тягостного ожидания.

И все-таки его заставили действовать. Именно это обстоятельство злило и тревожило Келли: заколебалась его власть. Сделав первый шаг, он невольно привел в действие какие-то таинственные силы, превосходящие его собственные. Он разогнал собрание, но за этой акцией потянулась целая цепочка: полиция, отец Берк, Каминетти, Хаск, Лэнниган — как круги по воде от брошенного камня.

Ничего *меня голыми руками не возьмешь*, он все равно выйдет победителем, это ясно, и было ясно с самого начала. *Выигрываешь один бой, другой, третий — все, кроме последнего.* Но вот *черт побери, Анни, мы же могли иметь сына* Хаска нет. И с Каминетти *даже не выгонишь ублюдка* ухо востро надо держать. За ним сила, тем он и ценен. Даже этот подонок Лэнниган — еще неизвестно, чем это обернется. Шум-то обязательно подымется. Мысленным взором он уже видел мертвого, слышал, как остальные толкуют о случившемся, и подумал: прав Эл, от таких вещей только красными делаются. Он чувствовал, что запутался в сети обстоятельств.

— Ты кто? — раздался рядом голос.

Келли очнулся. Он стоял перед ступеньками из песчаника, которые вели в парадное жилого дома. Оттуда доносился запах кухни и керосинового отопления.

— Что? — растерянно спросил он и огляделся. Улица казалась какой-то размытой, нереальной. На другой стороне стояла бакалея с темными витринами, подальше — кондитерская.— Что это за улица?

Мальчугану было лет семь. Он смотрел на Келли серьезно, нисколько ему не удивляясь, и молчал.

— Что за улица, я спрашиваю? — повторил Келли нетерпеливо.

— Наша улица,— ответил мальчуган.— Мы тут живем.

— Номер-то какой?

— А-а,— протянул тот и назвал номер улицы — той самой, где родился и вырос Келли.

Наконец-то он сообразил, где он, и все стало на свои места: и бакалея, и кондитерская, и бар поближе к углу. Он остановился перед собственным домом — домом, в котором родился.

— Спасибо, сынок,— он выудил из кармана четвертак и сунул мальчугану в руку.

Странно, что я не узнал, думал он. Потрясенный до глубины души, Келли шел к себе домой по улице, которую даже в воспоминаниях не мог теперь назвать своей. Забастовка отняла у него волю и Хаска. Он шел, жалкий и безжалостный, перебирал обиды, которые нанесла ему жизнь, и понимал, что он — никому не нужный, одинокий старик, переживший свое время, осколок исчезнувшего мира.

Перед Хаском возникла отделенная от туловища голова. Вытянутая, с тяжелым подбородком и прямыми прилизанными волосами, она не мигая, с затаенной враждебностью смотрела на него, застыв, как каменное изваяние, посаженное на какой-то гладкий сверкающий стол. Он не мог отвести взгляда от подрагивающих на лбу бусинок то ли пота, то ли капелек, выпавших из перенасыщенного влагой воздуха, и потому не сразу увидел другие головы, тоже установленные на таких же стерильно-белых столах, целый ряд голов. У одних глаза были открыты и глядели с той же неподвижной неприязнью, у других закрыты, словно бы спящие или мертвые, но все головы были так похожи друг на друга, что казалось, будто благодаря системе зеркал в бесконечной белизне помещения повторяется бесчисленное количество раз одно и то же отражение.

Откуда-то донеслось протяжное шипение, и в растворившуюся в другом конце зала дверь вошел высокий человек, одетый во что-то белое, напоминающее летний смокинг. Как мой отец на званом обеде, мелькнула у Хаска мысль, сегодня подают головы. Он устало прикрыл глаза и подумал: не протрезвел я еще.

— Вам нехорошо, сэр?

Хаск увидел на снегу две золотые лужицы. Перед ним стоял банщик в белой куртке с блестящими пуговицами.

— Помогите мне выйти,— сказал Хаск хрипло. Он чувствовал, как от жара сворачиваются и делаются чужими его внутренности, как отделяется от тела голова.

— Да-да, конечно, сэр.— Банщик повернулся, нажал ручку двери, та распахнулась, и Хаск, окутанный паром, как клубами небесной благодати, ступил на мраморный пол.

— Господи,— едва выдохнул он.

— Да, сэр. Не хотите ли в душевую?

Качаясь от слабости, еще не пришедший в себя, он поплелся за банщиком.

Выйдя из турецких бань на улице Святого Марка, Хаск побрел в сторону Ист-ривер. Пароходный гудок с реки привел ему на память Сиэтл, просторный залив и долгие летние месяцы в пору его юности, однако, перейдя шоссе и приблизившись к парапету, он увидел лишь юркий пожарный катерок. Реку рябило от дождя. Ниже по течению горбатился мост, уходя вверх и пропадая из виду.

Нет, Ист-ривер — это не залив Пьюджет. После вчерашнего разговора с Келли Хаск пил целый день и чувствовал себя сейчас совершенно изнеможенным. Он оставил набережную и углубился в теснину улицы. В предвечернем мозглом свете дома казались отвесными скалами с выбитыми в них пещерами, в каких обитали предки индейцев-пуэбло. Над помещением Армии спасения бежали огни: ХРИСТОС СПАСЕТ. У ломбарда призывала неоновая вывеска: ДЕСЯТИПРОЦЕНТНЫЕ ССУДЫ.

ХРИСТОССПАСЕТДЕСЯТИПРОЦЕНТНЫЕССУДЫ. Келли тоже ожидают кое-какие сюрпризы, подумал Хаск, напрасно он полагает, будто может делать что ему заблагорассудится.

Ну а я сам? Мне ведь тоже преподнесли сюрприз. Чепуха, никакой это не сюрприз, уверял он себя, все, что происходит,— сплошная бессмыслица, вздор и смехота. Только в бездне нелепостей и безобразий можно удивляться сюрпризам. ХРИСТОС СПАСЕТ ДЕСЯТИПРОЦЕНТНЫЕ ССУДЫ подмигивали огни, освещали дорогу и успокаивали.

Дома его встретила Люсиль.

— Эл, я так беспокоилась! — сказала она с упреком.— Весь вечер тебя вчера прождала. Где ты был?

— На земном шаре. Где я мог еще быть?

— Тебе нужно прилечь. Я помогу тебе.

— Не хочу я лежать, и не надо мне твоей помощи. И вообще лучше всего, если ты уберешься к чертовой матери! — Он видел, как на ее хорошеньком добродушно-глуповатом личике появилось огорченное недоумевающее выражение, тут же сменившееся испугом.— Чего уставилась? Надоела ты мне, понимаешь? Убирайся.

— Зачем ты так, Эл? — протянула она, как обиженный ребенок.— Что случилось?

— Вытурили меня! Я осмелился поперек самого господа Келли пойти, вот он меня и уволил.— Лицо у Люсиль застыло.— Ну что? Тебя выгоняют — тебе не верится, а меня выгоняют — верится, да?

— Но ведь это же... предательство,— едва выдохнула она.

— Предательство? — презрительно переспросил он.— Что ты в этом понимаешь?

Люсиль молчала, и он небрежно шлепнул ее тылом ладони по лицу, словно отмахивался от надоевшей кошки или собаки.

— Может, теперь поймешь! — бросил он и, не глядя на нее, прошел в ванную. Через минуту он вышел — Люсиль уже не было.

Он открыл кран, чтобы напустить в ванну воды, и начал раздеваться. Потом, подумав, принес бутылку виски, хотя дома пил редко. Несколько глотков и горячая вода согрели его, и ему стало хорошо.

В окно барабанил дождь, и он подумал, что улица, город и целый мир — это огромная сточная труба, по которой спускают куски человеческого мяса, оторванные головы, всякие отбросы и нечистоты. Он съехал пониже, и из пены выставились ноги — хребты плоти, возвышающиеся над водной равниной, а на них сплетения жил, как расходящиеся в никуда дороги, и раскиданные тут и там пигментные пятна неразличимых цветов и форм. По суженным, ссыхающимся сосудам перемещались кровь и лимфа, разнося питание и шлаки по всем уголкам его тела. И тут он почти физически ощутил неразрывную, органическую связь между собой и миром, который он вообразил в виде необъятной сточной трубы, и как бы даже неизбежность несообразности и нелепости в нем. О том, что произошло с ним самим, он думал теперь спокойно, безлично, как об издержке вселенской перетасовки, сознавая, что он переменился, может, даже родился заново и движется в какое-то другое измерение, где неведомые обстоятельства перемешали законы бытия.

Зазвонил телефон, Хаск знал, что звонит Люсиль, но это нисколько не тронуло его. Он вылез из ванны, сказал в трубку: «Вы ошиблись номером, здесь никто не живет» — и тут же положил ее. Он снова с наслаждением залез в ванну и начал дремать, умиротворенный и совершенно счастливый — такой, каким он был только один раз в жизни и то очень давно.

Пятница, 8.30 вечера

Мэри Кармоди сидела на ступеньках парадного. На улице моросил дождь, было темно, холодно, пусто. Она сидела у самой двери, чтобы не намокнуть, и глядела, как Гарунян у себя в лавке переставляет на полках какие-то ящики и банки. Смотреть на Гаруняна было ни капельки не интересно, она замерзла, но идти домой не хотелось.

После того как Блэки привезли из больницы, находиться в квартире стало просто невыносимо, но вовсе не потому, что ей приходилось что-то делать. Она еще не избавилась от ребячьей боязни больных и увечных. Блэки лежал бледный, молчаливый, с загипсованными ногами и казался каким-то чужим и заразным.

Мать тоже совершенно переменилась. Раньше дома было плохо из-за постоянных ссор между нею и Блэки, то и дело выливавшихся в настоящую войну на истощение. Теперь же миссис Кармоди излива-

ла на сына всю силу своей безмерной, временами губительной любви, которую она использовала в борьбе против него, сделалась неиссякаемым источником нежности и утешения, и посреди этих перемен Мэри почувствовала себя неуклюжей, шумной и совершенно ненужной в их маленькой, тесной квартире, где начинал свое мучительное выздоровление брат. Вымыв после ужина посуду, она сошла вниз поболтать с Хоуп, но та куда-то ушла. Подтянув под себя ноги и одернув подол, Мэри уселась поудобней и стала смотреть, как Гарунян что-то пишет в своей книжечке.

Из темноты донесся приглушенный смех и голос Хоуп, и вот уже появилась она сама в окружении мальчишек и девчонок. Мэри узнала этот смех, в нем было что-то особое, хотя она не вполне догадывалась, что именно. От этого смеха у нее встрепенулось в груди сердечко, и в животе появилось знакомое и непонятное ощущение. Потом она увидела Лонни, и это ощущение усилилось, к нему добавилось еще что-то, то ли любопытство, то ли боязнь, и они смешивались в одно непонятное и беспокойное чувство, которое она испытывала в присутствии Лонни.

— Привет, Мэри,— мимоходом обронила Хоуп.— Сейчас я выйду.

— Привет, привет... — отвечала девчонкам Мэри, называя каждую по имени и пряча глаза под взглядом Лонни. Они прошли в парадное, она слышала, как распахнулась дверь в квартиру, и снова раздались негромкие, тайные и такие зовущие смешки.

У Хоуп в комнате, выходящей на улицу, зажегся свет. Он падал на мокрый тротуар, и на нем каким-то невиданным танцем задвигались тени. Потом окно закрылось, опустились шторы, и до нее доносились только шуточки, подначки, шепотки, возня — все эти притягательные и пугающие звуки подростковой любовной игры. Она старалась смотреть на Гаруняна, который уже занялся другим — перекладывал яйца из одной коробки в другую, причем каждое с удивленно-задумчивым видом подносил к уху, словно ожидая услышать внутри яйца что-нибудь приятное или страшное, вроде тикания часового механизма в бомбе. К дому подошел Джо Хантер. Поднимаясь по ступенькам, он пригляделся, узнал Мэри и поздоровался. Та хотела стрельнуть глазами, как уже делала не раз и не два, но заученный заигрывающий взгляд у нее не получился, потому что Джо выглядел растревоженным, усталым, едва ли не больным и совсем непохожим на того молодцеватого симпатичного парня, который всего неделю назад приходил к ним с братом, и Мэри тоненьким, девчоночьим голоском, который она почти что забыла, пискнула «Добрый вечер». Пока ее голова была занята, в окне погас свет, и в наступившей темноте разговоры и смех в квартире показались совсем другими, какими-то разухабистыми и по-взрослому загадочно-тревожными. Теперь ей вообще расхотелось идти домой.

— Мэри! — позвала Хоуп.— Поди-ка сюда.

Мэри встала, подошла к двери квартиры.

— Хочешь к нам на вечеруху? — тихо спросила Хоуп.

— На вечеруху?.. — выговорила она растерянно, и ее снова пронизало смешанное чувство боязни и любопытства.

— Пойдем,— звала Хоуп.— У нас весело.

— М-м... а твоя мама?

— Нет ее, ушла.

— Да, но моя-то дома,— прибегла Мэри к практичному доводу.

— Блэки в лежку лежит — разве она отойдет от него? Ты чего, боишься, что ль?

— Ничего я не боюсь! — выпалила Мэри, хотя прекрасно знала, что врет.

— Ну и заходи! Чего резину тянуть? — Хоуп была какая-то возбужденная, взвинченная.

— Да не знаю... — Она понимала, как это глупо упираться, стоя на пороге. Из темноты квартиры все так же доносились приглушенные голоса.

— Знаешь, что мне Лонни сказал? Нравишься ты ему, вот что! Он обрадуется, если ты зайдешь.

— Правда?— Другое чувство пересилило боязнь. Мэри вошла в кухню, Хоуп закрыла за ней дверь. Голоса звучали ближе и наполнялись особым значением.

— Раздевайся.— Хоуп помогла подруге снять пальто и кинула его на стол вместе с другими. Глаза Мэри привыкли к полутьме, и она увидела ряд стульев на кухне и черный проем двери, ведущей в комнаты. Неожиданно ей сделалось так страшно, что она повернулась и хотела было уйти.

— Напугалась, бедная? — В шепоте Хоуп послышалась ядовитая насмешка.

— Нисколечко не напугалась,— громче, чем ей хотелось, ответила Мэри и подумала о подруге: она такая же, как и все остальные, вечно им от меня что-то нужно.

— Лонни — там,— уговаривала Хоуп.— Иди, не бойся, он душка. Но смотри у меня,— добавила она игриво,— Лонни мой кавалер, я к нему никого не подпускаю. Только для лучшей подружки исключение делаю.

Хоуп подтолкнула ее через порог. В комнате было темно, Мэри ничего не видела, но в следующей двигались белеющие фигуры. Она догадалась, что компания голая, и остановилась, пораженная таким неприличием.

— Это ты, Мэри? — подошел к ней Лонни.— Здорово, что ты пришла,— сказал он хриплым шепотом, увлекая ее к кровати. Мэри присела на краешек, он обнял ее.— Я давно на тебя заглядываюсь.

— Правда?— отозвалась Мэри тем же тихим напряженным голосом. Ее заливала какая-то горячая волна, и она старалась ни о чем не думать, чтобы не спугнуть ее. Лонни придвинулся к ней, с силой прижал губы к ее рту и опрокинул на спину. Его ищущие руки торопливо шарили у нее под платьем, а она раскинулась, удивленная тем, что горячая волна схлынула и ею овладело одно-единственное мрачное и упрямое желание — чтобы все поскорее кончилось.

Потом она лежала одна, в темноте, слышала, как Хоуп поздравляет ее, и с досадой думала, что взрослые опять обманули ее, внушая, будто есть какая-то особая разница между нею и ними. Теперь-то я тоже взрослая, горько и гордо твердила она себе, ни чуточки от них не отличаюсь.

Пятница, 9 вечера

К Блэки я попал поздно, после того, как перевез Билла.

В похоронном бюро гроб с его телом установили на катафалк, я сел рядом с возничим, и мы поехали на Вест-сайдскую товарную. Станция была полна суматохи и движения. Маневровые локомотивчики перекатывали взад-вперед вагоны, по погрузочным платформам бегали кары, то попадая в лучи прожекторов, то пропадая в кромешной мгле, сновали, словно рыба на мелководье, сцепщики и грузчики.

Мы подъехали к одному из пакгаузов. Из высокого просторного полутемного ангара тянуло холодом, как будто внутри притаилась зима. Я не сразу сообразил, что помещение, где мы оставим Билла и должно быть таким, оснащенным холодильными установками.

— Поможешь, приятель? — обратился ко мне возничий.

Мы вдвоем сняли гроб и поставили на высокую тележку, которую нам подвезли на каре, по пологому пандусу вкатили его внутрь.

— Что у вас? — осведомился старик служитель, подходя ко мне Потом, увидев гроб, сказал: — А, покойник. Тогда везите его сюда.

Мы покатили Билла за ним по полуосвещенному коридору в какую-то камеру. Здесь было еще холоднее, и вдоль стен тянулись ряды таких же наспех сколоченных, поставленных друг на друга гробов. Много мертвого народу уезжало в этот вечер из города.

— Прямо навалом сегодня,— сказал служитель, словно угадав мои мысли.— К концу недели завсегда так, ей-ей! Ваш-то куда?— кивнул он на гроб.

— На Запад.

— Само собой, на Запад. Все они туда, которые померли. Куда ж еще покойников из Нью-Йорка девать, как не на Запад. Куда именно?

— В Огайо.

Он начал заполнять квитанцию.

— Когда его отправят? — спросил я.

— Кто его знает. Вообще-то их по-быстрому обрабатывают. Как бригада придет, так и начнут. Поспрошайте у главного кладовщика, может, он скажет.

— Да нет, не стоит. Просто подумал, что, если точно известно, я бы дождался отправки.

— Не, неизвестно. Могут и до утра продержать.

— Понятно. Наверно, ждать нет смысла.

— Наверно, нет. Да и что он, заскучает без вас? Гляньте, какая компания подобралась.

— Очень смешно,— вставил возничий.

— Извиняйте, если что не так,— невозмутимо отозвался служитель.— Я ведь и сам, считай, с ними компанию вожу.

— Я тоже,— возразил возничий.

— Да, но для меня-то они — просто груз. Как и всякий другой. Вид, вес, номер накладной.— Он закончил заполнять бумаги.— Дружок, что ли?

— Угу.

— Вот, значит, все тут. Можете проверить.— Он показал мне заполненные бланки: имя, пункт назначения...

— Кажется, все правильно.— От Билла остались одни цифры для финансового и статистического учета. Мы с возничим пошли к выходу. Служитель нагнал нас.

— Надо бы подкинуть малость, ежели желаете, чтоб я присмотрел за вашим,— сказал он.— Так уж заведено. Все чин чином сделаю.

Я дал ему монету: пусть присмотрит, чтобы Билла погрузили как положено и перевезли куда положено.

— Могу подбросить, если по пути,— предложил возничий.

Я назвал ему Блэкин адрес. О том, что с ним случилось, я совершенно случайно узнал днем от Конна-Парохода.

— Я тебя на углу Девятой авеню ссажу. Некоторые не любят, когда перед их домом похоронная карета останавливается. Должно быть, считают, что плохая примета.— В тоне возницы появились даже нотки обиды.— А ведь житейское дело-то.

— Само собой, житейское.— У меня не было настроения расспрашивать, что он подразумевает под «житейским делом» — то ли похоронную карету, то ли реакцию на нее.

— Слышь, этот парень, он что — красный был?

— Красный.

— Так я и понял. Хозяин мой вроде говорил, что коммунисты заказ сделали.

Я молчал. Минуты через две он остановился на углу Девятой.

— Первый раз в жизни комми встретил, и тот мертвый. Чудно́, правда?

Подойдя к дому, где жил Блэки, я увидел его сестренку. Она сидела на ступеньках парадного — какая-то жалкая, заброшенная, озябшая, и мне подумалось, что атмосфера у них в семье, наверное, еще тяжелее, чем прежде. Я поздоровался с Мэри, поднялся наверх. Дверь мне открыла миссис Кармоди.

Я был удивлен ее внешностью и ровными движениями. Не знаю, кого я ожидал увидеть — скорее всего старуху, вконец измотанную беспрерывными стычками с сыном и потрясенную тем, что случилось с ним. Но вместо убитой горем женщины меня встретила невозмутимая, обходительная особа. Куда только подевался ее недавний усталый, болезненный вид!

— Хорошо, что ты пришел,— сказала она.— Фрэнсису сейчас худо одному.

Я начал бормотать какие-то слова соболезнования по поводу случившегося, но миссис Кармоди, казалось, не слышала меня, и я умолк. Она тоже молчала. Возникла неловкая пауза, и я хотел было пройти к Блэки, как вдруг она негромко проговорила, словно самой себе:

— Доктора говорят, что он все равно будет сильно хромать.

Я удивился: Блэки всегда отличался жизнелюбием, энергия в нем била через край, и я был уверен, что он сумеет в прямом смысле слова стать на ноги. Еще больше меня поразило то, что она как бы даже не очень огорчилась, что ее сын останется инвалидом.

— Может, еще обойдется,— возразил я.— Врачи часто ошибаются.

— Сперва я себя во всем винила,— продолжала миссис Кармоди.— Ведь это я заставила его пойти на работу к мистеру Келли. Когда его избили, я подумала, что это забастовщики. Я же не знала, что он будет в стачечных делах замешан. Потом оказалось, что рабочие тут ни при чем. Это дело рук совсем других людей. Они приняли его за одного из ваших...— Я молчал.— Значит, была на то воля божья.

— М-м...

— Я знаю, ты в бога не веруешь, но мне-то кажется — промысл это. Всю жизнь я за Фрэнсиса беспокоилась. Очень уж он на моего брата похож. А вот теперь...

Она не договорила, но лицо ее оставалось таким же невозмутимым, и я подумал: ну да, конечно, теперь Блэки прикован к постели, куда ему тягаться с хулиганьем уличным или портовыми гангстерами, значит, он в полной безопасности. Ее спокойствие пугало, в нем было что-то неестественное, ненормальное.

—Да выкарабкается Блэки, правда же! — Уверенность моя прозвучала наигранно.

— Придется ему легкую работу искать.

— А вы с ним говорили на эту тему? — Раз уж Блэки решился на темные дела, он может вообразить, что еще возьмет свое, если потребуется — с помощью револьвера, и никакая хромота ему не помешает.

— Пока нет.

— Хотите, я попробую? — вызвался я, хотя надежды переубедить Блэки маловато.

— Мне-то уж совсем недолго осталось.

— Ну зачем вы так? — начал было я.— Вы же...

— Рак у меня, Джо. Фрэнсис, должно быть, говорил тебе. Сам он сильно за меня переживает.

— Вы ему-то сказали, что знаете?..

— Сегодня вот сказала. Как только Фрэнсис поправится, в больницу лягу.

— Лучше не откладывать.

— А куда мне спешить? — Вот почему миссис Кармоди была так спокойна. Теперь, когда сын лежал с перебитыми ногами, она, очевидно, решила, что окончательно уладила свои земные дела, а умереть — всегда успеется. Я пошел к Блэки.

— Привет,— сказал он.— Не ожидал, честно говоря.— Бледный, похудевший, он полулежал на кушетке, которую поставили у окна так, чтобы он мог видеть тротуар на другой стороне улицы. Сейчас смотреть там было не на что — только хозяин лавки задумчиво перекладывал яйца из одной коробки в другую.

— Почему же не ожидал?

— Ну, из-за позавчерашнего.

— Думаешь, мне было бы приятнее из окна грохнуться? Я теперь вроде в долгу перед тобой. Второй раз уже.

— А я думал, что теперь и первый-то не считается.

— Я только сегодня днем узнал.

— Меня только что выписали. Раз-два — и готово. Чего лечить, если денег нет.

В этот момент он наверняка подумал о том, как устроить в больницу мать.

— Не везде же так,— возразил я,— кое-где ведь лечат.

— Ну, лечат, из милости,— сказал он без обычной горечи.

В соседней комнате послышались неторопливые шаги, вошел Манта. Одна рука у него была на перевязи, на щеке белела полоска пластыря, но вид такой же отсутствующий, как всегда.

— А с вами-то что? — спросил я.

— На месте происшествия оказался,— пояснил Блэки.— Считай, повезло мне.

— Значит, вам тоже досталось?

— Как видите.— Первый раз на его лице отразились какие-то чувства. Он посмотрел на меня непонятным, наполовину вызывающим, наполовину оправдывающимся взглядом.

— Да, в себе не отсидишься. То есть уйти-то от мира можно, но в мире не всегда об этом знают.— Моя мудрость пришлась кстати, и это доставляло удовольствие.

— А бывает, тебя уходят, хоть ты и упираешься,— добавил Блэки.

— Надеюсь, отыгрываться не собираешься? — спросил я.

— Интересно, каким образом? Они же меня как бог черепаху разделали. Кто я теперь — калека колченогий!

— Ну и что, будешь хромать немного, ничего страшного.

— А знаешь, кто меня изуродовал-то? Свои же мужики! По ошибке они. Веселенькая штука, правда?

— Не вижу, что тут веселенького.— Я думал о Билле Эверсоне, и мне не хотелось верить, что его убили случайно, по ошибке, может быть, вместо Блэки.— Что дальше намерен делать?

— Ума не приложу. Старая моя... мама, оказывается, про рак знает.— Он отвернул к окну помрачневшее лицо.— На что я сейчас годен? И еще месяца два-три проваляюсь, не меньше. А потом, может быть, поздно будет.

— Ее надо немедленно в больницу.

— Да надо бы...— сказал он упавшим голосом.

— Хорошо, постараюсь помочь с больницей. Ну, а сам-то на что нацелился?

— Сам-то? — Он печально усмехнулся.

— Ну да! Жизнь ведь не кончается завтрашним днем. Должен и о себе подумать.

— Вот и я ему то же самое толкую.— В комнату неслышно

вошла миссис Кармоди и села рядом с Мантой.— Молодым только и жить.

— Жизнь, она сама по себе, ни для кого,— изрек Манта.

— Тяжеленько будет, почище, чем в бою,— сказал я.— Но ведь что-то ты можешь делать, черт побери!

Блэки отвел глаза от окна, посмотрел на меня.

— Конечно, придумаю что-нибудь. Перебьюсь. Вот в детстве я вроде рисовать любил.— Голос у него оживился.— Может, пока валяюсь, черчением заняться? Потом, глядишь, и на краткосрочные курсы поступлю.

— Ну вот видишь,— подхватил я, а сам думал о сотнях и тысячах других таких же парней, которые вернулись на гражданку, потеряв по три, по четыре года, и тоже надеются на что-нибудь краткосрочное.

— Это же просто замечательно! — Миссис Кармоди была вполне довольна. Манта молчал, уставившись в пол.— Я за тебя больше всего переживала,— продолжала она спокойно, словно говорила о чем-то давнем и забытом.— С Мэри легче.

— Слишком много она на улице болтается,— нахмурился Блэки.

— Мэри — хорошая девочка. Она не пропадет.

— Ну, мне пора,— сказал я, вставая.— Буду забегать, жди. И постараюсь разузнать, может, где подходящая работа подвернется.— Я понятия не имел, какая она может быть, эта подходящая работа.

— Спасибо, бывай,— откликнулся он.— Вот стану на ноги, может, тебе пригожусь. У меня с теми теперь свои счеты.

— Рано тебе об этом думать.— Нет ничего проще, как дать совет.

Мы попрощались, и я двинулся к выходу. Манта пошел со мной. Мэри, видно, не выдержала промозглой погоды и куда-то ушла. Через дорогу грызлись у помойки два пса.

— Я одну историю на днях рассказывал, помните?— спросил Манта.

— О раненом, которого к врачу везли?

— Да. Но смысл ее совсем другой, не такой, как я объяснил.

— Я знаю. И зачем же вы неправильно объясняли?

— По правде говоря, думал, что вы не поймете. Мораль этой истории... ее трудно воспринять сразу. Счастлив тот, кто избавляется от надежд Надежды — это самообман.

— Вы считаете что Блэки распростился со своими надеждами?

— Не знаю. Думаю, что теперь он вынужден это сделать — иначе он умрет.

— Нет, не умрет и надеяться не перестанет. Да, его избили, избили жестоко, зверски. Но его не победили. Даже вы со своей теорией не смогли остаться вчера в стороне. Вы же не бросили его, пришли на помощь? — Я дотронулся до его руки. Гипс был холодный и твердый, как кусок гранита.— Нет, Блэки еще не побежден.

— Ну да, конечно,— устало вздохнул Манта.— Такие, как вы, ни за что не хотят признаться в поражении. Вы просто фанатики. Деретесь и деретесь, словно на ринге, но одно упускаете: никто не любуется вашим боем. Никто даже не смотрит на вас. Разве не лучше признаться: да, нас победили? Это не унизит вас.

— Разве люди перестанут бороться? Не могут они перестать. Это же жизнь.

— Пусть так — люди не могут. Но я могу. И вы можете. И Блэки. Вероятно, человечество в целом всегда будет бороться, но отдельный человек устает и перестает. Много ли ему нужно? Пища какая-никакая и крыша над головой.

— Блэки не из таких. Да, человек ест, но разве тот, кто только ест,— человек? Не хлебом единым... Нет. Блэки не успокоится.—

Я боялся говорить о себе — усталый, продрогший, посреди жестокого, ненавистного города.

— Но никто же не смотрит,— сочувственно и снисходительно произнес Манта.— Ни одной живой души не осталось. По домам все разбрелись.

Пятница, 10.30 вечера

Громыхание зародилось поодаль, метрах в ста, и Крип, чертыхаясь, весь подобрался. Оно приближалось, как гроза или лавина, становилось громче и резче: скрежеща и лязгая буферами, ударялись друг о друга вагоны. Грохот и треск обволакивали Крипа со всех сторон, его вдруг бросило на перегородку секции: рефрижератор дернулся с места. Через несколько секунд грохот повторился, но теперь с другой стороны, вагон, стукнувшись, остановился, и Крипа кинуло назад. В бессильной злобе он выругался про себя. Рефрижератор, куда он забрался, вот уже целый час гоняли взад-вперед по маневровым путям, и ему не терпелось дождаться, когда, наконец, сформируют и отправят состав. Вообще-то он умел ждать, но его раздражали бесконечные толчки, внезапные остановки, беспорядок и неизвестность. Он все острее чувствовал, что от его воли ровным счетом ничего не зависит — ни его собственная жизнь, ни чужая.

Это чувство возникло в момент револьверной вспышки, когда он вдруг сообразил, что застрелил другого человека. Вся досада, накопленная за долгие годы напрасных ожиданий и обманутых надежд, вся горечь сознания того, что жизнь сыграла с ним злую шутку, словно бы влились в шум спускаемой из туалетного бачка воды и запах пороха и отняли у него единственную способность, которую он знал за собой,— умение выполнять свою работу, что в широком смысле означало для него умение держаться в стороне от мира и избегать расставленных в нем ловушек.

Он беспрепятственно исчез с места происшествия и заперся в комнатенке, которую только что снял. Никто за ним не гнался, никто не преследовал, и все равно он отчетливо понимал, что ему придется скрыться. Если бы он прикончил того, кого должен был прикончить, полиция ограничилась бы формальным расследованием; этот человек, как предполагал Крип,— всего лишь какой-нибудь мелкий гангстер, и власти даже заинтересованы в том, чтобы его убрали. Теперь же все пойдет наперекосяк — поднимется шум и никакой Главный не захочет защитить его. Крип не знал, кто он, этот Главный, но, думая о нем, он испытывал такую же бессильную злобу, как при чтении книжек по истории: его опять обманули.

Целую ночь после убийства он ворочался в постели, мучаясь от беспомощности и раздражения, а утром сразу же отправился на встречу с Джейком. Он пошел к назначенному месту, хотя хорошо понимал, что Джейк не придет. Нечего даже думать, что ему заплатят за работу, которую он не сделал. И тем не менее он пошел, хотя это было небезопасно, движимый неясной жаждой справедливости. Это чувство — полная противоположность его враждебному отношению к миру, но и враждебность возникла из-за того, что с самого начала справедливость была поругана. Раз человек убит, рассуждал он, значит, ему должны заплатить — иначе то, что он сделал, вообще теряет всякий смысл.

Джейка в назначенном месте не было. Крип долго ждал его, хотя ни на что не надеялся, но и уйти не мог. Еще не выходя из дому, он утвердился в мысли, что тот не придет. Теперь он удовлетворился ею и вдобавок понял, что ему нельзя возвращаться в свою ночлежку. Он должен бежать. Даже перед лицом прямой необходимости у него не было выбора. Единственное, что он мог сде-

лать — не показываться на улицах до вечера. Ему казалось, что косолапость — зримое доказательство его вины.

После наступления темноты он добрался до товарной станции и залез в вагон-холодильник — комок сознания, томимый неизвестностью и страхом. Внутри стоял жуткий холод, но именно загруженный лед подсказывал, что вагон скоро прицепят к составу и отправят к месту назначения. Надо до Джерси добраться, твердил он себе, хотя бы до Джерси. Снова раздалось приближающееся лязганье, и вагон тронулся. На этот раз состав прошел порядочное расстояние и остановился у грузовой платформы. Он слышал голоса, движение электрокаров и ручных тележек и успокоенно подумал, что вот-вот дадут отправление.

— Ну а у вас-то чего? — спросил кто-то.

— Покойник. В Огайо ему.

— Да уж лучше в Огайо, чем в тартарары,— сказал первый голос.— Куда его, к нам?

— В Джерси, может, его на скорый перенесут. В багажный вагон. В Огайо ему.

— Эй-эй, полегче! — донесся третий голос.

— Ты чего, папаша?

— Аккуратнее вы, черти! Мне доллар дали, чтоб я присмотрел.

— А разве он жалуется? Не слыхать.

— А что он за персона такая? — поинтересовался еще один.

— А правда, папаша, кто он? Неизвестный солдат?

— Красный,— ответил «папаша».— Мужик с похоронной кареты сказал, в забастовке, мол, прикокнули.

— Да какая разница кто,— сказал первый голос.— Тащи его сюда.

— Слышь, а чего они вообще хотят-то? — Совсем рядом передвигали что-то тяжелое, и Крипу стало не по себе от соседства с покойником.

— Кто, эти проклятущие красные?— Снова донесся скрежет и стук, и, нагнувшись вперед, Крип в первый раз в жизни услышал слова, которые имели какой-то смысл.— Переделать все, вот чего.

Залязгали сцепления, состав тронулся и стал набирать скорость, постепенно пропадая в темноте.

Пятница, 11.30 вечера

Барни жил на западной стороне, недалеко от реки. Было уже поздно, когда я наконец освободился и пошел к нему. Улицы опустели, даже искатели развлечений, которые оживляли их, и те разбрелись по зимним квартирам, попрятались по ночлежкам поближе к центру. Было голо и пустынно, как на Луне, но у меня снова возникло ощущение, будто за мной следят. Оно не покидало меня с того вечера, когда я последний раз был у Кей. Я перешел на другую сторону, остановился под фонарем. Если уж на меня накинутся, лучше драться где посветлее. Никого вокруг не было, только оторвавшаяся вывеска хлопала на ветру, точно ведьма мимо пролетала, и кидала тень на пустырь, где стоял сгоревший дотла жилой дом.

Я пошел дальше, но мне по-прежнему чудилось, что за мной идут. Я знал, что никаких шагов из-за ветра не услышу, но чувство тревоги не покидало меня. Совсем нервы расшалились, подумал я, и тут из темноты выступила фигура. Я вздрогнул от неожиданности, непроизвольно занес руку для удара и услышал:

— Огоньку не найдется, приятель?

— Найдется,— ответил я хрипло, кляня свою нервозность, и протянул коробку спичек. Он чиркнул, пряча пламя в горсти, и я увидел грубое небритое лицо. Похоже, что пьян. Он подержал заж-

женную спичку чуть дольше, чем нужно, словно хотел разглядеть меня, и сказал притворно-свойским тоном, в котором звучала угроза:

— Подкинь на ночевку, а?

— Нет у меня,— ответил я, забирая спички.

— Слышь, мне и нужно-то доллар всего. Дай хоть полтинник.— Он придвинулся поближе, на меня пахнуло перегаром.

Я обошел его и быстро зашагал прочь, слыша, как он костит меня вдогонку на чем свет стоит. Бог ты мой, думал я, если я каждого босяка за наемного бандюгу принимать буду, плохи мои дела.

Барни жил в большом доме, единственном на весь квартал, где был лифт. Строили его, видно, кое-как, на скорую руку, и он уже требовал капитального ремонта. Стена у звонков была грязная, затертая, испещренная всякими надписями. Тут между ребятней и домовладельцем шла настоящая словесная война: те пишут, этот стирает. Я нажал на кнопку, и довольно скоро в дверце щелкнуло. Кабина лифта скрипела и стонала, словно от усталости. На пятом этаже я вылез и пошел по коридору.

Из квартиры Барни вышли двое наших товарищей, мы поздоровались и попрощались. Барни провел меня в гостиную.

— Пива хочешь? — спросил он и, не дожидаясь ответа, пошел на кухню. Вернулся он с двумя бутылками, но без стаканов и сел у стола.— Трудный день был?

— Терпимо.— Я рассказал, что мне удалось сделать.— Билла я отвез,— закончил я, а сам подумал, ушел уже поезд или нет. Перед моим внутренним взором возник вагон, конечно, рефрижераторный, прицепленный к составу, который направлялся на запад. Потом я увидел другой состав, третий — много-много поездов, и все они, словно бесконечные конвейерные ленты, доверху набитые трупами, бежали на запад, к солнцу, и пропадали вдали, как улетучивается жарким летом влага в длинных косых лучах предвечернего солнца. На Запад-то я собирался, подумалось мне, а не Билл.

— Да нет, все-таки трудный,— сказал Барни.

— Прошел, и слава богу. А Билла все равно не вернешь.

— Вернуть не вернешь, это верно. Тем более надо постараться, чтобы его гибель не была напрасной.

— Это понятно. Что о Кейсе слышно?

— В том-то и беда, что ничего не слышно. Должен был прийти и не пришел. Волнуюсь я, время уже позднее. От Кейса сейчас много зависит. И от комитета в целом.

— А он сможет с тобой связаться?

— Фред и Джим сегодня в ячейке ночуют. Если он появится или позвонит, они дадут мне знать. Но он вряд ли сегодня появится.

— Ну, ладно, какие планы на завтра?

— Какие планы...— вздохнул он устало.— Сегодня в порту гораздо больше народу было. Ожидают, что стачка вот-вот прекратится. На некоторых пирсах уже вовсю работают. Значит, надо новую партию листовок распространить, может, побеседовать кое с кем. Хотя, по правде говоря, голой агитацией сейчас уже мало чего добьешься. Придется опять за организационную работу браться, новое собрание готовить. Без комитета нам как без рук. В народе ведь как рассуждают: раз комитетчики не высовываются, так нам и подавно нечего в пекло лезть.

— Верно рассуждают.

— Конечно, верно. Еще двоих сегодня измолотили — Пита и Тони. Тони крюком по голове досталось.

— Серьезно?

— Довольно серьезно. За мной тоже, чувствую, охотятся. Вечером до самого дома вроде кто-то шел.

— И мне показалось, что за мной следят.

— Навряд ли показалось. Смотри лучше в оба.

— Придется. Что у нас еще в повестке дня?

— Черт его знает! Загляни завтра в ячейку. Если Кейс появится — это одно. Если нет, будем думать.

— Ну, я пойду.— Я поднялся.

— А остаться не хочешь? Диван в твоем распоряжении.

— Да нет, спасибо. Пойду на квартиру к Биллу. Может, парень, у кого он жил, еще ничего не знает.

— Ну смотри. Ты нас не стеснишь.

Я помотал головой, и он проводил меня до двери. На кухне жена Барни варила кофе.

— Да у вас пир горой на ночь глядя.

— А ты как думал? — улыбнулся он.— Кофейком не соблазнишься?

Я сказал, что не соблазнюсь, и вышел. Лифт словно ждал меня. Я вошел в кабину, нажал «спуск». Дверца закрылась, и кабина, застонав и поскрипывая, двинулась вниз. Оттуда, из глубины шахты, доносились какие-то неясные звуки — то ли разговор, то ли рычание. В кабине внезапно погас свет. Меня охватил панический ужас, мне казалось, что я попал в западню, как тогда, в танке. Руки лихорадочно шарили в карманах, ища спички. Спичек не было. Я пытался нащупать на панели выключатель. Перед глазами прошла полоса света — второй этаж. Я понял, что кабина не остановится на первом, а пойдет дальше, на цокольный этаж. Кто-то, должно быть, раньше меня нажал кнопку вызова, но кто? Кто прячется в подвале в такую позднюю? Кабина миновала еще одно освещенное пятно — первый этаж. Она двигалась медленно и неумолимо, как судьба. Окончательно уверовав, что кто-то подстерегает меня внизу, в темноте, я отчаянно жал на кнопки и чувствовал, как у меня на горле словно сжимается железный ошейник.

Лифт со стуком остановился, скрежеща, начала отодвигаться дверца — медленно, как кошмарное видение, я напрасно подталкивал ее изо всех сил, схватившись за край, и как только сумел протиснуться, выпрыгнул в темноту. Что-то ударило меня по голове. я выбросил вперед руки — надо мной тянулась труба. Пригнувшись, я подался в сторону, и меня облепила противная тонкая пыльная пленка. Смахивая паутину с лица, я стоял у стены и ждал.

Тут кто-то был. Я услышал царапанье, потом приглушенный клацающий звук и, напряженно вглядываясь в темноту, пустился почти бегом по низкому проходу. Через несколько шагов я споткнулся, упал, встал, побежал снова и задел левой рукой что-то мягкое, похожее на материю.

Я изо всех сил ударил правой, но мой кулак никуда не попал. Начал шарить вытянутыми вперед руками — никого. Я снова побежал вдоль стены, дотрагиваясь для устойчивости до нее рукой, и меня снова преследовал стук и скрежет металла. Под ноги мне попалось ведро и покатилось, бренча, по полу. И тут меня вдруг всего затрясло от злости. Я больше не хотел, не мог бежать, как загнанный зверь. Я прислонился спиной к стене и с отчаянной решимостью крикнул им, чтобы подходили.

Никого. Потом тот же негромкий царапающий звук. Что-то коснулось моей штанины, я поддал что есть силы ногой и услышал неистовый визгливый вопль — кошка! Трясущимися руками я достал спички.

Она стояла в метре от меня, и, выгнув спину горбом, шипела и фыркала. Больше никого в подвале не было. Тут и там валялись

ведра и железные коробки для мусора. А вот и материя, за которую я задел рукой,— старенькая занавеска на проходе, ведущем в соседний отсек. И вообще вместо длинного коридора, по которому, спотыкаясь и падая, я бежал и бежал неизвестно сколько времени, было сравнительно небольшое квадратное помещение, куда сваливали всякий хлам, перепуганная насмерть кошка и я сам. Я бежал от самого себя и боролся с самим собой.

В лифте я нажал нужную кнопку, и кабина снова подняла меня на пятый этаж. Перед тем как постучать в квартиру к Барни, я тщательно обтер платком грязь с лица и рук. Дверь открыла жена Барни.

— А, это ты, Джо! Так и знала, что тебе захочется кофейку.

— Передумал? — спросил подошедший Барни.— Диван тебе зарезервирован.

— Можно сказать, и передумал,— ответил я хмуро и, пряча дрожащие руки в карманах, прошел на кухню и сел за стол.

Пятница, полночь

В глубине дома часы пробили полночь, их нежный и хрупкий хрустальный звон был едва слышен, словно зародился где-то далеко, на море. Тихонько, чтобы не разбудить жену, Барни Ласт повернулся на другой бок и потянулся за сигаретами на тумбочке возле кровати.

Не надо было накачиваться кофе, мелькнула мысль, однако он знал, что не спится ему не из-за кофе: он ждал и надеялся, что Кейс все-таки даст о себе знать. Он снова и снова взвешивал новый план действий, который только что приняло бюро ячейки, и старался представить, как отнесутся к этому плану Кейс и другие члены комитета. Барни давно выработал в себе привычку продумывать разные варианты решения в зависимости от того, какой оборот примут события. А что, если не объявится Кейс или если комитет побоится проявлять активность? Мозг его работал, как вычислительная машина, перебирающая возможности и вероятия, а в пепельнице медленно тлела недокуренная сигарета.

Сделав последнюю глубокую затяжку, Джо Хантер поднялся с подушки, сел на диване и стал смотреть в окно. Дождь перестал, утих ветер, в воздухе похолодало. Лунный свет словно поднимал самые высокие здания из колышущегося моря теней и притягивал их к себе — невесомые, будто ослабевшие. В целом секторе между севером и востоком только Эмпайр стейт билдинг стоял устойчиво и твердо. Потом на него набежало низкое облако, и башня точно закачалась, как тонкий и красивый цветок. Призрачность и нереальность города усиливали в Хантере ощущение его собственного бытия. Он оторвал взгляд от крыш и заглянул в темные колодцы улиц. Прямо-таки мировой погреб, подумал он, но еще хуже, что я попал в неприятность с самим собой.

Он ткнул сигарету в пепельницу, и в этот момент снова заворочался Барни Ласт и начал откидывать одеяло, а П. Дж. Келли выбрался из постели и босиком пошлепал в ванную выпить воды, думая *Бросать надо,* что от сигар последние дни он себя неважно чувствует. Из зеркала на него глядело заспанное, растерянное и слабовольное без очков лицо.

Оно смотрело на Хаска, и тому почему-то сделалось не по себе. Хорошенькое, добродушное, глуповатое личико располагало к доверчивости, выражало почти что собачью преданность и даже готовность терпеть, если понадобится, унижения и обиды и взамен умоляло об одном — подарить ему толику понимания, которое помогает сносить одиночество.

Лицо потерявшегося человека. Хаску сделалось не по себе, и он разорвал карточку Люсиль пополам, потом еще раз пополам, скомкал клочки и выбросил в мусорную корзину.

Он разбирал старые бумаги, которые накопились со временем: письма, счета, приглашения, квитанции. Он вытряхивал их из конвертов, быстро просматривал и, смяв, выкидывал. Закончив, он вынес корзину на кухню и вернулся в комнату. Чемоданы стояли упакованные. Он подошел к окну и стал вглядываться в темноту, размышляя, куда ему ехать. Черные линии улиц пересекались, как сетка на географической карте, но он не находил на этой карте места, где ему хотелось бы быть.

На улице было темно, люди и дома словно бы заснули мертвым сном. Погасла даже вывеска МЯСО И БАКАЛЕЯ ГАРУНЯНА, которая была для него вроде линии горизонта. И все-таки ночная тишина не была гробовой. Блэки казалось, что он слышит, как по улице кто-то идет, слышит чьи-то быстрые решительные шаги. Ему внезапно пришла бредовая мысль, будто это его собственные шаги, и она была сродни тому ощущению, которое он испытывал, когда, наконец, уступил настояниям матери. Мысль пронеслась, не оставив в нем никакой горечи, даже когда за ней с неизбежностью потянулась другая — о том, что его шаги больше никогда не будут такими быстрыми, такими твердыми и уверенными. Надо что-то придумать, говорил он себе, работу подыскать надо. О матери он думал теперь с какой-то особой нежностью и печалью, как если бы ее уже не было в живых, а о себе — с той невеселой мудростью, которая пришла к нему в последние дни. Нечего дурачить самого себя, мир сильнее тебя, и ловчее, и позднее, завертелась и закончилась бессмыслицей мысль. Все помрем, подумалось ему, и он почувствовал какую-то щемящую и запоздалую тревогу за свою улицу и за эти шаги, делавшиеся неслышными ему и его матери, которая лежала на спине с открытыми глазами и, прислушиваясь к боли в животе, почти безмятежно думала: все-таки хорошую я прожила жизнь, а теперь и подавно все беды позади.

Она бесшумно повернулась на бок, чтобы не потревожить сына, но нечаянно разбудила Мэри Кармоди — той снилось, будто у нее что-то отнимают. Проснувшись, она пыталась сообразить, что́ бы это могло быть, и, вспомнив о вечерухе в квартире подружки Хоуп, бессознательно положила руку на живот. Неужели только это и значит быть взрослой, спрашивала она себя. Притворяются, будто это очень важно, думала она о взрослых по-детски неуважительно; я теперь и сама взрослая, подумала она печально, совсем не по-детски. Она не хотела больше ни о чем думать, но мысли ее все равно возвращались к тому, что произошло в квартире Хоуп, и к Лонни. Ее опять охватило знакомое чувство — не то чтобы боязнь и не то чтобы любопытство, но скорее все-таки любопытство, и она не заметила, как заснула, и ей приснился страшный и ужасно сладкий сон: какой-то человек стреляет в нее из револьвера. А может, не в нее, а всего лишь в ее отражение в зеркале? Или в ее портрет?

Ее портрет равнодушно смотрел с мольберта. Теперь он был уже закончен, по крайней мере Кей считала его таковым. И все-таки она испытывала неудовлетворенность художника, сознающего, что ему не до конца удалось выразить то, что он хотел. Может, не получились волосы? Или глаза? Джо портрет не понравился. Но у него нечеткое представление обо мне. Он воспринимает меня не такой, какая я есть на самом деле, да и себя тоже воспринимает неправильно. Он видит только мир, а не себя или только себя, а не мир. Сейчас Джо не было рядом, и она могла судить о нем гораздо более трезво. Всякий раз, когда они разговаривали, у нее появлялось ощущение, что о каких-то вещах они не говорят или что-то

недоговаривают, а о чем-то оба не смеют заговорить или считают ненужным — вернее, она сознавала это потом, после разговора, и особенно, когда оставалась одна. Ничего-то у нас не получится, все больше и больше убеждалась она, ни он, ни я — мы оба не переменимся. Она понимала, что в этой убежденности есть какая-то излишняя твердость, и со страхом вдруг подумала, не подевается ли куда-нибудь эта ее решимость, когда они встретятся опять. Усталым движением она высыпала окурки в небольшой камин и приготовила постель. Перед тем, как лечь, она произнесла тихо и торжественно, как молитву: я буду художницей, у меня своя жизнь. Потом она завела будильник, начала переводить стрелки, и он звякнул коротко и словно неохотно.

Пробило час ночи, бой часов расколол холодный воздух, и в этот же момент зазвонил телефон. Барни Ласт зажег ночник и, покачиваясь со сна, пошел в гостиную. Хангер протягивал ему трубку.

— Это Фред,— проговорил он.

— Да, это я,— сказал Ласт, взяв трубку, и, молча выслушав Фреда, повернулся к Хантеру:— Одевайся. Звонила жена Кейса. Похоже, что с ним что-то случилось.

Луна изливала безжалостный свет на джерсийский берег.

Часть четвертая

СУББОТА

Автомобиль вихрем промчался по улице, визжа шинами, круто повернул к спуску, выровнялся и въехал в тоннель. Мимо мелькали, сливаясь в цепочки, огни на осевой линии и на изгибистых, выложенных плиткой стенах и, удаляясь, становились отчетливыми. Человек за рулем чертыхнулся.

— Не гони, Фред,— сказал другой с заднего сиденья.— У нас вся ночь впереди.

— Вся ночь? — задумчиво, словно разговаривая с самим собой, произнес Джо Хантер.— Не знаю... Чем скорее мы найдем его, тем лучше.

Барни Ласт пожал плечами, видно, хотел сказать что-то, но передумал и провел рукой по большому лысеющему лбу. Вид у него был утомленный.

Хантер повернулся к Ласту, на его жесткие русые волосы упал свет от приборного щитка.

— Куда дальше-то? — спросил он.

— Сам голову ломаю,— ответил Барни Ласт.— Выберемся на Манхэттен, в ячейку позвоним. Может, они что-нибудь разузнали.— В голосе его, однако, звучала неуверенность.

— Откуда они могут разузнать?

— Еще две группы на розыск посланы. Может, им повезло.

— Они понятия не имеют, где искать,— сказал Джо Хантер.

— Мы тоже.

Фред опять чертыхнулся и, наддав, пошел на обгон идущего впереди грузовика. Через полминуты он снова пристроился к веренице автомобилей.

— Полегче ты, черт! — подал голос Барни.

— Не лезь,— огрызнулся человек за рулем.— Кажется, нам на хвост сели.

Ласт обернулся к заднему окну. Тоннель с убегающими назад огнями был пуст.

— Что-то ты к старости пугливым становишься, Фред,— сказал Барни.— С какой стати им интересоваться нами?

— А с какой стати им интересоваться Кейсом? — возразил Фред, едва повернув голову.— С какой стати они заинтересовались Биллом Эверсоном?

— Билла они по ошибке пристукнули,— сказал Барни и нагнулся вперед: гудение мотора перекрывало голос.

— Не желаю, чтобы со мной такая же ошибка вышла,— проговорил Фред.— Да и никакая это не ошибка. Как Джо считает?

— Ошибка, но в другом смысле,— отозвался Хантер тихо, так что Фред вряд ли слышал его. Он забился на заднем сиденье в самый угол. Глаза его в темноте казались огромными и черными.— И вообще, какая разница — ошибка или нет,— продолжал он.— Наше дело — Кейса найти. Барни прав, Фред: нечего раньше времени панику поднимать. Давайте лучше подумаем, где он может быть.

— Да в любой поганой портовой щели,— сказал Фред с горечью.— А то и в морге.— Ему казалось, что если высказать вслух самое худшее опасение, то тем самым отведешь беду.

— Сначала позвоним в ячейку.— Барни устало облокотился на переднюю спинку.— А там посмотрим. И вообще будем надеяться на лучшее. Морги отпадают: незачем впутывать полицию раньше времени.

— Фред шутит,— сказал Хантер.

— А я нет,— ответил Ласт.

Цепочка огней оборвалась кромешной тьмой: они выезжали из тоннеля на плоскую прибрежную пустыню Манхэттена. Автомобиль прибавил скорость и, объехав площадь, понесся вдоль порта к северу. Фред поправил смотровое зеркало, он сидел прямо, напряженно.

— Тебе черт-те что мерещится,— снова сказал Ласт, глядя в заднее окно.

— К старости дело, как ты изволил заметить,— проворчал тот, вцепившись в руль.— А я все-таки покружу малость.

Фред свернул в переулок, проехал квартал и снова взял на север. На следующем перекрестке он опять поехал направо. Выбравшись наконец на Шестую авеню, он прибавил газу, однако у Хьюстон-стрит повернул налево и остановился перед освещенной аптекой на углу.

— Схожу позвонить? — спросил он.

— Сиди, лучше я,— сказал Хантер, сидящий с правой стороны. Он открыл дверцу и выпрыгнул на тротуар.

— Скажи Тони, что мы постараемся звонить каждые полчаса,— распорядился Ласт.— И спроси, нет ли новостей из Бруклина.

— Ладно,— кинул Хантер и, выгребая мелочь из кармана, быстрым шагом подошел к освещенной двери.

Фред напряженно всматривался в фары приближающегося автомобиля. Улица была широкая, но водитель вел машину медленно, словно высматривая что-то. Фред почувствовал, что его удобная рабочая рубашка вдруг сделалась мала и ему трудно дышать. Он быстро вылез из машины и стал за ней на тротуаре, прячась от света фар.

— В чем дело? — спросил Барни.

Фред молчал, мимо почти неслышно прокатил длинный лимузин. Оттуда послышался взрыв женского смеха. Он облегченно вздохнул и расстегнул еще одну пуговицу на рубашке.

— Да ничего. Нервишки, видно, пошаливают. Закурить есть?

Он глубоко затянулся сигаретой и, видимо надумав что-то, решительно отворил заднюю дверцу.

— А ну встань!

— Зачем?

— Встань, говорю!

Ласт поднялся на ноги и, согнувшись пополам, подался вперед, оперся на руль. Фред откинул заднее сиденье и начал шарить под ним.

— Ты чего там ищешь?

— Вот эту штуку.— Фред выложил на переднее сиденье ломик для шин и снова стал шуровать в ящике. Еще несколько инструментов со стуком легли у ног Ласта.— Спокойнее себя чувствую, когда есть что в руки взять,— сказал он, ухмыляясь, и уселся на водительское место.

— А я подумал, еще одна стервозная шуточка,— сказал Ласт.— Ты в самом деле что-то заметил?

— Не знаю,— ответил Фред, пыхтя сигаретой.— Может, просто показалось.

— Джо тоже сегодня психует.

— Какого черта он там копается? — раздраженно бросил Фред.— За это время можно до Голливуда дозвониться! — Он щелчком выкинул сигарету на тротуар, чуть не попав в Хантера, который выходил из аптеки. Джо забрался на заднее сиденье и захлопнул дверцу.

— С Тони разговаривал, никаких новостей. В Бруклине тоже ничего не разузнали. Кто-то сказал Тони, что у Кейса в Джерси приятель есть, они встречаются время от времени. Как зовут приятеля, где живет — неизвестно, но это скорее всего Дэниэлс.— Хантер говорил негромко, так, как будто размышлял вслух.

— Дэниэлс! — презительно фыркнул Фред.— Трус несчастный.

— Он самый,— продолжал Хантер, словно не слыша его.— Тони хотел попросить ребят из Джерси прочесать портовые забегаловки, но я ему отсоветовал. Кейс не такой уж любитель спиртного.

— Откуда это известно? — возразил Фред.— Ты же его совсем не знаешь.

— Другие-то знают и ничего об этом не говорили. Не похоже, что он спец по этой части.

— Черт!— выругался Фред и нажал на стартер. У перекрестка он опять взял на север.— Куда теперь? — бросил он через плечо.

— Давай прямо,— невозмутимо отвечал Барни.— Что-нибудь придумаем.

Они ехали по тихой авеню. Фред снова потянулся было поправить смотровое зеркало, но передумал. Его опять одолевала тревога. Ему казалось, что они колесят по городу уже несколько часов.

— Господи,— проговорил он.— Задали себе задачку — разыскать мужика, которого мы едва-едва в лицо знаем.

Почти сутки прошли с того момента, как Фред из ячейки позвонил Барни, и все эти двадцать четыре часа мы искали Кейса. А исчез он еще раньше — об этом сообщила по телефону его жена, беспокоившаяся, не случилось ли с ним чего-нибудь. Мы сразу же поехали к Кейсу домой, в Джерси-Сити. С тех пор где мы только не побывали! Изъездили городки на джерсийском берегу, изъездили Бруклин, Лонг-Айленд, Куинс, Бронкс, остров Статен.

За те двое суток, что прошли после разгона собрания, до нас доходили кое-какие слухи о Кейсе: кто-то видел его сам, а кто-то видел тех, кому он попадался на глаза. Отрывочные и туманные сведения, которыми мы располагали, его появление то на Манхэттене, то в Бруклине или Джерси, то на каком-то пирсе, то в каком-то баре, то с одним человеком, то с другим никак не складывались в цельную картину и, казалось, подтверждали мое впечатление о нем как о человеке безрассудном и сумасбродном, которое сложилось у меня на собрании. И все же сведения и слухи сходились на достоверном факте: Кейса видели, и он работает — один раз он даже позвонил в

ячейку и обещал прийти посоветоваться с Барни. За последние сутки, колеся по Большому Нью-Йорку, мы опросили десятки людей, которые видели его и говорили с ним. Так что он реально существует, является частью объективного мира, движется, как движутся частицы в старых физических теориях, сталкиваясь с другими частицами и уносясь в сторону, обладает определенной массой и скоростью и занимает свое место в пространстве и времени. Но вот я никак не мог почувствовать, что он реален. Где и как искать такого человека?

Поиски такого человека надо начинать в его детстве, в волшебном лесу, в каком-нибудь прибрежном городке на Лонг-Айленде, скажем, в том, который называется Порт-Наугад.

Совсем небольшой и не очень благополучный этот городок, Порт-Наугад. Земля там не ахти какая, болотистая равнина, едва-едва возделанная и потому получившая право вообще называться землей. Нет там ни нависших над морем утесов, ни меловых скал, ни живописных обрывов — только узенькие речушки с илистым дном, иногда на редкость глубокие, да и не речушки, а так, робкие признаки близкого моря. Они, эти речушки, заросли осокой, словно задремали, и медленно петляют по затопляемым приливом луговинам.

Там и стоит этот городок, маленький, растянувшийся вдоль океана и почти подступающий к самому берегу, с торчащими то тут, то там ветхими причалами — их изгрызенные временем сваи ломаются на поверхности неподвижной воды, которая, впрочем, никогда не бывает неподвижной, а с убийственным и вместе — утешительным однообразием шлепает о бревна.

Поскольку город строили на все времена и на него лег отпечаток вечности, то нетрудно представить в нем Кейса, когда тот был ребенком, ходил кривыми улочками к причалам и слушал там рассказы рыбаков и бывших матросов.

Можно представить его и в школе, крохотной школе, где все знали друг друга: низкорослый мальчишка, должно быть, ниже, чем полагается быть в его возрасте,— он и взрослым-то был невысокого роста. Малорослых, естественно, задирают, а они обычно стараются дать сдачи, значит — драки. Потом, в то переломное время, когда мальчишки становятся мужчинами, стычки прекращаются, потому что мальчишки быстрее затевают драки, а мужчины быстрее прощают обиды. Драк было много, люди, с которыми мы встречались, рассказывали, что Кейс умеет работать не только руками, но и кулаками, однако следов они не оставили ни на теле, ни в душе. Он не обозлился на человечество, как это часто бывает с недомерками, которые, пережив детские бои и избиения, потом всю жизнь утверждают себя, бросая вызов рослым и сильным.

Золотые школьные годы. В четвертом классе он, конечно же, влюбляется в учительницу. Позже, уже кончая среднюю школу, он опять влюбляется, в другую учительницу. Любовь безнадежная: учительница скоро вышла замуж и до сих пор живет в городке — приятная и ничем не примечательная женщина.

Ну, и, разумеется, девочки, увлечения, о которых мало что известно. Невозможно запомнить или записать многочисленные юношеские влюбленности — такие неловкие, невознагражденные, неповторимые; вообразить ту особую горькую и сладкую пору, расцвеченную черной и золотой красками, которая проходит, когда проходит влюбленность. Ранняя любовь — самая невозвратимая вещь на свете, и нет ничего труднее, как восстанавливать в памяти влюбленности тех лет, когда ты рос вместе с окружающим миром. Гораздо проще найти в прошлом пони, духовое ружье, велосипед или яхту.

Яхта маленькая, не больше обычной лодки, с кое-как прилаженной мачтой и мешковиной вместо паруса. Отец Кейса шоферил в Бруклине на грузовике, попал в аварию, остался полуинвалидом. По-

том он иногда ходил в море с рыбаками, подрабатывал то тут, то там. Денег на настоящую яхту не было.

На ее борту было выведено «Независимость» — то ли намек, то ли просто результат уроков по истории. Можно также предположить, что три последние года в школе лодка служила Кейсу тем же, чем для других служит автомобиль, то есть пристанищем любви. Однако доказательств нет, равно как нет свидетельств того, каким образом он причащался таинствам пола, лежа в хрупкой посудине, отданной на волю океанической волне.

Таково было детство Джима Кейса.

«Да, занозистый был паренек». «Не, Джим никому спуску не давал». «Чего-чего, а вкалывать умел». «Понимал соленую шутку, пройдоха»,— фыркают от смеха, вспоминая старый анекдот.

Таковы мнения о Кейсе, обычные, готовые и приблизительные ярлыки, какими мы характеризуем человека.

Пожалуй, в нем было что-то от отца, умного, доброго и не очень думающего работяги, прирожденного пролетария с зачатками классового сознания. И кое-что от матери, которая была сердечной, отзывчивой и практичной женщиной. Репродукции, висевшие в ее доме, отличались от стандартных картинок из календарей, однако кофе, которым она угостила нас, был сварен утром и подогрет.

«Уж больно неугомонный был и любопытный. Хотел знать, что к чему. Верно, все эти популярные книжки прочитал»,— рассказывал отец.

Итак, Кейс всматривался в мир. Мы покидали Порт-Наугад и в ушах у нас, как, видимо, и у него самого, стоял сонный плеск воды о причалы.

Нет, почти невозможно найти Кейса, взрослого человека в его детстве. Чем мы располагаем? Намек, содержащийся в названии лодки, драки со сверстниками («никому спуску не давал»), маленькие синие книжицы популярных серий — что еще? Так начиналась его молодость.

У меня она началась на жестком холодном дне детройтской площади от столкновения моей головы с полицейской дубинкой. Ясно, откуда пошел я сам, но откуда пошел он?

Я родился чересчур быстро, преждевременно перескочил ступени возмужания, и, может быть, именно поэтому мое собственное детство виделось мне таким пустым и неинтересным по сравнению с детством Кейса. Все, что у меня было, вмиг вышибли из моей головы. Мне некуда было возвращаться, потому что я начался с ненависти. А Кейс всю жизнь возвращался в мир своего детства, причем возвращался, как я понимаю, не из-за ностальгии, а из присущей ему привязанности к месту, где он родился. В этом чувстве корней — источник его силы. Сама его жизнь словно была древним символом силы. Судьба кинула его из родного дома в бруклинские доки и обратно, потом забросила подальше и снова привела назад. Так он и двигался по спирали, забираясь каждый раз еще дальше и каждый раз возвращаясь назад, заряжался от того же источника силы, но уже пройдя новые испытания и набравшись большего опыта. Такие путешествия и возвращения — это сама движущаяся диалектика.

Да, все так, но что это объясняет?

Во мне как-никак жила ненависть. Именно она была источником моей силы между детройтской дубинкой и большой войной. Потом она выветрилась, прошла или потерялась — наверное, во время войны. Где — в танке? Нью-Йорк этот мировой погреб, похож на танк: так же стонут и грызутся люди, стараясь поднять завинченную крышку.

Угасла ненависть, и у меня словно бы горючее кончилось. Вот тогда-то и засветил мне мой городок. Городок и Кей. Почему они сливались в моих представлениях в одно? Наверное, потому, что я

люблю Кей, а когда сильно любишь, остальной мир перестает существовать, но ведь городок — это тоже частица мира, разве не так?

И все-таки что же тянуло Кейса в Порт-Наугад? Что он находил там? Вероятнее всего, только одно — не просто царство естественных и бессознательных побуждений, но такую жизнь, которая не противоречит им. Такой жизнью жил Кейс, когда был ребенком, и в этом его сила. И он периодически возвращался к ней въявь или воспоминаниями и вбирал дух знакомых улиц, домов и причалов, как проникаются, перечитывая любимые стихи, мощными образами целой вселенной, заключенной в нескольких словах. Очевидно, он думал о том, как переделать лежащий за Хобокеном мир, чтобы в нем были простота, любовь, уверенность в будущем и свобода — все то, что приблизительно и по малости предвещали Порт-Наугад и его детство.

— Черт, дождь начинается,— проворчал Фред.

Джим Кейс становился все более реальным и все более легендарным.

С тихой улицы с односторонним движением автомобиль свернул на Седьмую авеню. Начался дождь, и по мостовой и тротуарам словно растекалась черная маслянистая краска, утыканная частоколом маленьких ярких стрелок,— это отскакивали от асфальта дождевые капли. Джо Хантер смотрел в окно, по которому сбегали струйки воды, и ему казалось, что светофоры и неоновые вывески тоже растекаются по улице потоками огня. Прохожие жались в парадных и под навесами.

Хантер думал о Кейсе, но не о том, как он нужен им теперь, и не о той необходимейшей работе, которую он начал. Не думал он также о его жене и сыне, которых они видели несколько часов назад и которые с ума сходили от беспокойства. В его глазах Кейс отождествлялся сейчас с какими-то высшими и вечными ценностями, не поддающимися точному определению.

— Если мы его разыщем, наша взяла.

— Обязательно,— отозвался Барни Ласт.— А если нет... тогда туго придется. На Дэниэлсе можно крест поставить, сам видел. Правда, он пока хорохорится, но это так, для вида. А сам первым на работу прибежит. Как твое мнение, почему Кейс на него опирался?

— Думаю, что Дэниэлс у себя на пирсе пользуется влиянием,— ответил Хантер.— Кроме того, на кого-то он же должен был опираться, верно? Мы-то сами ему не помогали.

— Здесь эта улица, что ли? — полуобернувшись, спросил Фред, когда они проезжали мимо почты на Девятой авеню.

— Здесь, Фред,— ответил Хантер.— Еще полквартала.

— Кружимся, как на карусели, надоело, черт возьми! Может, хоть тут повезет.— Он свернул в улицу и сбросил скорость.— Скажешь, где притормозить, Джо.

— Да вот здесь и давай.— Автомобиль остановился у тротуара, однако Хантер медлил.— Еще неизвестно, что из этого выйдет,— сказал он.— Виделся я с этим Мансоном несколько дней назад. Он упоминал Кейса, но я ведь даже не знал, о ком он говорит...

— Нам не привыкать,— проговорил Фред.— Всю ночь из тупика выехать не можем.

— Чего гадать, иди,— сказал Барни Ласт.— Рано или поздно все равно от кого-нибудь узнаем, где он.

Хантер открыл дверцу, их обдало дождевыми брызгами. Он выпрыгнул из машины и побежал к подъезду. В парадном было темно, и он зажег спичку, чтобы разобрать фамилии на почтовых ящиках. На одном было написано: МАНСОН. Здесь, третий этаж.

Поднимаясь по лестнице, он вспомнил, что кухня и комнаты в квартире Мансона расположены вкруговую и она выходит во двор.

Дом словно вымер. На втором этаже тоже не было света. Он наткнулся на парня с девочкой, сидящих на ступеньках, и чуть было не упал.

Под дверью у Мансонов было темно, и изнутри не доносилось ни голосов, ни шагов. Может, уже поздно и они спят, хотя еще и десяти нет? Боже ты мой, их нет дома, пронеслась мысль, и у него упало сердце. Он понял, как он рассчитывал узнать что-нибудь у Мансона, и негромко постучал один раз, потом другой. Наконец послышался шорох шагов.

— Кто там? — обеспокоенно спросил женский голос.

— М-м, понимаете...— замялся Хантер, не зная, что лучше сказать.— Простите, мистер Мансон дома?

— Что вам нужно? — спросила женщина тихо, словно из опасения разбудить кого-то.

— Миссис Мансон? — Джо вспомнил худенькую настороженную женщину, которая открыла ему дверь, когда он первый раз пришел сюда.

— Что вам нужно? — повторила женщина, и он понял, что она чего-то боится и не хочет даже знать, кто пришел к ним.

— Это я, Джо Хантер,— сказал он.— Мне хотелось бы поговорить с мистером Мансоном, если можно. Я заходил к вам несколько дней назад, помните?

— Его нет дома.— Он чувствовал, что она, так же как и он, пригнула голову к притолоке.

— Видите ли, у меня очень важное дело. Это насчет Джима Кейса. Мы никак не можем разыскать его. Вот я и подумал: может, мистер Мансон что-нибудь знает.— Хантер старался говорить спокойно и тихо.

— Его нет, уходите,— упорствовала миссис Мансон.

— Вы не можете сказать, где он?

Она молчала.

— А не знаете, когда он вернется? — Хантер до боли сжал кулаки, его бросило в пот, но он не замечал этого и, затаив дыхание, ждал ответа.

— Уходите же,— прошептала она из-за двери.— Прошу вас, уходите.

Хантер повернулся и пошел прочь. Руки у него дрожали от возбуждения, на лбу выступил холодный пот. Он совершенно позабыл о юной парочке и опять чуть было не споткнулся о них. Он уже спустился в парадное, как вдруг услышал, что сверху его зовут.

— Что? — откликнулся он, подойдя к подножию лестницы.

— Это ты, Хантер?

— Я.

— Давай поднимайся.

Мансон ждал его на площадке. Он был без рубашки, босой и одной рукой придерживал штаны на животе. Другую он протянул ему и подтолкнул к двери.

— Извини,— сказал он.— Эффи, наверное, решила, что ничего такого срочного нет. А я спал.

Жена Мансона зажгла свет и стояла у двери. Бросив хмурый взгляд на Хантера, она ушла в комнату.

— Устроимся здесь, если не возражаешь,— сказал Мансон, входя в кухню.— Сейчас пивка поищем.

— Извини, что разбудил... У меня мало времени, понимаешь.

— Так ведь совсем не поздно еще. Сам не знаю, чего это я улегся. От безделья, видать. Забастовка-то затянулась, вот я и обленился.

Хантеру показалось, что Мансон разговорился, чтобы оттянуть время, боится, что его попросят о чем-то таком, чего он не хочет или не может сделать. Он вскрыл банки с пивом, придвинул одну гостю и подошел к буфету взять стаканы.

— Я пришел разузнать насчет Джима Кейса,— воспользовался моментом Хантер.

— Его что, в черный список занесли? — сразу же обернулся Мансон.

— Если б только это.

— А что с ним?

— Вот это я и пытаюсь выяснить. Ты что-то тогда говорил мне о нем, а я сдуру мимо ушей пропустил... Исчез он, понимаешь! Целые сутки дома не показывается, жена с ума сходит. Если он скоро не объявится, развалится наш комитет. Они и сейчас уже до смерти перепугались.

— Да, я знаю,— не спеша качнул головой Мансон.

— Знаешь, что Кейс исчез?

— Нет, этого я не знал. Ко мне из профсоюза приходили.

Хантер внимательно посмотрел на Мансона, взвешивая услышанное. Когда он приходил к нему первый раз, тот был растерян и напуган. Ему очень хотелось помочь им, но он боялся.

— Велели выходить на работу? — спросил Хантер, отводя глаза от Мансона.— Иначе выгонят, так?

Мансон кивнул и принялся задумчиво водить стаканом по столу, описывая круги. Потом устремил на Хантера прямой, немигающий взгляд, и в глазах его засветилась гордость. Он хотел было что-то добавить, но передумал. Хантер не смел взглянуть на него и не смел спросить, что он ответил профсоюзнику.

— Я подумал, может, ты знаешь, где найти Кейса,— торопливо заговорил Хантер.

Мансон отрицательно помотал головой.

— Я ведь его плохо знал. Да и давно это было. Он жил недалеко отсюда, на Двадцать второй. Потом в Бруклин переехал, куда-то в район Красной Излучины, а после и вовсе в Джерси перебрался. Похоже, не сиделось ему на одном месте. Не знаю почему. Осенью, как правило, в Пенсильванию отправлялся, поохотиться. Меня раз звал, но мне это не по карману. Обычно он с одним парнем ездил, Гейтсом. Невысокий такой, на грузовике сейчас работает. Я до сих пор жалею, что тогда не поехал...— Голос его словно замер в пенсильванских лесах.

— Понятно,— проговорил Хантер, изо всех сил стараясь ничем не выдать своего нетерпения.— Ты не знаешь, куда он мог подеваться?

— Он, бывало, заходил тут к одной женщине,— ответил Мансон.— К миссис Карпович. Сама она ирландка, да за югослава вышла. Учились они с Кейсом вместе, еще на Лонг-Айленде. Приударял он за ней.

— Надо съездить к ней,— в отчаянии сказал Хантер.— Где она живет, известно?

— Недалеко тут, на Двадцать пятой. Почти на углу Девятой авеню. Дом триста девяносто какой-то. Легко найдешь, там как раз перед домом дерево. Единственное на весь квартал. Потом он с одним негром водился, в Гарлеме живет...

— Хорошо, мы и там попытаем счастья,— прервал его Хантер.— Адрес его известен?

— Нет.

— Может, эта женщина подскажет. Мы обязаны все испробовать.— Хантер встал, оставив на столе недопитый стакан.

— А мой малый-то... мой сын...— Употребив непривычное слово, Мансон умолк.— Он с ними в тот вечер был, с бандюгами — ты об этом знаешь?

Хантер равнодушно кивнул.

— Ничего не поделаешь,— сказал он и остановился, не дойдя до двери.

— Что верно, то верно.— Мансон помедлил и вдруг как отрезал: — Неправильно он поступил. Я его, считай, из дому выгнал. Такая вот история... Потом сам на улицу вышел, хотел даже к вашему Ласту пойти. Да не пошел.

— Жаль, конечно, что у тебя с сыном так получилось. Но ведь не маленький же он, должен соображать, что к чему. А в ячейку заходи, работенка всегда найдется.

— Да уж, наверное, найдется... Хотя какая от меня особая польза.

Он ждал, что Хантер что-нибудь скажет, но тот молча стоял посреди кухни.

— Как по-твоему, не проиграли мы забастовку? — выпалил вдруг Мансон, словно стыдясь своего вопроса.

— Забастовку?— переспросил Хантер так, будто это не имело никакого значения.— Не думаю. Сейчас главное — Кейса найти.

— Может, и не проиграли, не знаю. Но вот другое я знаю точно: нас били и бьют.— Он твердо выдержал прямой взгляд Хантера.— Ты газеты читаешь?— спросил он и, не дожидаясь ответа, горячо продолжал: — От этого вранья, что там пишут, спятить можно! Читаешь — и себя не узнаешь, и людей не узнаешь. Мир ко всем чертям катится!

— Ничего страшного,— сказал Хантер.— И ничего нового. Давно так заведено. Ты просто другими глазами теперь газеты читаешь.

Мансон отодвинул от себя стакан и облокотился обеими руками на стол.

— И ведь не отцепятся они от нас. Не один, так другой норовит тебе кровь пустить. Погляди,— грустно проговорил он, обводя кухню рукой.— Это все, что у меня есть.— Он пожал плечами и умолк, понимая, что сказал совсем не то, что хотел.

Хантер подошел к Мансону, положил руку ему на плечо.

— Не одному тебе, всем трудно — что тут еще скажешь? Ты сделал что мог. Заходи завтра к нам, если хочешь.

Хантер вышел из квартиры и спустился по лестнице. Юная парочка на втором этаже отодвинулась, давая ему дорогу. Дождь на улице почти перестал.

— У Мансона острый приступ отчуждения от общества на почве классового чувства,— сказал он, открывая заднюю дверцу автомобиля.— Болезненная штука, если не переболел ею до сорока, как корью. А тебя можно поздравить, Барни: занеси в списки нового члена партии.— Всю его усталость и угнетенность как рукой сняло.

Мы гоняли по городу, ища следы человека, а по нашим следам гнались за нами. Казалось, сама ночь превращается в бесконечное и нелепое кружение.

Где искать пропавшего человека? Его можно найти у друзей и в друзьях.

Друзья Кейса находились по всем четырем сторонам его горизонта. С одними нам удалось встретиться, с другими нет, и воссоздать его образ по их мнениям о нем так же трудно, как сложить картинку-головоломку, когда не хватает некоторых частей.

Воссоздать образ человека — значит погрузиться в исторический процесс, ибо дружба сама по себе есть история. Ребенок отделяется от безоблачной доисторической поры детства, у него формируется характер, собственное «я», которому непременно надо переиначить мир, чтобы утвердить себя и первое открытие мира происходит через других людей. Дружба, любовь, солидарность — вот те щели в погребе эпохи, через которые человек видит солнце, и сами эти человеческие узы предполагают существование другого мира — такого, какой может быть. Ищи человека у друзей и в друзьях.

Значит, первым делом — посещение старого ирландца-эмигранта, сильно поврежденного возрастом, временем и выпивкой. Он был первым напарником Кейса, когда тот пошел работать в бруклинские доки. Благодаря необузданному, шальному воображению, которое напоминало какой-то мотор, работающий без регулятора хода и отключенный от внешнего, утратившего реальность мира, Пэдди представлял Кейса каким-то призраком или тенью. Он не помнил, когда в последний раз видел его. Может, месяц или два назад, а может, и год. К событиям из жизни настоящего, живого Кейса он примешивал свои переживания, старые байки, обрывки стихов, похабные анекдоты. «Знаешь, что он говорил? Работать — значит давать себя напрокат. Да-а, Джимми — он глубокая рана на теле человечества».

От Пэдди по тоннелю под заливом — на остров Статен, в коммуну, состоящую из одного члена по имени Свен Педерсон. Помимо него в коммуне были дом, который он поставил своими руками, старая рыбацкая лодка, где-то подобранная и починенная им, и выпуски давнего «Индастриэл уоркер», которые Свен хранил так же бережно, как сохранял глубокое благоговение перед идеями Анархии — матери порядка. Были, кроме того, книги, причем не популярные синенькие брошюры, а «Манифест Коммунистической партии», первый том марксова «Капитала» и на почетном месте — Бакунин, «Размышления о насилии» Сореля[1], Ницше.

Свен сам был историей — историей верного классового чутья и насквозь ложных идей, от героического начала «Индустриальных рабочих мира» до полного распада организации. Он как бы являл собой живую хронику больших социальных битв, Патерсона [2], выступлений за свободу слова, стачек на промышленном Востоке и сельскохозяйственном Западе.

«У Джима умная голова, может, даже чересчур умная. Хотел, чтоб все по плану было»,— сказал Свен.

Пэдди и Свен — две противоположные стороны Кейса, он — «глубокая рана на теле человечества» и одновременно человек, который хотел, «чтобы все по плану было» — что́ бы ни значило и первое и второе. Ни художественный образ, ни научная формула не подскажут, на какой точке экватора в нашем поделенном мире затерялся Кейс, потому что оба они, каждый по-своему, искажают жизнь.

Но есть между ними и своего рода соединительная ткань — другие люди, десятки людей, с которыми Кейс работал, общался по профсоюзной линии, спорил. Большинство из них было похоже на Мансона, может, не такие образованные и не загнанные в угол обстоятельствами. Других невидимыми силовыми линиями тянуло к тому полюсу, который представлял Пэдди,— открытые, что называется, душа нараспашку, эмоциональные, ненадежные. Третьи созвездием громоздились вокруг северного магнитного полюса Свена, и они были упрямы, нетерпимы, скрытны и даже плели всякие интриги. Такая вот соединительная ткань.

Ну, и, конечно, жена Кейса и его дети. Жилье в Джерси не сильно отличается от нью-йоркского. В квартире Кейса мало что говорило о его характере — разве что несколько самодельных книжных полок и буфет: одно время он работал плотником. Трудно сказать также, чем выделялась его жена, потому что она буквально терзалась из-за мужа. Выросшая в портовом районе Бруклина, она не верила, что он просто так взял и исчез.

Так мы снова возвращаемся к загадке: «глубокая рана на теле человечества» и — человек, желающий, «чтобы все по плану было».

---

[1] Жорж Сорель (1847—1922) — французский социальный философ, рассматривал революцию как стихийный иррациональный порыв народа, движимого социальными мифами.

[2] Имеется в виду длительная забастовка на шелкоткацких фабриках в городе Патерсоне, штат Нью-Джерси (1910—1912).

У меня тоже были планы: план созвать собрание, план поехать в мой городок, план найти общий язык с Кей. Они наполняли сердце радостью и давали ощущение свободы — и вовсе не потому, что идея планировать жизнь блещет новизной. Взять хотя бы идею провести собрание — почему она казалась незаменимой? Теперь мне стало ясно почему. Когда я понял, что моя ненависть прошла, что у меня кончилось горючее, то понадеялся, что именно план решит все проблемы. Он придавал силу, которая раньше вырастала из ненависти. Планы обещали победу в забастовке, поездку на Запад, обещали Кей, словом, все на свете.

И вот мои планы обернулись против меня самого. Я усердно и бережно раскладывал в голове все по полочкам, и когда постройка вдруг развалилась, меня так ушибло, что оставалась одна-единственная мысль — бежать куда глаза глядят. Мой городок, как и намекал Барни, внезапно превратился всего лишь в место, где можно спрятаться. Я спешил спастись, не отдавая себе отчета, что рискую потерять решительно все, включая Кей, включая самого себя — такого, каким мне хотелось стать.

Я верил, что планы дают абсолютную свободу. Они заменили мне ненависть, которой я жил и которая наполняла меня решимостью, пока не пропала. И ненависть и упование на волю — иными словами, и подчинение необходимости, и жажда абсолютной свободы дорого обошлись мне.

Ненависть — это острый приступ нравственного чувства, план — продукт рассудка, и они оба по очереди не достигли цели. После собрания я словно провалился в погреб мира, а сам мир разломился на части, и у меня не было сил собрать их.

Так же трудно составить из отдельных частей облик Кейса. Он тоже страдал острыми приступами нравственного чувства — ненавистью, был «глубокой раной на теле человечества». С другой стороны, он «хотел, чтобы все по плану было». Однако в нем эти противоположности сходились, проникали одна в другую, держали его в динамическом равновесии.

Хорошо, что мы повидались с Пэдди и Свеном. Они были как бы двумя половинами его существа, но отнюдь не обособленными половинками. Они слились и образовали одно целое. Обручились Бруклин и остров Статен.

— Эти подонки снова сели нам на хвост,— сказал Фред.

Обручились небо и бездна.

Вдоль темной расселины авеню мелькали фонари и светящиеся вывески, и за ними будто простиралась пустота. Джо Хантер, который, полуобернувшись, смотрел в заднее окно автомобиля, видел разбегающееся, размытое дождем зарево. Они мелькали, как блуждающие огни на болоте, или двигались вместе с бегущей улицей, как быстроходная конвейерная лента с прикрепленными к ней лампочками. Хантеру казалось, что он и сам прикреплен к ленте, только впереди, на определенном, жестко зафиксированном расстоянии от огней. Идущая за ними машина, качнувшись в сторону, приблизилась на несколько метров, и лишь тогда Хантер сообразил, что́ было там, за расплывшимся пятном позади. Ногами он нащупал на полу монтировку и положил ее себе на колени.

— Здесь они не посмеют,— сказал Барни, отрываясь от окна.— Пока эта штуковина не понадобится.

Хантер молчал Спроси его, что он чувствует, он не нашел бы ответа: единственное, что он испытывал, держа тяжелую железяку,— это непреодолимое, безрассудное желание пустить ее в ход. Он сно-

ва обернулся и посмотрел на расплывшееся пятно позади, но на этот раз равнодушно, не думая о преследователях.

Фред спереди вроде бы непринужденно прислонился к дверце, руки его спокойно лежали на нижнем краю руля. Слабый свет от щитка падал на его квадратный профиль, его челюсти ритмически двигались, он жевал резинку.

— Может, лучше ближе к авеню держаться? — сказал Хантер.— Не по себе, когда в одиночку раскатываешь.

— Я хочу через Парк проехать,— ответил Фред.— Попытаюсь оторваться от них. Ну, а дальше-то куда? Мансон что-нибудь знает о Кейсе?

— Ничего особенного. Сказал только, что он к одной бабе заглядывал. Она в районе Двадцатых улиц живет, в западной части.

— Туда и повернем,— сказал Ласт.— Но сначала надо этих субчиков с хвоста стряхнуть. На Двадцатых сейчас на помощь не дозовешься.

— Можем и не забираться туда,— сказал Фред, не поворачивая головы.

— Нет, не можем,— проворчал Хантер. Его никто не услышал. Он мог и не ворчать: все подумали то же самое.

Фред чертыхнулся и круто взял влево, чтобы не наехать на автомобиль, который, несмотря на вспыхнувшее грязно-красное пятно светофора, выскочил из боковой улицы. Они прибавили газу, но автомобиль неотступно следовал за ними, как прицеп на длинном тросе, пока их машина, взвизгнув шинами, не свернула вправо.

— Где же они нас засекли? — спросил Хантер.

— Я же говорил... Сели на хвост, как только мы на Манхэттен выехали,— самодовольно объяснил Фред.— А вы, умники, на мои слабые нервы намекали.

— Когда ты у Мансона был, они мимо нас проехали,— добавил Ласт.

— И много их?

— А целый взвод,— ответил Фред, отрывисто сигналя, чтобы пойти на обгон.— Из окон торчат, на бампере виснут. А ну, умники, дайте кто-нибудь закурить.— Не доезжая во Восьмой авеню, он подъехал к тротуару.— Объявляю пятиминутный перерыв, чтобы расслабиться,— сказал он, опуская боковое стекло и выплевывая жвачку. Он глубоко затянулся сигаретой, и на его квадратное лицо упал красноватый отсвет.

Шурша шинами, автомобиль медленно катил по пустынной аллее, пересекающей зеленый остров Центрального парка. Фары высвечивали вороха опавших, отливавших влагой листьев. После оживленных улиц здесь казалось совсем тихо. До них едва доносился гул города, прорезаемый редкими и далекими автомобильными гудками.

— Не нравится мне это,— бурчал Фред.— Ты, Барни, совсем спятил. Ведь если здесь на нас навалятся, охнуть не успеем.

— Не волнуйся, не навалятся. Упустили нас эти субчики — пусть теперь хорошенько поищут. Думаю, они сейчас по Вест-сайду колесят. Покатаются, покатаются, да и бросят. Вот тогда мы и рванем к этой женщине.

— Все равно спятил. Где это видано — на открытом месте прятаться когда за тобой погоня?

— Вот именно поэтому они и не будут искать нас здесь,— убежденно ответил Ласт.

Хантер молча ссутулился в углу. Опустив оконное стекло, он вдыхал влажный запах увядшей зелени. Ему даже чудилось, что он различает дымок от горящих листьев, но вряд ли кто надумает жечь листья в такую позднюту — ветер разбросал их по аллее, и они ле-

жали под фонарями беспорядочными сырыми кучками. Услышав отдаленный автомобильный гудок, он поежился, зевнул и закрыл окно.

— Давайте-ка в центр,— сказал он, кивнув в сторону темнеющих громад города.— Кейсу, может, помощь нужна, а мы тут прохлаждаемся.

— Ну что ж, рискнем,— сказал Барни.

Фред выплюнул сигарету и что-то пробурчал.

— Эта, что ли? — спросил Фред, свернув на Двадцать пятую улицу.

— Вроде эта, если Мансон не ошибся. Дом триста девяносто какой-то. Дерево, сказал, перед ним.

Машина медленно ползла вперед. Ласт и Хантер напряженно всматривались в темноту.

— Похоже, что здесь,— сказал Хантер, показывая на дом на северной стороне улицы.— Притормози.

Машина подкатила к тротуару, и тут они услышали позади рев мотора. Из-за угла выехал автомобиль без огней и стал быстро приближаться к ним. Вспыхнули фары, автомобиль на полном ходу объехал их и, визжа тормозами, остановился впереди, перегородив им дорогу.

— Начинается,— сказал Хантер, потянувшись за монтировкой.

— Да погоди ты, ради бога,— огрызнулся Фред звенящим от напряжения голосом и включил первую скорость.

— Ты же не проскочишь.

— Посмотрим.

Фред рванул машину вперед, осветив вылезающих из автомобиля людей. В руках у них поблескивали ломики. Колеса по очереди вспрыгивали на поребрик, Хантера швыряло то на Ласта, то на дверцу, он видел, как бешено Фред крутит баранку. Потом послышался металлический лязг, хруст стекла, их машина съехала с тротуара и с ревом понеслась, качаясь из стороны в сторону, по улице.

Мы продолжали колесить по городу. Время от времени звонили в ячейку, но сведения, поступавшие туда, не добавляли ничего нового. Разные группы, занятые в поисках, уже начали повторять друг друга. Еще немного — и наши возможности будут исчерпаны.

Где еще искать человека? В его поступках. Попробуем составить их перечень. Итак, нам известно, что Кейс

во время депрессии занимал должность секретаря Союза безработных в Бронксе;

после создания в 1935 году Конгресса производственных профсоюзов был некоторое время активистом-общественником в одном небольшом профсоюзе;

участвовал перед самой войной в выступлениях портовых рабочих Бруклина и Джерси; был известен — и не только в местном отделении, где он состоял на учете,— как порядочный человек и хороший боец;

только что избран председателем забастовочного комитета;

был достаточно влиятельной фигурой, и потому Келли натравил на него своих бандитов.

В послужном, так сказать, списке Кейса были и неясные, даже противоречивые моменты. Почему он не был близок к партии? Почему не снесся с нами, как только началась забастовка? Частично на эти вопросы нам ответили в одной из ячеек в Джерси. Кейс совсем недавно демобилизовался из армии. Партийная организация в джерсийском порту распалась, да и в самом Нью-Йорке дела шли не намного лучше. Тамошний секретарь был догматик и бюрократ, че-

ресчур занятый теорией и не сумевший найти практической работы для Кейса. Тот был вынужден действовать на свой страх. И вот после разгона собрания он вместе с другими из комитета снова начал собирать силы.

По мере того как мы все больше узнавали о Кейсе, я понял еще кое-что. Он не был законченным революционером. Он стоял где-то посередине между Мансоном — а лучше сказать: обыкновенным портовым рабочим — и человеком типа Барни Ласта. И это тоже очень важно. По Кейсу можно судить о степени зрелости рядовых рабочих. Он был как бы мостом, соединяющим стихийную стачку и организованное выступление.

Все это довольно очевидно. И все-таки для меня оставалось загадкой, каким образом он стал Необходимым Человеком, как ему удалось совместить в себе боль и план, которые так печально распались у меня. И тут я начал понимать, что решаю загадку не Кейса, а самого себя.

В чем же она? И мое чувство — ненависть, и мой рассудок — план оба обманули меня.

Отсюда следует, что мой примитивный импульсивный бунт — явно недостаточное средство. Ненависть сравнительно быстро иссякает. Само собой, без ненависти — какая борьба, но одною ненавистью не продержаться. Свен — пример того, что она делает с человеком. Он кончает тем, что замыкается в своей собственной конурекоммуне на острове Статен или где-нибудь еще. Мечтая о своем солнечном городке, я, наверное, тоже строил себе такую же коммуну-конуру.

Прозрение началось с той памятной встречи с самим собой, которая произошла в подвале дома, где живет Барни. На меня готовились напасть, а я приготовился ответить отчаянным вызовом и исступленной ненавистью. Я бросал вызов всему миру, однако ж вместо мира был всего лишь подвал и некто с дубинкой, хотевший вышибить мне мозги. Да и безликого «некто», как оказалось, не существовало, значит, и ненавидеть было некого. Моим врагом был я сам. Даже сейчас, когда бандиты преследовали и едва не настигли нас, когда я схватился за монтировку, я ненавидел не того или иного конкретного человека — меня злило, что мы вынуждены бежать и драться в темноте.

Посмотрим теперь с другой стороны. Планы мои провалились, и это означало помимо прочего разрыв с Кей. Теперь я понимал, что любой план сам по себе ничего не стоит. Жизнь сложнее и многообразнее всяких планов. Она больше человека, она определяет все его поступки, а не наоборот. Если человек сознает это, он приобретает известную степень свободы. Это не та свобода, когда дозволено делать что захочется, а свобода делать то, что необходимо. И если ты понимаешь эту необходимость, то можно достичь с ней согласия. Если знать, куда движется жизнь, она сама подскажет, где наилучшая точка опоры, чтобы подтолкнуть ее вперед. Вот, пожалуй, и все. Мое желание уехать в солнечный городок было слепым, неосознанным, да и сам городок виделся мне теперь в ином свете, хотя я так и не понял до конца, чем он был дорог мне.

Самая нелепая и самая чудовищная ошибка — мое поведение с Кей. Я понимал сейчас, до чего был эгоистичен. У меня в голове возникла некая идея, подходящая для меня во всех отношениях, и я хотел навязать ее любимой женщине. Но она оказалась твердым орешком. Она была частицей жизни, обладала собственным достоинством и знала себе цену, и я не имел права даже в мыслях принуждать ее.

И наконец, забастовка. Сначала мне представлялось, что она есть столкновение воль, которые уравновешивают и уничтожают друг друга, что она развивается сама по себе, как результат временного примирения противоречий и все больше напоминая желание, нежели во-

лю. Теперь стало ясно, что это не так. Волевой поступок Келли перечеркнул наши волевые действия, но это не означает, что он подчинил события себе. Нет, они будут развиваться своим чередом и в том направлении, которое подсказывает забастовка, а его усилия устремлены в другую сторону. На этот раз Келли взял верх, это было неизбежно. И все равно наши действия оказали влияние на ход событий, больше того, *его собственные* действия вызывают обратную реакцию. Он убил Билла Эверсона, может быть, расправился с Джимом Кейсом и тем самым создал себе противодействие. Наша забастовка не разрешит никакое крупное противоречие, но мы представляем то, что набирает силы, причем не только несмотря на старания мистера Келли, но отчасти и благодаря им.

Забастовка возникла не по чьей-то воле, поэтому поражение ее не является победой Келли. Даже на гибель Билла Эверсона я теперь смотрел по-другому. Раньше я и думать не хотел, что он погиб случайно: мне казалось, что такая смерть перечеркивает всю его жизнь. Сейчас я рассуждал иначе. Да, вероятно, его застрелили *по ошибке*, вместо Блэки, но это не чистая случайность и не лишает его жизнь смысла. Билл — тот человек, кого *могли* пристрелить люди Келли, потому что он представлял для них опасность. Все его поступки рано или поздно вызвали бы у Келли и его хозяев желание расправиться с ним. С Кейсом могла произойти та же история. Каждый из них был Необходимым Человеком, так же как Барни или даже Фред, который был похож на меня. Как и я сам до этих долгих поисков и моего открытия, он еще не окончательно сложился.

Итак, в конце концов я нашел Кейса, не живого, однако такого же реального, и нашел самого себя. И мой городок приобрел более отчетливые очертания, перестал быть местом, где хочется укрыться от бурь: расценивать городок как прибежище — значит отрицать его истинность и возможность свободы в нем. Увижу ли я когда-нибудь его? Быть может. А пока надо хранить память о нем, как Кейс хранил память о детстве у себя в Порт-Наугад — хранить как талисман, как образ и обещание полной, счастливой жизни, которую я желаю всему человечеству. Я сохраню этот талисман. И все-таки начать ее переделывать можно где угодно, даже в Нью-Йорке, даже в объятом пламенем танке с заклинившим люком. Неважно где, потому что никогда и нигде нельзя освободиться от необходимости, не исключая и сказочного городка, который много лет будоражил воображение.

Я понял, что мир не победить ни голым рассудком, ни бессознательным взрывом чувств, и в нем совсем другой виделась Кей. Не исключено, что у нас с ней ничего не получится, так как множество вещей не зависит от нас. Но когда и если я вернусь к ней, то не потребую, чтобы мы замкнулись в любовном кругу — таком замечательном и таком эгоистичном.

Не знаю, как и где находят человека, но Кейса я нашел. Я знал его теперь до донышка. Хорошо иметь такого брата.

Мы колесили по городу всю ночь. Куда мы только не заглядывали! Когда мы подъехали к помещению ячейки, забрезжил серый рассвет.

— Зайду, может, они что-нибудь знают,— сказал Барни. Вид у него был усталый и подавленный.

— Ни черта никто не знает,— зло бросил Фред. Я чувствовал, что он готов взорвать Эмпайр стейт билдинг.— Закурим?

Мы курили и ждали. Немного погодя появился Барни.

— Нашли.

— Где? — спросил Фред.— В реке?

— Я даже подумать не мог,— сказал Барни.— В морге.

Мы молчали. Фред яростно вышвырнул сигарету, словно она жгла ему рот.

— Господи...— выдавил он, как молитву.

— Двое уже... Какие ребята!

— Да...— протянул Фред.— Все пропало. Он единственная наша зацепочка.

— Другого сейчас не найти, это точно,— негромко сказал Барни.

— Кончено, значит, дело...

— Нет, не кончено,— прервал я Фреда.— Просто тяжелее стало. Надо сначала начинать.

— То есть?

— Снова создавать комитет.

— Джо верно говорит,— сказал Барни.— Раз побили, значит, надо достойно отступить. Но кое-что мы все-таки выиграли. Важно это удержать... Да и убийство такого мужика даром не пройдет. Народ зашевелится. Мертвый Кейс живого стоит.

— Может быть,— хмуро ответил Фред.— Тебя подбросить? Как понадоблюсь в ячейке, дай знать.. А ты, Джо?

— Я, пожалуй, здесь выйду.

— Ну что ж,— сказал Барни,— пока можно и по домам. С Кейсом что нужно сделают...— Он осекся.— Приезжай в девять. Дел уйма.

Они сели в машину и уехали.

В конце концов этого следовало ожидать после того, как мы полсуток мотали по городу. Я шел по улице, погрузившись в невеселые мысли, но одиноким себя не чувствовал. Билл и Джим все равно с нами. Они будут частью нашей ненависти и наших планов. Как это Билл сказал? Проигрываешь все бои, кроме последнего. Верно сказал.

Над Лонг-Айлендом, за Порт-Джефферсоном, поднималось солнце и готовилось подвигаться к Огайо. Я чувствовал перемену погоды. И обманчивая летняя жара последних дней, и обманчивые предзимние холода прошли. Наступала долгая, печальная осенняя пора, когда даже самые дальние голоса слышатся как будто рядом.

Вашингтон-сквер был залит ранним, чистым, одинаковым для всех светом. Я шел к Кей.

После перевода

Томас Макграт начинал как поэт еще перед войной и остается поэтом полвека спустя.

Он — поэт лирический, иронический, политический, и три творческих лика его образуют одно неповторимое лицо продолжателя традиций Уитмена, Сэндберга, Лоуэнфелса.

Поэт, у которого к исконно ирландскому стволу вольной, неудержимой фантазии привилась сугубо американская целеустремленность, причем в наиболее демократической ее разновидности — среднезападной, и потом она помогла ему в делании стиха и понимании общих задач поэзии: «Я могу снова и снова принимать мученическую смерть на всех баррикадах мира, но из меня не получится революционный поэт, если я не овладею своим ремеслом».

Поэт, чьи произведения проникнуты унаследованным от отца-земледельца здоровым народным чувством равноценности всех вещей и всех людей и пронизаны напряженной работой мысли, которая охватывает грандиозные культурные пространства от древних индейских ритуалов до изощренной современной европейской словесности.

Поэт, который в разное время был по совместительству фермером, учителем, журналистом, сварщиком, военнослужащим, руководителем писательской студии, редактором, ответчиком перед Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности, безработным, преподавателем университета...

Пыль оседает. Оседает, как время. Годы
Птицами кружатся над головой[1].

[1] Перевод А. Ибрагимова.

Главным делом своей жизни, своей Главной книгой Макграт считает монументальную четырехчастную эпическую поэму «Письмо к воображаемому другу». Первая ее часть — духовная автобиография поколения американцев, которое входило в возраст в кризисные, красные 30-е, а после войны столкнулось с расколотым надвое миром,— появилась в 1962 году. По-русски она опубликована через двадцать с лишним лет в книге избранной поэзии, прозы и публицистики Макграта. Долго оно шло к нам, это «Письмо», хотя как сейчас помню ощущение, когда книжка первый раз попалась мне в руки: будто она адресована мне и моим товарищам. Теперь Макграт написал вторую, и третью, и четвертую, последнюю часть. Ценителям и любителям поэзии еще предстоит как следует прочитать «Письмо к воображаемому другу» целиком и, держа в уме перекликающийся со строчкой из «Интернационала» один из «законов Макграта»: «Проигрываешь все бои, кроме последнего», пойти воображением за поэтом через девять кругов истории к девятому небу с голубой звездой Качиной, Небу Преобразований, где Шайенн и другие реки родного края сливаются с Ялуцзян, Волгой, Миссисипи, Амазонкой, Конго, где человек в ладу и заодно с самим собой, и другими людьми, и природой. И, как знать, может, это путешествие за интернационалистской мечтой поэта раскроет нам истинный смысл «Письма» и приблизит его к таким посланиям, как «За далью—даль» Александра Твардовского, «Человеческая панорама» Назыма Хикмета или «Всеобщая песнь» Пабло Неруды [1].

Как Макграту-поэту не чужда проза жизни, так и не чужда писателю художественная проза. В 1957 году он издал книгу о будущем, которого не должно быть, антиутопию «Из рога врата и врата из кости слоновой». Написанный в пору разгула маккартизма, этот роман-памфлет и предупреждение продолжает ту линию в американской литературе, которую начал за полвека до него Джек Лондон «Железной пятой».

Наверное, «Ежеквартальник Университета Северной Дакоты» полностью отдал один свой выпуск роману Томаса Макграта «...кроме последнего» не только потому, что автор — выпускник этого университета и его почетный доктор литературы. Можно по-разному подходить к роману и по-разному оценивать его значимость, «интересность» и все остальное. Однако вряд ли можно отказать писателю в своеобразии письма, отличающегося необыкновенно широким регистром — от грубого просторечья нью-йоркской улицы до захватывающей дух метафорической образности. Отказать в идейной насыщенности его прозы, где конкретные поступки героев поставлены в контекст больших нравственных и философских категорий. Отказать в немалом художническом и гражданском мужестве — положить в основу романа определенный жизненный материал: профсоюз, забастовка, работа коммунистов.

В силу многих известных, а чаще ускользающих от нас причин литература США — во всяком случае та ее часть, на которой сосредоточено основное внимание нашего литературоведения и корпуса переводчиков,— пишет о рабочем движении мало и неохотно. Между тем трудовые конфликты есть часть американской действительности и, следовательно, достойны быть предметом художественного изображения, что бы ни говорили иные критики о неэстетичности такого материала.

Макграт не мог не взяться за этот роман, потому что многое из того, о чем рассказывается на его страницах, пережито им самим. Не выдумана забастовка портовиков осенью 1945-го. Некоторые герои имеют реальные прототипы. Или взять хотя бы поиски пропавшего Кейса в четвертой части романа — из воспоминаний друзей писателя известно, что такой эпизод был на самом деле и Том принимал в нем участие.

«Да, во многих отношениях роман автобиографичен,— писал мне Макграт.— До войны и после нее я работал в нескольких низовых отделениях, входивших в портовые профсоюзы Нью-Йорка, которыми заправляли гангстеры. Работал вместе с коммунистами, и мы хотели прогнать профсоюзное руководство, связанное с уголовниками и мафией. Некоторые эпизоды романа основаны на рассказах товарищей и рядовых грузчиков и водителей».

Сюжет романа Макграта строится вокруг стихийной многотысячной стачки нью-йоркских докеров осенью 1945-го. Разъяснительная и организационная работа горстки коммунистов и активистов, добивающихся справедливых условий нового коллективного договора с транспортными компаниями, встречает бешеное сопротивление

[1] Подробнее о последних частях «Письма к воображаемому другу» см. «Современная художественная литература за рубежом», 1986, № 3.

руководства профсоюза, которому надо во что бы то ни стало погасить инцидент и заставить забастовщиков вернуться на пирсы. Вспыхивает борьба за умы недовольной, но неподвижной, инертной низовки. Борьба тяжелая, неравная, потому что силы партийцев и их сторонников малочисленны и слабы, и это тоже соответствует историческим фактам. Только в июле сорок пятого, то есть за три месяца до описываемых событий на XIII, Чрезвычайном, съезде была восстановлена Коммунистическая партия США, распущенная правым оппортунистом Эрлом Браудером год назад. Но именно на них, «комми» и «красных», обрушивает свой удар продажная профсоюзная верхушка, прибегая к услугам не только полиции и церковников, но и наемных громил и головорезов.

Те, кто прочитал роман до русской публикации, впали в примечательное заблуждение, посчитав, что он написан в наше время: дистанция в сорок лет, новый роман писателя, взгляд из сегодня, новое слово в американской литературе... На самом же деле книга треть века оставалась в бумагах.

На вопрос, почему он отложил публикацию романа, Том написал мне: «Я и не откладывал. Когда в 1950 году рукопись была предложена коммерческим издателям, то они уже перестали выпускать «пролетарскую» прозу (и поэзию тоже), а среди левых кругов возобладало мнение, что книга чересчур «экспериментальна» и не совсем подходит под категорию социалистического реализма, как его понимали тогда у нас.... Потом в Штатах воцарился маккартизм, меня занесли в черные списки, не давали ни преподавать, ни заниматься многими другими вещами, да и из-за климата в издательской области такая публикация была исключена».

Моих коллег обманула «современная» поэтика романа, его историческая достоверность (истинный историзм всегда ставит прошлое на службу настоящему) и бесспорная актуальность этической проблематики, и прежде всего — проблема выбора. Другими словами, их обманула, как это ни парадоксально, художественная правда. Казус свидетельствует о новаторстве и художественной прозорливости писателя. «Макграт достойно подтвердил жизненность традиций «пролетарской» литературы,— писал Фред Уайтхед, рецензируя роман.— Больше того, избежав стереотипов, он создал произведение зрелое, эстетически законченное, в котором выразительно запечатлелись трагические противоречия целой эпохи» («Пиплз дейли уорлд», 15.VI. 1985).

Как говорили древние, книги имеют свою судьбу.

Хорошо, может спросить читатель, история — историей, а как там, в Америке, сейчас по части стачек?

Формы социальных конфликтов в США теперь, разумеется, иные, чем в 40-х и 50-х. Рабочее движение все теснее переплетается с антивоенным, с выступлениями в защиту гражданских прав и за охрану окружающей среды. Постепенно складывается массовый демократический фронт, растет влияние американских коммунистов. Физическая расправа в наши дни — это уже публичный скандал, хотя... хотя можно вспомнить и Джозефа А. Яблонского, руководителя «Объединенных горняков», застреленного в Кларксвилле, штат Пенсильвания, в 1970 году, и чикагского активиста Руди Лозано, павшего жертвой политического убийства несколько лет назад, и Брайана Уиллсона, искалеченного в минувшем сентябре колесами поезда, груженного боеприпасами, близ Конкорда в Калифорнии...

Что же до собственно забастовок, то вот сообщения из одного-единственного выпуска газеты «Пиплз дейли уорлд» — за 17 сентября нынешнего года.

> «Рабочие «Импалс индастриз» в Лос-Анджелесе начали в этом месяце забастовку, добиваясь права представительства в «Объединенном профсоюзе электриков»;
>
> «Детройт. В среду здесь продолжались затянувшиеся переговоры по выработке очередного трехгодичного договора, затрагивающего интересы 107 тысяч рабочих предприятий Форда... Две недели назад профсоюз «Организованные рабочие автомобильной промышленности» наметил провести забастовку на этих предприятиях»;
>
> «Любители футбола могут оказаться свидетелями забастовки игроков, так как хозяева Национальной футбольной лиги категорически отказываются вести с ними переговоры. Об упорстве нанимателей свидетельствует принятое в прошлый четверг решение: в случае забастовки вывести на стадионы команды, составленные из спортсменов-штрейкбрехеров»;

«Забастовка на оружейном заводе Кольта, длящаяся уже более двадцати месяцев, будет предметом обсуждения на съезде Коннектикутской ветви АФТ-КПП»; «После тупика, в который зашли переговоры с Городским советом по просвещению, 42 тысячи чикагских учителей и служащих школ объявили 9 сентября забастовку».

Нет, не случайно XXIV съезд Компартии США, состоявшийся в августе, «подтвердил центральную роль классовой борьбы в жизни американского общества» («Правда», 5.IX.1987 г.).

Несколько слов о главном герое книги — Джо Хантере. Помните, о чем он мечтает, вернувшись с фронта? Уехать на Запад, прийти в себя, осмотреться, отдохнуть. «Хочу быть свободным»,— заявляет он.

Чувство солидарности с бастующими и партийный долг заставляют его отказаться от своих планов. Сложность ситуации, однако, в том, что долг этот и дисциплину Джо воспринимает как нечто внешнее, навязываемое ему, даже угнетающее. На протяжении всех шести романных дней его почти не покидает ощущение, будто его заперли — как тогда, в танке, когда заклинило крышку. Нелюбимый Нью-Йорк сейчас вообще представляется ему мертвым городом — отсюда, кстати сказать, идет и название романа «Гроб без ручек» (с разрешения автора в переводе использовано первоначальное название — тем более что изречение, откуда оно взято, закреплено в «Письме»).

Джо честен и храбр, он делает все, что от него требуется, и делает хорошо, но — через силу, напрягая волю, путаясь в сомнениях. Он *не свободен*. И только крутые скачки событий: разгон собрания, несчастье, случившееся с Блэки, два убитых товарища — Билл Эверсон и Джим Кейс — совершают в нем мучительный, но необходимый переворот. Вместо своего «Хочу быть свободным» он вспоминает сказанное Биллом: «Хочу быть хорошим коммунистом».

Он осознает наконец, что обязанность и долг не отвлеченные понятия, что они выражаются в конкретном поступке, на который идешь по убежденности, не что-то *данное*, а *искомое*. Трезво разобраться в обстоятельствах и в том, что они подсказывают, понять, что ждут от тебя люди, взять на себя ответственность за что-то, словом, диалектически соединить в одно «хочу» и «надо» — это и значит быть свободным и без этого нельзя стать хорошим коммунистом.

Барни Ласт, Джо Хантер, Фред, Тони и все остальные потерпели поражение, но не пали духом и приобрели новый опыт — пусть дорогой ценой гибели товарищей.

Завтра они опять примутся за работу. Они извлекут уроки из неудачи. Они будут учиться соразмерять свои силы.

Впереди много боев, и никто не знает, когда будет последний, решительный.

Пускай все планы и надежды гибнут,
. . . . . .
Пусть каждый бой и каждый твой расчет
Пророчат неудачу, от которой
Тьма разверзается у самых глаз,—
Тогда-то и нужны тебе стихи,
Чтобы сопротивляться и заставить
Плясать тяжелые каменья фактов
И против всех кошмаров обратить
Все добрые познанья человека [1].

г. ЗЛОБИН

■

[1] Перевод А. Сергеева

ГУСТАВО ЭГУРЕН

Возвращение

РОМАН

Перевод с испанского ИННЫ ТЫНЯНОВОЙ

...В начале он совершенно смешался. Думал, что сейчас захлопнут перед ним дверь. Но так не случилось. Не было ни резких слов, ни недовольных лиц. Так, небольшое замешательство. Началось все с удивления, взаимного удивления: в проеме открывшейся двери незнакомое лицо смотрит на него с растерянностью и смущением; потом, сквозь туман, он начинает узнавать эти черты, приподнимая завесу, которую двадцать лет разлуки набросили на образ, так нерушимо хранимый памятью. Следует робкий вопрос: «Здесь живет Эулалия Васкес?» — и это имя повергает в еще большую растерянность ту, что стоит в дверях и силится понять, узнать, вспомнить, натыкаясь на стену молчания и пронзительный взгляд того, кто, в свою очередь, ожидает быть узнанным. И вслед вопросу — имя, произнесенное с опаской, как на исповеди: «Я — Алехандро», и взгляд, пристально ловящий самую легкую перемену в лице женщины, которое вдруг оживляется, перестает быть воспоминанием, недвижным образом во льду времени, чтоб стать реальностью сегодняшнего дня... А что дальше? Улыбка, восклицание, удивление, за которым что-то скрывается — еще не ясно что. Или какой-то жест, означающий нечто вроде: «Да, я ждала, что это случится...»? Или объятье? Или пожатье руки, что было бы красноречивей всего? Возможно, так все и произошло, но настолько быстро, вскользь, что не удержалось в памяти... И вот они, сами не заметив как, вдвоем в комнате, и женщина бурно и как-то не совсем искренно выражает свое изумление и радость... и взгляды, и еще взгляды, силящиеся связать как-то лицо гостя с тем образом, который она хранила так долго в памяти. И наконец, рождаются слова — первые, туманные, сбивчивые, но все же пролагающие шаткий мостик, по которому можно как-то перейти через двадцать лет разлуки, полных молчания и сомнения: «жива ли?», «жив ли?»... И вот лицо женщины — только что такое неподвижное, загадочное, неприступное — приходит в движение, и на звонкий ее голос стекаются другие лица из глубины дома — лица-маски за щитом немого вопроса, в ожидании замирающие в дверях. Это что-то вроде парада призраков, но призраков горячо любимых, хоть и вызывающих боль. И обладающих одним великим свойством — возвращать словам их повседневный смысл... И так начался этот разговор — такой бурный в своей попытке переплыть поток двадцатилетнего молчания, снять с петель чугунную калитку разлуки, сдвинуть поросшие мхом камни с той дороги, что разделила их двадцать лет назад.

— Ах, дорогой, как ты похож на свою мать! Одно лицо!

Такая обычная, банальная фраза... Но она сблизила два разных полюса. Потом обоих охватило чувство покоя — так обманчиво покойны воды заводи в самый высший и опасный момент разлива. Это возвращение к условностям. Они тихо сидят в уютной маленькой комнате, смотрят друг на друга, мирно беседуют. Но вот беседа оживляется, и, перебивая друг друга, они вспоминают разные эпизоды из их общего детства, сбивчиво расспрашивают друг друга об их разных жизнях. Они стараются быть вежливыми, но каждую минуту прерывают друг друга все новыми вопросами, на ко-

Окончание. Начало см. в № 11.

торые не получают ответа — так быстро один вопрос следует за другим. Они сидят рядом и держат друг друга за руки, но у обоих такое чувство, что все это — во сне и что в любое мгновение они могут проснуться.

Но у Алехандро все-таки есть одна уверенность, что его возвращению здесь рады.

— Как твои старики? Когда приедут?

Словно так вот, разом, можно зачеркнуть прошлое... Но ведь прошлое — как монетка: ее трешь, трешь, а она не стирается, а только обретает прежний блеск. Потому так безжалостно встает оно сейчас между ними. Какое-то случайное слово, какое-то имя, намек на какое-то происшествие... Ну хотя бы наивное восхищение Эулалии:

— Слушай, да ты замечательно говоришь по-испански!

Но это все — и про монетку-прошлое, и про эти случайные болевые точки — суждено было ему додумать позднее. А сейчас он сидит, оглушенный, словно потерял чувство времени. Он даже не заметил, как и когда стали проникать в комнату и в их разговор все эти странные лица с устремленными на него глазами, что сейчас окружают его. Это соседи, пресловутое продолжение кубинской семьи. Нетерпеливое любопытство целого квартала, жаждущего взглянуть на редкий феномен. Но зачем думать об этом любопытстве? Лучше чувствовать себя частью этого продолжения... И он радовался им всем...

Одна из дочерей Эулалии пробирается по живому коридору из людей с двумя чашечками кофе, приправленными — чтоб новенький чувствовал себя как дома — двумя шуточками, такими деликатными в своей грубой простоте:

— Дамы и господа, это только для гостя!.. Вам-то не надо пояснять, как обстоят дела, верно я говорю?

И посреди всплеска ответных шуток, веселых замечаний, звонких смешков Эулалия произносит слова четкие, как военный приказ:

— Ты остаешься обедать! — и добавляет:— Ты и представить себе не можешь, как обрадуется Маноло!

И, не в силах удержаться от сладкого и, вместе, горького удовольствия, вызывает из тьмы на свет еще одно воспоминанье:

— Я и не знаю, что было бы с нами, если б не твой отец! Когда Маноло уволили, он послал за ним и устроил в каменоломню. «И пожалуйста, не благодари,— сказал он ему.— Старый Деметрио для меня все равно что брат родной». Ты и не знаешь, что это означало тогда. Теперь-то у всех постоянная работа. А в то время все дрожали от одного слова «увольнение». В любой день ты мог оказаться на улице, со всем своим скарбом, не имея где укрыться и чем накормить детей. Представь-ка себе, что в такой вот момент кто-то обеспечивает тебе обед и крышу над головой. Такие вещи не забываются. Поэтому, когда промеж нас заходит разговор об уехавших, я вашу семью на особое место ставлю, потому что нельзя всех одной меркой мерить. Хочешь не хочешь, а надо признать, что твой старик не смог бы сохранить прежний образ жизни после революции. Это ясно как день. Я не осуждаю богатых, которые уехали, потому что, в сущности, что делать богатому среди революционеров?

Эулалия устремила свои большие с поволокой глаза на Алехандро и закончила растроганно:

— Да, есть вещи, которые до смерти не забудешь!

Он дружески хлопнул ее по ладони, но Эулалия в эту минуту взглянула на одну из своих дочерей, которая, в стороне от всех, молча смотрела на мать и ее друга. Чистое лицо девушки было нахмурено.

— Чтоб быть революционером,— сказала Эулалия, не сводя взгляда с дочери,— надо помнить добро. Это относится и к прошлому...

Алехандро повернулся, чтоб взглянуть на девушку, но она уже выходила из комнаты, спиной к нему. В эту минуту Эулалия отвлекла его внимание, начав расспрашивать о семье, об их жизни в Майами. И он стал рассказывать ей об этом с той же поспешностью, как делалось все в этот вечер, беспорядочно, перескакивая с одного на другое, и, наверно, как-нибудь бы да закончил свой рассказ, если б не вошел еще один сосед взглянуть на новоприбывшего члена «тамошнего землячества». Этот человек огляделся вокруг, ища новое лицо среди знакомых лиц, послушал немного общий разговор и сказал, словно оправдываясь:

— Малый, да ты такой же кубинец, как я...

— А чего ты ожидал? — отозвалась Эулалия.— Чтоб он стал похож на жителя Ямайки?

— Не то, старуха,— возразил новый сосед,— просто к нему не прилепилось ничто тамошнее.

Алехандро обернулся и протянул ему руку.

— Спасибо,— сказал он просто и подумал, что надо бы, верно, как-то по-другому...

Снова голос Эулалии прервал его мысли:

— Ты женат?

В проеме двери появилась толстая-претолстая женщина, отдуваясь после быстрой ходьбы.

— Я только сейчас узнала, Эулалия,— выговорила она, пыхтя как паровоз.

— Вот, Энграсия, это сын доктора Хордана. Из тамошнего землячества. Приехал к нам.

Глаза Энграсии блеснули даже как-то жадно под пристальным и довольным взглядом хозяйки дома, которая снова напомнила:

— Как обрадуется Маноло! Вот уж кто меньше всего ожидает найти здесь Алехандро. Жизнь — великая вещь, ей-богу! А наш Фидель — гигант, да и только!

Место библиотекаря понравилось мне с самого начала. Это была работа спокойная, средь мира, полного тишиною, подобно звездным просторам. Теперь, однако, тишина эта начала казаться мне невыносимой. И хуже всего было то, что мое внутреннее беспокойство становилось очевидным для окружающих. Как-то раз я споткнулся о стул и опрокинул его с таким шумом, что заставил всех вздрогнуть. В другой раз свалился с полки увесистый том Тьера по истории Франции, который я задел, доставая второпях что-то другое. Сотрудники, сидящие за соседними столами, подняли головы — кто с досадой, а кто просто с иронической улыбкой. Я обратил внимание на одну девушку, на лице которой написано было веселое удовлетворение от того, что кто-то наконец нарушил царившую тут стерильную тишину... Но это было лишь мимолетное впечатление. В ту же минуту я перехватил строгий взгляд заведующей, миссис Хоуард, и услышал ее осторожные, стелющиеся шаги и вслед за тем — шепот, такой тихий, что его может уловить разве что человек, воспитанный в железном режиме образцовой библиотеки: «Что с вами происходит, сеньор Хордан!» Я молчал, стиснув зубы. Только ощутил, что уши у меня горят. Эти слова, вернее тени слов, соскользнувшие с внезапно побелевших губ миссис Хоуард, были горше любого попрека, словно она обращалась к самому неловкому из новичков. К счастью, рабочий день кончался. Я вышел из библиотеки с пересохшим горлом и решил его промочить. Но опять мне не повезло. Так и не дождавшись своего стакана кока-колы, я вышел из кафетерия, чтоб не столкнуться со знакомыми, которые в этот момент входили.

Мне хотелось побыть одному. Прервав веселое купанье каких-то птичек, я напился из маленького фонтана в парке. Безотчетно сел на ту же самую скамью, где мы тогда сидели с Освальдо, и стал смотреть, как птички возвращаются к своему фонтану, чтоб продолжить прерванное удовольствие.

Я уже не думал об инциденте с миссис Хоуард. Сейчас меня раздражало мое собственное состояние, в какое я впал после беседы с Освальдо. Не стоит того... Ведь это Освальдо, а не Пол. Не тот ведь друг, за которого я б позволил себе руку отрезать. Почему же я впал из-за него в такое уныние? Почему?.. Уже не первый день я снова и снова переживаю наш тогдашний разговор. Я был прав, высказав ему то, что высказал. Для меня борьба за гражданские права носит вовсе не филантропический характер. Думать так — роскошь, какую могут позволить себе те, у кого всего вдоволь. А не такие, как я, кто тратит столько усилий, чтоб стать полноправным в этой стране. Так что все эти разглагольствования Освальдо мне ни к чему... Это правда, что негры — немногие из них, по крайней мере,— учатся теперь в университете и ездят в автобусе наравне с другими гражданами, только разве это что-нибудь меняет? В общем, они все равно негры и колют здесь многим глаза, как и мы... «spicks»[1] — гвозди.

Я зажег сигарету и с силой выдохнул дым в сереющий воздух. Мысль моя задержалась на этом слове...

В том ли было дело, что я чувствовал себя гвоздем, воткнутым между коммунизмом, сметающим все на своем пути, и этим совершеннейшим обществом,

[1] На жаргоне американских расистов так презрительно называют уроженцев Латинской Америки.

где все разложено по геологическим слоям и прослойкам; где все сколочено ловкими руками таких вот миссис Хоуард с их безупречными манерами; где эффект сделанного всегда налицо — что, разумеется, не относится к некоторым кварталам, перенаселенным людьми, живущими в определенных обстоятельствах, и где при случае вступает в игру невиданная в мире жестокость... Этим совершеннейшим обществом, с таким благородным усердием пестующим собак и канареек, но столь же неприступным для многих людей, как древняя Индия каст?!..

Я вспомнил слова отца. Освобожденные временем от едкого тона, каким были сказаны, они, если взглянуть трезво, звучали теперь по-иному: «Не смотри на Дядю Сэма как на волшебника с дарами... Это страна больших возможностей, но здесь нельзя терять времени даром... Здесь люди ловки и практичны. И в этом их преимущество перед нами. Если хочешь стать им подобным, действуй так же, как они. А пока ты этому не научишься, ты останешься в стороне и сам будешь виноват в этом...»

Порой мне, как сейчас, казалось, что я слишком уж отдалился от своей семьи. Я довел до крайности мои с нею разногласия и очень уж резко оттолкнул отца. Может, он был не так уж неправ в своих рассуждениях. Он ведь доказал на деле, что не так прост, как кажется с первого взгляда. У себя на родине он нажил недурное состояние, был в самом деле опорой семьи. Сумел выделиться и как врач, и как коммерсант. Здесь, несмотря на возраст и черствость окружающих, он тоже устроился не так уж плохо. Он был из тех, кто сумел здесь проложить себе дорогу... И сейчас, вспоминая слова отца без шквала упреков, последовавших далее, я вынужден был во многом с ним согласиться. Здесь никто ни от кого ничего не ждет. Приходится самому искать то, что тебе необходимо. И вырывать это необходимое любым путем, любой ценой, зубами и когтями. А улыбки, хорошие манеры, праздники и коктейли — это все потом... Только потом. Если перейдешь эту грань, то окажешься в мире прочном, основанном на силе. Но только вот как туда проникнуть — это вопрос непростой... И дорога, указанная Освальдо, та, которою доныне шел и я, не была самой подходящей... Я не видел перед собой ни одной открытой двери. Если быть менее требовательным к себе и встать на точку зрения отца, которую он так старался мне привить, то следует признаться, что эта страна — единственное мое прибежище. Разве не она — защитный вал против коммунизма? Иначе, что могло бы удержать его наступательный ход?

Я думал о моих друзьях по изгнанию. О Фрэнке, самом решительном из нас, яростно сражавшемся за то, чтоб вырвать «кастро-коммунизм» с корнем. Тем не менее Фрэнк мне внушал жалость. Я прочел где-то, что циник — это человек, обманутый в своих надеждах. В тот вечер, когда мы с ним сидели в кафе в обществе Крист, я убедился в этом. Приятелей его я презирал. Нельзя принимать всерьез всю эту шайку бродяг и авантюристов. Это, видимо, понимают и здешние власти, действительно ополчившиеся против кастризма...

Сигарета так и догорела у меня в пальцах; я попробовал затянуться напоследок, обжег себе губы и бросил окурок. Так прервались мои размышления, и в мозгу у меня застрял вопрос, давно уже назревавший: по какому праву могу я требовать, чтоб меня считали гражданином Соединенных Штатов?

Я опустил голову и долго смотрел на бурый гравий дорожки... Угасающий гнев против Освальдо разгорался во мне снова. И с какой стати Освальдо, и пальцем не двинувший в борьбе против Кастро, позволял себе критиковать политику страны, в которой мы сейчас живем? По какому праву он совал свой иос в дела Доминиканской Республики, когда был так инертен по отношению к острову, с которого его выбросили пинком в зад?.. Я встал и медленно побрел в сторону гимнастического зала. Хватит думать обо всем этом...

В это время дня народу было немного. И я заметил, что на меня поглядывает со своей обычной улыбочкой Чоло Викунья — Индеец. Обтираясь после душа мохнатым полотенцем, он сказал:

— Слушай, атлет, почему б тебе не зайти сегодня вечером в наше логово? Мы приготовим севиче — какое блюдо!.. Объедение! А Хорхе получил настоящий писко[1], выпьешь — обожжет. Приходи, а то ты приуныл что-то...

В тот же вечер я отправился к Чоло, и мне не пришлось даже стучать, потому

---

[1] Севиче — популярное в Перу блюдо из кусочков рыбы в лимонном соке. Писко — спиртное, выделываемое из винограда в районе Писко (Перу).

что дверь была приотворена и на ней была приколота записка: «Коли ты приглашен — входи запросто, коли нет — гуляй дальше...»

Когда я вошел, Чоло разливал писко. Он довольно сдержанно кивнул мне и налил для меня стопку.

— Это писко лучше чилийского, вот попробуй... Все наше — лучше ихнего.

Он обвел взглядом присутствующих, ища новые лица, и представил меня одному колумбийцу и одному сальвадорцу.

— Остальных ты знаешь, правда?

— Ты опоздал,— сказал Хорхе,— мы тут празднуем наш день независимости.

Чоло налил последнюю стопку и добавил:

— Каждый раз, когда нам присылают писко, мы празднуем день национальной независимости, а мне все еще кажется, что мы плохие патриоты.

Сальвадорец был толст, и позднее ему первому пришлось почувствовать на себе действие писко. Он говорил мало, и речь его была медлительна, но зато все время кивал головой, одобряя слова других.

— Вам повезло,— сказал он неожиданно, не обращаясь ни к кому в отдельности и не отводя глаз от рекламных плакатов, развешанных по стенам. Это все были объявления туристских агентств или авиакомпаний: соборы, улицы, пейзажи Анд, индеец, погоняющий ламу, другой индеец, играющий на дудке. — Вам повезло: здесь у вас кусочек Перу.

Хорхе хлопнул его по животу:

— Чоло, давай сюда твой севиче, пока Толстяк не расчувствовался.

Чоло стал раскладывать по тарелкам угощение.

— И верно, как в Перу,— сказал он, вдыхая вкусный запах рыбы. Он протянул тарелку Толстяку, который подержал ее, не ставя на стол, и произнес печально:

— Тоскую по моей земле.

— Ну вот видишь, Толстяк! Нельзя людям выпить без того, чтоб ты не впал в чувствительность! Ну что ты этим выигрываешь? Ешь лучше!

Это сказал Хорхе. Теперь Чоло обернулся к сальвадорцу, и голос его прозвучал резко:

— Не уверяйте меня, что в обществе здешних блондиночек вы скучаете по своим вшивым индеянкам...

Толстяк вместо ответа покачал головой.

— Ешь лучше,— не унимался Хорхе.

— А ты не тоскуешь? — обратился к Чоло колумбиец, сидящий рядом со мной.

Чоло пожал плечами.

— На особый лад,— ответил он.

— Каждый тоскует на свой лад,— вмешался второй колумбиец, по фамилии Писарро, он говорил с полным ртом и не поднимая глаз от тарелки.

— А я вот сейчас выпил бы еще несколько стопочек, сел на самолет до Лимы, провел парочку часов с моими стариками, а потом бы доел свой севиче. Это и есть «на мой лад»...

Хорхе поставил стопку перед Писарро...

— Но родная земля — это родная земля... — сказал он.

Чоло вдруг резко опустил свою стопку, которую поднес было к губам.

— Идите к дьяволу с вашей родной землей! — выкрикнул он в бешенстве. — Как только я закончу учебу, старик похоронит меня заживо на своей усадьбе. Он ждет меня как удачную зацепку, чтоб окончательно осесть в Лиме. Так я что, должен зарыться по самый пуп в вашу пресловутую родную землю?

— На что ты жалуешься? Это счастье, что у тебя своя земля есть... — сказал Писарро.

— Чоло не может жить без здешних рыженьких,— засмеялся Хорхе.— Как только старик прикажет долго жить, он все распродаст и вернется сюда.

Чоло разом опрокинул себе в рот писко, но голос его звучал твердо:

— А почему бы нет? Я перуанец и люблю мою родину. Но у меня только одна жизнь, и я не хочу весь век там гнить заживо. Лима по сравнению с этим городом — деревня. Анды, понимаете? Отец и не представляет, какой вред нанес мне, послав сюда. Он хотел, чтоб его сын получил настоящее образование. «Университет Сан-Маркос в Лиме — это для бедняков»,— говаривал он. А теперь что же получается? Теперь этот сын с настоящим образованием, узнавший цивилизованную жизнь, дол-

жен возвратиться домой и уткнуться носом в Анды...— Он повернулся к Хорхе:— Ты сам оттуда, разве не знаешь, что такое Анды? — и добавил презрительно: — Ясно, ты живешь пониже, на побережье, под вечным дождичком...

— Но я хотел бы владеть половиной Андов, как ты.

Чоло лениво провел рукой по лицу и улыбнулся:

— Ну да, чтоб все продать, как я.

— Значит, и верно, что таково твое намерение,— сказал второй колумбиец.

Чоло не отозвался, только бросил насмешливый взгляд на Толстяка и согласно кивнул. И сказал как бы ему:

— Продам все до последнего камня.

— Рехнулся... — пробормотал Толстяк, взяв стопку.

— А вы, сеньор, уже набрались! — заметил Чоло.— Но когда-нибудь я вспомню о вас с нежностью. Когда буду там, в горах... Вспомню вечера, как вот сегодняшний, и задумаюсь обо всех здесь присутствующих. И когда меня захватит эта тоска, я поступлю как поступает обычно мой отец — выпью целую бутыль писко и подыщу для себя вшивую индеяночку, чтоб забыть обо всем на свете. И начну ее обучать по методе отца: с раннего утра, едва проснувшись,— за работу, потому как отец, если, открыв глаза, найдет ее спящей рядом с собой, то обязательно задушит.

Он налил себе еще писко, но даже не попробовал; взгляд его был устремлен куда-то вниз.

— Я ничего не выдумываю, просто не хочу обманывать себя. Я знаю, какую жизнь прожил мой бедняга старик. И знаю также, что обречен прожить такую же, если не расстанусь со своей усадьбой...

— Нет ничего лучше здешних рыженьких, Чоло,— усмехнулся Хорхе.

— Ничего лучше цивилизации,— сказал Чоло, взглянув на него мутными глазами.— Осталось еще питье?

Не было больше ни питья, ни еды. Все сидели молча. Толстяк давно уже дремал. Я взглянул на часы и поднялся с места.

— Я пошел спать,— сказал я, но никто не отозвался.

Я медленно двинулся к двери. Дойдя до порога, подумал, что надо бы сказать какую-то любезность, поблагодарить за приглашение, но решил уйти, ничего не прибавив.

К счастью, моя комната была в другом корпусе, и это позволило мне немного поразмяться и подышать свежим ночным воздухом. Мне было тошно, но не только из-за вина. Мне было тошно из-за Чоло, да и из-за себя самого. Я удивлялся, как хватило у меня выдержки выслушать спокойно все его сетования и жалобы. Самое странное было то, что до этого вечера я действительно считал его индейцем[1]. «Индеец из Перу» — называли мы его, чтоб отличить от Хорхе. А теперь оказывалось, что его любимый спорт — это валить индеянок, размахивать хлыстом и считать индейцев чуть ли не за вьючных животных. А ведь он был с университетским образованием. Мы оба были с университетским образованием и жили в самой цивилизованной стране мира. Он — кто выплескивал осадок души, взбаламученный выпивкой, и я — кто согласно молчал, чтоб не нарушить мирную обстановку этой дружеской встречи... Толстяк со своей тоской, одуревший от писко, вел себя достойнее. И я с чувством глубокого унижения вынужден был признать, что единственная причина была в том, что мне не хотелось обидеть хозяев дома. Никто не одергивал Чоло, а я не хотел идти против всех и невольно превратился в его сообщника.

Я вдруг подумал об Освальдо. От индейцев Чоло Викуньи я сделал скачок к доминиканцам Освальдо... Он говорил о гамлетовской дилемме: быть или не быть? Только вот чем или кем быть? Я не кубинец, не доминиканец, не американец из Соединенных Штатов. А если б я был доминиканцем? Если б я был одним из этих людей — индейцев, негров или метисов,— у кого есть родина, с кем бы я был: с агрессорами или с теми, кто против них?

Если раньше мне казалось, что между мною и Освальдо легла глубокая пропасть, то теперь мне открылось, что настоящая пропасть — та, что отделяет меня от этой группы молодежи, надменной поверхностной, но и чем-то притягательной. Я понял больше: пропасть всегда существовала — просто я не замечал ее.

---

[1] Чоло — индеец *(исп.)*.

А Освальдо, хоть и ошибался, не хотел отказаться от своих мучительных размышлений, от своих недостижимых идеалов, пускай абсурдных. Он терзался ими. А что нам еще оставалось делать, как не терзаться? Я мог принимать или не принимать Освальдо, мог любить его или не любить, но он всегда был в русле тех противоречий, что кипели во мне самом. «Каков бы ни был его образ мыслей,— подумал я,— Освальдо — это часть меня самого, как Пол, Крист или Фрэнк. Мы все — куски одной общей жизни». И нас так мало...

Я поднял голову и вдохнул ночной воздух. И тут только заметил, что ночь прозрачно-ясна и небосвод усеян звездами.

В тот вечер Маноло пришел с работы пораньше и, откровенно говоря, не сразу признал Алехандро, который сидел скромно и молча, пока Эулалия сбивчиво рассказывала историю его приезда. Маноло кивал головой, но лицо его было замкнуто. Когда, наконец, Эулалия смолкла и взглянула на него восторженными глазами, ожидая ответа, он только сказал своим обычным тоном:

— Как думаешь, Алехандро, не пойти ли нам выпить пива?.. Там шумновато,— говорил уже по дороге Маноло, словно извиняясь.— Но зато это тут же, за углом, и всегда есть холодненькое.

Когда перед ними очутились пенные кружки, Маноло поднял свою и сказал:

— За твое здоровье...

К счастью для Алехандро, разговор не коснулся ни его семьи, ни старых времен. Маноло признался, что никогда не интересовался политикой. Благодаря отцу он получил место в управлении, которое занимал до захвата власти Батистой. Потом началась борьба против диктатуры, и поскольку он работал тогда в каменоломне, то смог быть полезным революционерам, доставая для них время от времени немного динамита. Но никогда не участвовал он в борьбе активно. Просто отдавал динамит шурину, участнику Движения 26 июля [1].

— Я делал то, что мог, и делал с охотой, но я не хотел ни во что ввязываться. Все мои симпатии были на стороне этих парней, но я не забывал и о том, что должен содержать семью. Я приносил динамит Макарио, и совесть моя была спокойна.— Он пожал плечами.— Даже не сумею сказать тебе, когда именно я стал революционером.

Он провел тыльной стороной ладони по губам и стал смотреть на людей, скопившихся у стойки. Потом решительно покачал головой:

— Нет, не сумею сказать. В ту пору была такая во всем скорость. Теперь и не вспомнишь, что произошло раньше, а что позже. Фидель каждый вечер выступал по телевидению. Мы тогда ежедневно узнавали что-то новое и чему-нибудь учились.— Он вдруг расхохотался.— Понимаешь, парень, все кругом кишело. Было известно, когда начинается телевизионная передача, а когда кончится — это уж нет. Иной раз я так всю ночь и просижу у телевизора, а утром успевал только сполоснуть лицо — и на работу. А в мастерской все только о передаче и говорили. Так вот мы и научились понимать, что чего стоит. Раньше-то не приходилось задумываться, каждый был предоставлен сам себе. Но с тех пор, как Фидель стал всем заниматься, положение переменилось...

Алехандро, отодвинув кружку и опершись локтем на стол, слушал. Ему хотелось, чтоб Маноло говорил еще и еще, и он стал его подзадоривать:

— Так что речи Фиделя тебя убедили, да?

Маноло оставил вопрос без ответа, глянул на Алехандро, потом на пустые кружки, пошел к стойке и вернулся с двумя полными. Отпил...

— Видишь ли, Фидель все объяснял по телевидению, и уверяю тебя, что другого такого учителя не сыщешь. Когда погиб Камило [2], один комментатор стал разъяснять, как произошел несчастный случай. И знаешь что? В момент, когда этот болтун особенно упивался своим красноречием, Фидель вдруг прервал его и говорит: «Слушай, парень, никто тебя не понимает. Если я не понимаю, то как же народ поймет?» И тут же взял у него указку и стал показывать по карте, где все произошло,

---

[1] Движение 26 июля — подпольная революционно-демократическая организация, возглавляемая Фиделем Кастро. Предприняв 26 июля 1953 года штурм казарм Монкада в городе Сантьяго-де-Куба, она открыла первый этап кубинской революции.

[2] Имеется в виду один из руководителей кубинской революции — Камило Сьенфуэгос, погибший в авиационной катастрофе в октябре 1959 года.

и объяснять, как оно было. И знаешь? Фидель разъяснял людям все, что происходило. А происходило в те времена множество самых разных вещей. И так ты убеждался, что революция — для народа. Открывались пляжи, снижалась плата за жилье, изымались у политиканов и шпиков награбленные ими богатства, возвращались на предприятия уволенные рабочие, увеличивалась заработная плата, обеспечивались работой люди, даже раньше ее не имевшие. Каждый день, понимаешь ли, что-то происходило, и всегда в пользу тружеников и простых людей. Такого на Кубе не бывало... Фидель нас научил, что уважать-то надо вовсе не янки, а нас самих, кубинцев. Что ты на это скажешь? Трудно поверить, но именно так и было!

Он снова взглянул на часы, и его веселость вмиг пропала. Он озабоченно покачал головой.

— Старуха там уже с ума сходит,— сказал он.

Алехандро чокнулся с ним пивом, и его дурное настроение словно испарилось.

— Я частенько вспоминаю то время, и оно мне видится как в кино. Помню, как начали налетать самолетики — поджигали плантации сахарного тростника. И как начался саботаж. И когда Фидель заставил Уррутиа[1] отречься — я это по телевидению слышал. И обмен денег, и заговоры, и партизанские действия. Конца всему этому не видно. И не заметишь, как состаришься в этом круговороте. Теперь я говорю: «партизанские действия». А в то время ведь как было: тебя мобилизуют, ты проходишь военную подготовку, дежуришь ночи напролет, успеваешь только забежать домой, прихватить смену белья, и, может, целый месяц пройдет, пока ты снова появишься. А то и вовсе уж не появишься, как случилось со многими. Да знаешь ли ты, что я даже не видел, как выросли мои мальчишки? Сегодня, скажем, я на них смотрю, а когда увижу опять, то только удивляюсь: «Черт меня подери, да как вытянулся малый-то!..»

Тут Маноло опять расхохотался и пошел к стойке за очередным пивом.

— До обеда успеем еще по одной. Эулалия давно уж небось рвет и мечет, так что ничего, если еще маленько позамешкаемся.

Они снова столкнули свои кружки. Маноло поднял глаза, и Алехандро показалось, что в них какая-то мечта светится...

— Ты скучаешь по тем временам, Маноло?

Но Маноло медленно потягивал свое пиво, внимательно вглядываясь в бегущую на стол пену, и молчал.

— Да,— отозвался он наконец,— хорошее было время. Словно ты родился сызнова.

— Прыжок был длинный: от человека, чуждого политике, до коммуниста и от пацифиста до бойца народной милиции. Как это достигается?

Маноло пожал плечами и задумчиво прикусил верхнюю губу:

— Я уж и не помню, когда вступил в народную милицию, и сам теперь не знаю, в какую минуту мне пришло в голову стать коммунистом. Это не как с моими мальчишками, а как раз наоборот: я все время был среди всего этого, потому и не заметил, что однажды проснулся коммунистом, таким же, как все вокруг.

Внезапно Маноло резко поднял голову и пристально взглянул на Алехандро:

— Послушай, Алехандрито, где осел упадет, там и палок попробует, как говорится. Плохое и хорошее узнается на опыте. Для меня коммунизм — прекрасное слово, а ведь нам вбивали в голову, что, напротив, дурное. Оно означает лучшую жизнь для трудовых людей. Вот что. Сам видишь, что буржуи нам вовсе не надобны, мы тут без них живем, и куда как лучше. И лучшей школы нет, чем революция. Я эту школу прошел, и теперь уж меня не запугаешь. Понятно?

По удивленному лицу Алехандро Маноло понял, что тот его не понимает или не хочет понять.

— Я тебе толкую об этом потому, что знаю, что вы там думаете по-другому. Я в ваши дела не вмешиваюсь. Но мы здесь думаем так, и коль уж ты к нам в гости приехал, то лучше тебе знать, что к чему.

Алехандро достал сигареты и предложил Маноло, но тот отмахнулся и вытащил свои.

---

[1] Мануэль Уррутиа (1901—1981) — буржуазный деятель, был первым президентом Кубы после победы революции с января по июль 1959 года, смещен за реакционную деятельность.

— Я крепкие курю, наши,— сказал он, и голос его прозвучал хоть и не язвительно, но как-то строго.

— Я знаю ваш образ мыслей, Маноло,— сказал Алехандро.— Но не в этом дело. Хочешь знать, почему я приехал? — Маноло смотрел ему прямо в глаза, но не сказал ни слова.— Коммунист я или нет, но я хочу знать, какая теперь Куба...

Он взглянул в посуровевшее лицо Маноло. Очевидно, тот был недоволен направлением, какое приняла беседа. Возможно, раскаивался в своей чрезмерной откровенности. Поэтому Алехандро добавил:

— Ты ведь знаешь, сколько лет мне было, когда я уехал. Сейчас мне хочется увидеть, как тут все, что изменилось на Кубе, чем живут люди. Ты, верно, не представляешь, какое это имеет значение для меня и для многих, подобных мне. Это нам необходимо. Как выпить воды...— Маноло как-то неопределенно кивал головой.— Ты живешь в своей стране, со своим народом. А для меня это...— Он не нашел нужного слова.

Маноло, поджав губы и глядя в пол, соглашался. А когда Алехандро смолк, произнес медленно:

— Просто, когда ты начал про коммунизм, меня покоробило как-то. Теперь все стало ясно...

Они вернулись домой, и Эулалия, вопреки предсказаньям мужа, вовсе не сердилась. Спросила только, как показался Алехандро этот мерзкий бар, и заверила, что у нее после стольких кружек пива наверняка пропал бы аппетит. Нахмурясь, она добавила, что Эрнестина, младшая, не дождалась их и уже пообедала.

— У них молодежное собрание,— оправдала она дочку.

Когда пришли в мастерскую, несколько мужчин собирались начать рабочий день. Маноло подошел к ним:

— Это вот родственник... Вместе с другими приехал... Из тамошнего землячества.

Рабочие переглянулись и неохотно приблизились.

— Уехал-то он совсем малыном, а теперь хочет взглянуть, что и как, пришел поговорить...

Все глаза разом устремились на Алехандро. Легкий кивок головой в знак приветствия — и молчание... Алехандро почувствовал, как его обдало холодом от всех этих лиц, нахмуренных и далеких. Маноло живо обернулся к нему:

— Ну, вот они перед тобой. Можешь спрашивать их о чем хочешь.

И снова немая стена взглядов замкнулась вокруг него. И на всех лицах было не только любопытство, в них была настороженность — Алехандро сразу это заметил. Словно плавучая льдина отделила его от этих людей после слов Маноло, который почему-то еще улыбался — так некстати... И чем дольше молчали рабочие, тем явственней ощущал Алехандро почти физическую тяжесть их молчаливых взглядов. И тем теснее смыкалась вокруг него немая стена. Он старался найти самые простые, самые искренние слова и находил их с трудом, с болью. «Так, наверно, говорят приговоренные к смерти»,— подумал он невольно. И понял в эту минуту, что искренность требует еще и смирения, какого ему, кажется, недостает...

— Нет у меня вопросов,— сказал он смущенно.— Хотел просто побыть с вами, думал, это будет легче... — Он помолчал.— Хотел познакомиться с Кубой, потому что я как-никак тоже кубинец. В Соединенных Штатах живут тысячи кубинцев. Есть враги революции, есть люди ваших убеждений, и есть растерявшиеся. Есть много таких, которые не вернутся никогда, а другие хотят вернуться. Я приехал потому, что что-то в душе толкало меня к этому.

Он вдруг осекся. Ему показалось, что сама эта его искренность принимала в его устах слишком выспреннюю форму. Он опустил голову.

— Нечего мне вам больше сказать, право...— заключил он.

— Панчо, а твое мнение?

Панчо — большой и сильный негр — в эту минуту неторопливо обтирал руки о штанину; лицо у него было спокойное, а голос подобен грому:

— Товарищ говорит правдиво, Маноло. Там, в Майами, всякий народ попадается. Но коли кто приезжает, то уж не зря, верно. Особенно если его мальчонкой увезли...

Он перестал вытирать руки о штанину и внимательно поглядел на Алехандро.

— Понимаете, я так считаю, что Куба — не для кого-то в отдельности, она для

всех. И если вы приехали сюда, потому что сердцем чувствуете, что она и ваша, то вот вам моя рука.

И он протянул свою ручищу, уже чистую от машинного масла. Алехандро с силой сжал ее, и когда рабочие стали хлопать, губы его дрогнули. К счастью, Маноло на сей раз был тактичен — положил ему руку на плечо и сказал:

— Давайте покажем ему мастерскую.

И они пошли. Ему показали моторы, разные детали, станки, инструмент — в общем, все, что бывает в механической мастерской; и представляли его каждому рабочему.

Внезапно Алехандро остановился.

— Теперь только я понял,— сказал он с вымученной улыбкой, стараясь скрыть свое смущение,— вы прекратили работать, чтоб уделить внимание мне. Надсмотрщик не будет недоволен?

Рабочие переглянулись, явно не понимая.

— Здесь у нас таковых нету. Мы — территория, свободная от всяких надсмотрщиков,— сказал Панчо улыбаясь.

— Есть у нас ответственный, но он такой же рабочий, как и мы,— добавил старик в фетровом берете.— Это совсем другое дело. Был у нас надсмотрщик, но...— Он усмехнулся с презрением.

Несколько человек засмеялись.

— Но вам придется, наверно, работать сверхурочно, чтоб наверстать время. Я вам помешал, значит.

— По-разному бывает: когда работа срочная, мы задерживаемся,— сказал Панчо.— У нас не каждый день такие гости, как вы. А точией сказать, так это в первый раз. И для нас важно поговорить с кем-нибудь из тамошнего землячества.

— Знаете,— вмешался пожилой человек со впалыми щеками,— если это поможет вам понять революцию, то все в порядке. Фидель встречался с товарищами оттуда, чтоб им все объяснить. Если кто-нибудь из вас пришел к нам, то правильно будет уделить ему внимание. А что времени немножко потеряем — ну что ж, у Фиделя время подороже нашего, а он тратит его на ваших людей.

— А если б приехало все землячество из Майами? — спросил Алехандро, уже начиная чувствовать себя вольнее.

— Тогда... да уж не знаю! — отозвался Панчо.— Мы б могли поступить как бригада «Венсеремос», они встают к станкам в помощь другим, и ничто им не помеха, недаром называются так: «Мы победим».

...История Крист припомнилась мне, когда я присел на ту же самую скамью, на которой несколько недель тому назад мы сидели с Освальдо. Пол сказал как-то: «Убийца всегда возвращается на место своего преступления». Сейчас Освальдо не было со мною — не было и птичек, топорщащих перышки в водоеме. Тяжело нависли свинцовые тучи, и ветер, сырой и холодный, бил в кроны вязов.

В каком-то смысле Освальдо оказался прав. Хоть и разными путями, Крист и я пришли к одному: мы поняли, что обрекшие нас на изгнание родители наши привели нас к тупику, из которого не найти выхода. К тому ж если старшие не могли понять нашей растерянности, то и мы в свою очередь не оказались способны проникнуть в те побуждения, какие толкнули их на этот скачок в пустоту... Позднее учитель Макмэррей уверял, что классовые резоны понимают в совершенстве лишь те, кто принадлежит к этому классу. Но это я узнал только через несколько недель. А пока что я был как оглушенный и все пережевывал да пережевывал различные аргументы, приемля то, что сразу же отвергал, и вертясь, по известной поговорке, как осел на водяной мельнице.

«Я смотрю на свою семью и на ее изгнание глазами североамериканца»,— сказал я себе в одно утро, бреясь перед зеркалом. И даже вздрогнул от этой мысли, до того она была точна. Я и впрямь относился к своим родителям с какой-то смесью презрения и соболезнования. Презрение — это, пожалуй, сильно сказано, мои родители не заслуживали презрения. Однако их взгляды на вещи, их поступки, их манера держаться — даже у себя дома — казались мне странными, нелепыми, смешными почти. Люди, живущие в мире иллюзий, какие никто, кроме них, не разделял. Как наркоманы... Как-то раз, рассказывают, один парень, накурившийся марихуаны, с великодушным видом размахивал руками, якобы разбрасывая банковские билеты... воображаемые, конечно... «Искусст-

венный рай»,— заметила по этому поводу Крист со своей всегдашней склонностью цитировать слова, не помня откуда.

В те дни мы как-то ходили вместе в кино смотреть комедию сороковых годов, одну из тех, где в каждом кадре — кинозвезда. Но до конца не досидели. Русские аристократы, упивающиеся волшебными мечтами в нищете парижских кварталов, сохраняя при этом весьма четкий табель о рангах, заставляли публику помирать со смеху. Но нам было ни чуточки не смешно. Мы вышли из кинотеатра, опустив голову, и за весь обратный путь не обменялись ни единым словом...

В голове моей теснилось множество вопросов. Я не мог не испытывать глубокой жалости к моим родителям, застрявшим в своем внутреннем мире, в своих буржуазных снах, не изменяясь во времени, словно какой-то биологический вид, обреченный на вымирание. Особое сострадание внушал мне отец. Каким образом человек, всегда выделявшийся своим практическим умом, всегда всего добивавшийся, покорно довольствуется теперь ролью пассивного зрителя? Какая сила толкнула его в омут этих сумбурных идей, этого нелепого восторга перед всем, что прошло без возврата? Какое гнусное колдовство заставляло его чваниться своим миром, распадающимся у всех на виду?..

На примере отца я теперь уже сознавал — как и все наши в Майами,— что прошлое не вернется. И это помимо моего желания отдаляло меня от моей семьи.

Это отталкивание сделалось яснее, даже окончательно ясным, в тот день, когда мы неожиданно попали в Либерти-Сити[1]. Мы вышли тогда из дому, не помню уж, с какой целью. И сами не заметили, как оказались на улице, пересекающей широкую 27-ю авеню в негритянских кварталах Майами. Как только отец заметил, где мы находимся, он воскликнул: «Куда ты меня завел!» И во взгляде его, пристально устремленном на меня, я прочел откровенный упрек, в котором сквозило еще и подозрение: уж не намеренно ли я повел его в эту мышеловку? «Уйдем скорее»,— добавил он, весь красный от гнева. Но, как это ни странно, подозрение его не обидело меня. Какое-то странное чувство, более глубокое, чем обида, овладело мною... Мы возвращались домой в молчании. Я старался не смотреть на отца. Не хотел, чтобы он прочел в моем взгляде внезапное недоброе чувство, которое — я знал это — уже не пройдет... Я лег в тот вечер без ужина и не мог уснуть... Время шло и приносило с собой все новые доказательства ненависти отца к неграм, которую он не стеснялся выражать в моем присутствии, не понимая, что я, несмотря на мою белую кожу, унаследованную от стольких поколений, упрямо блюдущих пресловутую чистоту крови, ощущал своей плотью этот подлый, этот унизительный удар по лицу хлыстом...

Я сказал ему. Как-то раз я высказал ему все. Это было в тот день, когда Сэмуэл зашел за мною. Сэмуэл — младший сын в одной кубинской семье, служит на моторном катере. Отец открыл ему двери и, зная, что лжет, сказал, что меня нет дома. Мне он тоже солгал.

— Какой-то Сэм к тебе приходил. Я не знал, что ты у себя,— сказал он сухо и добавил:— Слушай, ты не можешь выбирать друзей более осмотрительно? В стране, где кругом столько белых...

— Папа! Сэм ничуть не хуже всех твоих друзей!

— Но он негр. Не понимаешь разве, что он вредит нашей репутации?

Спор был долгим и жарким. Мама вмешалась, пытаясь нас помирить, и кончила тем, что заплакала.

— Видишь, чего ты добился? — упрекнул меня отец.

Но я уже не мог сдержаться и со сжатыми кулаками, стараясь не кричать (в нашем доме никогда не повышали голоса), в бешенстве повторял:

— Папа, мы такие же жертвы дискриминации, как Сэм! Мы такие же несчастные, как он, будь у тебя хоть сто хороших должностей, хоть сто домов и собственных машин! Как ты смотришь на Сэма, так все здесь смотрят на твоего сына!

Но он не понял меня. И прервал спор резко и непримиримо:

— Как знаешь, Алехандро, но в своем доме я не потерплю негров!

Я ушел бы из дому после таких слов, но тут мама взяла меня за руку, и глаза ее были полны слез. Я услышал ее умоляющий шепот:

— Алехандрито, меня хоть пожалей!

---

[1] Город Свободы *(англ.)* — район, заселенный преимущественно неграми и мулатами в г. Майами.

И я смолчал и остался. Но в эту минуту Сэм был мне ближе моего родного отца...

Тогда я еще не понимал, что расизм связан с определенными мерами, направленными против бедных, против слоев, отброшенных вспять на пути развития общества. Освальдо первым обратил на это мое внимание: «Дискриминация связана прежде всего с экономикой. Если негр — миллионер, никто его притеснять не станет. А если денег нет у итальянца или поляка, то дискриминация коснется их также, несмотря на голубые глаза и золотистые волосы. В этом обществе движущая сила — деньги».

Слова Освальдо скорее огорчили меня, чем убедили. Я всегда считал эту проблему одним из видов национальной идиосинкразии и поэтому с негодованием отверг этот новый подход, по которому выходило, что в основе всего — экономика. Так что слова Освальдо ничего мне не прояснили, а, напротив, еще больше все запутали. «Заумь какая-то»,— подумал я. Но Освальдо настаивал: «Как хочешь, но все дело в экономике». И в конце концов добился того, что мысль эта, вопреки моему желанию, стала подтачивать меня изнутри, как червяк яблоко.

И яблоко это уже порядочно подгнило, когда в один прекрасный день я услыхал по телевидению разъяснения преподобного Уэлша. О нем открыто говорили, что он был вдохновителем кампании «за родительскую власть», развернутой на Кубе. Это был все тот же «преподобный» — лишь потолще, пожалуй,— который сколько-то лет назад ежедневно появлялся в местной прессе, чтоб слезливо принять под свое покровительство люд мелкий и беспомощный («Точь-в-точь французский миссионер Дамиен, с распростертыми объятиями принимавший на своем острове прокаженных»,— саркастически заметила Крист.) Теперь добрый самарянин благодарил небо за то, что семьи воссоединялись в мире и покое, и с удовольствием рассказывал разные чувствительные истории.

— Страшно подумать, до чего Фидель довел наш народ...

«Я смотрю глазами североамериканца на нашу семью в ее добровольном изгнании...» Но я смотрел и глазами кубинца, и глазами пуэрториканца, и венгра, и японца — и этими всеми глазами я видел другие формы жизни общества здесь, в Соединенных Штатах. История Крист была особенно поучительна. Ибо, как позднее заметил Освальдо, мы оказались у конца пути или, по крайней мере, в одном из глухих изгибов лабиринта, в какой нас засунула судьба. И дальше мы не продвинулись ни на миллиметр. Мы отвергали «кастристскую» Кубу, равно как общество, которое приняло нас, изгнанников, далеко не с распростертыми объятиями... У нас было ясное зрение. Но глаза служили нам затем лишь, чтоб видеть самые противоречивые образы. Так что наше ясное зрение не помогло нам найти свое место в этом мире случайностей и риска. Пока что мы познали здесь только обманы. Единственно реальным было сознание нашего беспредельного одиночества.

На этом месте моих размышлений постучали в дверь, и, не дождавшись ответа, вошел отец и сказал, что хочет со мной поговорить. Он присел на край кровати и говорил долго и взволнованно. Он, наверно, думал, что меня не оставили равнодушным выступления преподобного Уэлша, но ни разу не коснулся темы этих выступлений. Он говорил о своих мечтах и планах, о том, чем могла бы быть наша жизнь, если б не проклятый «кастризм», он повторил мне, в который уже раз, что всегда хотел мне помочь, что все его честолюбивые замыслы были направлены к моему счастью. Признался также, что он уже не тот, что прежде, что чувствует тяжесть прожитых лет и еще большее желание быть мне полезным. Я смотрел, как он беспокойно ерзает на месте, и понимал, как никогда ранее, что все, совершенное им в жизни — даже самые его дорогостоящие промахи,— было вызвано стремлением сделать меня счастливым. Я высказал это ему. Но кажется, слова мои не имели для него той силы убеждения, какую его слова имели для меня.

— Я знаю, папа,— сказал я ему.— Наша семья спаяна по-прежнему.

И прибавил более тихо, чем намеревался, чтоб подытожить свои мысли:

— Но теперь мне нужно найти свою собственную дорогу.

Отец сидел, прижав к губам кулак, и смотрел словно куда-то вдаль. Он выслушал меня молча. Долго не менял позы, словно ожидая еще каких-то моих слов или просто углубленный в свои раздумья. Потом поднялся и направился к двери. И вышел. Даже не пожелав мне доброй ночи. Было очевидно, что он страшно подавлен. Но и я чувствовал себя не лучше.

Когда дверь закрылась за ним, у меня вырвалось вполголоса:

— Самое грустное, папа, что ты уже ничем не сможешь мне помочь...

Я не знал, какой пойду дорогой, но какую бы я ни выбрал, она никогда не будет той, которой шел он.

Через несколько месяцев я поступил в университет.

—...Ты будешь очарован.

Он на мгновенье задумался, потом сказал:

— Я б охотней остался с тобой.

Она тоже словно задумалась.

— Ты ведь приехал посмотреть Кубу, так?

— Если б с тобой вместе...

— Тебе не нужно провожатого, сам убедишься...

Так он простился с Аной два дня назад.

И вот сейчас они рассекали гладь лагуны Дель Тесоро (лагуна Сокровищ — каково название!) на обратном пути в Варадеро, оставляя позади красивые строения из полированного дерева, крытые пальмовым листом,— хитрая стилизация под постройки аборигенов,— чтоб войти в спокойные воды канала, с усердной тщательностью проложенного через топь.

— Идиллические места! — услышал он за спиной женский голос.

С палубы катера лагуна обозревалась во всей своей ширн, населенная журавлями и дикими уточками, а впереди — канал, чья лента будто уходит в беспредельность. Идиллические места, лучше не скажешь. Однако не всегда так было. Ему припомнилось несколько фотографий, которые он видел еще там, раньше, в библиотеке своего университета. На них были сняты именно эти места. Но только все было какое-то другое. Другой был знаменитый крокодилий питомник, и обитатели его, теперь запертые в железобетонных конструкциях и окруженные проволочной сеткой, как в настоящем зоопарке, были другие. И люди вокруг были не те, что на старых снимках. То есть, может быть, и те, но не такие. Словно вместе с их нищетой исчезло и их услужливое смирение перед чужими и место его заступила природная приветливость простого человека.

— На наших болотах не было ни больниц, ни врачей. Люди промышляли углем. Неизвестно даже, сколько тут жило людей, перепись никогда не проводилась.

Это был голос гида, удовлетворявшего чье-то любопытство.

— Здесь есть каменный уголь? — с удивлением спросила девушка в больших темных очках.

— Древесный уголь,— пояснил гид,— самый грубый, вы о таком, возможно, и не слыхали.

— И все болота эти таковы?

Задавший вопрос был старик, у которого на носу торчал второй нос, пластиковый, для защиты от солнца.

— Теперь здесь центр туризма,— сказал гид,— дороги через болота проложены, есть транспорт, построены больницы, школы, магазины.

Кто-то пожелал знать, как проходила раньше жизнь этих углежогов, но гид оказался человеком не слишком разговорчивым и ограничился замечанием:

— Жили хуже крокодилов. Когда подойдем к причалу, можете порасспросить людей. Они вам расскажут. Можете побеседовать с ловцами крокодилов.

Но случилось так, что, когда подошли к причалу, все уже потеряли интерес к этой теме, а гид не стал напоминать. Он, по всей вероятности, привык к таким внезапным вспышкам любознательности, которые тотчас же и гасли.

Через несколько часов они ехали по огромным апельсиновым рощам близ Хагуэй-Гранде. Группы молодых парней прерывали работу, чтобы приветствовать их. Возможно, они делали это не из любезности, а просто из любопытства. Им было, наверно, в диковинку видеть здесь автобус, набитый туристами, и они забавлялись, махая им вслед и отпуская по их адресу шуточки, одному богу известно, с каким подтекстом.

Эти парни, фигуры которых мелькали время от времени сквозь листву, были, верно, ученики какой-нибудь школы, работающие здесь. Апельсиновые насаждения начинались у самого края кювета и тянулись до горизонта. Среди деревьев возвышались здания школ, напоминающие отели, какие строились сейчас в Варадеро. Два раза им пришлось проехать мимо маленьких новеньких поселков. Здания были двух- и трехэтажные. «Совсем иной пейзаж,— подумал Алехандро.— Каменные дома, школы, поселки...» Его представление о сельской местности на Кубе соответствовало старым почтовым от-

крыткам: пальмы да пальмы, хижины, телеги, запряженные волами, и люди верхом на лошадях. Но на всем пути он не заметил ничего, что напомнило бы ему те почтовые открытки.

— Хижин больше не осталось? — спросил он у гида.

— В этой зоне почти не осталось. Но есть еще отдельные крестьянские семьи, которые предпочитают жить в своих хижинах с земляным полом. Сила привычки...

— Великое б дело сделали, если б привели в порядок дома в Гаване,— прервал старик с пластиковым носом, тогда как его супруга, весь путь хранившая молчание, поджимала губы, недовольная, будто с упреком.

— Да, многого еще не хватает, но постепенно жизнь налаживается. Приезжайте снова года через два-три и увидите, как мы преуспели.

Кругом засмеялись. Старик с пластиковым носом добавил:

— Постараюсь приехать, хоть подобное любопытство обойдется мне в кругленькую сумму. Но заверяю вас, что вам еще многое предстоит сделать...

Автобус все катил вдоль огромной плантации, и единственным, что нарушало однообразие пейзажа, были фонтанчики дождевальных установок, выраставшие в воздухе, как прозрачные грибы, в чьих шляпках играло солнце. Под конец туристы перестали задавать вопросы, и гид, кажется, задремал на своем месте рядом с шофером.

Как только приехали в отель «Интернасьональ» в Варадеро, все отправились промочить горло. Бар был просторный, и через широкие окна открывался красивый вид: терраса, лестница, ведущая на прибрежье, с двумя маленькими статуями по бокам — как здесь очутился этот Христофор Колумб? — и пляж, полого спускающийся к громадности многоцветного моря.

— Сегодня я имел случай проверить то, что мне говорили: все эти люди из «Интуриста» принадлежат к органам безопасности — G-2...

Это говорил старик с пластиковым носом. И пока его супруга поджимала губы, он нагнулся над столом, чтобы придать своему сообщению доверительный характер.

...— Вы заметили, как хорошо проинструктирован наш гид? Все время старался вправить нам мозги.

Рэд, парень из Нью-Йорка, ответил ему, избегая конфиденциального тона:

— Во всех странах гиды знают кучу вещей. В Помпеях они вам расскажут все сплетни о древних жителях руин. Такая у них работа.

— Это не одно и то же! — настаивал старик, сбросив со своего локтя руку супруги, пытающейся удержать его от спора.— Наш не сплетни рассказывал, а говорил лишь о том, что имеет отношение к политике.

— А вы считаете, что школы и плантации не имеют к ней отношения?

— Не будем спорить: я лично воспринял его объяснения как попытку вправить нам мозги.

— Тогда ваши подозрения могут распространяться и на горничную в отеле,— вмешался Алехандро.

— А почему бы и нет? — спорщик продолжал отстаивать свою идею.

— ...и на официанта, который нас обслуживал в ресторане «Лагуны сокровищ», и на шофера, и на бармена. Все они знали уйму разных вещей.

— Вы хотите сбить меня с толку! — запротестовал старик.

— Я думаю — это два разных мира. Эти люди живут жизнью страны как своею собственной, а мы с вами заботимся только о благосостоянии своих семей. Вы заметили, что телевидение посвящает больше всего времени новостям сафры? Уборка сахарного тростника — вот основной интерес момента. Можете ли вы вообразить себе передовую в «Геральд трибюн», извещающую, что «Рэнд корпорейшн» перевыполнила свой производственный план?

— К счастью, нет...— уклончиво заметил спорщик и с иронической улыбочкой положил конец дискуссии: — Как бы то ни было, я намерен отныне соблюдать с ними крайнюю осторожность.

— Только с ними? — вызывающе бросил Рэд.

— Пока только с ними. Вы удовлетворены?

— За ваше здоровье! — сказал Алехандро, подняв свой бокал с коктейлем «дайкири» и взглянув при этом на супругу старика, которая ответила ему взглядом холодным и недоверчивым.

В своем номере Алехандро не стал переодеваться, прилег на постель и закурил. Его удивляло, насколько глубоко засели в его памяти картины дореволюционной Кубы.

Едва он закрывал глаза, как все эти старые фотографии представлялись ему так явственно, словно он вновь их видел. То был трагический пейзаж: хижины под крышами из пальмовых листьев; целые семьи, живущие впроголодь; голодные, полуголые дети; жалкие сельские школки из того же строительного материала, что и хижины, покосившиеся, готовые обрушиться.

Снимки были сделаны лет тридцать тому назад, а революция насчитывала всего двадцать. «Ни одного вола, ни одного примитивного плуга,— думал он.— Переворот в пейзаже, приведший с собою переворот в людях...— Он стряхнул пепел.— Но может, я все здесь идеализирую? Может, у меня складывается такое же туристское виденне, как у того парня из Пенсильвании, который поминутно щелкал своим фотоаппаратом?.. Но нельзя воспринимать все слепо, что-то тут кроется, и я должен докопаться, что именно».

Он не хотел обманываться. Ни во имя чего бы то ни было. «Нет, Крист, я не создам себе искусственного рая». Он припомнил тот образ, в каком видели Кубу некоторые кубинцы из Майами. Для них перемены могли быть только к худшему. Для дяди Энрике и тети Хулиты единственное, что произошло в Гаване — для них вся Куба сводилась к Гаване,— это что фешенебельные виллы теперь заняты плебсом, а клубы для избранных превращены в свинарники. А остальное все по-прежнему: безработные, нищие, мальчишки-газетчики или чистильщики сапог, чудовищная преступность... «Представь себе, милая, если здесь так нелегко, то что должно твориться там!..» И над всеми этими язвами дюжина других: нормирование продовольствия, очереди, ночные патрули, межнациональные конфликты, ограничения во всем... «Если и раньше трудно было попасть в больницу, воображаешь, что творится сейчас?.. Каждый готов съесть своего соседа!»

Проходили годы, а понятия тети Хулиты оставались незыблемы, как египетские пирамиды... Но он твердо решил побороть этот узкий взгляд на вещи. Хоть и боялся оказаться на позициях, резко противоположных, и создать себе образ, тоже вывихнутый, теперь уже в другую сторону.

«Нельзя быть правым на сто процентов. Старая американская пословица гласит, что остановившиеся часы два раза в сутки показывают точное время. Этот парень Рэд и старик с пластиковым носом тоже, вероятно, что-то верно подметили. Но что? Даже если я выиграл этот раунд, то, наверно, тоже получил какой-нибудь удар. А что, если этот удар ниже пояса? Что, если эта зона оборудована специально для иностранных туристов? Может, нищие крестьяне с их воловьими упряжками не так уж всюду ушли в прошлое? Не рассказывают разве, что Франко делал нечто подобное? Ну а Батиста? Разве он не строил больниц и общественных зданий в самых оживленных местах, чтоб по ним можно было составить положительное представление о режиме? И не так ли же поступал Мачадо [1], еще ранее? Пожалуй, тот человек отчасти был прав, когда сказал под конец, что необходимо быть осмотрительнее. Но тогда как же Ана? Тоже пыталась меня обмануть или обманывается сама?»

Смотреть на действительность открытыми глазами... А что делать, когда она такова, как представляется этим глазам? Разве не было у него раньше предубеждения против всего, что он мог здесь увидеть? И не было ли это предубеждение основным побуждением к поездке на Кубу?

Он вспомнил слова преподавателя Макмэррея на одном из первых уроков:

«Есть один факт, который невозможно отрицать: до пятьдесят девятого года Кубы на свете не было. Здесь, в нашей высококультурной стране, в ходу были географические карты, где Остров фигурировал как часть нашей территории. Многие североамериканцы не понимали происходящего на Кубе, потому что для них она всегда была чем-то вроде колонии... Теперь Куба занимает важное место в мире. Мы попытались задушить ее экономически и не сумели. Попытались сломить путем военных действий и тоже потерпели неудачу. Подрывная деятельность оказалась бесполезной. Куба для многих народов превратилась в символ их воплощенной надежды. Хотим мы этого или не хотим. Ее можно любить или ненавидеть, но нельзя быть к ней равнодушным. Нельзя игнорировать факт ее существования. Этим-то она и сильна. На каких бы позициях мы ни стояли, какой бы вывод ни делали из ее опыта, но совершенно очевидно, что речь идет о процессе необычайно динамическом, о народе и стране, находящихся в состоянии непрерывных перемен».

Доводы Макмэррея были неоспоримы. Но каждый раз, когда он разражался одной из таких своих речей, возникало словно бы пустое пространство, какой-то разрыв вза-

[1] Имеется в виду диктатор Кубы генерал Херардо Мачадо, свергнутый в 1933 году.

имопонимания между ним и его учениками, не подготовленными к тому, чтоб так вот, сразу осмыслить подобный словесный залп... Но Макмэррей был умелый педагог и сразу же начинал с ними искупительную дискуссию, которая, впрочем, выявляла лишь их неспособность к рассуждению и слабость их знаний...

В то утро Алехандро ушел из университета с головной болью. Быть может, и не желая, Макмэррей разбередил его рану. И не основными своими доводами, а чем-то, что сказано было вскользь и что особенно больно задело Алехандро, потому что прямо касалось его родителей. Они, считавшие себя свободными от «кастризма», не понимали, как неразрывно остаются связаны с этим ключевым понятием — Революция. Весь их мир вращался вокруг этого понятия. Вначале они повторяли: «Раньше, до революции». Это была магическая формула, с какой начинался обычно поток их воспоминаний, ключ, открывавший двери в их незабвенное прошлое. Потом, когда им показалось, что они уже преодолели этот рубеж, когда постепенно стала ими овладевать глухая ненависть и само слово «революция» жгло им губы, они делали отчаянные попытки забыть о ней, навсегда вычеркнуть ее из своей жизни. И тогда магическая формула свелась к одному краткому, похожему скорее на вздох «раньше...». «Раньше...» — говорили они полушепотом, развертывая клубок своих воспоминаний, полных тоски по добрым старым временам, по канувшей в прошлое «настоящей» своей жизни. Но как бы ни вычеркивали они зловещее слово, оно все время было рядом; всюду и во всем, неуловимо пропитывая самый воздух, каким они дышали, искусно вкрадываясь в каждую их мысль, легким облаком заполняя каждую паузу в их беседах, оттесняя в пустоту окончательные формулы их чувств и мнений, только что высказанные победоносно, так обманчиво-победоносно... «Раньше...»

И не только его родители шли подобной стезей; все вокруг так или иначе не смогли миновать ее.

Он вспомнил, как заглянул как-то к Крист, и она приготовила ему кофе по-кубински. Они сидели рядышком на софе, когда в комнату вошла ее мать. Чем-то, видимо, была она расстроена, потому что держалась за голову и причитала. Крист рассказала ему впоследствии, что мать никогда не упоминала бога в своих жалобах, потому что его только в молитвах поминать надо, говорила она. Так что вместо «О боже мой!» она вошла с причитанием «О Куба!» и при этом сжимала кулаки. Крист не обратила на все это особого внимания; посмотрела на мать искоса, больше с упреком, чем с любопытством, и продолжала пить свой кофе. Для нее все это было обычным. Однако с мягкостью, в которой сквозила какая-то недомолвка, она сказала:

— Старуха, ты не замечаешь, что Куба все время у тебя на языке?..

Мать резко, словно кто ударил ее, повернулась к дочери и взглянула на нее с гневом и одновременно с какой-то растерянностью:

— Да, Куба, но та, что была раньше!..

Это был якорь, на котором держались все эти жизни... «Да, мы по природе не эмигранты. Мы тоскуем по всему тамошнему: солнцу, языку, даже пище. Покинув Кубу, мы вырыли в своих душах глубокий ров, который никогда не закроется»,— подумал он, взглянув в напряженное лицо матери Крист.

И вот опять преподаватель Макмэррей... Первый день занятий на первом курсе. Преподаватель отрекомендовался необычно и с вызовом: «Дуглас Макмэррей, сын эмигранта, исповедую марксистские идеи. Если это кого-нибудь шокирует, то нам предоставляется блестящая возможность скрестить шпаги наших понятий. С другой стороны, спешу уведомить вас, что я не приверженец полемики. Так что ограничимся сопоставлением наших взглядов и последующим их анализом с чисто научной точки зрения. Если выводы вас не удовлетворят, у вас будет случай добыть любые сведения, необходимые для подкрепления вашей аргументации. Это университет, а не какой-нибудь там кабак. Нашей целью должен быть свет истины, научной истины».

Потом преподаватель Макмэррей — высокий блондин лет сорока с небольшим — стал отбирать справки о слушателях. Когда Алехандро сообщил ему все свои данные, тот поднял на него глаза и улыбнулся:

— Вы приехали в Соединенные Штаты, чтоб стать негром, так ведь? С чисто человеческой точки зрения это весьма важный опыт. Вы, вероятно, уже ощутили во всей полноте то, что пришлось испытать кубинским неграм в те времена, когда вы ничего этого не знали...

И он стал развивать свою мысль:

— Вы, должно быть, решили посещать этот курс, потому что чувствуете необхо-

димость узнать, что же на самом деле происходит в вашей стране. Если б вы продолжали жить на прежней Кубе, у вас сегодня не было бы подобных стремлений. Ваши политические убеждения были бы неумолимо обусловлены вашим классовым сознанием. Но достаточно было, чтоб ваше богатство исчезло — и вот «ваш» класс вас вытолкнул. Если б не считал постыдным любое пари, я б побился об заклад, что ваши родители не чувствуют себя отщепенцами. Люди охотнее меняют класс, чем классовое сознание. К счастью, вы не получили буржуазного воспитания во всей полноте, так только — легкий лоск... Вы существо привилегированное, сеньор Хордан; вы можете позволить себе роскошь думать собственной головой. С ваших глаз уже слетела завеса, мешающая вам это делать. Не жалейте о том, что потеряли. Зато вы приобрели звание человека, способность мыслить свободно, возвратились снова в разряд homo sapiens. Надеюсь, что в жизни вам это поможет.

И Макмэррей кивнул ему несколько иронически, но улыбка его была сердечной. Другие студенты засмеялись, и кто-то даже зааплодировал... Алехандро хранил каменное молчание. Применяя необычную для него терминологию, смысл которой порой от него ускользал, преподаватель в нескольких фразах выразил то, что уже столько времени вертелось и переворачивалось у него в мозгу, не обретая осязаемого образа. Вынеся за скобки несколько иронический тон, каким все говорилось, он сосредоточил свое внимание на главном из того, что было сказано,— на перекрестке, где путь его родителей неминуемо и резко расходился с его путем. Макмэррей сказал об этом так просто: да, он не получил буржуазного воспитания во всей полноте, но его родители никогда не сумеют сбросить сковавшие их цепи этого воспитания, этого мировоззрения. А какое же мировоззрение у него самого? И что делать со всеми этими идеями, какими ему засорили голову и какие так мешают перестать быть чем ты был и перестать думать, как другие хотят, чтоб ты думал?..

Это Освальдо посоветовал ему посещать этот курс. Они учились на разных факультетах, но имели право выбрать курс по своему вкусу, и Освальдо решил, что интереснее всего для обоих будет этот. «В конце концов, имеем же мы право получить какие-нибудь сведения о Кубе, верно?»— сказал он Алехандро, и тот согласился.

В классе Макмэррея оказались несколько знакомых, еще той поры, когда все они ходили в церковь. С того времени они и не виделись, но, встретившись вновь, возобновили прежнюю дружбу, словно она и не прерывалась.

Макмэррей обычно начинал занятия самым обескураживающим образом:

— Каково ваше мнение о прежней Кубе?..

Он ткнул пальцем в направлении кого-то, сидящего в третьем ряду. Это был Альберто Гомес дель Реаль. Его семья владела когда-то обширным поместьем в провинции Камагуэй и покинула страну, когда был провозглашен социалистический характер революции... Теперь Альберто стоял перед преподавателем, задумчиво тер правой рукой голову и решительно не знал, что отвечать.

— Трудно так сразу,— сказал он,— но я думаю, это была спокойная страна, где можно было хорошо жить. Во всяком случае, мы были счастливы. У нас было всего вдоволь. Помню, дома́ были большие, комнаты комфортабельно обставлены, кварталы имели элегантный вид. Все держали много слуг. Даже у тех, кто победнее, были слуги. Я это про своего учителя говорю. Учитель ко мне ходил на дом, репетитор. У него была квартира в районе Ведадо [1], и он держал черную служанку. Помню еще, что встречалось много негров на улице. Но они никого не трогали. Магазины были шикарные. Но лучше всего бывало летом. Мы проводили лето в Тараре, это пляж такой, неподалеку от Гаваны. Яхты у нас не было, потому что отец не любил моря. У его друзей — у тех были яхты. Это была хорошая страна для жизни.

Макмэррей указал глазами на одну девушку:

— А вы что скажете?

— Мое представление о прежней Кубе совпадает с тем, что сказал Альберто. У нас тоже не было ни яхты, ни бассейна. Мой отец был управляющим банка, но мы жили хорошо и были очень счастливы.

Теперь указательный палец Макмэррея был направлен на юношу, сидящего рядом с девушкой.

— Я уехал с Кубы, спасаясь не от «кастризма», а от голода...

Все, включая Макмэррея, рассмеялись; но Гонсалес продолжал, очень серьезный

[1] Ведадо считался аристократическим районом Гаваны.

и как будто немножко обидевшись на этот смех. Он был большой, костистый и неловкий. Голос его был подобен раскатам грома:

— Я вам говорю как есть. От голода! Яхты и бассейны я увидел в первый раз здесь, в Майами. Я и не знал, что такие штуки есть на свете. Моим жилищем была лачуга с земляным полом и крышей из рекламных щитов кока-колы. Любой глинобитный домишко казался мне дворцом. Кстати, в Майами я тоже яхты эти только издали видал. Никогда моя нога не ступала ни на одну из них. Можете смеяться сколько вам угодно, но правда — она и есть правда.

На этот раз, однако, никто и не думал смеяться. Напротив, воцарилась тягостная тишина. Гонсалес продолжал:

— Для меня Куба была страной голода. Нас было четверо детей, но выжили только двое. Знаете, от чего умерла моя младшая сестренка? От дизентерии. Может, если б вовремя достать немного сульфату, она б поправилась. Всего двадцать сентаво — и она была бы теперь среди нас! Но в стране голода у человека не оказалось и двадцати сентаво. Мы уехали за несколько месяцев до победы Фиделя. Тут говорят, что на Кубе сейчас хуже, чем было; но я так думаю, что хуже, чем было тогда, быть никак не может. Богачи-то все уехали, и если революция делалась не для бедных, то для кого ж она делалась-то? По правде, так мне все одно, что ни говорят. Я как услышу спор, так отойду в сторонку. Я тут живу хорошо. Работаю как вол, но не голодаю. Никогда не жил лучше. А разговоры мне ни к чему.

Слова Гонсалеса подобны были камню, брошенному в озеро. Камень исчез в глубоководье, но на поверхности, до сих пор спокойной, долго еще и тревожно расходились волны.

— Как видите,— послышался четкий голос Макмэррея,— информация у нас получается весьма противоречивая. Это означает, что мы не можем слепо доверять личным свидетельствам, хотя в обоих случаях они были неопровержимо правдивы. Но их правда отнюдь не означает абсолютной истины. Мы должны принять их в качестве данных, лишь частично отражающих действительность. Не соответствует абсолютной истине то, что все граждане Кубы имели свои яхты, роскошные дома и загородные виллы. Не соответствует ей и то, что Куба была страной голода. На Кубе высоко развито производство сахара. Доход на душу населения был там выше, чем в ряде других латиноамериканских стран. Однако это ни о чем еще не говорит. Хорошо было бы исследовать, до какого уровня подымалось развитие страны и действительно ли это развитие служило на пользу самой стране; хорошо было бы проверить, как распределялся национальный доход и вообще как жили отдельные секторы, участвующие в процессе производства, и какой цифры достигало число тех, кто оказался за чертой. Я предлагаю предпринять подобное исследование, ограничась периодом пятидесятых годов, замыкающих собою цикл капиталистического развития страны. За эти десять лет произошло два важных политических события: нарушение конституционного порядка в связи с государственным переворотом генерала Батисты, установление самой худшей диктатуры из всех, что выдержал Остров, и взятие власти Фиделем Кастро и его Повстанческой армией. На этом материале можно сделать серьезную работу, отвечающую нашей цели,— понять, какова была Куба до революции. В библиотеке вы отыщете...

Поначалу Алехандро чувствовал себя так, будто он пришел на консультацию к психиатру и ему поставили сокрушающий диагноз. Свидетельства, предоставляемые ему справочниками и книгами, рушили все его прежние представления. Нет, это была совсем не такая страна, как он думал. Невозможно было сочетать образ, подымающийся со страниц книг, с другим — прилизанным и подслащенным, какой остался у него в памяти. «Я жил на видимой стороне Луны...»— сказал он себе. И с этой минуты никем и ничем не вырвать было из его сердца чувства вины, которое все росло по мере того, как он углублялся в свои исследования.

Он вспомнил вечер, когда у Освальдо они читали сведения о переписи пятьдесят третьего года. Он слышал голос Освальдо, и ему казалось, что слова ударяют прямо в виски, стучат в мозгу.

— Представляете? Пятьдесят пять процентов крестьян никогда не ели мяса и не пробовали молока!

«Все эти цифры,— подумал он,— относятся ко времени задолго до победы революции, вернее, к тому году, когда произошел государственный переворот и власть захватил Батиста. В ту пору мой отец уже имел собственную клинику, владел землями.

Он-то должен был быть в курсе дела и прекрасно знать не только цифры, но и факты, стоящие за ними. Он ведь ежедневно должен был сталкиваться с действительностью. И однако, в нашем доме эти темы никогда не затрагивались. Мы словно задернули занавес на сцене, где разыгрывалась жизнь страны».

Он налил себе кофе и стал смотреть в окно. Взгляд его блуждал по пустынности ночи. «Гонсалес прав,— внутренне согласился он,— это была страна голода. На каждого из таких, как я, были тысячи таких, как он».

Итак, все мифы насчет Кубы падали в пропасть. И на самом дне этой пропасти оказывались устои его семьи. Его родители скорбели по поводу победы коммунизма, но разве они хоть что-нибудь сделали, чтоб ее предотвратить? О чем они думали, пока жили в полном довольстве, в то время как рядом с ними крестьяне умирали с голоду, как бездомные собаки? Так что не такая уж большая разница между слепотой его родителей и жестокой наглостью того же Чоло Викуньи. «Положение Чоло даже лучше, чем мое,— подумал он,— тот, если захочет, может вернуться на свои земли. А меня прибило к чужому берегу, как обломок корабля, и я почти уверен, что никто не захочет, чтоб такие вот обломки вновь прибило к берегу родному».

— От всего этого я чувствую себя виноватым,— сказал он Освальдо.

Освальдо взглянул на него с удивлением:

— Ты не больше виноват, чем я, чем многие другие.

— Но ты не принадлежал к семье эксплуататоров.

— Ну, и что б ты сделал на месте твоего отца? Роздал бы все свои владенья?

— Дело не в филантропии.

— Не мучь себя. Твои родители поступали как все вокруг.

— Ты не понимаешь. Они ведь могли искать какой-то путь, чтоб предотвратить пришествие «кастро-коммунизма».

Освальдо помолчал.

— Ты не читал книгу «История меня оправдает»? Фидель основывался на тех же данных, какие мы встретили в статистическом сборнике. И вся Куба была согласна с его программой.

— С той программой — да. Но потом дело попало в руки людей Бласа Роки...[1]

Освальдо только пожал плечами и рассмеялся:

— Ты не должен ни чувствовать себя виновным, ни ссориться со своей семьей. В конечном счете пусть виновных ищут те, кто к этому призван — священники, полиция.

— С тех пор как я посещаю этот курс, у меня в голове все не только не прояснилось, а окончательно перепуталось. Что-то тут не так. На Кубе произошла революция из-за того же положения вещей, какое еще продолжает существовать в Перу, а субъекты вроде Чоло Викуньи живут себе припеваючи, будто ничего не случилось. Подобно людям, построившим свои дома на склоне вулкана.

— Но ведь еще раньше была русская революция...

— Ради бога, Освальдо, я говорю о кубинской революции... Революция — это одно, а коммунизм — совсем другое... Революция может быть прогрессивной. Так, по крайней мере, думаю я...

— Как знаешь,— сказал Освальдо равнодушно,— постарайся повлиять на своих друзей, чтоб они перестали эксплуатировать бедняков. Постарайся заставить их перестать думать о своей личной выгоде. Поговори с папой римским, епископами и кардиналами и попроси их начать проповедовать истинное Евангелие. Пусть они скажут богачам, чтоб те справедливо распределяли свои прибыли, чтоб возлюбили ближнего, то бишь рабочего, как себя самого. И главное, пусть они добьются, чтоб богачи их послушались. Вот сделай все это — и увидишь, как тебя обвинят в пропаганде коммунизма... И вот тут-то ты и перетрусишь... Потому что ты, как все вокруг тебя, смертельно боишься этого слова. Многие из коммунизма делают пугало! Но есть такие, которые вызывают его на состязание. Разве Рузвельта не обвиняли в коммунизме? И кого только не обвиняли в коммунизме Маккарти и Голдуотер? Твоя позиция крайне реакционна, Алехандро. Не по отношению к Фиделю Кастро, а по отношению к церкви...

— Я пошел спать! — резко прервал Алехандро рассуждения друга.— Я сказал

---

[1] Блас Рока (настоящие имя и фамилия — Франсиско Вильфредо Кальдерио, 1908 — 1987) — видный деятель коммунистического и рабочего движения Кубы, был Генеральным секретарем ЦК Компартии Кубы (1934—1961), позже принимал активное участие в руководящих партийных и государственных органах.

тебе, что растерян, а ты вместо того, чтоб помочь разобраться, тут мне целую проповедь читаешь!

— А про Мартина Лютера Кинга ты забыл? Он тоже коммунист был, что ли?

— Оставь меня в покое.

— А про Арбенса, а про Хуана Боша, а про Кааманьо? [1]

— Иди к черту! — крикнул Алехандро, повернулся и пошел прочь.

Освальдо, видимо, не знал, как ему быть, потому что прошло некоторое время, прежде чем Алехандро услыхал звук его шагов, одиноко удалявшихся в темноту и молчание ночи. Он прислушался к его особенной походке, с легкой хромотой, какую выдавало тихое поскрипывание гравия под его ногами. В то время Алехандро не знал, что ему раздробили кость стопы в момент разгона демонстрации против войны во Вьетнаме...

Да, влияние Макмэррея на всех нас было огромно. Поначалу мы представляли собою всего лишь кучку энтузиастов, собиравшихся вместе, чтоб выполнить курсовую работу, пусть даже эта работа и была особенно близка нашим душам. Но потом произошла ощутимая перемена: по мере того как, выполняя эту работу, мы все более сближались между собой, она перестала быть делом каждого в отдельности и стала общим старанием. Оставляя в стороне мою дружбу с Полом, завязавшуюся раньше, я не упомню, чтоб меня когда-нибудь так влекло влиться в группу людей, столь неоднородную.

Я вспомнил любимую игру деда, в которую мы играли, когда он увозил меня гулять за город. Он каждый раз притворялся, что забыл дорогу домой, и каждый раз я попадал впросак и начинал усиленно искать эту дорогу. И, только случайно заметив легкую усмешку в уголках его губ, я догадывался, что дед меня разыгрывает. И тем не менее желание найти нужную дорогу не ослабевало во мне. И я был так твердо уверен, что найду ее! И так торжествовал, когда мы снова оказывались на знакомой тропе!.. Нечто подобное происходило со мной и теперь. Мы все с одинаковым тщанием искали ответ на два основных вопроса, поставленных перед нами преподавателем: какова была Куба до революции? И что произошло потом? И незаметно, углубляясь в смысл этих вопросов, мы приближались к перекрестку... Но мы это поняли не сразу, а пока что продвигались все вперед, по указанной нам тропе. И были вынуждены собственными силами искать нужную дорогу. И вот внезапно оказались в роли присяжных, вновь рассматривающих дело о Кубе, уже без страха, уже приемля факт ее существования, уже волнуемые ее загадкой.

Самое замечательное было то, что приближение к загадке все более связывало нас с ней. Как бы ни были различны пути, по которым мы шли, мы были твердо уверены, что в конце концов найдем решение и тогда все в нашей жизни изменится.

Были, разумеется, колебания, когда мысли наши переметывались из одного лагеря в другой, но мы знали, что вступим на твердую почву. И если до той поры мы были слепцами, нуждавшимися в поводыре, то теперь мы шли вперед самостоятельно и смело. Вперед, к своим собственным выводам и оценкам...

Я подумал тогда, усмехнувшись в душе, что всем нам помогло наше религиозное воспитание с его привычкой к исповеди. Мы скоро научились выражать свое мнение открыто. Без полуправд. Без намеков. Без взаимных порицаний.

Бывали, правда, и такие моменты, когда из присяжных мы превращались в подсудимых. Но никто не старался уколоть другого обидным словом. Напротив, по мере того как наше прежнее ви́дение мира рассыпалось в прах, мы чувствовали себя еще более спаянными. И все яснее понимали свои собственные жизненные коллизии в их прямой связи с прошлым. Как сказала Джеральдина, откидывая со лба непокорную прядь волос: «Звено, соединяющее нас, это, в сущности, поиски звена, нами потерянного».

Углубляясь в изучение процесса кубинской революции, открывая для себя глубокие ее корни и непреложность ее предназначения, мы начали отдавать себе отчет и в том, что же именно нас разделяло. Я впервые почувствовал связь между историей нашей страны и моей собственной жизнью, между моим прошлым и моим настоящим. Я

[1] Франсиско Кааманьо (1933—1973) — активный участник антиимпериалистической борьбы в Доминиканской Республике в 1965—1966 годах, был убит по возвращении на родину из эмиграции.

твердо понял, что моя семья — и все подобные семьи — жила на обочине истории так же бездумно, как люди, подобные Чоло Викунье. Хоть понимал и то, что для обычного человека не так-то просто ощутить себя частью истории. А если ты к тому же выброшен на чуждый берег обратной волной прибоя, неумолимой и необоримой? С высоты положения тех, кто добился привилегии жить спокойно, смог получить высшее образование, кто не был перемолот безжалостной машиной какой-нибудь «factory», можно отдать себе ясный отчет, что же приобретено. Но зачем же тогда каждую минуту с такою болью вспоминать то, что потеряно? Зачем чувствовать себя искалеченным? Словно в огненном кольце... Прежде казалось, что есть лишь две возможные формы существования: влиться в новую жизнь или застрять в отравленном мирке изгнания. Североамериканцы — или кубинцы креольского квартала... А Куба — та, от которой наши близкие принудили нас отказаться,— это было нечто недосягаемое, туманное, нереальное. И мы бились и метались в своем огненном кольце...

Джеральдина сказала те слова, немного нахмурясь. Мы говорили совсем о других вещах, как вдруг она задумалась, сдвинула брови и проговорила:

— Странно, Алехандро, как мы могли прожить столько времени, повернувшись спиной к действительности?

— Ты о чем?

— О Кубе. Мы как страусы: зарыли голову в песок и стоим. Разница только та, что страусы ее выдергивают, а у нас она все зарыта.

— Не понимаю,— сказал я, хотя отлично понял.

— Мы упорно ведем себя так, будто Кубы нет. А она есть. И будет и тогда, когда нас всех уже не будет.

Она посмотрела на меня каким-то странным взглядом.

— Хуже всего то, что там навсегда осталось что-то от нас, что-то неотъемлемо наше...

Мы помолчали. Один из сокурсников подошел, увидел, что мы оба сидим опустив головы, и сказал без улыбки:

— Как обычно, что ли?

Я медленно поднял голову при звуке этих слов. Я уж не раз, в разных вариантах, слышал нечто подобное.

— Опять то же самое? — говорил мне недавно отец, нервно ударяя в ручку кресла сложенной вчетверо газетой.

Стоило мне ступить на порог, как у нас с ним разгорался спор. Неизбежно. Словно мало было того, что мы отдалились друг от друга, так мы еще упорно пытались заполнить эту пустоту бесконечными стычками и ссорами.

В последний раз зачинщиком был я; но он так вдруг помрачнел, что я проглотил готовые сорваться с языка слова и сказал вместо этого:

— Извини...

— Извини, извини! Думаешь, твои извинения что-нибудь меняют? Вред, который ты мне наносишь, остается...

Я сжал губы, чтоб удержаться от дальнейшего спора, хоть мне и больно было слышать его последние слова. Но отец упорствовал. Так у нас было всегда: едва один отступит на шаг, как другой уже готов к новой атаке. И печаль и обида обрушиваются потоком на голову противника... Потому, когда он вновь повторил последние свои слова, я заносчиво ответил:

— Кто кому нанес вред, папа?!

Какая-то неведомая сила толкала меня вновь и вновь к этой болевой точке моей жизни, из которой так медлительно и неумолимо росла все эти годы наша вражда под сенью мирной буржуазной жизни, с ее видимостью нерушимых семейных устоев, среди комфорта, обеспечивающего покой, недоступный остальным смертным.

Но вот однажды этот мир разом рухнул. Мы перестали быть дружной семьей, приветливой и уважаемой всеми, какой были до сих пор. Лопнуло наше страховое общество, сгорели полисы, гарантирующие спокойствие духа и хорошие манеры, и мы очутились под открытым небом во власти непогоды... Из людей мы обратились в зверей, люто нападающих друг на друга, и наша культурная речь превратилась в адскую тарабарщину, составленную из бранных выкриков. Между мирными креслами у телефона или телевизора взвился в воздух столб огня из семейного вулкана, крохотного, но непрерывно грозящего извержением.

Так было с самого моего поступления в университет. Там нашел я новую семью.

Хотя поначалу остро чувствовал отсутствие Пола. Память о нем камнем лежала у меня на сердце и сгущала мое одиночество. Чем больше отдалялся я от родителей, тем нужней мне становился Пол, его манера мыслить, его умение находить выход из самых сложных коллизий. Я был уверен, что, будь он со мною, он и для меня нашел бы выход. Я вспоминал, как мгновенно принимал он свои неожиданные решения, с этой своей характерной беглой улыбкой на губах.

Как-то в субботу, возвращаясь вечером домой, я постарался мысленно пересмотреть отношения между членами нашей семьи. Стоя у окна автобуса, я смотрел на пейзаж за стеклом, не таящий для меня никаких неожиданностей, и вдруг поймал себя на том, что думаю о родителях, как бы ставя себя на их место. Я впервые увидел их как обычных обитателей обычного городского квартала, изгнав из памяти образы надменных хозяев жизни, вольных принять любое решение в любых обстоятельствах. Сам не замечая, я силился теперь увидеть, как действуют они пред лицом непреложных фактов, рассматривая эти их действия с той бесстрастной логикой, какую привил нам Макмэррей и какую он называл — и в конечном счете справедливо — объективным взглядом на вещи. И при таком взгляде мои родители представали мне как предмет купли-продажи, как безвольные существа, не сумевшие противостоять другому мощному фактору, столь часто упоминаемому нашим преподавателем,— классовому сознанию.

И этот взгляд привел меня к заключению, что все наши споры бессмысленны. Я не в силах разрушить ту условную структуру представлений, какая управляла их поступками еще до того, как я родился. Так что в семейные судьи я не гожусь. Родители никогда не поймут меру своей ответственности за все, что с нами произошло. А если поймут, то окажутся погребенными под обломками здания, в котором так безмятежно протекала их жизнь.

Я пытался разрушить это здание. Они отчаянно сопротивлялись, они боялись за свою жизнь. И даже не они сами, а (я нашел объяснение, и во мне пробудилось некоторое сочувствие к ним)... а их классовое сознание, выражаясь языком Макмэррея, их незыблемо-косные формы поведения, которыми они так гордились...

Итак, я был один. И что еще хуже — должен был начинать с самого начала, забыть познанное, оставаться глухим к велеречивым проповедям близких. Два мира — вот что представляла собою наша семья. Два мира быстро удаляющихся один от другого. У каждого мира — своя орбита. И свои космические законы. Так что надо просить у судьбы лишь одного: чтоб эти миры не столкнулись и не разрушились от столкновенья.

И я попытался увидеть в своих родителях то, чем они в действительности были,— обломки кораблекрушения, всплывшие на поверхность. Я и сам был такой обломок, и мой долг состоял в том, чтоб больше не требовать у них отчета. И я стал избегать объяснений и споров с моими родителями, ни на минуту не выпуская из памяти нашего Макмэррея и его непогрешимый микроскоп, через который он рассматривал нас, как какие-нибудь бактерии на бескрайнем поле эволюции природы.

И вот наш дом стал обиталищем тишины и теней, бесшумно скользящих по комнатам. Общение между нами свелось к ряду условных сигналов, касающихся самых обыденных вещей. Всем поначалу было грустно, но постепенно мы приспособились и научились жить в этом новом мире. Так было лучше. А что касается родителей, то им даже показалось, что все мы снова счастливы. Стремление создать свой особый мир вне мира окружающего было в них так сильно, что они и на сей раз сумели прийти к этому. Но и на сей раз они не заметили, что я остался за чертой их мира.

Моим подлинным очагом — вернее было бы сказать: убежищем — уже не был родной дом, населенный призрачными тенями. Ко мне снова вернулась веселость, но находила она на меня, когда я был вдалеке от близких — в университете; и единственно, чего я боялся,— это чтоб какая-нибудь новая катастрофа, подобно ветру, не вымела нас из надежного тайника, какой мы себе построили на манер противоатомных бункеров, ставших столь модными среди финансовых гигов.

Университет заставил нас поверить, что мы не просто какие-то жалкие существа, сбившиеся с пути. Заставил нас увидеть свои слабости на примере товарищей. Заставил сплотиться, как сплачиваются некоторые виды животных перед лицом опасности, грозящей их уничтожить. Мы не чувствовали себя одинокими. Мы знали, что тысячи других, подобных нам, рассеянных по огромной территории Соединенных Штатов, думают и чувствуют одинаково с нами. Нас было много, сынов диаспоры. И здеш-

нее маленькое ядро ее было одним из стольких, рассеянных по всему свету! И эта убежденность поддерживала нас. Куда б ни занесла нас судьба, думалось нам, мы обязательно встретим юношей и девушек, на нас похожих. Иначе и быть не может — у всех нас одинаковый опыт, и все мы потерпели одинаковое крушение. В Нью-Йорке ли, в Хьюстоне, или в Денвере, или в другом каком городе, равно как и в Каракасе и в Мадриде, всегда найдется кто-то, ждущий нас с распростертыми объятиями.

Мы были не одни, и это еще больше сплачивало нас. Потребность слиться в нечто единое оказывалась сильней всех различий и заставляла нас быть снисходительнее друг к другу.

Будущее представлялось нам туманным, но мы твердо знали: мы уже не те, что прежде, хоть и пришли к этому разными путями. Не одному Освальдо пришлось пострадать из-за протеста против войны во Вьетнаме. И не он один участвовал в борьбе за гражданские права. Многие, в той или иной форме, вступали в конфликт с властями и восставали против творимых ими беззаконий. Мы уже не просто замечали самые отвратительные явления в окружающей нас социальной действительности — мы сошли с академической дороги жизни, чтоб присоединиться к протестующим. Как раз в те дни мы, студенты — более тысячи человек,— объявили забастовку в защиту троих юношей-негров, которых не хотели принимать в университет. Дело дошло до прямого столкновения с начальством, и под нажимом всех этих бурных событий нам так ясно предстала истина, неустанно повторяемая нашим Освальдо: здесь обвиняют в коммунизме всякого, кто борется за единение землячеств, за права национальных меньшинств, будь то негры, индейцы, мексиканцы или пуэрториканцы.

В тот вечер после жаркой схватки мы собрались в комнате Освальдо, и когда тот принялся снова излагать свою любимую идею, Диегес прервал его.

— Я раньше восстал против этой системы,— сказал он,— в Алабаме еще.

Диегес был тихий мальчик, скупой на слова, и продолжал свою повесть не поднимая глаз, словно раскаиваясь, что начал:

— Когда мы сошли в Селме, то решили осмотреть город. Долго брели наугад и под конец заблудились. На одном перекрестке я нечаянно столкнулся с каким-то старым негром и выронил журнал, который нес под мышкой. Я не успел сделать и малейшего движения, как старик уже нагнулся, подобрал журнал и подал мне. Я положил руку ему на плечо и спросил, как пройти в ближайший отель. И тут я почувствовал, что он весь дрожит, и с изумлением увидел в его глазах, устремленных на меня, выражение ужаса. Я снял свою руку с его плеча и поблагодарил его, но старик меня уже не слышал. Соскользнув с места, как пойманная рыба с крючка, он стремглав забежал за угол и скрылся в соседней улице.

Диегес поднял голову, и голос его превратился в печальный шепот:

— Я никогда не чувствовал себя таким униженным.

Все молчали, только Освальдо прервал своим полушутливым вопросом эту плотную тишину:

— А теперь кем ты себя чувствуешь? Коммунистом?

Диегес отозвался тоже шуткой:

— Когда меня пытаются бить, я всегда чувствую себя коммунистом.

Дня через два-три занятия возобновились. На сей раз Макмэррей начал с анализа революционного процесса на Кубе в тридцатые годы. В разгар двадцатого века, сказал он нам, население Острова сидело сложа руки, чувствуя себя парнями на родной земле. Разного рода предприниматели — испанцы, североамериканцы, евреи или ливанцы — вывозили рабочую силу из своих собственных стран. Гитерас [1] провел закон о национализации труда. И с этой минуты кубинцы получили право работать на любом предприятии, перестав, таким образом, быть чем-то вроде национального меньшинства в своей стране. Гитерас также нацонализировал электрическую компанию. И что же с ним произошло? Он был лишен всех своих постов и убит сержантом [2], со-

[1] Антонио Гитерас (1906—1935) — кубинский общественный и государственный деятель, один из лидеров революционной борьбы против диктатуры Мачадо. Во временном революционном правительстве (с сентября 1933-го по январь 1934 года) занимал пост военного министра и министра внутренних дел, провел ряд прогрессивных реформ, был убит при попытке выехать в Мексику для организации борьбы с режимом Батисты.

[2] Имеется в виду Фульгенсио Батиста (1901—1973), начавший военную карьеру сержантом, после государственного переворота 1934 года стал диктатором Кубы. Свергнут кубинской революцией в 1959 году.

стоявшим на службе у Соединенных Штатов. Тем самым человеком, который потом держал всю страну под властью своей кровавой диктатуры до того дня, когда был свергнут повстанцами Фиделя Кастро.

— Когда вы внимательно изучите этот исторический период, то убедитесь, что меры, предпринятые Гитерасом, не выходили за пределы защиты националистских интересов,— в лучшем смысле этого слова, разумеется. Будучи радикалом, он выдвигал реформы, которые неизбежно должны были столкнуться с интересами империализма, но они не достигали подлинной глубины, как, например, предпринятые Неру в Индии. И однако, они стоили ему жизни...

В ту ночь мы тоже не спали. Освальдо, как всегда, был запевалой:

— Соединенным Штатам нужно одно — чтоб не затрагивались их интересы. Стоит им увидеть свои капиталовложения под угрозой, и они прибегают к политике «big stick» — «большой дубинки» [1]. Гитерас — пример тому. А как было с Сандино? У них одно средство: наемный убийца, который овладевает положением и устанавливает диктаторский режим: Батиста, Сомоса, Трухильо, Дювалье, Перес-Хименес, Стреснер. И к тому ж еще называют это «демократией». Но спросим себя: что думают по этому поводу народы Латинской Америки? Если мы найдем ответ на этот вопрос, то найдем и на другой — тот, что так нас мучит: почему мы здесь? Не потому ли, что кубинские богачи до революции посылали своих детей учиться в университеты, где мы учимся сейчас? Мы постепенно теряли свое национальное лицо. И с каждым днем все более пренебрегали уроками национальной истории. Мне кажется, что революция все поставила на свои места.

— Да, но какой ценой!..— осмелился я заметить.

Освальдо улыбнулся:

— Ценой революции...

— И нашего изгнания...— добавил я.

— Изгнание — вещь не новая. Еще до нас в эту страну приехало полмиллиона кубинцев. Они называли себя не изгнанниками, а эмигрантами. Это не были выходцы из обеспеченных семей, а, напротив, безработные. Потому о них никогда и не упоминалось. Но чтоб понять сегодняшний день Кубы, надо вспомнить об этих прежних эмигрантах, которые все теперь там, а не здесь. Таково лицо революции, ты не можешь этого отрицать: она дает рабочему уверенность в жизни и возвращает нам лицо нашей истории.

— Ты говоришь «возвращает нам», будто ты один из тех самых!

Освальдо обернулся ко мне, и я увидел, что он растерян:

— Вырвалось... Я не хотел впадать в пафос. Горько как-то сказать «возвращает им». Куба для меня все-таки одна, никогда я не смогу от нее отречься. И меня радует, что она вновь обретает свое лицо. Я могу не вполне принимать Фиделя, но если этого добился он, то меня это все равно радует.

Я не сумел опровергнуть его. Я вообще с некоторого времени разучился опровергать. Вначале умел, но потом заметил, что пользуюсь, как это ни странно, теми же аргументами, что и мой отец... А других, своих, слов я еще не нашел. И это унижало меня в собственных глазах. «Где твоя голова? — задавал я сам себе горестный вопрос.— Ты ведь умел положить противника на обе лопатки... А вот теперь не получается...» Да, теперь не получалось, хоть я и пылко этого желал. И все споры оканчивались тем, что я бормотал что-то смутное и начинал бить отбой. Так было и на сей раз:

— Оставим это, ладно? Лучше попытаемся наладить свою жизнь здесь. А то попадем из огня да в полымя.

Я невольно оглянулся, увидел вокруг себя снисходительные улыбочки и еще острее почувствовал свое одиночество. Уже не только Освальдо и Джеральдина, уже многие среди нас перестали бояться слова «революция».

В тот самый вечер, провожая Джеральдину, я задал ей вопрос без обиняков:

— Ты коммунистка?

Она посмотрела на меня удивленно:

— Нет.

— Однако ты повторяешь их мысли.

— Я не повторяю. Это мои мысли. Если я и коммунистка, то, значит, сама того

[1] Империалистическая политика «большой дубинки» — право США открыто вмешиваться во внутренние дела стран Латинской Америки, которое провозгласил Теодор Рузвельт в 1904 году.

не зная. Я просто пришла к выводу, что те, кто правит нами, отнюдь не всегда говорят правду. Они готовы всех обвинить в коммунизме, хоть и сами не верят своим словам. А почем ты знаешь, справедливы ли вообще те обвинения, которые предъявляют коммунистам? Может, совсем не так понимают, что значит быть коммунистом?..

Мы помолчали. Она выдернула сигарету из моих губ, затянулась разок и принялась вертеть ее в пальцах.

— Я никогда не рассказывала тебе,— продолжала она,— но я знала многих. Во время демонстрации против войны во Вьетнаме и когда отстаивали права негров и мексиканцев, живущих в Соединенных Штатах. Они такие же люди, как ты да я,— эти коммунисты. Многие из них могли бы сделать карьеру, зарабатывать огромные деньги! А они вот избрали другой путь, связанный с таким риском, с такой опасностью... Сколько раз я спрашивала себя: что заставляет их так вот ступать по острию ножа?

Проводив ее, я долго думал о последних словах Джеральдины. Подумал и о том, что могу теперь дружить с людьми, чьи взгляды отличны от моих. И что моими лучшими друзьями из этой группы, уже обозначившейся как прокастровская, были Освальдо и Джеральдина — самые страстные из всех. «Что-то я проявляю склонность к мирному сосуществованию»,— подумал я не без улыбки.

А смогу ли я проявить эту склонность по отношению к Кубе?.. Куба была на другом идеологическом континенте, но она не была моим антиподом... И почему-то вырывала почву у меня из-под ног. И если оставить в стороне политику, Куба продолжала быть землей, где мы родились, под чьим солнцем у нас было свое, прочное место в жизни. Источник нашего бытия... Родина, нам принадлежащая и нами потерянная... Всеми нами. Ясно одно: в изгнании Кубы нет.

Остров тихий, остров безмятежный, лениво растянувшийся на теплом течении залива... Со своими пальмами, и пляжами, и тростниками... со своим смеющимся пестрым населением, со своими одуряющими ароматами, что так жгут сейчас наши изгннанические души... С многоцветьем памятников других эпох, со всеми этими медалями и медальонами, расписанными золотом, с розовощекими женскими лицами, улыбающимися вам, когда откроете коробочку со сластями — вот такую, где храню я сейчас мои реликвии, старые семейные фотографии, мою собственную, детскую, в расшитом костюмчике и с деревянной шпагой в руках, верхом на резвом скакуне из дерева, чьи глаза нежны, как первые ростки с огромной плантации «cuban sugar cane»[1], как прочел я под картинкой, вырванной из книжки, попавшей мне в руки по прибытии сюда и хранимой и посейчас в той же коробочке как часть самых жгучих моих воспоминаний... «О Куба, тебе про то сказал бы...»

Маргарет в гневе обернулась; чашки заплясали у нее в руках, и она беспорядочно побросала их на стол.

— Трусить не надо, вот что! Здесь берут верх настоящие люди!

— Замолчи лучше, Маргарет! — пригрозил ей я.

Но она уже не могла удержаться. Ей надо было высказать все, что она столько времени копила в себе.

— Обида тебя грызет, обида! Ты хотел бы видеть нас всех на коленях перед тобой, да? А кто ты такой, собственно? Поглядись в зеркало. Таких, как ты,— миллионы. Один из беженцев, который нашел здесь то, чего в жизни не мог бы достичь в том болоте, где родился! Ты не способен чувствовать ничего, кроме тайной досады! Никуда ты не денешься от своего происхождения: жалкий латиноамериканец, годишься для уик-энда и ни для чего больше!

Она неожиданно так низко упала в моих глазах, что я не знал, что и ответить. А она все кричала. И даже самые чистые наши воспоминания сумела запачкать своей злобой. Будто отчаянно старалась сделать ненавистным для нас обоих каждый миг, проведенный вместе. Ни один атом нашего счастья не избежал лавины ее оскорблений.

Внезапно она рухнула грудью на стол; несколько тарелок, подпрыгнув, упали и разбились. Все ее тело содрогалось от отчаянного плача, и русые волосы, свесившись с ее головы, разлетелись по ручейкам кофе, разлившегося по скатерти. Потом она выпрямилась, так же внезапно. Я увидел ее знакомое красивое лицо, ее глаза, в которых пылала ненависть. И крошки хлеба, прилипшие к ее длинным ресницам...

---

[1] Кубинского сахарного тростника *(англ.)*.

— Ты грязный латиноамериканец! Но тебе удалось обмануть только меня. Мои родители были правы: от людей такого сорта нельзя ждать ничего хорошего.

Я не смог бы теперь определить, какие чувства кипели во мне, когда я слушал все это и одновременно видел слезы, текущие по ее лицу, смывая пятно кофе, так ясно темнеющее на ее коже безупречной белизны.

— Мы оба ошиблись, Маргарет, и ничего больше. Давай все забудем...

Она бросила на меня взгляд, мутный от гнева:

— Забыть, правда? А ты пойдешь играть на гитаре, дрянь!

Она и в эту секунду не могла отстать от своих примитивных представлений. Я не спросил: на какой гитаре? Я прекрасно знал, откуда это все берется. Из какого-нибудь бульварного романа, из какого-нибудь третьесортного пошленького фильма, где обязательным персонажем является латиноамериканец, играющий на гитаре, чтоб развеять тоску. Но ее убеждение было так глубоко, что, несмотря на весь свой комизм, оно меня даже трогало. Ибо оно означало, в весьма своеобразной, надо сознаться, форме, что она пыталась как-то понять мой мир, и попытка эта была такой же непреложной истиной, как слезы, открывшие розовый просвет на ее вымазанных кофе щеках. Мне хотелось сказать ей, что в нашей истории вся ответственность лежит на мне, но тут ее прерывистое дыхание стало чуть ровнее, и я решил смолчать. «Это у нее была минута слабости,— подумал я,— после этих слез она станет тверда, как железо».

Я пошел в другую комнату и стал складывать в чемодан свои вещи. Прошло меньше года с тех пор, как я в этой же комнате выкладывал их из чемодана. Тогда со мною была совсем другая Маргарет: веселая, доверчивая, такая красивая...

Когда я впервые случайно встретился с ней у зубного врача, ее красота просто ослепила меня. Я сказал ей: «Оказывается, у ангелов тоже зубы болят?..» Она взглянула на меня, словно не поняв шутки; потом нахмурила брови и презрительно отвернулась. Мне показалось, что меня ударили по лицу. Я извинился за неудачную остроту. Я назвался и спросил, как зовут ее. «Это уже лучше,— сказала она надменно,— а главное, проще. Меня зовут Маргарет».

Маргарет вошла в мою жизнь в той ее точке, когда все ломалось. Мы кончали университет. И за порогом его нас подстерегала новая диаспора. Мы покидали последнее наше убежище. Пару дней назад я провожал Джеральдину, возвращавшуюся домой. Мы остановились у ее подъезда и молчали, вдыхая мирную тишь ночи. Я понял, что в эту минуту мы оба думаем об одном: «Теперь разбредемся в разные стороны, да и встретимся ли?» Джеральдина, все так же глядя в ночь и не оборачиваясь, подняла руку и стала медленно гладить меня по волосам, как делала, когда хотела выказать свою нежность. И вдруг неожиданно приникла ко мне головой:

— Не знаю, что ждет нас, Але... Сейчас, по крайней мере, нас ждет одиночество...

Да, мы были обречены на одиночество и знали, что наша сплоченная группа разлетится теперь кто куда. Университетская жизнь была для нас всех раем, но, к сожалению, временным. Из этого рая мы вынесли два-три понятия, необходимых, чтоб продолжать жить, но одновременно и твердое убеждение в том, что навсегда потеряли свою родину, более того, что эта родина неуклонно плыла по избранному пути, на котором случайным облачком таяло не только наше прошлое, но и любая наша попытка заглянуть в будущее.

— Каждый день она все дальше от нас, Джеральдина. Грустно видеть, как она удаляется. Сейчас еще труднее...

— Почему труднее?

Я вдруг понял, что не сумею ответить на этот вопрос. Джеральдина, заглядывая мне в глаза, настаивала:

— Так почему же?

Я сказал резко, как с гвоздя сорвал:

— Я научился любить ее, Джеральдина; это моя единственная родина.

Сквозь слезы, застилавшие ей глаза, лицо моей подруги просияло:

— Ты в первый раз сознаешься в этом, Але!

Она взяла мои руки в свои и приложила к губам, потом провела ими по своей мокрой щеке. Несколько девушек, входящих в эту минуту в подъезд, скромно отвели глаза и улыбнулись; когда дверь закрылась, мы услышали их смешки.

— Но если родина презирает нас, то что нам в ней? — сказал я горько.

— Если любишь по-настоящему, то и презрение можно вынести. Мы все теперь расстаемся, будем одиноки, но будем знать, что где-то есть что-то, принадлежащее нам.

Я, однако, не заглядывал так далеко, как она. Я знал только, что наступил конец счастливой передышке, что настало время пробуждения от счастливого сна. Как бы глубоко ни вошла она в мою душу, Куба была иллюзией, прекрасной иллюзией, причиняющей боль, и лучше всего было забыть о ней раз и навсегда. Я не видел иного выхода.

Маргарет помогла мне в этом решении. Она была моим последним прибежищем, моей последней надеждой. Когда мы решили уехать в Детройт — это было попыткой отделиться от наших семей; так, по крайней мере, мы сказали друг другу. Однако весьма вероятно, что у нее было тайное намерение оторвать меня от «мира эмигрантов», как она называла всех нас. Что же касается меня, то эта ее крайняя позиция пришлась мне по сердцу. Меня тянуло к этой атмосфере мягкого внимания, ненавязчивой предупредительности, какой она меня окружила, мне нравилось это ее умение сразу отделять зерно от соломы, как у нас говорят, привлекало ее традиционное воспитание, выражавшееся в каждом жесте, в каждом мельчайшем поступке, даже в той аккуратности, с какой она раскладывала все предметы в своей сумочке. И этот свет, каким внезапно озарялось ее лицо...

В Дейтроте мы были счастливы. Я хотел убежать от всего, хотел, чтоб «пролегла земля» между настоящим и всем, что составляло доселе мою жизнь, с ее сомнениями, думами и разочарованиями. Я изо всех сил старался «быть как все». Кем-то, кто утром идет на работу, кто мечтает о повышении по службе в конце года, кто всеми правдами и неправдами пытается завоевать расположение начальства... Кем-то, кто по вечерам возвращается в свой дом, измученный усердием целого дня, и находит там жену, исполненную нежности к нему, вместе с кем путем долгих и незаметных чужому глазу усилий он строит их общий внутренний мир, прочный и неколебимый.

Так что в этом русле слова Маргарет были для меня путеводной звездой: «Не надо больше биться над тем, чего не поправить; надо идти по жизни, как она сама ведет тебя. Зачем забивать голову какими-то большими проблемами, когда каждый день подкидывает тебе свои, маленькие?» И, ведомые этой звездой, мы взяли курс на Детройт. Сняли крохотную квартирку и с легкостью отдались нашему мирному счастью. Оно сколько-то времени продлилось, это счастье. Как раз столько, сколько понадобилось мне, чтоб уверить себя, что все мои мечты о Кубе — пустой сон, и суметь отогнать этот сон, казалось, навсегда.

Маргарет работала в одной оборотистой фирме коммерческих публикаций, я попробовал себя на двух-трех местах, пока тоже не подыскал нечто подходящее. Вернее, это Маргарет подыскала мне место. У нее было одно большое достоинство — уходить с головой в любую работу, словно это и была та идеальная работа, к какой она всегда стремилась; но одновременно она всегда намечала себе цель немножко выше своих возможностей. И с ловкостью скакала со ступеньки на ступеньку, нимало не пугаясь, если на высшей ступеньке случалось упасть.

В тот вечер мы назначили друг другу свидание в одном из баров в центре города. Она вся просияла, когда я сообщил ей, что мне доверили должность в университете.

— Желаю счастья, мой хороший...— сказала она и поцеловала меня; и, еще не донеся бокал до губ, добавила: — Теперь следующим шагом будет...

Однако Маргарет, которая всегда все угадывала, не могла предвидеть того, что должна была привнести в нашу общую жизнь моя новая работа.

В те времена брак наш казался твердым. Мы сделались независимы от наших семей — полностью и окончательно, как Маргарет делала все. Вначале — одно письмо в месяц. Редко какой-нибудь телефонный разговор, причем обычно звонили ее родители. Моя переписка была немногим более оживленной. Друзьям я писал мало, а они всегда адресовали свои письма на университет. Я вел себя так потому, что чувствовал: Маргарет ни за что мне так не благодарна, как за мое отдаление от латиноамериканской среды. Мало-помалу наша жизнь сосредоточилась на нас самих, и я был этому даже рад. Двое отшельников, счастливых на своем необитаемом острове. Где-то далеко-далеко был остальной мир, но это как-то мало нас заботило.

Подобный взгляд на вещи не помешал нам, однако, обзавестись новыми друзьями, с кем мы делили наши уик-энды. В основном это были люди из агентства, где работала Маргарет, и других, смежных с ним. Самый близкий из моих приятелей был Эдвард, преподаватель классических языков, который довольно часто приглашал нас к себе на дачу.

В последний раз он нас пригласил уже в начале зимы. Всю ночь шел снег, но теперь затвердел на дороге ровным покровом, и мы без труда добрались до небольшого дома, который Эдвард унаследовал от своих родителей и который, по его словам, обходился ему дороже, чем роскошная вилла на самом фешенебельном курорте.

— Не стану уверять вас, что этот домишко — доказательство щедрости моих родителей,— сказал он, наполняя наши бокалы.— Если б я его подарил кому-нибудь, то был бы вольная птица: без долгов да еще со сбереженьями.

У Эдварда был особый юмор, острый и слегка цинический, почерпнутый, быть может, из культуры народов, которые перенесли упадок после того, как ослепили весь мир своим расцветом,— культуры, составлявшей его специальность. Казалось, для него все обречено на крушение, но он принимает это обстоятельство спокойно и только лишь действует в согласии с ним. Все в свое время, все с удовлетворением, и все — будто в последний раз. И однако, жизнь его текла ровно: он заранее планировал каждую минуту и с уверенностью знал, что́ будет делать вечером такого же дня ровно через месяц.

— Нет ничего лучше доброго виски после всех этих снежных далей, Эдвард.

— Домашнее,— уверял он,— у меня в подвале собственный перегонный куб. Наследство отца, он был запасливый и типичный человек из Кентукки.

В этот момент какая-то машина остановилась под заснеженными елями напротив дома. Ели были громадные, и стволы их с северной стороны покрыты были бурым мхом. Эдвард подошел к окну, отодвинул край занавески и одновременно взглянул на часы.

— Это чета Вальдивьесо,— сказал он.

Маргарет нахмурилась, услышав такую фамилию, и поставила свой бокал на рояль.

— Они очень славные,— сказала Энни, супруга Эдварда.— Он переводчик, а Луиза архитектор.

Вальдивьесо был аргентинец, который здесь окончил университет, а потом так и не вернулся на родину. Он обрадовался, узнав, что может поговорить по-испански. Мы с ним разговорились, и в тот самый вечер он пригласил меня прогуляться по лесу, начинавшемуся сразу над рекой, где мы купались летом. Сейчас река местами замерзла, и не слышно было ее приветного шума. Несколько запоздалых уточек тихо плавали по ее словно недвижным водам. Быть может, они были слишком стары, чтобы пуститься в далекий путь, и решили покорно ждать смерти в тисках крепчающей зимы.

Вальдивьесо остановился поглядеть на них. Потом произнес задумчиво:

— Если б я был одной из этих птиц, я поступил бы так же. Не смог бы всю жизнь метаться с одного места на другое. Странная это черта человека — стремленье к перемене мест. Если б я когда-нибудь вернулся в Аргентину, я б уж никуда больше не двинулся.

Удивительное дело: он произносил английские слова, как коренной американец из Бостона, но по-испански говорил так, словно всю жизнь прожил на улице Корриэнтес, в самом центре Буэнос-Айреса.

Гуляли мы долго; поднимались на холм, довольно даже высокий, смотрели оттуда на заснеженную равнину, на шрам реки, прорезавший ее, на наш загородный дом, над которым так медлительно и уютно подымался вверх в нахмуренное свинцовое небо столбик дыма. Мы вернулись уже затемно, и Энни сказала мне, что Маргарет внезапно стало плохо и она ушла к себе.

— Наверно, простудилась,— предсказала Энни,— ей надо выпить грогу с лимоном, это лучшее средство после длительных походов, лучше даже, чем виски...

В отведенной нам комнате наверху я застал Маргарет в крайне раздраженном состоянии.

— Ты как наркоман! — сказала она.— Не можешь удержаться от соблазна поболтать на этом проклятом языке! Бросил нас всех и отправился с каким-то аргентинцем!

Она никогда еще не говорила со мной так. Я пристально посмотрел на нее и увидал, что у нее даже губы дрожат от гнева.

— Что случилось, Маргарет? Ты, кажется, сильно преувеличиваешь мою вину.

Она села на постель и печально покачала головой:

— Я знаю, что произойдет, Алехандро. Здесь тебя тоже затянут в этот эмигрантский мирок. Все разрушат. Я уверена, что они все разрушат.

Это голословное, необоснованное обвинение в конце концов вывело меня из себя. Между нами произошел неприятный разговор. И на следующий день под каким-то благовидным предлогом мы вернулись в город. Маргарет действительно не ошиблась в своем предчувствии, хоть я и утверждал с жаром обратное. У нее был верный инстинкт на такие вещи. В моем быстром сближении с четой Вальдивьесо она сумела угадать скрытую опасность для созданного нами вдвоем своего мира, скрытую угрозу, могущую взорвать его и превратить в развалины.

Одним весенним вечером — уже начался ледоход, и мутная вода бежала по улицам, а небо своей прозрачностью и голубизной уже возвещало неудержное возрождение природы — Вальдивьесо зашел за мной в университет. Он тогда переводил один роман и хотел о чем-то со мной посоветоваться. Мы пошли к ним и, после того как закончили работу, стали потягивать горький мате, который он заваривал с величайшим искусством и наслаждением.

— Чтоб заваривать мате, требуется особое искусство. Я с детства усвоил главные навыки. Заметно, нет?

Я улыбнулся и пожал плечами.

— Превосходнейший мате,— сказал Фабрегат,— лучше не бывает!

Фабрегат пришел несколькими минутами раньше, вместе с другим уругвайцем, по фамилии Окампо. Вальдивьесо ждал их с нетерпением. Они были приглашены специально, чтоб оценить мате, искусством заваривать который так гордился мой друг.

— Эту «траву»[1] получаю два-три раза в год,— объяснял он.— У меня налажено нечто вроде частной сети международной контрабанды. У нас, обитателей юга континента, горький мате[2] входит в состав крови. Как гемоглобин...

В тот вечер, простившись с Вальдивьесо, который подвез меня домой на своей машине, я почувствовал тяжесть на душе при мысли, что покидаю такой теплый, такой родной мне мир, чтоб разом шагнуть в другой, совсем на него не похожий. В эту минуту я волей-неволей вынужден был признать, что Маргарет оказалась права в своих предсказаниях. Но эта ее правота пугала меня. Я давно уже не был так растерян. Словно только теперь понял, что все это время жил как в тисках...

— Этим чудакам надо объяснять, что жаркое не едят руками. Представляешь?

— Оставь в покое чудаков, Окампо, нас угощают мате, понятно? Не делай его слишком горьким.

Даже в этом Маргарет оказалась права. Язык — это как наркотик. Я наслаждался самим звучанием этого наречья, безудержного, непокорного, узористого, как татуировка.

— Чертов напиток! До чего же хорош! — говорил Фабрегат.— Представляешь, моя спесивая так и не пожелала попробовать мате! Уж эти мне гринго!

В тот вечер я боялся, что Маргарет при одном взгляде на меня догадается, что происходит в моей душе. Я успокоился, не застав ее дома и услышав вскоре по телефону ее голос, сообщивший, что она вернется поздно. Наверно, задержалась на работе, срочное что-нибудь... Когда она вернулась, было уже за полночь, а я все еще не спал. Я думал о Крист; так долго думал, что в ту ночь она мне снилась. Мучительный какой-то сон, я потом никак не мог вспомнить...

Во время завтрака Маргарет сказала, что я во сне очень метался. Я не признался ей, что был у Вальдивьесо, сказал, что допоздна проверял письменные задания студентов. Почувствовал ее особый какой-то взгляд на своем лице; мне показалось, что она нахмурилась. Я вообще-то не умел врать, а обманывать ее проницательность — и подавно.

С этого времени все стало незаметно, но неуклонно меняться в моей жизни. Я вдруг поймал себя на том, что живо интересуюсь известиями о моих друзьях в Майами. Раньше я наскоро распечатывал их письма в университетских коридорах, рассеянно пробегал глазами и бросал. Теперь я прятал их в карман, чтоб спокойно прочесть на досуге. С этого времени я стал скучать по своему кубинскому окружению, по кубинским обычаям, даже кушаньям. У меня было всего несколько пластинок и кассет с нашей музыкой, но, вернувшись с работы, я со стаканом доброго вина в руке, закинув ноги на маленький столик, наслаждался звуками этой музыки, которая казалась мне единственно настоящей.

---

[1] Жерба-мате — высушенные и измельченные листья одноименного дерева, служащие для приготовления популярного у аргентинцев и уругвайцев напитка.

[2] Мате без сахара, предпочитаемый аргентинскими гаучо.

Но на другой чаше весов была Маргарет, та, что соединила свою жизнь с латиноамериканцем, кого никогда не сможет понять, человеком, бесконечно увязшим в своем прошлом и не способным понять всю громадность ее усилия, понять, как многим она рисковала, чтоб приобщить его к жизни своей страны, сделать частью ее, ассимилировать...

Это не было ни переломом, ни крушением, ни самопожертвованием ни с той, ни с другой стороны. Просто наш остров медленно поглощался океаном. Океаном молчания... Обманывать ее было невозможно, да и не имело смысла. Разве она не поняла все с первого мгновения? Или могла не видеть стены, подымающейся между двумя нашими взглядами на вещи и погребающей под собою созданный нами особый мир? Вальдивьесо был в такой же мере детонатором этой катастрофы, как и ее августом. Маргарет понимала это и поэтому никогда его к нам не приглашала. В тот далекий зимний вечер в доме Эдварда она с первого взгляда поняла всю природу четы Вальдивьесо. Разрыв двух миров, таких разных, которые она пыталась соединить в один, вдруг стал для нее очевиден, и она ужаснулась. «Несовместимость...»— сказала она мне печально, глядя на снег, падавший на крышу дома. Из-за ее плеча смотрел я на зимний пейзаж, на стылые, голые деревья, возвышающиеся, чернея, навстречу хмурому небу, и начинал верить тому, что сказала Маргарет. Но все-таки надеялся, что это только момент такой, что все еще пройдет. И я улыбнулся ей, глядя на ее крепкие маленькие груди, резко очерченные, обтянутые джемпером, на ее светлые, блестящие волосы, мягко падающие ей на плечи, на ее гордо вздернутый носик, на ее стройные, худые бедра. Я осторожно обнял ее за талию, но она не обернулась, будто и не заметила... Вообще-то я не разделял ее страхов: Вальдивьесо был для меня тогда всего лишь представителем того мира, от которого я хотел отстать; к тому же, после долгого похода по глубокому снегу, засыпавшему все тропинки, я теперь разгорячился, и больше, чем ее слова, волновали меня аромат ее волос, нежность ее гладких пальцев, вся ее плоть, что так меня заворожила. И я постарался помириться. Я целовал ее шею, грудь, руки. Она обернулась, дрожа, и прижала свои губы к моим. И стала сама срывать с меня одежду и заставила обещать, что завтра же утром мы вернемся домой. Я обещал. Я в эти минуты обещал бы все на свете...

И мы вернулись домой. Медленно, шаг за шагом, отдалялись мы друг от друга без единого слова. Как прежде, бывало, понимали друг друга без единого слова. Наверно, Маргарет хотела избежать крушения. И наверно, раньше и вернее поняла, что оно неизбежно. Я не смог бы сказать сегодня, что думала Маргарет все это последнее время перед нашей разлукой...

То, что раньше соединяло меня с Маргарет, теперь разлучало меня с ней. Маргарет была моей последней попыткой отказаться от моего мира; но едва этот мир поманил меня, как я уже окунулся в него, вырвавшись из ее объятий. И лицо ее, еще недавно видевшееся как образ нежности и сочувствия, теперь представлялось мне выточенным из мертвого камня. И все стало для меня тайной за этой маской, хранящей те же любимые черты, но теперь лишенные обаяния, прежде их оживлявшего. Словно видел я перед собою знакомый пейзаж, еще недавно озаренный солнцем, а теперь затуманенный зимней вьюгой... И не видно ни зги, и нет присутствия человека, а только бескрайняя пустыня из льда и снега... Нет, мне не пришлось отказываться от Маргарет. Любовь ушла от нас как-то незаметно, и под конец я открыл, что живу рядом с человеком, которого никогда не существовало...

Да, Маргарет была права. И вместе с тем ошиблась. Она, как Луиза, супруга Фабрегата, хотела создать типично американскую семью. «Я атипичен...»— сказал я ей как-то, но Маргарет улыбнулась своей обезоруживающей улыбкой и, притянув меня за уши, ответила: «Типичного североамериканца в природе не существует, миленький. Но можно попытаться им стать». Это был единственный раз в ее жизни, когда она ошиблась.

В ту весну я уже не пытался «им стать». Напротив, после работы я все чаще заходил к Вальдивьесо. И, открывая мне дверь, он неизменно говорил:

— Луизы еще нет, так что мы будем все равно как в Буэнос-Айресе.

На этот раз я принес ему бутылку рома «Бакарди», пуэрто-риканского, и разворачивал ее, пока он ставил пленку с записью танго Гарделя. Потом он принес тарелочку со льдом.

— Обожди немного, я сейчас приготовлю что-нибудь...

Он вышел, а я остался наедине с драматическим голосом Гарделя; но я не вслушивался в слова танго, так же как и в слова моего друга, что-то кричавшего мне из кухни. Вода, текущая из крана, заволакивала звук, и так было даже лучше. Я пил ром медленными глотками, и голос аргентинского певца, словно убеждающий в чем-то, погружал меня в какое-то особое одиночество. «Твой дом стал храмом заговорщиков»,— хотелось мне сказать Вальдивьесо. Но я промолчал: он выбрал свою форму существования, и ему было бы неприятно, если б кто-то бросил ему это в лицо. «А ведь он счастлив...— подумал я.— Каждый в этом доме живет своей отдельной жизнью, но они ухитряются быть счастливыми вместе. Две частички двух разных семей, которые никогда не составят одну, но живут под одной крышей, одними заботами и, когда наступает ночь, ложатся в постель рядом друг с другом, а не с одиночеством».

— Сегодня Луиза вернется поздно,— крикнул он мне из кухни,— они там какой-то проект обсуждают.

Была в его словах радость мальчишки, которого отпустили погулять. В дверь просунулось его улыбающееся лицо: оркестр играл первые такты уже другого танго.

— Послушай только, что за прелесть! «Мой Буэнос-Айрес любимый...» Здорово, а?

Но тут я почему-то вспомнил Маргарет. Она, когда мы познакомились, всячески показывала, что все, что я люблю, без чего жить не могу, для нее не существует. Она бы никогда не поняла восторгов Вальдивьесо, так вот замершего в дверях при звуках танго Гарделя. Мои же чувства она понимала, только когда они касались ее, остальное было ей неинтересно. Я вспомнил ее бесстрастный голос, упрямую складку бровей, ее взгляд, устремленный куда-то в пустоту. «Почему ты всегда должен помнить про этот чертов остров? Пусть им занимаются чиновники Госдепартамента. За это им и деньги платят. Верно?»

Да, я замечтался... Я думал, что у меня есть семейный очаг... Наверно, с Фабрегатом, Окампо и Вальдивьесо случилось то же, что и со мной,— они тоже хотели сохранить, не соединяя, два несоединимых куска своей жизни. Но им это лучше удалось. Я же не смог. «Вы должны,— не раз говорил мне Вальдивьесо, переходя на «вы» для вящей торжественности,— подыскать себе свой уголок в жизни. Постепенно. Не спеша. А иначе — и зачем жить-то?»

Может быть, этот уголок и есть та комната, где я сейчас сижу и куда Вальдивьесо входит осторожно, на цыпочках, чтоб не заглушить голос, так глубоко проникающий ему в душу... Уголок, куда стекаются все эти жизни, кружась в нескончаемом хороводе воспоминаний...

Нет, я бежал не к Маргарет; все было проще — я бежал от самого себя. Вальдивьесо усадил меня в уютное кресло, и мы молча слушали музыку, глядя куда-то в пустоту. А Карлос Гардель все настаивал и настаивал на том, что странник, покинувший родные края, всегда возвращается к первой своей любви. И пока ром медленно струится в горло, мысли мои постепенно сосредоточиваются на словах, вначале показавшихся мне слишком напыщенными, слишком «из танго», покуда не открылась мне вся их разрушительная сила: «Кто край покидает родной, тот снова вернется, вернется...»

И если путь твой уперся в тупик, то от этого тупика — я понял это позднее — может начаться твое возвращение.

...И вот, засовывая наспех свою одежду в чемодан, я в последний раз услышал голос Маргарет, звучащий и вопросом и обвинением. Он донесся до меня из кухни, куда она пошла поставить в холодильник масло, выбросить что-то разбитое, все равно... Во внезапно наступившей тишине я слышал сначала собственное прерывистое дыхание, потом звон посуды и потом уже ее голос — какой-то внезапно потухший, сдавленный, чужой. Я представил себе, как она сейчас, верно, растеряна, огорчена... Но тут я услышал всегдашний ее вопрос, на который она так и не нашла ответа: «Господи! Как это здесь, в стране таких возможностей, они не умеют ничем воспользоваться?» Что ответить тебе, Маргарет? Мне нечего было ей ответить. Потому, что сквозь ее голос я слышал другие голоса: голос Гарделя, обещающий своему любимому городу Буэнос-Айресу, что не будет больше ни горя, ни забвения, и на фоне этого голоса голос друга своего Вальдивьесо, ласково убеждающий меня найти свой уголок в жизни...

Она выходила из столовой, когда кто-то сказал ей, что директриса хочет с ней поговорить.

— Со мной?

— С тобой.

Она взглянула на часы:

— Сейчас?

— Сейчас.

Она поморщилась и пошла по длинному коридору — к вестибюлю. По мере того как она приближалась, стихал стук алюминиевых подносов и перекличка ребячьих голосов. Подымаясь по лестнице, она вспомнила, что накануне должна была представить результаты последних экзаменов. Но навряд ли директриса звала ее за этим — в крайнем случае послала бы напоминание через швейцара. Она остановилась у двери дирекции и в последний раз постаралась представить, зачем она здесь нужна. Потом пожала плечами, постучалась, и, не дожидаясь ответа, открыла дверь, и вошла.

Директриса посмотрела на нее поверх очков и, чтоб не забыть, заложила страницу в раскрытой папке каким-то случайным листком со стола.

— Садись. Ты знаешь, зачем я тебя вызвала?

Ана не ответила, а только взглянула на говорившую, пытаясь угадать по ее лицу, приятный или неприятный предстоит разговор.

— Поздравляю тебя,— сказала директриса вставая.— Ты выбрана для зачисления в бригаду по ликвидации неграмотности, направляемую в Никарагуа. На днях переедешь в общежитие.

Ана немножко испугалась, и директрису, казалось, забавляла ее растерянность.

— С этого дня ты свободна. У тебя уже есть заместительница. Ты что, так и будешь молчать?

Ана вскочила с места и обняла директрису.

— Просто не могу поверить!

— Выбран также Эрнесто, с третьего курса, и Хулито. Устроим нынче коротенькое собрание, чтоб сообщить всем эту новость. Выедете самое позднее через месяц. И это будет самый долгий и самый короткий месяц в твоей жизни...

Ана пошла к телефону, набрала первые цифры и положила трубку.

— Лучше сама скажу...

— Твои родители будут очень довольны.

— Особенно отец. Мама станет думать про сомосовцев, про змей, про наводнения и про лихорадку... А что мне нужно теперь делать?

Директриса протянула ей печатный листок.

— Здесь все сказано. Про фотографии, карты, еще какие-то бумаги... И хоть здесь это и не сказано, когда приедешь в Никарагуа, обязательно напиши нам хоть пару слов, выбери время. На утреннем сборе мы прочтем.

— Так когда выезжаем?

— Недели через две переедешь в общежитие. А оттуда вы прямо направитесь в аэропорт, где начнется самое волшебное приключение в твоей жизни. Я смотрю на тебя и вижу себя саму двадцать лет назад, карабкающейся по горам с букварем и фонариком.

— Тоже в бригаде по ликвидации неграмотности?

— Да, в горах Эскамбрая [1]. А вот вам досталась Никарагуа. Так ты рада?

— Все еще поверить не могу,— сказала Ана, внезапно приуныв и опустив голову.

— Большая ответственность, а?

Ана покачала головой как-то нерешительно:

— Я вдруг представила, как одна пробираюсь по сельве, и испугалась. Это серьезное испытание. А вдруг не выдержу?

— Выдержишь. Поначалу все чувствуют одно и то же. И мальчики, между прочим. И еще: кто тебе сказал, что ты будешь там одна? Тебе придется отдавать все свои силы, но зато ты многому научишься.

Ана улыбнулась:

— Не беспокойтесь. Когда я в первый раз пошла работать в сельскую школу, со мной то же самое было. Родителей только вот жалко, очень будут тосковать.

Директриса погладила ее по голове.

— Конечно, но зато будут гордиться тобой. Нелегко, я понимаю, но нужно.

— Спасибо.

— Еще одно. Ты — наша первая учительница-интернационалистка. Мы от тебя многого ждем. Ты ведь не обманешь наших надежд, правда?

---

[1] Эскамбрай — горный хребет в центральной части Кубы.

— Не обману,— отвечала Ана, и голос ее дрогнул на этих словах.

— Вот и отлично. Да что с тобой, девочка?

Директриса обняла ее, увидев, что Ана заплакала.

— Успокойся, милая, успокойся...

Двадцать лет назад такие слова говорил ей самой ее отец при подобных же обстоятельствах. И она повторила теперь этой девочке и другие слова отца:

— Это первое важное задание в твоей жизни. Ты теперь взрослая.

Но только отец сказал это твердо, а ей пришлось снять очки, потому что стекла вдруг замутнели.

«Засунуть человека в Нью-Йорк — это все равно как впихнуть птицу в мешок, полный камней»,— так сказал мне Пол, потом улыбнулся своей мимолетной улыбкой и пожал плечами. Я тогда только что приехал и камней пока еще не успел почувствовать. Да и мешок, надо сказать, показался мне огромным. И без камней, пустым — настолько огромным и пустым, что ты в нем становишься какой-то незаметной крупинкой.

— Поживешь здесь, так и камни почувствуешь,— настаивал Пол.

Мы в тот вечер гуляли по центру. Позавтракали в турецком кабачке, хозяин которого был знакомцем Пола. Кабачок был тесен — так, подвальчик,— но кофе был и вправду хорош. Потом мы отправились на пароходике взглянуть поближе на статую Свободы, а когда вернулись на пристань, то уж совсем стемнело и весь город был ярко освещен. Пол сказал, что в эти часы здесь гораздо менее опасно гулять, чем в Майами.

В ближайшей лавчонке мы купили хлеба, ветчины, сыру, несколько банок консервов и пива. Пол снимал комнату у одной пуэрториканки с правом пользоваться кухней; по договоренности, он должен был есть у себя, но на деле сеньора Феррер разрешала ему обедать или ужинать в столовой, особенно если у него бывали гости. Сама она любила есть в своей комнате — так ей реже приходилось прибирать столовую.

Когда мы пришли, Пол представил меня сеньоре Феррер и пригласил ее выпить с нами пива. Она поначалу отказалась, но потом соблазнилась и выпила стакан с видимым удовольствием.

— Пол знает, что такому искушению я долго противиться не могу,— сказала она в оправдание, пряча подбородок меж толстых грудей, словно растущих прямо от шеи, как черепаха, прячущая голову в панцирь.

— Пьянчужка вы! — сказал Пол, устремив на нее свои смеющиеся мышьи глазки.

— Ну уж, ну уж...— запротестовала старуха, и на ее жирных щеках вспыхнул стыдливый румянец.

Допив свое пиво, сеньора Феррер пожелала нам доброй ночи и вышла из кухни, немножко покачиваясь и невинно поводя своими необъятными бедрами. Пол открыл пару банок и стал готовить сандвичи.

— Как твои старики?

Он как будто не слышал меня; потом кивнул головой, словно этим все сказано; и в конце концов, когда я уж не ждал ответа, сказал, не подымая глаз от ветчины, которую в этот момент нарезал:

— Они теперь в штате Флорида, в Тампе; им немного легче. После операции маме пришлось уйти из ателье. Теперь она присматривает за детьми. На то, чтоб выплачивать долг за больницу, им хватает.

Пол положил сандвичи на тарелку и направился в столовую; я взял пиво и пошел за ним. Он накрыл на стол и достал тюбики с томатным соусом и горчицей.

— Старик так же ничего не понимает, как и раньше. По его мнению, я несколько исправился: не наркоман, не хиппи, а увлечение коммунизмом у меня пройдет. Мы стали переписываться...

Он сел рядом со мной, и я с любопытством рассматривал его. Но он деловито жевал свой сандвич и не заметил моего любопытства.

— Вот,— сказал он,— послушай, что отец пишет в последнем письме: «Ты должен научиться жить в этом поганом мире, сынок. Если ты хочешь, чтоб у тебя была нормальная семья, тебе придется многому поучиться. Но не забывай, что мы нашли здесь убежище. По крайней мере, за это мы должны быть благодарны этой

стране».— Пол уныло покачал головой: — Ну что я могу с ним поделать? Он неисправим.

Он налил пива в мой стакан, а сам допил бутылку из горлышка и вытер губы тыльной стороной руки:

— Он никогда не простит мне. Для них, с трудом усвоивших несколько английских слов, я был опорой и надеждой. Они мечтали, что я с блеском окончу университет и сделаю головокружительную карьеру. И прятались за свою мечту. Но я поднес спичку к их яркому воздушному шару...— Он снова улыбнулся одними уголками губ, как улыбаются гангстеры в плохих фильмах.— Я тоже прятался за свою мечту. Другую, правда. Но вовремя понял, что самая уродливая действительность стоит больше красивой мечты.

— Ты мне только два письма написал!

Он неопределенно пожал плечами.

— Не писалось как-то...— процедил он сквозь зубы.

Я продолжал смотреть на него, но он, казалось, забыл обо мне...

— ...поначалу здесь было так же, как в Майами, только еще беспокойнее. Порвав последние связи с той жизнью, я почувствовал себя свободным и решил подчиниться обстоятельствам, не ставя себе никаких препон. Я сошелся с компанией хиппи и был счастлив. Пил, сходился каждую ночь с новой девушкой и глушил себя марихуаной. Но порой меня преследовали ужасные кошмары. Призрак моих стариков вставал перед глазами и омрачал мое счастье. В особенности мысль о матери мучила меня. Теперь, когда я постиг любезное искусство плавать душой в пустоте, ее образ все чаще вырывал меня из моего блаженного состояния. Порой находила на меня чудовищная депрессия, и тогда я чувствовал, как растет во мне лютая ненависть к отцу. Ничего мне так не хотелось, как уничтожить без остатка все, что было во мне от него. В такие минуты мне хотелось покончить с собой. Во время одного из таких приступов я вдребезги разбил зеркало в овощном магазине. Уж не помню, как я там очутился, но вдруг я увидел это совершенно незнакомое, грязное лицо со впалыми щеками и поднял руку с засученным рукавом к этому лицу, и увидел, как дрожит эта тощая, дряблая рука с обвислой кожей. И тогда меня стал бить озноб, и я закрыл глаза, и сжал кулак, и, собрав последние силы, ударил этим кулаком в зеркало. И бросился бежать, пряча окровавленную руку под плащом. Зеленщик за моей спиной испускал отчаянные вопли.

В тот вечер я накурился марихуаны как никогда раньше, и она оглушила меня тоже как никогда раньше. Две ночи подряд я не мог сомкнуть глаз и бродил наугад по городу. Ужасно ныла рука. Похолодало, и боль усилилась. Вот тогда-то я и познакомился с Гарри. Он работал ночным сторожем в доках, а я прятался между бочками с горючим неподалеку от его будки. Сначала он подумал, что я прячу оружие под плащом. Потом увидел мою раненую руку с черной коростой запекшейся крови. Рука была закоченевшая, словно деревянная, рана уже начала гноиться.

Он увел меня в свою конуру, вынул из маленького шкапчика аптечку первой помощи, промыл и забинтовал мне руку. И угостил меня кофе из термоса, хранящегося в том же шкапчике, что и аптечка. Это было единственное, что я взял в рот за двое суток.

Пока я пил мелкими глотками, он задал мне несколько вопросов. Я не отвечал. Но тепло, которое сообщает жизнь всему, в конце концов развязало мне язык. И я стал отвечать ему, словно по инерции, прерывистым и охриплым голосом. И вдруг я сам задал себе вопрос: «А кто этот человек?» Он подошел ко мне, как тень, и я даже не видел еще его лица. Только руки видел — промывающие мою рану и протягивающие мне дымящийся кофе... и еще его сапоги под отворотами брюк, остановившиеся сейчас против меня в какой-то странной неподвижности. При виде этих начищенных неподвижных сапог я вдруг испугался сам не знаю чего. Или даже знаю... Мне было страшно увидеть человеческое лицо... Я только сейчас понял, что боюсь, в сущности, самого себя и что вот уже двое суток как упорно думаю только об одном: как с собою покончить...

— Еще кофе?

Я кивнул, не подымая головы.

Если б я был сыт по горло, я б тоже согласился. Мне вдруг неудержимо захо-

телось плакать, и я сказал себе, что это никак нельзя. «Ты должен выдержать,— сказал я себе.— Перешагнуть через эту минуту, хоть бы тебя на части разорвало».

Я смутно чувствовал, что дошел до какого-то предела, незнаемого доныне. Я был слишком оглушен, чтоб рассуждать здраво, но у меня было такое ощущение, будто я стою на краю пропасти и лишь один шаг — вперед или назад — все разрешит; словно было мне какое-то предзнаменование, но настолько смутное, что была то явь или мечта — неизвестно. Какая-то опасность подстерегала меня неведомо где, и вполне возможно, что, именно убегая от нее, я упаду в ту пропасть...

— Возьми.

Это был голос. Голос, исходящий из человеческих губ на человеческом лице, которого я не видел и не хотел видеть. Каков этот человек? Молодой, старый, белый, черный? Я видел его руку, но не обратил внимания на цвет его кожи. Сам не знаю почему, но мне вдруг захотелось, чтоб это был негр. И старик...

— Как тебя зовут?

Я назвал свое имя.

— А меня зовут Гарри.

Я протянул руку и взял чашку с кофе, которую он мне принес. С удовольствием почувствовал, как мне обожгло ладонь. Снаружи был холодный ветер с рейда.

Нет, он не был негром. Рука, протянувшая мне кофе, была белая. Белые пальцы отдали мне чашку и исчезли из поля моего зрения. Я продолжал сидеть с опущенной головой и видел только ножки стола и две человеческие ноги, отошедшие в сторону и исчезнувшие с моих глаз, как только что пальцы. Я с шумом втягивал в себя горячее питье... Услыхал глухой стук закрывшегося ящика и скрип его ботинок, теперь остановившихся против меня.

— У меня кое-что от обеда осталось,— сказал он.

В следующую ночь он снова отыскал меня среди бочек. Я спал. Сноп света от его фонаря ослепил меня, словно кто нанес мне удар между глаз. Но, услышав его голос, я узнал его сразу. Он пригласил меня к себе в будку. Промыл мне рану и перебинтовал. В этот раз я долго смотрел на его безмолвное лицо. Нет, он не был ни негром, ни стариком. Закончив перевязку, он дал мне сандвич и налил кофе. Я начал жадно есть и услышал его голос, говорящий, что он достал для меня более приличную одежду. Пока я переодевался, он сказал:

— Тебе надо побриться.

Я кивнул, но вдруг понял, что для меня это невозможно.

— Нет! — сказал я.— Надо подстричь эту бороду. Только так.

Он повернул ко мне свое нахмуренное лицо. У него было лицо, словно вырубленное из камня: первый взмах топора — широкий лоб, второй — выпуклые скулы над впалыми щеками, третий — крепкий подбородок. Он, верно, не понял, но мне никак невозможно было сбрить бороду. Сам даже не знаю почему. Я словно укрывался за моей отросшей бородой, и оказаться без этого укрытия было все равно что выйти голым на улицу.

— Хорошо, подстриги,— согласился Гарри.

Я с удовольствием натянул старую кожаную куртку, которую он мне дал. Застегнул молнию под самое горло. Она закрывалась так мягко... Гарри спросил меня:

— Ты пуэрториканец?

— Кубинец,— ответил я.

— А-а...— И он глубоко задумался.

В этот вечер мы долго разговаривали. Гарри слушал меня внимательно, и это развязало мне язык. Я вдруг понял, что уже несколько месяцев ни с кем не говорил по душам. Наступивший рассвет застал нас еще за беседой. Взглянув на часы, Гарри сказал мне, что сегодня мы пойдем к нему домой и поищем для меня какую-нибудь обувь.

С тех пор я почти каждый вечер заходил к нему. Но случилось однажды, что я пришел, накурившись до этого марихуаны. Дело в том, что я случайно встретил нескольких дружков и не мог устоять перед запахом проклятой травки. Один из нашей компании пригласил зайти к нему выпить по стаканчику; вскоре другой начал курить, я стал нервничать и уже не чувствовал вкуса вина, будто я пил воду. Я не удержался и стал курить, но без излишества, только чтоб впасть в блаженное состояние. Хоть и знал, что эта черта — зыбкая и за нею неизбежно

наступает притупление воли, даже если перестанешь курить. Бес уже вселился в твое тело — не остановишь...

Едва взглянув на меня, Гарри тотчас понял, в чем дело, но на лице его ничего не отразилось. Я шагнул ему навстречу и неуверенно протянул руку; но не встретил его руки, потому что она вдруг вздалась вверх, исчезла на мгновенье в воздухе, и вслед за тем я получил такую затрещину, что у меня колени подогнулись. Я грохнулся об пол, задыхаясь от ярости, нащупал нож у себя за поясом, но едва схватился за рукоятку, почувствовал, как его тяжелый сапог пригвоздил мою руку к полу. Я попытался подняться, но силы оставили меня. Голова у меня раскалывалась. Я беспомощно провел рукой по щеке, словно чтоб снять щекочущее ощущение жара. Но дремота уже овладела мною, веки невольно смыкались, и, уже теряя ощущение реальности, я забыл о своем гневе, и единственным, что осталось от пощечины, было ощущение тепла на щеке.

Утром Гарри разбудил меня, тряся за плечи.

— Убирайся! — сказал он.

Я был еще в забытьи и не помнил случившегося. Но, не в состоянии связать свои мысли, я безропотно повиновался и покинул его конуру, как бездомная собака.

В тот же вечер я пошел к нему домой. Я не знал, что скажу ему, и не ждал от этого свидания ничего хорошего. Гарри принял меня со своей всегдашней серьезностью, словно ничего не случилось. Молча открыл дверь. Молча пригласил внутрь, просто отступив на шаг, чтоб я мог пройти. Молча пошел по коридору и провел меня в свою комнату. Я сел на старый, ободранный стул. Мы долго молчали: я, сидя верхом на стуле, держась за спинку и упорно глядя куда-то в стену; он — присев на край кровати, вытянув ноги, упершись каблуками в пол и вертя носком то одного сапога, то другого в явном нетерпении...

Не отрывая взгляда от желтого пятна на обоях, я спросил:

— Почему ты помогаешь мне?

Гарри проворчал что-то неясное, и носки его сапог замерли в воздухе. Потом сказал: «Извини», вышел и вернулся с двумя кружками чаю на подносе. Он еще хмурился, но голос его звучал ласково.

— Верю в человеческое содружество,— сказал он.— В какой-то момент каждый нуждается в помощи. Мне больно смотреть, как ты губишь себя. Кто-то совершил насилие над твоим разумом и твоей душой — но ведь ты ему подыгрываешь! Ты восстаешь против друзей и, сам того не замечая, переходишь на сторону врага. Какое дело этому обществу до миллиона юнцов, глушащих себя марихуаной, если существует несколько миллионов безработных? Вы, по крайней мере, не кричите о праве на труд!.. Миллион молодых, не требующих работы!.. Миллион противников, слагающих оружие без единого выстрела! Не понимаешь ты существа того мира, в котором живешь! Хочешь по-настоящему выразить протест? Есть только один путь: бить по больному месту.

Он смотрел куда-то в сторону, а я смотрел на него.

— Хиппи — это ведь бизнес,— сказал он.— Бизнес, на котором наживается куча людей. Пресса и другие средства массовой информации изображают этот бизнес как доказательство демократии и свободы личного волеизъявления. Но нигде не говорится, что это кастрация воли. Мерзкая и преступная. Индустрия, пускающая в ход любое оружие, чтоб нейтрализовать молодежь. Раскалывают рабочий класс и наживают капиталы на продаже наркотиков. А ты, со всем твоим умом, позволяешь вертеть собой как угодно и еще гордишься, как ребенок, тем, что сам разрушаешь свою жизнь. Видно, не понял еще, что если нужно умереть, то лучше умереть убивая.

Голос его звучал спокойно. Порой он замолкал, чтоб глотнуть с явным удовольствием горячего чаю.

— Ты хочешь протестовать по-настоящему?

Я понимал, что это один из тех вопросов, на которые не ждут ответа. Я все смотрел на желтое пятно на обоях, принимавшее под моим пристальным взглядом неясные очертания верблюда, то одногорбого, то двугорбого.

— Я научу тебя протестовать по-настоящему,— продолжал Гарри.— Ты не дождешься снисхождения от полицейских. Пощады не будет, Пол.

Услыхав свое имя, я оторвался наконец от стены, и мои глаза встретились с его глазами, пристально за мною наблюдавшими.

— Нас станут бить дубинками, и мы вынуждены будем защищаться. Ты дол-

жен твердо заучить одну истину: когда мы протестуем против войны во Вьетнаме, то тем самым объявляем войну несправедливому обществу, в котором живем, с его индустрией вооружений, управляющей нами и разоряющей нас. И если на нас набрасываются с дубинками, это значит, что признают в нас самостоятельную воюющую державу.

— Но это нелепо! Какое мне дело до Вьетнама! Я его и по карте-то не найду. Он слишком далеко! — сказал я, лихорадочно роясь в карманах.

Лицо Гарри было все так же бесстрастно. Движением подбородка он указал мне на пачку сигарет на ночном столике.

— Что действительно нелепо, так это твое поведение. И я не удивляюсь, если с таким взглядом на вещи ты неожиданно для самого себя окажешься за пулеметом, стреляющим во вьетнамских крестьян, или с пулей в груди утонувшим в трясине рисового поля. И то и другое случается ежедневно, очень далеко отсюда, как ты справедливо заметил, но с такими именно, как ты и я.

Он вдруг замолчал. Потом, затянувшись, продолжал задумчиво:

— Ты плохо представляешь себе, что нелепо, а что нет. Ты должен расставить вещи по своим местам...

Гарри научил меня думать. Не то чтоб он привил мне какие-то новые понятия, потому что надо всем этим я размышлял и раньше, но он внес определенный порядок в мои мысли, а это означало — и в мою жизнь.

Вскоре после этого разговора я начал работать. Сперва я мыл тарелки, и Гарри разрешил мне пожить пока у него. Иногда красил пароходы, стоявшие на якоре в порту. Это была тяжелая работа, но когда мне приходилось красить с подветренной стороны, у меня было время думать. И, думая о том о сем, я подсчитал как-то, что для того, чтоб скопить четверть миллиона, крася пароходы, мне пришлось бы прожить сто лет, не истратив ни одного цента.

Но Гарри научил меня не только думать. В ту осень шестьдесят девятого он научил меня также чувствовать и — что самое главное — действовать. Это было время грандиозных маршей протеста против войны во Вьетнаме, и мы не раз узнали на своих спинах действие полицейских дубинок. Тем не менее я испытывал какой-то подъем во время этих столкновений. Я с торжеством смотрел на багровые физиономии полицейских. Я только позднее научился различать испуг, отражавшийся в их глазах. И с того времени уже всегда чувствовал себя выше и сильнее, как бы многочисленны ни были брошенные против нас отряды. Потому что мы шли сюда по собственной воле. И знали к тому же, что они, несмотря на все преимущества своего положения, дорого бы дали, чтоб оказаться в эту минуту далеко отсюда. Эту истину я помнил даже тогда, когда падал на землю, оглушенный чудовищным ударом в лицо, расквасившим мне нос и сломавшим скулу. Кровь неудержимо хлынула из раны, залила мне рот и окрасила красным воду из пожарных шлангов, текущую по мостовой. Словно бутылку красного вина разбили у самой моей головы. Ненависть и бессилие были в моих глазах, когда какие-то двое нагнулись надо мной и оттащили в сторону. Я потерял сознание у них на руках и в последнюю светлую минуту почему-то подумал, что как хорошо, что я их не знаю...

Пол замолчал, словно вернувшись из далекого сна.

— Гарри был прав: уж если вступать в войну, то в войну справедливую. В которой нет ни колеблющихся, ни наемников.

Я усмехнулся:

— А как же убеждение твоего отца, что все это у тебя пройдет?

Пол задумался, выпятив по своей всегдашней привычке нижнюю губу. Я только теперь заметил, что нос у него кривой, как бывает у боксеров.

— Середины нет. Есть только два полюса, две чаши весов. А у тебя в голове каша, Але. Хуже, чем у твоих родителей. У них, по крайней мере, есть ненависть, которая помогает им жить.

Он допил пиво и сказал:

— Пройдем в комнату. А то жжем зазря свет. Сеньора Феррер, наверно, недовольна.

Мы пошли по узкому коридору, круто сворачивающему направо. Свет доходил до нас из глубины, от какого-то мигающего источника над подоконником. Пол отодвинул задвижку на двери своей комнаты и зажег лампочку без абажура, свисающую с потолка. Стены комнаты были увешаны фотографиями; с одних смотрел сам Пол, дру-

гие были вырезаны из журналов — в основном обнаженные женщины. Но над изголовьем кровати висели два портрета — Мартина Лютера Кинга и Че Гевары.

— Вот посмотри,— сказал Пол, указывая мне на противоположную стену, где висела большая фотография Фиделя, выступающего с речью на площади Революции.

— Да тут у тебя миллион людей — половина Гаваны!

Он бросился на постель и кивнул на качалку, приглашая садиться.

— Именно. Когда мы здесь заводим разговор о Кубе, то совершенно забываем про ее народ. Все эти люди, Але, поддерживают революцию. Лет через сто не будет ни их, ни нас, но Куба будет стоять, как стояла, и будет развитой и крепкой страной. И окажется, что мы-то с тобой и пальцем не пошевелили, чтоб помочь ей достичь этого. Так было и с Советским Союзом — богачи бежали, а Правда осталась с бедняками.

— Значит, ты коммуинст?

— Только без вопросительного знака, а с восклицательным: коммунист! На развитие современного мира надо смотреть с позиций человечности. И барьер между старым и новым можно перешагнуть только вместе с революцией. Так и знай.

Он вышел на минуту в кухню, принес еще пива и продолжал:

— Если ты думаешь, что здесь чего-то добились, то ты ошибаешься. Это общество прогнило насквозь. Теперь надо бороться, чтоб спасти от катастрофы то, что можно спасти... Это общество потеряло право на существование. Линкольн, Вашингтон или Гамильтон сегодня не были бы выбраны в мэры даже в какой-нибудь Миннесоте. Люди потеряли смысл жизни. Они довольствуются сидением у телевизора в давно заложенном доме. А правительство народа, для народа и во имя народа целиком находится в руках крупных монополий. Так где же наши идеалы? Упадок, в сущности, и есть вот это самое: неспособность осуществить на практике то, что было нашими идеалами.

Пол еще что-то говорил, но я уже почти не слушал. Вообще-то он давно сказал мне все. Это был тот же самый Пол, какого я знал всегда: если примет какое-либо решение, то уж не отступит. «В этом он неизменно будет на голову выше меня,— подумал я.— Он сумел порвать с прошлым. Он человек свободный, потому что ни от кого не зависит».

— Тому, кто был хиппи и наркоманом, не страшно совершить неожиданный поворот в своей жизни...

Пол посмотрел на меня с удивлением:

— Ты к чему это?

— Ты научился действовать по своему усмотрению...

— Для того человеку и голова дана.

— А моя вот голова качается из стороны в сторону.

— Але, есть только одна правда. И я нашел ее. Она — на стороне рабочих. У меня даже есть выборная должность в моем профсоюзе. Ты не знаком с этим миром. Но правда с ними, поверь. И они единственная сила, которая может спасти эту страну.

Он подошел к окну и распахнул его. Свежий порыв ветра ворвался в комнату. Пол долго смотрел в даль улицы, потом медленно повернулся ко мне:

— Помнишь, как трудно мы боролись за то, чтоб быть здесь как-то приняты-ми? Теперь я гражданин этой страны. Рабочие приняли меня. Их миллионы. Они — мой народ и смысл моей борьбы. Это прекрасно.

Я молча кивнул, но подумал с грустью, что Пол отдаляется от меня. Он и внешне изменился: я почти не узнал бы своего друга в этом худом, подтянутом юноше, с вызывающе вздернутым кривым носом и шрамом, прорезавшим ему щеку.

— Я рад, что ты нашел себе родину...— сказал я голосом, прозвучавшим не очень-то искренне для моих собственных ушей.

Он, должно быть, понял, что́ происходило у меня в душе, потому его голос вдруг стал мягким и печальным, как был когда-то и как помнился мне всегда.

— Родина — это всего лишь группа людей, думающих как ты.

— О чем?

— О том что готовы умереть, если нужно.

— Ради бога, Пол! Я вот не думаю, что мне нужно жить!..

— Не давай сбить себя с толку. Найди свое место.

— Не понимаю, что ты имеешь в виду.

— Ты игрок в рулетку, который одной рукой бросает красные шары, а другой — черные. Рано или поздно тебе придется решить, кто ты есть: кубинец или североамериканец. Потом тебе будет легче постичь оба понятия и добиться целостности души. Я добился.— И он указал на большую фотографию Фиделя, выступающего на площади.

И вдруг он вскочил с края кровати, на которой сидел, подпрыгнул на месте, совсем уж напоминая прежнего Пола, резко погасил сигарету о пепельницу и, глядя на меня своими живыми, блестящими глазками, воскликнул:

— Ты должен ехать на Кубу!

И остановился посреди комнаты, весь в движенье, словно наэлектризованный.

— И как это мне прежде в голову не пришло!.. Ты обязательно должен добиться этого, хоть я сам не знаю, что надо делать. Но ты должен, должен узнать то, что стало самым потрясающим событием континента в наш век! Не спрашивай как! Ты должен ехать на Кубу! Только там ты найдешь ответ...

Пока Алехандро откупоривал бутылку, Эухенио подошел к окну и отдернул штору. Справа открывался вид на бассейн, переполненный купальщиками, на пальмы, на кусты в цвету, колыхаемые легким ветром. Отсюда, с высоты, рой машин у входа казался мирным и безмолвным — каждая деловито скользила в свою сторону. Вдали шоссе круто уходило вверх, и автобусы с трудом ползли по склону, а за дорогой, огибающей отель и спускающейся прямо к морю, выставлялись своими жиденькими кронами сосны соседнего парка.

— Напряженные были дни,— сказал Алехандро у него за спиной.

Эухенио взял стакан, который тот протянул ему, и прилег на постель.

— Я проехал пол-Кубы,— произнес Алехандро.— Это удивительно, сколько здесь сделано за двадцать лет. В Нуэвитасе с плоской крыши здания можно увидеть город как на ладони: с одной стороны — прежний поселок, с другой — современный город, построенный недавно. То же в Ольгине, если подняться на вышку. Или в Сьенфуэгосе. За эти немногие годы Куба ушла вперед дальше, чем за всю свою историю.

Он удобно развалился в качалке:

— Кроме того, мне повезло. Я встретился с интереснымн людьми. Много впечатлений...

И он стал сбивчиво рассказывать о Маноло, о переполохе, вызванном в доме его приездом. Заметно было, что ему трудно собраться с мыслями. «Я — как старый автомобиль,— подумал он,— с трудом еду в гору...»

— А как хвалили моих родителей! Представляешь? Даже их образы нуждаются в этой Кубе, чтоб обрести четкость!

Он поставил стакан на пол рядом с качалкой. Словно для того, чтоб свободнее думать, ему нужно было, чтоб руки были свободны.

— Все так закрутилось...— сказал он.— Был момент, когда мне показалось, что вот сейчас-то я в своей настоящей семье. К тому же, дом наполнился соседями со всего квартала, которые пришли взглянуть на меня. Мне показалось, что я впервые нашел самого себя.

Он опустил голову, а когда поднял, то встретил внимательный взгляд Эухенио. Он с трудом выдержал этот взгляд.

— Потом произошла совсем, казалось бы, мелочь... Один из соседей по простоте душевной сказал мне, что я такой же кубинец, как он. Вообще-то в этих словах нет ничего особенного. Но они как-то все поставили на свои места. Все будто перевернулось во мне, и я почувствовал, что, как дерево, врастаю корнями в землю...

Эухенио встал и тихо расхаживал туда-сюда по комнате, не отрывая взгляда от говорившего. Алехандро сидел, не подымая головы.

— В мою землю...— добавил он тихо.

Они помолчали. Эухенио смотрел в окно на мирную панораму города, на машины, карабкающиеся по склону, рождающемуся у парка с жиденькими соснами.

— Что-то привязывает меня к этой стране,— сказал Алехандро.— Я всегда чувствовал себя кубинцем. Но это чувство было погребено под насыпью из столького разного... А теперь вот...

— Земля обетованная...— сказал Эухенио, и его слова можно было понять и как молитву, и как насмешку.

— Какое-то тяготение... Волшебство какое-то...

Эухенио резко встал перед ним.

— Ты мог бы остаться жить здесь? — спросил он сухо.

Алехандро ответил не сразу. Встал, налил себе рому, протянул бутылку Эухенио, снова сел.

— Не уверен, что осмелюсь на такое...

— Мечта прекраснее действительности! — воскликнул Эухенио, словно с внезапной досадой.

— Это мне известно...

Эухенио резко вздернул голову и вопросительно взглянул на Алехандро, ожидая, видимо, продолжения. Но так как тот молчал, добавил:

— Для меня эти дни тоже были насыщенными, Алехандро. Но единственное ощущение, какое я из них вынес,— меня отсюда выталкивают. Здесь мне все больно. В одной знакомой семье меня приняли более чем холодно. В других — в лучшем случае вежливо. Похоже, что были бы мне благодарны, если б я воздержался от визита. Так-то. Я знаю, что для тех, кто остался, это естественное поведение; но нельзя мерить всех одной меркой. Для меня Куба — нечто недостижимое,— улыбнулся он.— Но я не хочу омрачать твой медовый месяц.

— Ты не подумай, пожалуйста, что я не пережил неприятных минут...

И, взвешивая каждое слово, он рассказал о своем посещении механической мастерской. Об этом чудо-негре по имени Панчо, который сражался вместе с Маноло на Плайя-Хирон... А потом нехотя упомянул о презрительных улыбках и задушенных смешках юнцов подмастерьев и как один из них покрутил пальцем у виска, указывая на него, Алехандро.

— Я для них продажный человек, «червяк», как у них принято нас называть...

Эухенио молчал задумавшись.

— Вот и поразмысли: эти парни еще не родились, когда мы уехали. Теперь только начинают разбираться, что к чему. Но повторяют то, что слышали от других. «Эти двадцать лет стоят иных двухсот»,— сказал мне Маноло, когда мы были вдвоем, и был, я думаю, прав. Его дети тоже прошли через все это, но у них нет никакой связи с прошлым Мы для них попросту чужие... И если я хочу узнать получше эту страну, я должен понять до конца причины, по каким некоторые здесь меня отталкивают. От этого зависит мой успех или мой провал.

И в ответ на недоверчивую улыбку Эухенио пояснил:

— Идеально было бы, если б нам прямо сказали: «Забудьте прошлое, вы вернулись, и вина с вас снята». Но нельзя забывать, чего стоил им весь процесс преобразования, в котором мы не принимали участия, которому противостояли. Что думали они о нас все эти годы? Вернее, какое представление о себе навязали им мы сами? — Он горестно покачал головой.— Вот мы говорим: революция. Но ведь революция — это они, научившиеся за эти двадцать лет видеть в нас врагов.

Эухенио вспылил:

— Но ведь мы здесь, не так разве?!

— Ну и что же? Теперь будем просить их забыть все и устроить нам приятную жизнь? И, подумаешь, какой такой процент составляем мы с тобой во всей этой злобной своре, которая приехала сюда, только чтоб доказать, как шикарно они живут там... хоть эта шикарная жизнь существует лишь в их мечтах?..

По какому-то едва заметному движению губ Эухенио Алехандро понял, что тому не терпится закончить тяжелый разговор. Он заглянул ему в глаза и словно наткнулся на глухую стену.

— Не обижайся, Эухенио, все это я говорю самому себе. Просто думаю вслух.

Эухенио развел руками в жесте, внешне спокойном, но более сдержанном, чем обычно.

— Я и не обижаюсь; напротив, мне интересно тебя слушать.

Алехандро не сразу понял искренни ли эти слова, или они — простая любезность.

— Понимаешь Эухенио, в дом к людям приехали те, кто много лет чернил их. Пусть мы с тобой составляем исключение, но ведь с нами приехали другие, которых мы и сами презираем. Как мы встречаем в Майами новоприбывших? Как тех, кто откусит еще кусок от яблока раздора... Никто им не радуется, и они скоро начинают чувствовать это.

Эухенио разжал наконец зубы.

— Нельзя сравнивать,— сухо возразил он. И хлопнув себя по бедрам и разом

вскочив: — К нам проявляют великодушие, говоришь? — вскричал он.— Но именно это великодушие мешает мне остаться на Кубе. Может, изгнание сделало меня чересчур гордым, но на роль бедного родственника я не гожусь, понял? Не хочу снова пережить то, что пережил по прибытии в Майами. Одного раза хватает. С лихвой!

— Я давно уже отказался от этой мысли,— сказал Алехандро, проводя языком по сухим губам. Потом, помолчав и будто старательно обдумывая то, что намеревался сказать далее, добавил совсем тихо: — Я не знаю, что ищешь здесь ты и зачем предпринял это путешествие. Что касается меня, то я давно смирился со своим положением эмигранта. Но я хочу быть уверен, что где-то за собою я оставил страну, которая принадлежит мне, даже если я никогда больше ее не увижу. С нею я не одинок. И это все.

Он улыбнулся, тихо и печально. Но Эухенио, казалось, думал о своем: он все сидел с низко опущенной головой, и потому, может быть, голос его прозвучал глухо:

— Здесь ли мы раньше жили, или где-нибудь в Австралии — для меня все едино. Мы и здесь были изгнанники. И не оставим после себя никакого следа. У тебя, по крайней мере, есть здесь близкие.

— Ну да, наши прежние слуги...

— И девушка, да?

— Чудесная девушка, я о ней думаю неотступно, как влюбленный юнец. Она — мой гид, мой переводчик на язык реальности...

— Сознайся, она — твоя девушка?

— Не в том смысле, как ты думаешь. Я не хочу, чтоб в мой кубинский опыт входили любовные приключения.

— Заносчивый ты американец, Алехандро, вот что. Я с одной француженкой в постели знаешь как выучил французский? Не захочешь, а выучишь! Так что не теряй даром времени со своей кубиночкой...

— Если б ты знал ее, то понял бы, что сейчас сказал пошлость.

— Просто пытаюсь наставить тебя на путь истинный... Но нет, невозможно, ты слишком влюблен!

— Она нужна мне...

Эухенио разом вскочил на ноги.

— Видишь, вот мы какие! Приехали из самой богатой страны мира. Пьем лучший ром, сидим в номере лучшего отеля... И что же? Мечемся туда-сюда, не зная, к чему пристать!..

— Ну и как ты им объяснишь, что танцевала с «червяком»? Какое найдешь оправдание?

Она откинула со лба непослушную прядь волос и кокетливо передернула плечами:

— Может, ты и не совсем «червяк»...

— К тому же, мы с тобой — друзья детства.

— Да уж такие друзья... Я родилась через месяц после того, как ты уехал.

— Один месяц ничего не значит.

— Ничего?

Это было сказано шутливо, но многозначительно. Алехандро, однако, нахмурил брови.

— Иногда многое...— сказал он серьезно.

Но, встретив взгляд Аны, веселый и насмешливый, не стал развивать свою мысль.

— Еще тур, и клянусь...— Он поднял руку ладонью вверх.— Больше не буду на эту тему...

Тропические растения встраивались в архитектуру, теряя свою жизненность в бледном свете лампионов. Даже пальмы и ягрумы в узорных листьях казались искусственными. Все принимало какой-то призрачный облик средь многоцветного вихря танцоров, под грохот музыки носящихся по этому гигантскому храму легкомыслия и веселья.

— Танцуют, как в открытом поле...

— Это же «Тропикана»: a paradise under the stars![1] Рай под звездами.

— Не понимаю...

---

[1] «Тропикана» — популярнейший театр-ревю в Гаване, устроенный под открытым небом и потому рекламируемый как «рай под звездами» («A paradise under the stars»).

— Подлинный рай... особенно сейчас...

Ана почувствовала, что он мягко прижал ее к себе, и в голосе его послышались какие-то особые ноты. Она подумала, как хорошо, что он настолько ее выше и взгляды их не могут встретиться, если она не подымет головы. А она не подымет...

Они скользили теперь по залу под музыку какого-то блюза сороковых годов. На одном из поворотов они натолкнулись на какую-то пару. Он был негр, она — белая. Негр нахмурился было, но, взглянув на Ану, улыбнулся и приветливо поклонился ей. Алехандро обратил внимание, что Ана ответила на его поклон холодновато. В эту минуту оркестр смолк, и они вернулись к своему столику.

— Знакомый?

— В нашем квартале живет. Механик.

— Компаньеро механик,— уточнил Алехандро.

Ана презрительно щелкнула пальцами.

— Компаньеро «червяк». Чинит автомобили у себя во дворе частным образом. В любой час может оказаться твоим соседом в Майами.

Рука Алехандро, зажигавшая в тот момент сигарету, замерла в воздухе с маленьким пламенем в пальцах.

— Соседом моим он не будет; для него будет свое гетто...— Он осторожно поднес пламя к лицу.— Что-то подумает тамошний Дядюшка Сэм, если узнает, что есть на свете негры, дружащие с белыми девушками, имеющие свою мастерскую и при этом мечтающие бросить все и приобщиться к нашей «великой демократии»?

— Но здесь есть всего понемножку, даже негры-буржуи есть.

— И кубино-никарагуанские учительницы.

— Их больше, чем буржуев-негров.

— В одну из них я, кажется, влюбился.

— Она пришлет тебе привет на почтовой открытке, а если окажется совсем уж в глуши, то с почтовым голубем.

— Когда ты уезжаешь?

Она неопределенно покачала головой.

— Военная тайна?

— Не сказали. Всегда узнаем в последнюю минуту.

— Желаю успеха твоему предприятию! Ты довольна?

— Работа трудная, но прекрасная.

— Немножко напоминает первые героические годы, да?

Ана закурила и задумалась.

— Я выросла с сознанием, что все великое уже свершено,— сказала она медленно.— Мой отец и мой дядя сражались против Батисты. Другие были на Плайя-Хирон или в горах Эскамбрая. Моя кузина работала по ликвидации неграмотности. «Все сделали, нам ничего не оставили»,— думала я и, признаться, завидовала.

— Теперь твои мечты сбываются.

Алехандро смотрел ей в глаза и тоже, признаться, завидовал...

— А что будешь делать, когда приедешь?

Ана не сразу поняла:

— Когда приеду в Никарагуа или когда вернусь сюда?

— Когда вернешься.

Она взглянула на него с огромным любопытством. Шутит он, что ли?..

— Но я ж еще не уехала, Алехандро!

— Да, но ведь ты вернешься, правда? Так что ты тогда будешь делать?

Нет, он, оказывается, не шутил.

— Не знаю,— сказала она, пожав плечами.— Тут нет никакой проблемы. Наверно, вернусь в свое училище, или мне дадут другую какую-нибудь работу. Пускай решает министерство.

Алехандро нервно бросил сигарету.

— Эухенио говорит, что вы живете, как жили аборигены. Слишком уверены в настоящем и не страшитесь будущего. Верно это?

— А почему мы должны его страшиться?

Алехандро горько усмехнулся:

— Видишь, как трудно нам понять друг друга.— Он взял ее за руку.

Она взглянула на него растерянно, но с прежним любопытством.

— Мы говорим на разных языках,— сказала она.

— Я хотел бы научиться в будущем языку, на котором говорите вы все. Но боюсь, что не сумею. Это все равно как научиться держаться в невесомости, а для этого астронавты проходят длительную подготовку...

— В твоей стране...

— В «моей» стране будущее — это пасть волка. Рождаешься с мыслью укротить этого волка и живешь со страхом, что не сумеешь. Мне думается, что даже миллионеров не минует этот страх: им всегда нужен лишний миллион, чтоб сунуть в эту темную пасть. Для многих будущее не приходит. Мне кажется, что у тех, кто достигает конца пути, судьба самая трагичная: им остается еще немножко времени, чтоб поразмыслить над прожитой жизнью. Видишь, какие мы с тобой разные? Настолько разные, что мне даже трудно понять, почему ты отнеслась ко мне с таким доверием.

— Да ведь все так просто: я еду в Никарагуа, потому что революция меня посылает. Возможно, завтра меня пошлют в другую страну, но это все равно: я никогда не буду одинока. В любом месте мой народ будет со мною. Я никогда не буду чувствовать, что я на чужбине.

— Но в Никарагуа тебя ждет опасность. Там действуют контрреволюционные банды.

— И здесь действовали во время кампании по ликвидации неграмотности.

— Но одно дело умереть за свою родину, а другое — умереть в стране, где никогда раньше и не был.

Она посмотрела на него с огорчением:

— Тут ты не понимаешь, Алехандро. Моя родина там, где революция. Это называется пролетарский интернационализм. И слово «родина» принимает, в свете этого понятия, значение более широкое и более глубокое. Это не мои слова, так говорил дядя Рикардо. А других слов я не найду...

Алехандро внимательно наблюдал за нею.

— А у тебя такая чудесная улыбка, Ана...

Она оперлась локтями на стол и положила голову на руки.

— Если б ты хорошенько подумал,— сказала она, пропуская мимо ушей его последнее замечание,— ты бы стал все оценивать как настоящий кубинец. И тогда твое место в Соединенных Штатах было бы такое же, как скоро будет мое в Никарагуа. Если ты станешь на сторону революции, она и весь наш народ будут с тобою. И это вовсе не трудно, Алехандро. Надо только любить и верить.

Алехандро не отвечал. Или, быть может, ответ его потонул в громких звуках модной музыки, под которую снова завертелись пары?..

Немного погодя они покинули «Тропикану», взяли такси и поехали в центр. Улицы, по которым они ехали, фигурировали почти всегда на старых почтовых открытках — Пятая авенида, бульвар Пасео дель Прадо... И теперь они были особенно любезны его сердцу. Было приятно чувствовать на лице свежий ласковый ветер, пока скользили они сквозь подступившую ночь, тихую, влажную и расцвеченную огнями. Вскоре машина сделала крутой поворот и вошла в туннель под рекой Альмендарес; и почти сразу всплыло у них перед глазами сиянье огней набережной.

— Устал?

Алехандро пробормотал что-то невнятное.

— Задумался?

Ворчание зазвучало утвердительно. Ана наклонилась вперед, чтоб заглянуть ему в глаза.

— Крист у меня из головы не идет...

— Скучаешь по ней?

— Не в этом дело. Заботит она меня.

— А какая она? Красивая?

— Могла бы быть красивой, если б ее тоска не глодала; но это ее постоянная спутница.

— Почему ты именно сейчас подумал о ней?

— Наверно, потому, что чувствую себя счастливым.

— Что-то ты слишком по ней скучаешь...

По губам Алехандро пробежала скупая улыбка вежливости в ответ на эту заведомо неискреннюю попытку выразить ревность.

Но он повторил по-прежнему серьезно:

— Заботит она меня. Фрэик — ее единственный якорь спасения, но он, кажется,

не понимает этого. Возможно, что теперь они уже разошлись окончательно. И вот что странно: именно теперь Фрэнку она ближе, чем когда-либо.

— Она не влюблена в него, наверно.

— Это предположение имело бы смысл, если б Крист могла влюбляться, как все остальные. По-своему она, мне кажется, любит Фрэнка. Крист всегда любит тех, кто любит ее.

— Тогда в чем же дело?

Алехандро пожал плечами.

...В то далекое утро, едва повесив трубку, он побежал к Крист. Открыв дверь, она с плачем бросилась ему на шею. Он крепко обнял ее и умолял успокоиться; но Крист была вне себя, ее худенькое тело так и билось в руках Алехандро, она захлебывалась слезами, не в силах произнести ни слова. Он подвел ее к софе и бережно уложил. Напоил ее чаем, дал какие-то успокоительные пилюли, которые нашел на комоде среди разной косметики и пузырьков с лекарствами. Мало-помалу Крист успокоилась, но была еще не в силах говорить. Мотала головой, отказываясь отвечать на вопросы, молча кусала губы, а слезы все текли и текли по лицу и попадали в рот, а она и не замечала.

— Когда это случилось? — говорил Алехандро, сжимая ее руки.

Но Крист все качала головой из стороны в сторону, и Алехандро понял, что она слышала его вопрос, только потому, что лицо ее еще больше исказилось и она еще сильнее заплакала.

— Успокойся, Крист! Кто сказал тебе? Фрэнк?

Она в ответ лишь кивнула. Алехандро закрыл глаза и прижался щекой к этому лицу, залитому слезами. Так они оставались некоторое время. Поняв, что расстроила его, Крист почувствовала, верно, какое-то сердечное угрызение, глубоко вздохнула и начала наконец говорить, сбивчиво, но твердо:

— Его нашли в устье Гудзона. Фрэнк звонил час назад.— Она закусила губу, но не заплакала.— В его теле четырнадцать колотых ран.— Она вдруг раскрыла глаза широко-широко и продолжала громко, почти крича:— Его закололи, понимаешь? Закололи!

Лицо Алехандро передернулось:

— На него напали?

Крист с шумом втянула в себя воздух и на миг задержала дыхание.

— У него в кармане нашли сорок три доллара,— сказала она.— Убийцы даже не позаботились симулировать ограбление. Они хотят, чтоб всем было ясно: это предупреждение другим. Так действуют молодчики из портовой мафии.

Она помолчала, глядя в какую-то ей одной видимую даль и прижимаясь щекой к руке Алехандро.

— Зачем его убили? Зачем отняли у меня? — глухо простонала она.

Но не заплакала. Словно бы у нее появилась цель — раскрыть тайну, и все свои жизненные силы она решила употребить на это. С трудом волоча ноги, она поплелась на кухню, откуда вернулась с чашечкой кофе:

— Перегрелся...

Алехандро взял чашку и поставил на подлокотник софы. Крист села рядом с ним.

— Я чувствую себя очень одинокой, Але. Даже когда он был далеко, я все равно ощущала присутствие Пола.

— У тебя есть Фрэнк.

Крист горько усмехнулась.

— Это тоже уже прошлое.

Алехандро стал пить кофе маленькими глотками, притворяясь, что не расслышал последних слов.

— Они бросили его в реку, словно какую-нибудь падаль,— жалобно произнесла Крист.— Они отняли у него жизнь и бросили в реку, чтоб его пожрали рыбы...

— Что у тебя произошло с Фрэнком, Крист? — спросил Алехандро после продолжительного молчания, держа чашку у губ, но не прикасаясь к ней.

— Да не все ли равно, Але, не все ли равно? Теперь, когда убили Пола, я даже довольна, что с тем все покончено.

Алехандро внимательно посмотрел на нее, пытаясь угадать, что же в действительности скрывается за ее словами.

— Разве одно с другим как-нибудь связано?

Крист резко вздернула голову.

— Нет, конечно! Что за нелепая мысль! Ты его что, за наемного убийцу принимаешь?!

— Прости, Крист, я ничего подобного не думал.

Крист вонзила в него гневный взгляд своих глаз, таких огромных на ее осунувшемся лице. И ударила себя в грудь кончиками острых пальцев.

— Только здесь,— сказала она,— только здесь внутри все связалось, смешалось и переплелось.

— Да я совсем не то хотел сказать...— оправдывался Алехандро.

— Сегодня это был Пол, завтра может быть Фрэнк. Понимаешь? Нельзя так жить дальше!

— Ничего с ним не случится,— попытался Алехандро утешить ее, правда без особого убеждения.— Он тебя любит, и вдвоем вы как-нибудь вытянете. Смерть Пола — удар и для него, поверь. И это еще одно, что связывает вас друг с другом.

— Я уже неделю как порвала с ним,— сказала она неожиданно.

Алехандро поставил чашку на столик.

— Крист, я ничего не понимаю!

— И однако, я хочу, чтоб ты понял. Чтоб ты меня понял. Виновата во всем я, но я не могу ничего поделать. Сил не хватает. Я слабый человек — ты это знаешь лучше всех.

— Но Фрэнк — твоя единственная опора, пойми, Крист!

— На какое время? Пока жив, так ведь? А на какое это время?

Алехандро отвернулся, чтобы она не видела его лица. Глядя куда-то в стену, сказал глухо:

— Не бойся, Крист, ничего с ним не случится. Он в другом лагере. Они неуязвимы.

— Я бы хотела, чтоб было так! — вскричала Крист в отчаянии.

Он повернулся к ней и встретил опять эти широко распахнутые глаза и увидал, как вздулись жилы на ее худой шее.

— Я чудовище, да? Я думаю только о себе, да? Я знаю, что между мною и моими словами лежит труп Пола. Я знаю это, Алехандро! Но я б ничего на свете не хотела так сильно, как чтоб Фрэнк был действительно неуязвим. Это неправда, Але, неправда это. В любой день он может быть найден в какой-нибудь канаве, со ртом, полным муравьев...

— Успокойся, Крист!

— А зачем мне успокаиваться? Я не хочу обманывать себя. Латиноамериканцам поручают здесь самую грязную работу, понимаешь? Не выше наемных убийц, Але. Он пытается обмануть меня; но он не умеет врать. Мы все кончим тем, что будем затянуты в болото Эверглейдса, как ты однажды выразился. А теперь скажи мне: могу я взять на себя ответственность иметь ребенка? Он хочет ребенка. Он сам ребенок, большой, глупый и ласковый. Зачем он полез в эти дела? Единственное, в чем он походит на этих молодцов,— огромный рост. И то, чем занят, конечно...— Она закусила губу.— Я не хочу иметь ребенка! Понимаешь? Не хочу! Не хочу уготовить моему ребенку такую же судьбу, как мои родители уготовили мне. Не хочу выбросить в этот мир еще одного отверженного. Я схожу с ума от одной этой мысли. Пойми же меня, Але. Одному тебе я могу об этом сказать. Ты один у меня остался...— И она снова заплакала.

...Машина замедлила ход и остановилась у ворот парка. Они вышли, и огромное дерево хагуэй приняло их под свою сень.

— Тогда я видел ее в последний раз. Через несколько дней я уехал в Гавану.

Он робко взял ее за руку и стал перебирать ее пальцы, пока они шли к одной из железных скамеек с деревянными перекладинами, столь типичных для первых лет республики. Они сели рядом в тени молодого дерева, какие зовутся здесь «пылающие». Луна уже взошла.

— Мне будет трудно жить вдали от тебя.

— Тебя ждет много работы.

— Много. Но мне будет не хватать тебя.

— Так всегда говорят перед разлукой...

— Может, и всегда. Но это правда.

— Я верю. Но ты привыкнешь.

Алехандро снова взял ее руку.

— Я знаю, что это невозможно, но я был бы счастлив с тобой.

Она посмотрела куда-то в сторону.

— Тебе нравится полная луна?

— Она сейчас как солнце.— Алехандро выпустил ее руку.— Мне нравится, когда она заходит.

— А мне нравится только такая, как теперь... Полная...

— Я был бы счастлив с тобой. Ты чудесная, Ана.— Она опустила голову и сжала губы в ответ на его слова.— Я не хотел бы уехать, не сказав тебе этого.

Он смотрел на ее профиль, освещенный луной, и видел, что лицо ее — все так же бесстрастно. Только руки перебирали складки платья. Он прижался щекой к ее щеке. Только на мгновение... Она почти сразу отодвинулась. Без гнева — просто отвела свое лицо, промолвив тихонько:

— Нет, Алехандро.

— Я люблю тебя, Ана.

Она низко опустила голову.

— Я не хочу, чтоб ты любил меня. Не хочу, чтоб ты говорил мне об этом.

— Я не мог иначе.

— Я не хочу, чтоб ты не мог иначе.

— Ты не права.

— Я? Ради бога, не будем усложнять то, что и так сложно! — Голос ее звучал умоляюще.

Он взял ее за локти.

— Я хотел бы, чтоб ты меня хоть как-то любила.

Она задумалась.

— Как-то я тебя люблю.

— Ты будешь вспоминать меня?

— Конечно же буду.

— Я обожаю тебя, Ана.

— Я не хочу, чтоб ты меня обожал. Нет у нас выхода, разве не видишь?

— А если б был?

— Но его нет. Забудь.

Алехандро бережно притянул ее к себе. Ана отвернула лицо.

— Ты единственная женщина, которую я действительно любил.

Она вздрогнула, когда он осторожно поцеловал ее в висок. Она закрыла глаза и вцепилась пальцами в скамейку, но он не заметил этого; он подумал только, что у нее такое теплое и мягкое лицо.

Она резко встала со скамьи и повторила:

— Не хочу...

Ей хотелось сказать еще, что ведь они случайно встретились на перекрестке. Как поезда, бегущие в разные стороны. Но она этого почему-то не сказала. Просто еще ниже опустила голову и пошла прочь, вдруг как-то волоча ноги.

В ту ночь, лежа в постели, она дотронулась в темноте до своего лица, повторив его прикосновение, и вспомнила его голос, когда он говорил, что она единственная женщина, которую он любил. Вспомнила молодое дерево, под которым они сидели — «пылающее»,— и свою дрожь, которую так старалась скрыть, и как она собрала все свои силы, чтоб заставить себя уйти от него...

Но когда она наконец уснула, сон ее был спокоен.

Ты ль это посылаешь свои огни, трансатлантический лайнер, плывущий куда-то далеко-далеко? Не виден твой мощный корпус, только смутные эти огни, потерянные где-то в громадности сумерек. И вот уж пропали, не оставив и отблеска. И на всем пространстве пустынной набережной — только одно существо бредет куда-то в тумане, увлекаемое неведомой силой...

В глубине густой тьмы, окружающей его, движется навстречу ему его время. Будет рассвет. Будет солнце, и осветит оно одинаковые дни, такие же, как те, что со-

скальзывают сейчас в бездонный колодец прожитого. Еще раз предстанут перед ним огромные помутненные глаза Крист, ее всегда теперь дрожащие руки. Но что может сказать она ему? В чем может изменить его жизнь? Это все равно как пытаться изменить небесную механику звезд, бесстрастно передвигающихся над нашими головами, ничего не зная и не желая знать о тех, кто наблюдает их холодную красоту.

Крист, такая же мертвая, как Пол, так заживо погребенная, так ставшая пеплом, несмотря на непрерывную дрожь пальцев, несмотря на широко раскрытые глаза, словно созданные, чтоб увидеть всю боль и всю расхлестанность мира сего,— что может сказать ему Крист? Откуда выжмет для него несколько минут отдохновения в этой сутолоке дней, которые составляют его жизнь, изначально обреченную?

Но она, Крист, станет частью его времени, которое приближается,— иначе быть не может. Как Пол, как память о его жизни, продлившейся не долее, чем пламя зажженной спички. Пол, исчезнувший, проколотый ножами. Пол, чье разбухшее тело так долго плавало в стоячей и жирной воде речного устья, чьи золотистые волосы покачивались в нле, как древесные нити, отставшие от утонувшего ствола. Пол, гниющий в топкой грязи прибрежья, среди других отбросов... Но с глазами открытыми, несмотря на мутную воду, порой набегающую; открытыми в своем надменном вызове смерти; упорно устремленными вдаль — за гниющие эти воды, в ту сторону, куда на стрежне большой реки стремится самое быстрое течение в поисках другой водной стихии — голубой, со звонкими волнами,— той, что с таким веселым буйством бьет о скалистые обрывы, той, что никогда не знает отдыха...

Его время, что приближается, обречено походить на прошлое его время, как одна песчинка на другую. А ведь достаточно оказалось перестановки декораций, чтоб круто изменить ритм его времени... Теперь же, по мере того как близятся срок его возврата в прежнее пространство, эти дни со всеми их неожиданностями и встрясками, эти недели со всем их тропическим кипением, станут превращаться во время, которое удаляется от него. Останутся у него за спиной голоса, лица и чувства, прежде не знаемые, будут становиться все более далекими, перестанут быть частью его жизни, чтоб стать ее отблесками, тускнеющими в пыли расстояния и забвения... Нечеткими, как те фотографии, которые, верно, пришлет ему парень из Пенсильвании и которые придут обязательно не вовремя, когда он будет занят особенно срочной работой и у него даже не будет возможности взглянуть на них.

Но ему позволено удержать еще немного в памяти те часы, которые неумолимо уходят от него. Снова переживать их, упиваться ими, снова слышать голоса, беспорядочной толпой осаждающие его чувства; вспоминать легкие слова той молодой пары, мгновенно испарившейся, едва приземлился самолет, тех самых, что так волновались на пути в Сантьяго, и, ступив на кубинскую землю — «брат с сестрой или супруги?»,— возникли внезапно, словно из пустоты радостным видением среди шума и толкотни таможни, и начали петь гимн, заставив и его (как и всех почти пассажиров) подпевать им, тихонько и в смущении, потому что он вдруг понял, что это и его гимн, настоящий, единственный, тот, что сквозь все перевоплощения прошедших лет жил, полный свежести и силы, и мог сказать этим кубинцам самое заветное, им одним понятное, проникающее до глубины сердец, вызывающее на их глаза слезы в тот миг, когда они вновь ступили на родную землю, когда почувствовали, что она единственная, настоящая их земля, единственная, на какой стоят они твердо, единственная, какая выражена сейчас в их голосах, поющих эти стихи и эту мелодию в толпе равнодушных пассажиров, спешащих на таможенный досмотр со своими чемоданами...

И он понял, что пришло время не только воспоминаний — пришло время, когда невозможно их избежать.

И снова внезапно, словно из пустоты, возникла перед ним молодая пара у подъезда отеля «Насиональ». Девушка так радостно закивала ему, словно встретила друга детства, забыв, видно, что они так и не успели познакомиться. Парень крепко пожал ему руку.

— Как у вас здесь сложилось? Удачно?

В ответ на этот оптимистический нажим Алехандро оставалось только улыбнуться. Ему подумалось, что сейчас они трое — будто пациенты одной больницы: знают назубок свои истории болезни и чувствуют взаимную солидарность, не обменявшись ни единым словом. Но девушка была слишком счастлива, чтоб прочесть что-то на чужом лице, и поэтому, с предельной естественностью взяв Алехандро за руку, сказала, что умирает от жажды и ни о чем так не мечтает, как о стаканчике грейпфрутового

сока похолодней. Зашли в кафетерий, и там Алехандро узнал, что они недавно поженились и на Кубу поехали не только чтоб провести медовый месяц, но и потому, что давно уж мечтали.

— Во всем этом у таких, как мы, была, наверно, самая печальная доля,— сказал юноша.— Мы считали себя вырванными с корнем. Теперь мы знаем, что это не так: хоть нас и скосили под корень, но он остался в земле. И как только мы сюда приехали, мы поняли, в какой земле он остался. Навсегда.

— Старики приняли свое решение, а теперь мы принимаем свое. Тут не место обидам, правда? — сказала девушка, улыбаясь, хотя губы ее дрожали.

— Мы ведь тоже часть истории...

Они родились на другом конце Острова, в Сантьяго, и их увезли совсем крохами, когда семья решила покинуть страну. Они были родственники — их лица отражали какое-то далекое сходство — и воспитывались вместе, «как брат и сестра», говаривали их родители.

— И в этом старики ошиблись. Всегда мы были не брат и сестра, а влюбленные, хотя поняли это лишь в день последней нашей драки...

— Куба нас сблизила, еще когда была так далёко...

Он погладил свою спутницу по щеке:

— Мы две заблудшие овечки, отбились от семьи.

— Наша жизнь только сейчас начинается.

Парень кивнул. Он обращался к Алехандро, но пристально смотрел в глаза своей жене:

— До сих пор я постоянно боялся смерти — боялся, что она застанет меня одиноким, попавшим под машину, засунутым в безвестную больницу... Теперь у меня будет слишком много дела, чтоб еще предаваться таким мыслям.

Девушка протянула руку через столик и взяла его за руку.

— Мы счастливы, что мы кубинцы,— подвела она черту подо всем разговором.

Она произнесла эти слова тихо, как-то задушевно, словно заканчивая длинное объяснение в любви. Парень улыбался ей, протянув к ней обе руки над столиком. Так и сидели они, держась за руки и, казалось, полностью позабыв о присутствии Алехандро.

Но в этот момент Алехандро случайно взглянул в окно и заметил парня из Пенсильвании, проходившего мимо. Вероятно, он возвращался из бассейна, хоть и не видно было на расстоянии, но безусловно на плече у него висел неизменный «кодак», призванный помочь ему вновь пережить счастливые часы отпуска, проведенные на Антильских островах,— и невольно, может быть, какие-то другие чувства, какие-то неожиданные печали, застрявшие в его душе и заставляющие порой исчезать с его губ неизменную торжествующую улыбку.

Как-то вскользь он признался, что хочет навестить родственников. Некоторые из них умерли. Те, кто у него оставался, жили в городе Тринидаде. Они уже достаточно состарились — «соскучились», сказал парень, начинавший забывать родной язык,— чтоб писать письма. Он хотел подробно рассказать обо всем и обо всех своему отцу. Отец сильно скучал по Кубе, по ее климату, обычаям, самому звучанию слов. Он тосковал — «вы, верно, не поверите»— даже по захолустному городишке, кишевшему людьми, как пчелиный улей пчелами. Адвокат и коммерсант, он был в этой тесной среде чем-то вроде Зевса Громовержца и вертел всем этим провинциальным укладом по своему хотению. Разумеется, он был и политиком. Одно вытекало из другого. Его слово было законом. И он никогда бы не покинул места, где родился и вырос, если б не испугался призрака «кастризма».

Но теперь он как-то опамятовался. Постарел и почувствовал, что нуждается в друзьях. Кроме того, он упрямо верил в одну истину: с деньгами нигде не пропадешь. Теперь — по его строю мысли — он стал относиться к жизни трезво. Он тосковал по тому миру, что остался у него за спиной. В последние годы он стал лелеять мечту о возвращении и хотел, чтоб его оставили в покое, дали спокойно жить здесь на свои сбережения — капитал, который легко будет перевести в солидные швейцарские банки. Он мог бы откупить снова тот дом, который раньше принадлежал ему, и ожидать там, в покое, конца своих дней. «У меня на это хватит»,— говорил он. И никак с ним бывало, не поймешь, где кончается мечта и где начинается реальность.

— Мне кажется, на старика просто дурь напала, каша у него в голове. Годы, сами понимаете. Может, он хочет меня испытать — смогу ли я приспособиться к здешней жизни. Но, судите сами, разве можно здесь жить? Здесь как в Африке, только

без пустынь и львов. Развлечься негде. Куда девать деньги? На что тратить? Я думал, тут не то, питал разные надежды. Я столько наслышался про Кубу, что воображал ее себе совсем по-другому. Право, не понимаю, почему наши политики устроили такой шум вокруг этой самой Кубы... Но вот в чем загвоздка: что я скажу моим старикам? Они уверены, что сделали большое дело, послав меня сюда. Но вы и не догадываетесь, что представляет собой город этот — Тринидад! Одни только старые постройки. «Старинные памятники национальной культуры»— как они говорят. Жить там — все равно что жить в эпоху испанского завоевания.

Он поморщился и причмокнул губами:

— Тете я отвезу кувшин с землей Тринидада, такой же большой, как тот, что бабушка хранит на буфете в столовой. Я отвезу им всем столько земли, чтоб положить на их могилы, как они хотят. Но пускай старик не надеется, что я еще хоть когда-нибудь сюда сунусь.

Этот парень, подумал Алехандро, потерял прекрасную возможность прославиться. Можно было б сделать с него несколько превосходных снимков big close-up [1], в то время как он все это говорил. Достаточно было сказать мне: будьте так любезны, камера наведена на фокус, вам надо только поймать меня в видоискатель и нажать спуск затвора. И верная камера запечатлела бы навсегда его искаженное лицо, гримасу раздражения, искривившую его губы, его непривычно нахмуренные брови, трусливую тоску в глазах, отражающую одновременно и жалость к отцу, на которого «дурь напала», и всю систему воспитания этого юнца, кого с раннего детства приучили к определенному взгляду на жизнь, никакой уже на свете силой не одолимому.

И есть на его губах какая-то печать умолчания. Есть в них какая-то складка жестокости, холодной решимости, суровой уверенности, что в жизни нет места каким-то чувствам, неизбежно присущим человеку. Однако едва заметная морщинка, перерезавшая его лоб (может быть, обычная камера, менее чувствительная пленка и менее контрастная фотобумага не смогли бы ее запечатлеть; может быть, не смог бы ее заметить глаз, непривычный к работе в темноте), нарушает создавшийся образ этого человека. Крохотный штришок, случайная игра света, неудачный ракурс, возможно... Жаль... Мелочь, а способна предательски исказить весь облик этого триумфатора, фигурирующего на десятках роликов с тридцатью шестью кадрами, где он запечатлел свой визит в эту чуть ли не африканскую страну, где цикады полнят своим стрекотаньем глубокую черноту тропической ночи.

Ее-то, тропическую ночь, утратившую уже для него свой самый живой блеск и самую чистую игру красок, и хотел сохранить в своей памяти Алехандро. Поэтому он вновь отправился бродить по улицам и паркам, видевшим *ее* улыбку, входил в бары, где звенел *ее* голос, присел на высоком парапете, о который разбиваются волны неистового моря... Поэтому он спешил углубиться в эту ночь, вдохнуть в легком ветре залива аромат *ее* волос, почувствовать прикосновение *ее* щеки, такой тугой и такой всегда ускользающей. Он еще раз — в последний, быть может, раз — прошелся по извилистым улицам Старой Гаваны, освещенным луной, такой большой и круглой, что кажется декорацией. От блеска и пышности старинных фамилий, источенных временем, остались сегодня лишь эти темные дыры, через которые входят и выходят безвестные существа, мечтающие об удобствах нового градостроительства. Бурые крепости, воздвигнутые стратегическим гением великих мечтателей стали теперь приютом для учреждений, музеев или частью индустрии туризма, направленной на поиски денежных средств, необходимых стране для ее дальнейшего развития. И однако, часть этой старинной Гаваны начинает молодеть, и ее источенные временем стены вновь облекаются в одежды былой славы.

— Этот дворец принадлежал графине де ла Реуньон. Правда, его хорошо реставрировали? Здесь частично развертывается действие романа Алехо Карпентьера «Век просвещения». Графиня, верно, удивилась бы, узнав, что находящийся по соседству скромный ресторанчик «Бодегита дель Медио» [2] пользуется сейчас большей известностью, чем ее старинное обиталище...

Он слышал как наяву голос Аны, стоящей рядом во время этого красноречивого объяснения, достойного опытного гида. Он вновь увидел, как она идет на середину улицы, отступает несколько шагов, подымает вверх свое лицо с тонким скандинав-

---

[1] Крупным планом *(англ.)*.

[2] Этот небольшой ресторан-бар в Старой Гаване давно приобрел особую популярность среди писателей и деятелей искусств.

ским носиком и смотрит на верхушку здания, словно вдыхая сквозь ночь одуряющий аромат истории.

— Раньше оно, верно, было другое,— говорит она,— время все обезличивает.

Алехандро не может ей ответить. Нет рядом ее лица со скандинавским носиком. Нет нужды оборачиваться: за его спиной только пустота. Он бродит один по этим улицам, населенным воспоминаниями, обрывками бесед, былыми образами, которые нужно — нет, необходимо! — сохранить в памяти, спасти от затхлого духа забвения, исходящего от суровой каменной кладки старых стен.

И снова голос Аны:

— Они как-то очень близки мне, эти старые дома.

Он не ответил ей тогда. Ему очень хотелось бы признаться, что он чувствует что-либо подобное к чему-то *там*, в Майами, хотя бы к Флегер-стрит или отелю Фонтенбло. Но не в чем было признаваться. И он ответил только:

— Они становятся близки также и мне,— и попытался улыбнуться.

Ана взглянула на него тогда с любопытством, и ему пришлось разъяснить:

— Я хочу сказать, что эта графиня — в какой-то мере наш общий предок. Она оставила нам наследство, которое принадлежит в эту минуту нам с тобой...

Но она почему-то отошла от него после этих слов и так, задумчиво, стояла на углу под фонарем, а когда он приблизился, обронила только:

— Так мы выйдем на Плаза Вьеха.

И они пошли. Алехандро осторожно обнял ее за талию и почувствовал, как она незаметно пытается сбросить его руку.

— Когда ты уезжаешь?

И она окончательно высвободилась. Они шли теперь по узкой и тихой улице. Слабые огни фонарей бросали на землю конусы света, пролагая извилистую тропинку далеко сквозь тьму.

— Какая уродливая улица! — сказала Ана.

— Не кощунствуй, мне нравится. Когда ты уезжаешь?

Она дотронулась до него, робко, боязливо, и сразу отдернула руку.

— Это никогда не известно заранее.

— А вдруг я не буду знать?

Ана засмеялась, сама поняла, что не к месту, и сказала скороговоркой:

— Я извещу тебя. Но думаю, ты сам раньше уедешь.

Они взглянули друг другу в глаза, и ему очень захотелось поцеловать ее. Но Ана опустила голову, отодвинулась от него и стала сбивчиво говорить что-то... он почти не слышал и потом так и не мог вспомнить.

Теперь ее не было с ним. Она никогда уже не будет рядом. От нее останется только видение и слова, которые постепенно забудутся. И однако, он был уверен, что отныне в его жизни все будет не так, как было. В эти немногие недели он снова почувствовал в себе ту силу, которая побудила его присоединиться к студентам, сгруппировавшимся вокруг Макмэррея. С ним был теперь свет этой земли, от которой оторвали его двадцать лет назад. И причиной тут не только Ана. Хоть она и разбудила в нем чувства, возможность которых он заранее исключил, задумывая эту поездку. Он никогда б не простил себе, если б какое-то любовное приключение отвлекло его от того, что привело на свидание со страной собственного детства... Ты была великодушна, Ана, когда выделила меня из толпы людей, наводнивших твою страну из самых разнообразных побуждений. Но мы оба знаем, что союз наш — одна мимолетность, пусть прекрасная, слишком даже прекрасная для сложного времени, в котором мы живем,— но все равно мимолетность. Потому я так и не поцеловал тебя тогда на площади Плаза Вьеха. Ты, верно, не поняла и сочла меня трусом. А я просто не хотел увеличивать тяжесть нашей разлуки. Ко многому приговаривала нас судьба в течение этих двадцати лет. Придется подчиниться еще одному ее приговору. Об этом подумал я, когда ты отошла на несколько шагов и начала сбивчиво говорить мне что-то, что я не запомнил. Что ж, мы с тобой оказались сильными — сильнее, наверно, чем были на самом деле...

Потому-то, Ана, когда я думаю о Кубе, я стараюсь не думать о тебе, уложиться в схему, предложенную Макмэрреем, смотреть на мою судьбу как на предопределение, уверовать в то, что вихрь истории, унесший меня, развеял бы и нашу любовь, как развеял надежды и чаяния стольких тысяч кубинцев. Я обломок кораблекрушения,— понимаешь? — и нет у меня другого выхода, чем быть один на один со своей судьбой.

Но в тот день Ана была еще рядом с ним на Плаза Вьеха, и потому он сказал ей:

— Мне будет так одиноко в Гаване без тебя.

— А если раньше уедешь ты?

— Сердце мне говорит, что это будешь ты.

— Я в этот день буду совсем заверчена.

— В этот день ты будешь лицом к лицу со своим будущим.

И Алехандро подумал о том, какая разница между возвращением к прошлому и встречей с будущим. Он взял ее за обе руки и жадно глядел в ее детское лицо, на котором были и томление, и тоска по чему-то неведомому, и страстный порыв к действию.

— Я никогда не могу понять, живешь ты в сегодняшнем дне или в тех днях, что еще не настали...

Ана улыбнулась и промолчала. Не нашла ответа. Из какого крушения каких надежд родились эти только что прозвучавшие слова?..

Ана... Однако причиной всех перемен была не она одна. Были и другие. Легион других. Прилежный люд, трудовой люд, существа, мечтающие построить жизнь простую и крепкую, существа, которые охотно несли на своих плечах тяжесть каждодневного труда, не взваливая на них груза честолюбивых стремлений. Он вспомнил Рикардо и его кроткие раздумья человека, познавшего удары судьбы, и несмотря на это — а может, благодаря этому — такого несгибаемого в своих убеждениях. Он увидел его, так храбро рискующим жизнью в борьбе против тирании Батисты, увидел под пытками, с переломанными костями, замученным, ожидающим, пока тюремщики решат покончить с ним разом. Он увидел его и позднее, в его домишке на прибрежье, углубленным в бесконечные выкладки и доклады и наслаждающимся своим коктейлем «мохито», который он умел приготовлять как никто другой, наслаждающимся одновременно и его, Алехандро, обществом — обществом классового врага, правда разбитого в пух и прах, который сейчас пришел к нему в гости... И теперь еще видел он как наяву его спокойное, мужественное лицо — лицо старого борца, кого ничто уже в этой жизни не может удивить.

И Маноло занимал свое место в этом нескончаемом легионе, Маноло с его крестьянской простотой и твердым убеждением, что самый верный путь для защиты семьи от бед — это готовность отдать свою жизнь за революцию. А рядом с ним — его младшая дочка, чистое зеркало всех этих двадцати лет... Он вспомнил рабочих из мастерской, насмешливых юнцов, стоящих у стены, и негра Панчо с громовым голосом и широкой улыбкой, активиста, скупого на слова, проницательного и с острым умом, несмотря на грубый вид человека, привычного к цепям.

Все это были люди, новые для него, роды и виды существ, раньше не знаемые. Среди них Пол был бы как у себя дома. Люди, слепленные из другой глины, прошедшие обжиг на огне, способном обратить в пепел тех, у кого нет их упорства в борьбе и самопожертвовании. «Много подобных им,— подумал он,— погребенных на дне залива, возникали здесь и в иные времена».

Он завернул за угол и пошел по старинной улице — Кальe де лос Офисиос. Проходя по маленькой площади у монастыря Сан-Франсиско — того, что изображен на одной прекрасной гравюре,— он увидел вдалеке набережную бухты.

Еще несколько месяцев назад Куба была великой незнакомкой, а еще раньше — страной враждебной, проклятой землей, населенной носителями зла и разрушения. А великой незнакомкой стала она, когда учитель Макмэррей твердой рукой подвел его к этой самой земле, для него «ничейной» и пугающей, таящей тысячи ужасов и темных предзнаменований. Но он уже прошел половину того пути, который Пол считал единственно разумным, чтоб разместить все по своим местам... И теперь он бродил по Старой Гаване, не прислушиваясь к шагам прошлого, звонко стучащим у него за спиной в тишине ночи. Уже бледнеющие фонари провожали его своим призрачным светом. Но в этом сумраке не было ничего тревожного. Город спал. Через несколько часов, подумал он, когда солнце пошлет свои первые лучи на крепость Ла Кабанья, город проснется. Люди выйдут из безвестных и старинных обиталищ, чтоб окунуться с головой в работу, чтоб ввечеру заполнить дешевенькие пивные и роскошные бары, танцевальные площадки и модные рестораны... И все эти люди не обращают на него внимания. Он может войти в любой дом, открыто сказать, что уехал отсюда двадцать лет тому назад и теперь ему любопытно взглянуть, что получилось из всего этого; он может встретить равнодушие, холодную вежливость или даже понимание, но он все равно оста-

нется нежданным втирушей, случайным гостем некстати, нарушившим своим приходом ритм жизни людей, которые заняты своими мыслями и у которых есть более важные дела. Эти люди собрались строить новое будущее. Им некогда оглядываться назад. Для них социализм и коммунизм не какие-то будоражащие понятия, но точные определения, ключевые слова, открывающие им двери в будущее, в которое они вкладывают столько труда. Любой из них может зваться Рикардо, Маноло, Ана, Панчо. Простые люди, которые хотят жить лучше, но все одинаково, не исключая никого из этого будущего, что взращивается ими сообща.

Дойдя в своих размышлениях до этого места, он улыбнулся горько и с иронией: а не был ли этот мир тем самым, о котором вещал с амвона отец Хустиниани,— мир любви и согласия, милости и расположения между людьми доброй воли, которые в конечном счете составляют всю паству божию во искупление греха?

«Ана, твое имя такое короткое, как коротки все слова, обозначившие самое важное в жизни: хлеб, соль, мир, любовь... Ана, ты помогла мне понять главное, ты вернула мне землю обетованную, ты показала мне изначальных ее людей, вечный и незыблемый ее образ...»

Сидя на парапете над бухтой, он смотрел в даль, открывающуюся перед ним: вот крепость старинная Эль Морро, названная именем, отдающим сельскими просторами, Холм; вот другая, высокая, Ла Кабанья, что тоже зовется просто — Хижина; вот статуя Христа, полускрытая шелестящими казуаринами; круто вздыбленный поселок Каса Бланка; Регла с ее новейшими портовыми и промышленными сооружениями; бухта, полнящаяся торговыми судами под всеми на свете флагами. Тихое, мирное место — если не чтоб жить, то, по крайней мере, чтоб мечтать... Он бросил окурок в маслянистую воду бухты. Здесь моя родина, хотя моя страна и далеко отсюда.

Близ возвышения, увенчанного фортом, что словно вырос из самой скалы, служащей ему опорой, позади крепости и шелестящих казуарин, следуя линии берега, виднеется Гуанабо. Через несколько часов уже начнет Рикардо свой обычный рабочий день. А Маноло и Панчо отправятся в свою мастерскую, направо отсюда, в сторону бухты... И все они так никогда и не узнают, что в эту минуту кто-то думает о них с благодарностью. Он был горд тем, что люди, с которыми он подружился, принадлежат этому крохотному острову, этой бурлящей, непримиримой частичке Вселенной. Как был горд и своей маленькой Ариадной, давшей ему в руки нить, чтоб странствовать по этой земле, и теперь тоже отправлявшейся в странствие — только по чужим землям, незнаемым и далеким, хоть и близким ее сердцу...

Он зажмурился от внезапного порыва ветра. Глубоко вдохнул живительную свежесть. Словно хотел унести с собою глоток того воздуха, каким дышит остров, с которым он теперь прощался... Но ведь прощался не он один, прощались и другие. Только разные были это прощания. Несколько часов тому назад он присутствовал при одном из них. Когда столкнулся в вестибюле со знакомым «мрачным пассажиром».

— Проклятая страна! — сказал тот.

— Не понимаю вас.

— Вы не знаете, что значит «проклятая»? И зачем все разводят эти долгие прощания? Я не дождусь момента, когда вступлю на трап самолета и навсегда потеряю ее из виду. Не хочу и вспоминать о том, что мне пришлось пережить здесь. Для меня все здесь умерли, понимаете? Как я для них умер. Для меня время здесь стоит на месте! Каждая минута кажется веком.

— Приглашаю вас выпить чего-нибудь. Помните, вы меня приглашали?

Мрачный пассажир покачал головой, то ли соглашаясь, то ли сомневаясь. На лице его изобразилось какое-то брезгливое отчаяние.

— Все равно. Лучше мне от этого не станет. Выпьешь один бокал, выпьешь другой — думаешь, вот и час прошел, а взглянешь на часы, так стрелки словно и не сдвинулись. Проклятая страна!

И он почти бегом ринулся прочь от Алехандро и сразу же затерялся в толпе, как всегда наполнявшей вестибюль...

— Чем недоволен твой горилла? — Рука Эухенио легла ему на плечо.

— Неладно с ним.

— Со всеми нами не очень ладно. Нам всего несколько часов осталось.

— Для него их слишком много,— улыбнулся Алехандро.

Они с Эухенио как-то случайно вломились незадолго до этого на прощальный вечер, который устраивал Гонсалес Говин. Эухенио искал место, куда пригласили его

друзья. Открыл дверь какого-то салончика и почувствовал на себе удивленные взгляды собравшихся там людей. Гонсалес Говин, сидевший во главе стола, опомнился первый:

— Вы пришли как раз вовремя. Садитесь, пожалуйста...

Он сделал знак официанту, и тот подошел с двумя бокалами белого вина на подносе.

Алехандро узнал его с первого взгляда. Это был человек, который участвовал в поездке в Варадеро. Но теперь он был одет весьма элегантно и не защищал свой нос от солнца другим, пластиковым. Теперь он улыбался, высоко подняв бокал, и провозглашал тост за то время, когда все они снова соберутся вместе, добавив с несколько двусмысленной и достаточно выразительной гримаской:

— Здесь или там...

Его супруга поджала губы и едва приподняла свой бокал над скатертью. Если ей нравилось — как с самого начала подумал Алехандро,— когда возникали неловкости, то теперь она должна была быть в восторге от бестактного поведения своего мужа в присутствии чужих людей, в особенности же в присутствии этого неприятного молодого человека, который так не уважал чужое мнение. Однако Гонсалес Говин оставался, кажется, глух к немым протестам своей супруги, выражаемым в поднятии бровей и кривых улыбочках. Его красноречивые тосты, его восторженное настроение, его уверенный тон, его свободные жесты сделали свое дело, и беседа продолжалась в том русле, куда он ее направил, до тех пор, пока... не появились так неожиданно Эухенио и Алехандро. С их приходом все изменилось. Только супруга хозяина по-прежнему погружена была в свою настороженную немоту — впрочем, навряд ли она изменила бы этой своей позиции, не будь даже этого непрошеного вторжения.

— Мне больно видеть, как перепортили некоторые места, которые всегда были для нас священны. Я не говорю о «Морском клубе» или «Country»[1] (он сказал по-английски). Но ведь Кармело — это теперь просто свинарник, а бар «Флоридита» совсем потерял свою элитарность, cachet[2] (он сказал по-французски). То ли дело Майами. Там ты можешь достать любые фрукты и овощи, какие только произрастают на земном шаре: особый порей из Индии, персики из Испании, груши и яблоки из Калифорнии. Сколько хотите! А здесь...

Возмущение его перешло в бешенство:

— А что вы скажете о Капитолии? Этот символ Республики[3] превратили в место, где заседают ученые мужи, за всю свою жизнь не изобретшие даже деревянной ложки!

— Все разрушили!

— Если пойдет так дальше,— заключил Гонсалес Говин, чья сияющая улыбка давно уже превратилась в злую гримасу,— от Гаваны останутся только уродливые коробки, которые строят эти их микробригады,— увидим еще, сколько времени простоят эти постройки! — и несколько реставрированных домов в Старой Гаване. Вот увидите: будут здесь Помпеи с Геркуланумом вместе, даром что на Карибском море!

— Возблагодарим господа за то, что сподобил нас собраться вместе после стольких лет разлуки,— прервала его сидящая рядом совсем седая старуха.

Она сказала это тихо, очень тихо, но от этих слов Гонсалес Говин потерял вдруг весь свой апломб, тяжело откинулся на спинку стула и опустил руку со стаканом. И голос его, внезапно глухой, прервал наступившую тишину словами:

— Ты права, старая...

— Возблагодарим его, сынок, и за то, что сохранил нам жизнь и здоровье,— добавила старуха тем же молитвенным тоном.

И снова наступила тишина, глубокая, мертвая.

Откуда-то с другого конца стола возник дрожащий женский голос:

— Расставаться всегда так грустно...

— Не надо, Энрикета,— прервал мужской голос, принадлежащий высокому толстяку, видно мужу той женщины.

---

[1] Имеются в виду аристократические частные клубы в Марианао (Гавана), закрытые после победы революции

[2] В данном случае: отпечаток элегантности *(франц.)*.

[3] В здании Национального Капитолия, выстроенного по образцу Капитолия в Вашингтоне при диктатуре Мачадо, находился сенат буржуазной республики, после победы революции здесь размещена Академия наук Кубы.

Гонсалес Говин решил навести порядок.

— То, что мы все здесь сегодня собрались, означает, что вскоре мы опять свидимся.— Он взглянул на свою мать: — Ну что ты, старая, все одну и ту же пластинку заводишь? Лучше уж я тебе в следующий раз диктофон привезу. А тебе, Энрикета, синие джинсы, как у Томасито. Договорились? Чтоб весь квартал с ума посходил от зависти...

Энрикета подняла заплаканное лицо и постаралась улыбнуться, но сразу опять заплакала.

— Она всегда так, Хасинто,— сказал толстяк Гонсалесу Говину, похлопывая жену по плечу.

— Кто знает, свидимся ли? — вздохнула Энрикета.

Гонсалес Говин в первый раз за весь вечер был выбит из колеи.

— Не теряй надежды,— сказал он сурово.— И постарайся успокоиться. Не порть нам праздник. Для нас всех,— он положил руку на плечо жены,— это исполнение заветных желаний. Уже давно мы не засиживались за полночь, коротая время в кругу семьи. К счастью, вы здесь живете в медленном ритме. Это единственная положительная сторона в вашем общем несчастье. Поверьте, месяц, проведенный с вами, я никогда не забуду. Вы потратили на нас все свое время. Мы отдохнули рядом с вами и телом и душой.

Эухенио воспользовался тем, что Гонсалес Говин взглянул в его сторону, махнул ему рукой и вышел. Осторожно затворяя дверь снаружи, Алехандро услыхал, как Гонсалес Говин отвечал на чей-то вопрос:

— Милая, но там не устраивают поминок...

Среди молодежи, сидящей ближе к дверям, послышались смешки, почти заглушившие визгливый возглас Энрикеты:

— Господи, да не говорите вы о таких вещах!

Эухенио разыскал наконец салончик, где его ожидала знакомая чета; но Алехандро не пошел с ним.

— С меня довольно Пластикового Носа!

По правде сказать, ему хотелось побыть одному. Побродить, покурить, выпить стаканчик — все, что нужно мужчине, чтоб побыть наедине с собой и с любимой. Идя куда глаза глядят, он вышел из сада и зашагал к небольшому утесу, возвышающемуся над улицей и над берегом. Загляделся на море, на которое столько раз смотрел, когда Ана была рядом. И теперь он тоже словно слышал ее голос, доносящийся издалёка, повторяя прежние слова. Только эти слова потеряли свой изначальный радостный смысл, растворились в вечернем ветре, от них осталось лишь точное, как в словаре, значение, без цветистого наряда переменчивых интонаций, заминок, пауз и повторов — всех этих усилий поделиться с кем-то близким своей мыслью, говорящих сердцу больше, чем самые слова.

Он старался вспомнить ее лицо, взгляд, особую манеру поджимать губы, внезапный блеск ее глаз, когда она хотела доказать что-то. Но облик ее как-то расплывался в памяти, и только звучали слова, уносимые ветром, как сухие зерна, которые тем не менее могут упасть на землю и дать всходы.

И была какая-то горькая радость в этом воспоминании здесь, на темной набережной, о тех минутах, когда он был по-настоящему счастлив, хоть осознал это только сейчас. «Я слишком старался оттолкнуть тебя, Ана. Но нельзя было иначе — ведь мы никогда больше не увидимся. Спасибо за то, что ты привела меня на свидание с моей родиной».

— ...Я всегда буду любить тебя.

Аиа плакала и смеялась одновременно; отчаянно мотала головой и не давала себя поцеловать... А он все повторял:

— Я всегда буду любить тебя.

И обнимал ее, словно желая навсегда удержать этот миг прощания — горестный и счастливый, преходящий и вечный.

Несколько часов назад он лежал на постели в своем номере и, глядя в открытые дверцы шкафа, думал, что уже только два дня осталось ему пробыть в Гаване. В шкафу висело два его костюма и пара рубашек, а в глубине стояли ботинки, в которых протопал он по всему городу из конца в конец. Хватит нескольких минут, чтобы уложить все в чемодан. И никаких следов его присутствия здесь не останется. Другой турист займет эту комнату и разместит свою одежду по тем же местам, как и всегда бывало десят-

ки лет; и через несколько недель, перезнакомившись с официантами и лифтерами, тоже почувствует себя здесь как дома и тоже, как придет время, ощутит ту пустоту, какую, уезжая, оставляет после себя.

— Мне еще целых два дня осталось,— сказал он сам себе,— я еще здесь.

И тут резко и часто зазвонил телефон. Ему мало кто мог звонить — очевидно, опять ошибка. Он неохотно протянул руку, поднял трубку. Услышав голос Аны, разом вскочил с постели. Ее голос звучал нервно и резко:

— Алехандро, через час я уезжаю!

Он положил трубку и окаменело стоял у окна, глядя на струйку дыма, завитушками подымавшегося из тоненькой трубы дома напротив к ясному вечереющему небу. И думал, что ему, оказывается, осталось пробыть на Кубе не два дня, а всего лишь один час. Он взглянул на часы и бросился из дому.

Уже приближаясь к парку, он вдруг испугался, что не найдет ее в этой толкотне. На ходу выскочил из такси и растерянно остановился перед людским муравейником, преградившим ему путь. Несколько автобусов стояли в одной из боковых улиц. Отчаянно вглядываясь, он ринулся в густую толпу, на каждом шагу опять зажимавшую его в тиски. Все кричали, размахивали руками, обнимались, испуганно смотрели по сторонам. Иные терпеливо сидели на чемоданах, другие с трудом волокли тяжелые тюки.

Расталкивая толпу, Алехандро стал пробиваться в глубь парка. Жара становилась все невыносимее. Обливаясь потом, он пробирался все дальше. И вдруг, сам не сознавая, что делает, в полном отчаянии стал выкрикивать имя Аны, хотя и понимал, что голос его утонет в этом шуме и крике. Но он все повторял это имя, рупором приложив ко рту ладони.

И тут шоферы стоящих в боковой улице автобусов разом загудели во все гудки, и огромная толпа, вздрогнув, сжалась еще тесиее и медленно двинулась с места. Какая-то девушка, с плачем повиснув на шее у отца, умоляла: «Не плачь, папа!» — а отец, бледный, стиснув зубы, смотрел на нее сухими глазами. Алехандро снова стал выкрикивать любимое имя, в то время как вокруг него все обнимались, целовались и повторяли на тысячи ладов все те же слова прощания, все те же советы.

Но вот перекличка гудков смолкла, и почти в тот же миг затихла огромная людская масса. Улыбки вернулись на лица людей. Словно грозная туча, нависшая над их головами, вдруг рассеялась, так и не пролившись дождем,— и все отступили на несколько шагов, чтоб занять места, где стояли раньше. Один Алехандро все стремился вперед, теперь уже против течения. В этот момент гудки заревели снова, и люди постарше морщились от их раздражающего рева, который молодых, кажется, наоборот, развлекал. И рокот голосов, в котором слышались и печальные и радостные ноты, поднялся над парком.

Алехандро встал на скамью и увидел, что толпа, опять подавшаяся вперед, подступает вплотную к автобусам. Он решил сделать еще попытку пробиться, и людской поток увлек его за собою. Когда бежали через бульвар, ему показалось, что он слышит голос Аны. Он резко прервал свой бег, стараясь устоять под натиском всех этих людей, теперь несущих на плечах свои чемоданы, мешая двигаться и загораживая от взгляда все впереди.

— Алехандро!

Наконец! Он жадно стал смотреть по сторонам. На мгновение ему представилось, что какая-то рука машет ему, еле видная над лесом человеческих голов, но сразу же толпа увлекала ее дальше, и она пропала из глаз. Снова услышал он отчаянный зов Аны:

— Алехандро!

— Ана!

И он снова бросился наперерез всем, и снова услыхал ее голос, отчаянный, плачущий, увлекаемый толпой куда-то в противоположную сторону. И оба кричали и кричали, неистово пробиваясь навстречу друг другу. Вот ее расстроенное лицо мелькнуло в двух шагах от него. Вот она уже протягивает ему руку, вот их пальцы соприкоснулись сквозь людскую толпу, и вот уже совсем рядом ее сияющие глаза, ее торжествующая улыбка. Они ринулись друг к другу, обнялись в сумасшедшем порыве, коснулись друг друга губами; и его пальцы взбили ее волосы, и оба плакали и смеялись вместе. Это тогда он сказал ей: «Я буду всегда любить тебя, Ана», а она мотала головой и не давала себя поцеловать. Но потом сама стала целовать его, и они прижимались друг к другу все теснее, и он, не зная даже, слышит ли она его сквозь весь этот шум, все повторял и повторял: «Я всегда буду любить тебя»...

Так, обнявшись, они проложили себе путь к убежищу, какое гостеприимно предлагал им огромный дуб весь в цвету. И стали говорить, торопясь и перебивая друг друга, чувствуя, что это совсем не те слова, что в них нет смысла, что ни в каких словах нет смысла в эту минуту. И они замолчали, просто смотря друг на друга, смеясь, целуясь, гладя друг друга по лицу.

И снова громкий вой автобусных гудков ударил им по нервам, но они все не расставались, все утешали друг друга в чем-то, все просили друг у друга прощения за что-то... Останавливая мгновение. Делая его вечным. И отдавая его времени, которое уже прошло...

...Он взглянул на часы. Через час их самолет приземлится в Нью-Йорке. Рядом с ним Эухенио, кажется, задремал. А может, и не задремал, а просто закрыл глаза, чтоб остаться наедине со своими воспоминаниями, пережевывая мысли, мучившие его месяц назад, когда он летел на свидание с загадкой, которая сможет открыть перед ним двери в будущее или, по крайней мере, закрыть навсегда двери в прошлое. В таком же вихре носились и его, Алехандро, мысли. «Одно сомнение,— думал он,— сменилось другим. Раньше это был вопрос, который я едва осмеливался поставить перед собой: найду ли я вновь мою родину? А теперь меня пугает другое: хватит ли у меня сил стать не тем, каким был я до этих пор».

Как жернова, тяжело поворачивались в его голове мысли, стремясь занять каждая подобающее ей место. Каким бы странным это ни казалось, но можно стоять в стороне от всего и не найти способа вырваться из своей особой формы жизни, заклеймившей тебя, как тавро. И может ли тут помочь сознание, что другим это все-таки удалось?

Да, многие проклятые вопросы отошли, но на их место встали другие. Он усмехнулся при мысли о том, какой представлялась ему Куба в его изгнании и какой оказалась на деле. Теперь, сравнивая опыт Кубы с жизнью других народов континента, с жизнью национальных меньшинств в Соединенных Штатах, с самим «американским образом жизни», он уже не сомневался в том, что его народ с головой ушел в свою задачу — построить лучший мир. Но когда он дошел в своих размышлениях до этого места, улыбка застыла у него на губах. «Хотел бы я знать,— сказал он сам себе,— хватит ли у меня смелости стать чем-то больше простого зрителя во всем этом переустройстве мира».

Скоро, весьма скоро произойдет один маловажный факт: зажгутся огни в кабине и по радио объявят, что мы приближаемся к Нью-Йорку. «Возможно ли: я вновь возвращаюсь в мир моего прошлого?» При одной этой мысли в нем закипал какой-то протест.

Несколько дней назад в разговоре с Аной он сказал: «У меня такое чувство, что я играю последний акт какой-то комедии нравов». Теперь, глядя более со стороны в этот момент приближения к Нью-Йорку, он сомневался, подходит ли тут слово «комедия». Ана в тот раз, опровергая его, вывела странное заключение: «Ты мог бы стать интернационалистом. И место твое в Соединенных Штатах было б то же, что мое в Никарагуа».

Ему ясно вспомнились сейчас эти ее слова и эта ее манера улыбаться, что никогда не поймешь — в шутку она это или всерьез. Он понял, что на сей раз она не шутит, только когда она продолжала: «Не упусти случай... В какой-то миг акробат должен сделать свой первый прыжок в пустоту... А родина? Достаточно любить ее и стать на ее сторону...»

Он не ответил ей тогда. Не осмелился открыть ей свои мысли. Боялся показаться недостаточно искренним. Но он подумал (не в первый уже раз): «Невозможно вновь слиться с Кубой, непрестанно оглядываясь на свое далекое детство. Должна существовать еще какая-то связь».

Он нащупал в кармане пачку сигарет и вытащил одну.

Да, нелегко найти ее, эту связь. Кто-то там, на Кубе,— Маиоло или Рикардо, да не все ли равно кто? — сказал ему, что присоединение к делу революции — это больше чем перемена кожи, и оно требует от человека неимоверных усилий, потому что он должен научиться мыслям и чувствам, резко противоречащим всему, что исповедовал раньше. Он вспомнил вдруг Джеральдину, как она рассказывала ему о людях, выбравших в жизни путь, полный опасностей. «Сколько раз я спрашивала себя,— повторяла ему Джеральдина теперь, в воспоминании,— что побуждает их взяться за острие ножа?..»

Так чего же хочет он теперь? Вот этого? Взяться за острие ножа? Голос Аны сно-

ва пришел ему на помощь: «Достаточно любить ее и стать на ее сторону». И еще раз в жизни отсутствие Пола показалось ему бездной, разверзшейся у него под ногами. Слишком трудную задачу приходилось решать без него. Хотя правда и то, что любая задача без него становилась слишком трудной. Но ведь есть еще где-то Освальдо, и Джеральдина, и другие, подобные им. Жизнь так богата возможностями. «Не упусти случай»,— снова припомнилось ему. «Кроме того,— подумал он,— я ведь не собираюсь взрывать статую Свободы... Я собираюсь только занять достойную позицию по отношению к обществу в целом, определиться, наметить четкий путь моей жизни. Теперь, когда я вновь обрел мою родину, я должен выработать стройную систему мышления, какая бы позволила мне уж больше не терять ее. А может быть, такая форма мышления и та гордость быть кубинцем, о которой говорила Ана, сложенные вместе, и побуждают в момент необходимости внезапно взяться за острие ножа?»

Было бы иллюзией, основываясь на собственной духовной косности, уверить себя, что мир, в котором живешь, и окружающее тебя общество, и вся вселенная стоят на месте. В конечном счете ты сам — крохотная частица всего этого, оторвавшаяся от других частиц, хоть правда и то, что едва ты захочешь воссоединиться с ними, как подстережет тебя та трагическая судьба, что подстерегла Пола и бросила его труп разлагаться в гнилой воде устья...

— Так взяться ли за острие ножа? — пробормотал он вслух, затягиваясь в последний раз.— Бесполезно сейчас мучить себя. Через полчаса мы приземлимся. Все еще зыбко сейчас. Ничего еще не решено. Да и что может быть окончательно решено для человека той редкой породы, которая живет одновременно в двух непримиримых мирах. Мы привыкли к этой рассеченной пополам жизни. Привыкли, да. Но значит ли это, что мы должны с нею смириться? И всегда ли будет так? Мне кажется, я попал в западню. Спокойней, наверно, знать, что у тебя нет родины, чем страшиться потерять ее после того, как обрел вновь. Но я слишком утомлен сейчас, чтоб передумать обо всем этом. Лучше закрыть глаза и ни о чем не думать. Отдохнуть просто. Еще полчаса остается. Завтра я буду поспокойнее и смогу лучше собраться с мыслями. Завтра! Какое прекрасное слово! Прекрасное и обманчивое, как все, что непостижно. Влекущее и опасное, как отравленное яблоко, принесенное феей из детской сказки. Будоражащее, как самая блистательная выдумка. Завтра, завтра я обо всем передумаю. Завтра все станет для меня яснее. Завтра будет мой первый рабочий день после такого долгого перерыва. Бесконечный рабочий день. Ни секунды свободного времени. Но я обязательно должен выкроить хоть несколько секунд, чтоб привести в порядок мои мысли.

И только тут он увидел, что уже проступает на горизонте, карабкаясь вверх по ступеням неба, огромное пятно света, озеро света, потоп света, который город посылал в далекую высь. Через несколько минут мерцающий ковер огней расстелется внизу, разорвав сумрак. Казалось, земная кора треснула внезапно в какой-то своей точке, выпустив наружу невиданное дотоле свеченье, какое скрывалось в земных недрах.

Он засмотрелся на эту картину. Так, видимый издалека, Нью-Йорк преображался до неузнаваемости. Ему хотелось угадать, какая часть этого сияния падала на места, знакомые ему с детства. Но многоцветное мерцающее поле было непроницаемо.

«Зачарованное видение»,— произнес Алехандро, почти не разжимая губ. Но что скрывает в себе это дивное зрелище? «Зачарованное и обманчивое видение»,— поправил он сам себя. И взгляд его, оторвавшись от сияния огней, погрузился в тайную, холодную глубину Гудзона, неумолимо катящего мутные свои волны, неся все отвратительные нечистоты, какие сбрасывает в него за день огромный город.

■

Литературное наследие

ТЕОДОР КРАМЕР

Вступление и перевод с немецкого Е. ВИТКОВСКОГО

Теодор Крамер принадлежал к поколению австрийских поэтов, вступивших в литературу в конце двадцатых годов нашего века. Сборники его стихов, выпущенные до того, как поэт в 1939 году покинул оккупированную родину, обеспечили ему известность и уважение со стороны многих крупнейших писателей немецкого языка — и не менее очевидную ненависть нацистов. Идеолог национал-социализма Альфред Розенберг по первым же опубликованным стихам распознал антифашистский пафос творчества поэта, в 1928 году посвятил ему гневную статью, а несколькими годами позже подписал приказ о сожжении его книг. Между тем, когда в начале апреля 1958 года поэт умер в одной из венских больниц, за его гробом шло едва ли три десятка человек: поэт был забыт еще при жизни. Прошло еще около четверти века — и Крамер снова стал одним из наиболее читаемых поэтов в тех странах, где говорят по-немецки.

Он родился в деревушке Нидерхоллабрунн в Нижней Австрии, в семье сельского врача. Осенью 1915 года был призван в австро-венгерскую армию, сперва попал на Волынь, где был ранен, после госпиталя снова оказался на фронте, на этот раз на итальянском. После войны Крамер вернулся к мирной жизни, служил продавцом в книжной лавке.

Первые пробы пера Крамера датированы 1913 годом, начал печататься он в 1926-м, а первый сборник («Условный знак») увидел свет в 1929 году. Одновременно с Брехтом и, видимо, под влиянием его книги «Домашние проповеди» Крамер обращается к жанру короткой баллады, который стал основным в его творчестве. В 1931 году поэт тяжело заболел и поневоле перешел на положение «свободного писателя», а когда в 1934 году под давлением нацистов венская «Арбайтер-цайтунг», где Крамер по преимуществу публиковал свои стихи, была закрыта, попросту стал голодать. Друзья поддерживали его «ежемесячными пожертвованиями», а в 1936 году помогли издать его самый большой прижизненный сборник — «С гармоникой».

ТЕОДОР КРАМЕР — THEODOR KRAMER (1897—1958)

Австрийский поэт. Автор поэтических сборников «Условный знак» («Die Gaunerzinke», 1929), «Вена 1938. Зеленые кадры» («Wien 1938. Die grünen Kader», 1946), «Погребок» («Die untere Schenke», 1946), «Хвала отчаянию» («Lob der Verzweiflung», 1956) и др. Большой цикл неизвестных ранее стихотворений опубликован также в сборнике статей и документов к биографии Крамера «Поэт в изгнании» («Dichter im Exil», 1983).

Публикуемые стихотворения взяты из сборников «Календарь» («Kalendarium», 1930), «Трясинами встречала нас Волынь» («Wir lagen in Wolhynien im Morast...», 1931) «С гармоникой» («Mit der Ziehharmonika», 1936), «Изгнан из Австрии» («Verbannt aus Österreich», 1943).

Тем временем в Германии уже горели костры из книг. Товарищ Крамера по «Австрийскому объединению социалистических писателей» О. М. Граф (оба они входили в правление «объединения»), узнав, что его книги в числе предназначенных к сожжению не числятся, опубликовал статью под вызывающим заголовком: «Сожгите меня!» Фашисты просить себя долго не заставили, они сожгли и книги Графа, и книги Крамера, а в 1938 году стерли с европейских карт само слово «Австрия». Оставаться в оккупированной стране Крамеру, социалисту и антифашисту, было нельзя, но покинуть ее вовремя он не успел. Более года он прятался у друзей, их, к счастью, было немало (герой стихотворения «Нашему привратнику», Альберт Хаас — реальное лицо), пока в последний момент, за считанные месяцы до рокового сентября 1939 года, к британскому министерству внутренних дел не обратился Томас Манн. Привожу выдержку из письма Томаса Манна от 27.IV.1939 года, впервые публикуемого в Советском Союзе:

«...Большой талант и высокие личные качества г-на Крамера сделали его одним из самых выдающихся молодых австрийских писателей. Его честность и достоинство послужат лучшей гарантией соблюдения как духа, так и буквы условий, на которых ему будет разрешен въезд на Британские острова. Со стороны нацистских властей ему грозят преследования в случае, если бы он был вынужден оставаться в Австрии. Прошу вас обратить на это внимание при рассмотрении его дела.

Как один из старейших немецких писателей я позволю себе, с вашего разрешения, утверждать, что Теодор Крамер — один из крупнейших поэтов молодого поколения, чье место в будущей культурной жизни Европы — если он сможет жить на свободе — обеспечено исключительными достоинствами его творчества, его интеллектом. Любое содействие, которое вы сможете ему оказать, принесет поэтому пользу не только г-ну Крамеру и его жене, но будет серьезнейшим вкладом в дело сохранения культуры и демократии».

Письмо подействовало, и в июне 1939 года Крамер наконец-то попадает в Англию. Там ему поначалу отказывают в постоянном виде на жительство, а весной 1940 года поэта интернируют в числе «лиц, не имеющих британского подданства» сперва в Хайтоне под Лондоном, потом—в оцепленном колючей проволокой лагере на острове Мэн. После освобождения из лагеря Крамер два года прожил в Лондоне на положении безработного, существуя на скудные гроши, уделяемые австрийским ПЕН-клубом; только в начале 1943 года поэт устраивается библиотекарем технического колледжа в маленьком городке Гилдфорде. В Англии, где поэт провел почти 18 лет, был издан единственный сборник его стихов «Изгнан из Австрии».

После войны в Вене выходят еще два сборника Крамера, а дальше наступает вынужденное молчание: большой его сборник (почти 200 стихотворений) «Хвала отчаянию» при жизни поэта так и не находит издателя.

В 1957 году безнадежно больной поэт возвращается на родину. Федеральный канцлер Бруно Крайский, высоко ценивший Крамера и уже в наши дни написавший предисловие к трехтомному собранию его стихотворений, назначил ему «почетную пожизненную пенсию». Но все оказалось слишком поздно: через три месяца поэт умирает от инсульта.

Наследие Крамера очень велико, большая часть его архива не издана по сей день. Героями его баллад были крестьяне, поденщики, нищие, бродяги, старики и слепцы из богаделен, обитатели городских трущоб и другие из числа тех, кто, говоря словами Крамера, «сам о себе не споет».

> ...И не написано еще так много
> того, что только я один пишу!

с горечью говорил поэт осенью 1944 года. С горечью, ибо уже не верил, что сможет найти дорогу к читателю. Однако меньше чем через два десятка лет после его смерти, в 80-е годы, поэзия Крамера пережила настоящее второе рождение, стали одна за другой выходить переиздания его старых книг, дополненные стихами из архива, стали выходить сборники воспоминаний о поэте, наконец, пластинки с песнями на его стихи.

Русскому читателю Крамер был открыт в 1938 году журналом «Интернациональная литература». В 70-х годах на страницах антологий и журналов появились подборки его стихов, однако знакомство русского читателя с творчеством Крамера пока еще явно недостаточно. Поэзии Крамера пора ожить и в стихии русского стиха — ибо, говоря словами выдающегося австрийского поэта Пауля Целана, для этого просто «время настало, чтоб время настало».

Ромашка

Где, как клинья, лезут в поле
тупиковые пути —
из бугра да из овражка
знай растет себе ромашка,
ей плевать, на чем расти.

Проползают паровозы,
кроют копотью траву,
но ромашке — лишь бы лето,
искры гаснут рядом где-то,
дым уходит в синеву.

Если ты по мне скучаешь,
то под вечер не тужи:
в самом первом, легком мраке
приходи за буераки,
за пути, за гаражи.

Миновав забор щербатый,
ты придешь ко мне сюда:
здесь откроется для взоров
зелень дальних семафоров,
да еще вверху — звезда.

Ты прильнешь ко мне так тихо,
закружится мошкара.
Ах, как сладко, ах, как тяжко
пахнешь ты во тьме, ромашка,—
и тебя сорвать пора.

Прием в дом для престарелых

Отныне — вот постель твоя.
Одежку в этот шкаф повесь.
Смотри, чтоб не было нытья:
у нас оно не в моде здесь.

Как видишь, койки широки:
да ты лежал ли на такой?
К покою склонны старики,
так ты уж нас не беспокой.

Вот эти тапки забери.
Клопов, не бойся, нет почти.
Крючок на фортке — изнутри.
Запомни все и все учти.

Здесь может разное бывать.
Не делай удивленный вид,
не лезь, коль кто начнет кивать
и сам с собой заговорит.

Нас будет четверо: уснем,
увидишь, лёгши по местам.
Мы в коридор выходим днем.
Курить, понятно, только там.

Ну, я пойду. Тебе — впервой.
Подумай, полежи ничком.
Когда черед настанет твой,
то будь приветлив с новичком.

* * *

Там, где копоть кроет подъездные ветки,
что ведут до самых городских ворот,
ни пырей, ни вязель не хранят расцветки,
ржавчиной и маслом вымазан осот.
Там земля буреет, напрочь обесплодев;
вар, лоскутья толя, словом, хлам любой
уминают фуры тяжестью ободьев,
так же, как известку и кирпичный бой.

На газонах жалких, что грязны и узки,
отдыхают люди в середине дня:
смотрят, как шлагбаум весь дрожит при спуске,
как шагает крана черная клешня.
Здесь, когда не жарко, топчутся подростки,
поиграть у рельсов тянет детвору,—
ветхий мяч футбольный ударяет в доски,
и скрипит штакетник пыльный на ветру.

Кончен день рабочий, по гудку, покорно
из ворот выходит смена — по-мужски
медленно как будто глины или дерна
тащит на подошвах грубые куски.
Газ шипит фонарный, и громадой темной
вечер наползает, гулок и глубок,—
только на коленях старикан бездомный
спичечный в отбросах ищет коробок.

Бродяги

Повыдохлось пламя, иссякло тепло,
нас город не любит, нас гонит село,
шагаем, шагаем — вот так-то.
Мы все позабыли в дожде и в дыму,
мы дальше от мира, чем мнится тому,
кто нас примечает у тракта.

Желтеет пустырник, и ежится дрок,
мы ночью сидим у железных дорог,
грызем кулаки, чтоб согреться,
и только блестит, как в слезах, колея;
судьба сортирует — владельцев жилья
и тех, кому некуда деться.

Шлагбаум звенит, значит, близок экспресс.
Видать, в пассажирах горит интерес
к бродягам, сгрудившимся кучкой,
нам машет из поезда множество рук,—
ну что же, пойдем на взаимность услуг:
мы тоже вам сделаем ручкой!

* * *

Заезжий двор, клетушки,
заглохший, старый сад;
чуть утро — запах стружки
всплывает невпопад.
Стучат тарелки где-то.
До жалости мала,
скользит заплатка света
вдоль шаткого стола.

Уже слегка привянув
и подвернув края,
висят листы каштанов;
замшавела скамья;
под буком темнокорым,
прозрачна и светла,
смесь пыли с мелким сором
слетает со стола.

Застывший в дреме тяжкой,
скучает старый сад,
спят и сверчок, и чашка,
и дикий виноград,—
затишье, полдень, лето,
от зноя тяжела,
скользит заплатка света
вдоль шаткого стола.

Зимняя оттепель

Выдается тепло в середине зимы,
застилается все пеленой дождевою,
оживают ручьи этой странной порой,
и топорщится нива стернею сырой,
и гуденье идет сквозь еловую хвою.

Отступают снега, и увидеть легко,
как под паром простерты угрюмые зяби,
как на старых покосах гниют клевера,
как погрызена зайцами в рощах кора,
и нигде ни одной кочерыжки кольраби.

Сучья, сбиты морозом, на землю летят,
свекловица, что на поле сложена с лета,
раскисает и пенится, бурт за буртом,
чтобы смрадом горячим окутать потом
чуть обсохшие ветви кустов бересклета.

Что ни день, то хозяйству разор да урон,
мокнут ветошь и пакля под черной соломой,
от села до села — непролазная грязь,
и в тумане плывет, все мрачней становясь,
солнца, странно разбухшего, шар невесомый.

Ночь в военном лагере

Часовой штыком колышет,
с хрустом шествуя во мраке.
Нездоровьем вечер пышет,
наползая на бараки.
Приближая час полночный,
тени древние маячат;
у канавы непроточной
с голодухи крысы плачут.

Полночь проволоку ржавит,
надо всем струит прохладу,
и патрульный не заставит
смолкнуть звонкую цикаду.
Ну не странно ли, что травы
зеленеют с нами рядом,
там, где гордые державы
позабыли счет снарядам!

Слушай, как трещат семянки!
Чтоб рука не пустовала,
тронь винтовку и с изнанки
проведи вдоль одеяла,
чуток будь к земному чуду,—
память о добре вчерашнем
дорога равно повсюду
и созвездиям, и пашням.

Винтовки в дыму

(Карнийские Альпы, Италия)

В конце дневного перехода
по склону вышли мы к селу;
на виноградню с небосвода
ночную нагоняло мглу.
Найдется место для ночевки
средь шелковиц и старых лоз,—
и пирамидами винтовки
поставил в темноте обоз.

И, отгоняя горный морок,
костер сложили мы один
из лоз, из листьев, из подпорок,
из обломившихся жердин;
рыдая глухо, как с досады,
на пламя ветер злобно дул,
почти лизавшее приклады
и достававшее до дул.

И, лишь усталость чуя в теле,
сейчас, от родины вдали,
уже не думать мы умели
о горестях чужой земли,—
мы грелись им, необходимым
теплом обуглившихся лоз,
и веки разъедало дымом,
конечно, только им, до слез.

* * *

И сгущается ночь
и слетает листва
и ничем не помочь
и надежда жива
и торчит часовой
и никто никуда
и хлебнули с лихвой
и гудят провода.

И могли бы добром
и уж прямо враги
и не действует бром
и тупеют мозги
и баланда жидка
и бессмыслен скулеж
и шептаться тоска
и молчать невтерпеж.

И над родиной тьма
и не жизнь а дерьмо
и сойти бы с ума
и на каждом клеймо
и не верим вестям
и сжимает сердца
и полгода к чертям
и не видно конца.

10.X.1940, о. Мэн, лагерь для интернированных

Нашему привратнику

Образ твой приходит мне на ум,
вспоминаю с теплотой все чаще
твой бессменный форменный костюм
и кофейник, в закутке кипящий.
Засорялся душ ли, гас ли свет,
кран ли протекал, полы коробил —
ты умел помочь, подать совет.
Старикан, твой час еще не пробил?

Ты ночами на посту не дрых,
об тебя ломалась вражья лапа:
ты троих, а то и четверых
умудрялся спрятать от гестапо.
Ты салютовал, как палачи,
и штандарт над входом приспособил —
а в потемках нам таскал харчи.
Старикан, твой час еще не пробил?

Знаю твердо — ты не спасовал,
не согнулся ты от горькой чаши.
Под бетонным полом твой подвал
сберегает рукописи наши.
Сына у тебя взяла война,
а квартальный — милости сподобил
и торчит у твоего окна...
Старикан, твой час еще не пробил?

15.X.1941. Лондон

* * *

Только горе вижу в мире,
только сирых — меж людьми.
Не бряцай, поэт, на лире,
но гармонику возьми.

Пуст карман, осипла глотка,
мысли сумрачны и злы.
Вместо крови в жилах водка,
а душа полна золы.

Не здоровье, а разруха,
плохо с сердцем, с головой.
Мне подругой нынче — шлюха,
другом — ветер пылевой.

Мне из дел одно осталось —
в строчки складывать слова.
Мною, жалким, движет жалость,
но и ненависть жива.

На юру, меж трав зеленых,
словно ящерка, вздремну:
коль стихает ветер в кронах,
клонит и меня ко сну.

Состраданье душу гложет —
все шагаю да пою.
Жаль, никто потом не сможет
взять гармонику мою.

■

ВИТКОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1950 г.)

Советский поэт-переводчик. В его переводах публиковались стихотворения и поэмы Фр. Петрарки, Л. де Камоэнса, Ф. Пессоа, Дж. Китса, И. В. Гёте, Т. Крамера, Й. ван ден Вондела, В. Г. Фоккенброха, А. Роланда Холста, южноафриканских поэтов Э. Криге, Й. Йонкер, Д. Й. Оппермана и др. Выступает также как историк художественного перевода.

ДЭВИД ШЕФФ

«ТО, ЧЕМ Я ЗАНИМАЛСЯ ТОГДА В ВАШИНГТОНЕ, БЫЛО НАСТОЯЩИМ БЕЗУМИЕМ...»

Интервью с Теодором Тейлором

США имеют на вооружении около 50 тысяч ядерных боеголовок. Видимо, часть из них — ваши творения.

Типы оружия, которые я в свое время создал, теперь либо полностью устарели, либо коренным образом усовершенствованы. Но во всех ядерных боеприпасах нынешнего поколения в той или иной мере реализованы результаты разработок, которые я вел в Лос-Аламосе.

Какие именно?

Речь идет об использовании новейших технологий для создания миниатюрных боеприпасов, с одной стороны, и предельно мощных — с другой. Я работал преимущественно над атомными бомбами, где используется цепная реакция деления атомных ядер. Этот же эффект служит для приведения в действие и самых современных водородных боеприпасов.

А как далеко продвинулась наука с тех пор?

Мощность водородных бомб существенно увеличена. СССР испытал бомбу в 60 мегатонн; если покрыть ее оболочкой из урана, можно приблизиться и к 100 мегатоннам. Советские ученые не решились пойти так далеко — они столкнулись с проблемой избыточных радиоактивных осадков. Одно время мы тоже пытались создать заряд подобной мощности, но это оказалось нецелесообразным по двум причинам. Во-первых, он был бы необыкновенно тяжел, но главная проблема не в этом. Гораздо важнее то обстоятельство, что самолет, сбросив такую бомбу, не успел бы вовремя покинуть район взрыва. Оптимальным решением стали водородные бомбы меньшего размера.

Какие испытания проводятся сейчас в США и СССР?

Я не имею представления об этом. Знаю только, что 3 февраля Соединенные Штаты испытали оружие сверхмалой мощности. За этим испытанием последовал целый ряд новых. Советский Союз заявил в свое время, что будет соблюдать свой мораторий на ядерные испытания до первого американского взрыва в 1987 году. Мы игнорировали это заявление и взорвали бомбу сверхмалой мощности,— вероятно, от 10 до 50 тонн, или от 0,01 до 0,05 килотонны. По крайней мере, так было официально сообщено. Это равно примерно 1/1000 мощности заряда, разрушившего Нагасаки.

Какие цели преследует подобное испытание?

Вероятно, изыскиваются новые пути получения определенных видов энергии ядерного взрыва. Это необходимо прежде всего в интересах программы СОИ — для создания как средств уничтожения ракет агрессора, так и оружия для выведения из строя компонентов системы «звездных войн». Необходимо работать в обоих направлениях: ведь когда удается изобрести способ защиты от нападения, противник тут же принимает свои меры. Такой мерой в случае с СОИ может стать ядерное оружие, способное генерировать направленный поток энергии. Он был бы губителен для наиболее уязвимых компонентов системы «звездных войн» — аппаратуры слежения, сверхсложных компьютеров и линий связи.

После начала американских испытаний Советский Союз сдержал свое слово и возо-

ДЭВИД ШЕФФ — DAVID SHEFF (род. в 1957 г.)

Американский журналист, штатный сотрудник журнала «Плейбой», постоянный автор журналов «Тайм», «Эсквайр», «Пипл» и др.

Публикуемое интервью получено редакцией в рукописи.

бновил ядерные взрывы. Какие именно устройства испытывает СССР?

Первым после окончания моратория был взрыв заряда в 20 килотонн, то есть равного по мощности бомбе, сброшенной на Нагасаки.

О чем это свидетельствует с точки зрения направленности советских исследований?

На этот вопрос невозможно ответить однозначно. Но поскольку мы сейчас испытываем компоненты системы космической обороны, они скорее всего разрабатывают средства ее прорыва. Какой бы мощности это их оружие ни было — большой, средней или малой,— его испытание опровергает утверждения Рейгана о том, что СОИ прекратит гонку вооружений. Ведь если мы пойдем на создание системы космической обороны, они так или иначе найдут возможность ее прорыва, а мы в свою очередь изыщем средства, препятствующие возможному прорыву. В любом случае нельзя гарантировать, что эффективность какого бы то ни было вида оружия, использующего направленные потоки энергии, окажется хотя бы для одной из сторон соразмерной с затратами на его разработку. Я лично считаю, что ни один из них не даст его обладателю преимуществ, сопоставимых с вложенными затратами.

Вероятно, именно поэтому вы резко критикуете СОИ?

Нет, это не главное, что меня беспокоит. Наибольшая опасность заключается в том, что СОИ стимулирует разработку новых типов ядерного оружия, оружия массового уничтожения.

Похоже, вы не верите утверждениям, что СОИ предназначена исключительно для обороны?

Эта концепция не является строго оборонительной. Настаивать на обратном — значит говорить неправду. Наивно полагать, что разработчики ядерных вооружений имеют в виду только один путь реализации своих изобретений. Для творческой личности такого рода подход неприемлем. Ученые неизбежно откроют новые «ящики Пандоры».

Как вы думаете, что может скрываться в этих «ящиках Пандоры»?

Ядерное оружие нынешнего поколения при взрыве высвобождает огромную энергию, которая распространяется практически равномерно во все стороны от эпицентра. Для реализации СОИ потребуются ядерные устройства, способные избирательно усиливать или, наоборот, подавлять те или иные виды энергии взрыва. На этой основе можно будет создать оружие — как оборонительное, так и наступательное,— которое бы фокусировало энергетические потоки, а затем направляло их на цели в космосе или на земле.

Но ведь это не ново. Разве рентгеновские лазеры не выполняют именно эти функции?

Суть пучкового оружия, о котором я говорил, и рентгеновских лазеров концептуально сходна, но нужно иметь в виду, что различные виды лучей обладают разными возможностями.

Так каким же представляется вам новое сверхоружие?

Микроволны или волны более низкой частоты способны производить эффект, который не под силу рентгеновскому лазеру. Их можно получать в результате ядерного взрыва, а затем направлять пучок лучей сквозь атмосферу.

А разве это нельзя сделать с лучами лазера?

Если луч лазера направить из космоса на землю, его энергия рассеется уже в верхних слоях атмосферы, на высотах, которых не достигает ни один самолет. Поэтому лазеры можно использовать лишь в космическом, безвоздушном пространстве. Наиболее важные преимущества микроволн по сравнению с рентгеновскими, нейтронными или гамма-лучами состоит в том, что, во-первых, они при должной частоте свободно проникают сквозь плотные слои атмосферы даже в облачную погоду, во-вторых, их можно очень точно сфокусировать и, в-третьих, общее количество энергии, которое необходимо затратить, чтобы произвести с их помощью серьезные разрушения на поверхности земли, намного меньше. Вполне возможно создание устройства, которое будет воздействовать на цель, в пересчете на единицу площади, в тысячу раз сильнее, чем обычное ядерное оружие.

А какой эффект производит микроволновое оружие?

Прежде всего, микроволновое излучение выводит из строя электронные устройства. Оно может также перегрузить электрическую систему и таким образом нарушить электроснабжение целого региона. Кроме того, оно в состоянии расплавить контакты реле. Будучи нацеленным на наземные ракетные пусковые установки, микроволновое излучение может нанести им непоправимый ущерб. Аналогичным образом оно воздействует и на электростанции. Или города. При определенной интенсивности оно может вызвать пожар, просто «зажарить» нас всех, наконец. Всего пять процентов энергии, высвобождаемой небольшим, килотонным взрывом в космосе, способно, если ее сфокусировать в луч диаметром в три сантиметра, вывести из строя электронное и электрическое оборудование — компьютеры, антенны, линии электропередач и т. п.— на площади большей, чем занимает Вашингтон. Такой луч нанес бы повреждения сложным электронным устройствам военного назначения, которые обеспечивают наблюдение, слежение, связь и навигацию. Микроволновое излучение может быть направлено как на наземные, так и на космические цели. Оно способно моментально уничтожить то, что мы именуем средствами ядерного сдерживания.

Ведутся ли в рамках работ по СОИ исследования в области микроволн?

В настоящее время наибольшее внимание общественности привлекает рент-

геновский лазер. Не вызывает сомнения, что если он будет сконструирован, то тут же появятся модификации, предназначенные не для обороны, а для нападения. И начало работ над микроволновым оружием — тоже вопрос времени. Я здесь хочу подчеркнуть, что не верю в эффективность СОИ. Это пустая трата денег. Но хуже, если СОИ окажется экономически выгодной. Вот тогда нам придется беспокоиться о таких вещах, о которых мы раньше просто не задумывались. Например, о нетрадиционных способах доставки ядерных зарядов к цели. Очевидно, будет создано и микроволновое оружие. Его разместят — подобно СОИ — в космосе, но оно станет наступательным, нацеленным на наземные объекты. Появятся также другие виды вооружений, призванные стать противовесом системе СОИ. Это будет, в частности, целый ряд новых разновидностей крылатых ракет, ракеты малого радиуса действия, которые будут запускаться с подводных лодок по прибрежным районам, ракеты, поднимающиеся за пределы атмосферы и т. п. Таким образом, наибольшее беспокойство вызывает у меня то обстоятельство, что планы «звездных войн» будут стимулировать все новые и новые витки гонки вооружений, которая в свою очередь породит еще большую неопределенность в соотношении сил и таким образом неизбежно увеличит вероятность катастрофы. СОИ создает условия для гонки ядерных вооружений и тем, что обеспечивает фактически неограниченные ассигнования на научные исследования в военной области. Теперешняя ситуация аналогична сложившейся в 50-е годы, и посмотрите, куда это нас завело!

Что еще вы можете рассказать об исследованиях, ведущихся в военных лабораториях? Например, о бомбе, которая, по слухам, способна вызвать расстройство психики. Разрабатывается ли такое оружие?

Вы, вероятно, имеете в виду бомбу, воздействующую на мозг человека. Я не знаю, удалось ли нашим ученым создать такое оружие на практике. Считается, что можно генерировать волны очень большой длины, приближающиеся по частоте к альфа-излучению человеческого мозга. Если такие волны направить на человека, функционирование его центральной нервной системы будет нарушено и он сойдет с ума.

А как будут испытывать подобные виды вооружения?

Я не знаю, создано ли такое оружие или все это пока теоретические построения.

Существуют ли ядерные боеприпасы, отличные от находящихся сейчас на вооружении водородных бомб?

Для ракет «Лэнс» созданы нейтронные боеголовки. Они предназначены специально для борьбы с танками. Здесь преследуется цель быстро вывести из строя экипаж, не разрушая сам танк, и свести к минимуму выпадение радиоактивных осадков. С моей точки зрения, нейтронная бомба — полная бессмыслица, достичь задуманного результата с ее помощью невозможно. Например, если применить нейтронное оружие в масштабах, которые позволили бы остановить советские танки, если бы они вторглись в Западную Германию, радиоактивное заражение все равно приведет к гибели большего числа немцев, чем русских. Пример нейтронной бомбы очень наглядно подтверждает мою давнюю мысль о том, что главной движущей силой гонки ядерных вооружений являются их непосредственные творцы, а не политики. Именно гражданские ученые и инженеры — создатели все новых видов оружия — всячески рекламируют разные необычные идеи, будоражащие умы. Нейтронная бомба действительно будоражит ум. Но лишь как научная концепция. И тем не менее этой будоражащей ум концепцией легко заразить представителя военного ведомства и убедить его, что бомбу стоит производить.

Вам известно что-либо о работах в области химического оружия?

Мне известно, что химические боеприпасы при том, что весят они не слишком много, могут нанести противнику огромный ущерб: сделать непригодными воздух, воду — на поле боя или в городах. Тем не менее это — ничто по сравнению с биологическими отравляющими веществами. Например, токсин ботулизма является агрессивно ядовитым веществом даже по сравнению с химическим оружием. Токсин ботулизма, одна миллионная грамма которого смертельна,— один из сильнейших ядов на земле. Причем независимо от того, каким образом он попадает в организм. Новые поколения биологических ядов особенно страшны. Они разрабатываются на основе последних достижений генной инженерии, которые позволяют получить субклеточные структуры, способные заменить части здоровых клеток, причем сделать это выборочно, то есть атаковать только те клетки, которые имеют определенный набор генов. А теперь вообразите себе, что над Вашингтоном распылено вещество, которое убивает всех негров и не причиняет вреда другим этническим группам.

Вы сейчас говорите об ученых, которые работают над изобретением вещей, вызывающих отвращение. Не так давно вы сами создавали оружие. Что вы можете сказать в свою защиту?

Я не могу защищать разработчиков оружия, но понимаю, что ими движет. Они идут туда, где получают деньги, другие виды вознаграждения, но также и нечто более заманчивое, чем даже деньги. Мне знакомо это состояние, сходное с привыканием к кокаину. Возникает ощущение способности влиять на мировые события. Вы поднимаетесь до определенного положения в своей области науки и затем, после тщательной проверки на благонадежность, вас приглашают в Пентагон. Вас спрашивают: «Можете создать бомбу, в десять раз более мощную, чем любая из существующих, и притом не свыше восьми дюймов в диаметре?» И вы в ответ улыбаетесь. Вы говорите себе: «Да, я могу сделать та-

кую бомбу». Потом вы идете на полигон и наблюдаете за устрашающим взрывом, который является вашим детищем. Теперь вам требуются все новые и новые дозы наркотика. Ученые обладают поистине неправдоподобной способностью предвидеть события в своей области знания. У человека вырабатывается чутье, позволяющее предвосхищать новое и необычное. Это захватывает. Это опьяняет. Стремление создавать все более и более разрушительное оружие — это проклятие, это болезнь. Я помню, как, производя вычисления, я досадовал, что не в состоянии с помощью своих бомб стереть с лица земли более крупную цель. Однажды я обсуждал параметры одной из бомб с Джоном Макфи из «Нью-Йоркера» и у меня с языка сорвалось слово «элегантно». Это то самое, о чем я говорю.

Вы начали с «крестового похода» за значительно более строгую охрану ядерного оружия и сырья для его производства — плутония и урана,— так как считали, что они могут попасть в руки террористов. Как обстоят дела в этом плане сегодня, почти пятнадцать лет спустя?

В обеспечении физической безопасности этих материалов наметился значительный прогресс. Однако, судя по имеющимся у меня данным, которые, правда, не являются достаточно полными, эффективность принимаемых мер далека от желаемой и реально достижимой.

Как вы считаете, сегодня изготовить самодельную ядерную бомбу легче, чем пятнадцать лет назад?

Да, легче, причем по целому ряду причин. Больше публикуется официальной информации по данному вопросу. Доступными являются недорогие и весьма эффективные системы детонации. И главное, в обращении находится значительно больше необходимых материалов.

Когда вы стали апеллировать к общественности, вас начали критиковать за то, что вы якобы обострили проблему ядерного терроризма, разгласив пусть не схему устройства самих бомб, но, во всяком случае, пути приобретения материалов и документов, необходимых для ее изготовления.

Да, действительно, многие были недовольны, что данная проблема открыто обсуждается в таких подробностях. Но я хочу подчеркнуть: все, о чем я говорил, было обнародовано ранее. Скрывать истинное положение вещей, притворяться, что все в порядке, было бы значительно опаснее, чем откровенно разъяснять общественности серьезность сложившейся ситуации.

Но ведь вы сами признавали, что публичное обсуждение этих проблем может вызвать всплеск активности террористов.

Так оно, в сущности, и произошло. До середины 70-х годов они лишь пару раз угрожали применением ядерного оружия. А примерно за год после выхода моей книги и посвященной моей судьбе книги Джона Макфи появились десятки сообщений о подобных угрозах. К сегодняшнему дню таких сообщений накопилось уже несколько сотен. Насколько мне известно, все эти угрозы оказались мистификациями, хотя некоторые внушали опасения весьма серьезные.

Со страниц книги Макфи[1] вы заявляете, что при взрыве в пригороде Вашингтона во время выступления президента в конгрессе «даже самой маломощной атомной бомбы» в Капитолии погибли бы «руководители всех ведомств правительства Соединенных Штатов, все члены Верховного суда, весь кабинет министров, все законодатели и, что хуже всего, весь объединенный комитет начальников штабов. Эта участь постигла бы всех преемников президента от начала до конца списка — за исключением лишь тех, кто по счастливой случайности остался бы дома по болезни». Не боитесь ли вы накликать беду?

Нет, я стараюсь предотвратить беду. На карту поставлены очень серьезные вещи. И проблема заключается в том, как избежать непоправимого.

Что заставило вас сделать поворот на 180 градусов в своей карьере?

После Лос-Аламоса с 1956 по 1964 год я работал в «Дженерал атомик» над концептуальными проблемами создания экспериментальных реакторов, реакторов для АЭС и космических энергосистем. Именно там мы создали опытный реактор ТРИГА и «ОРИОН». Затем в 1964 году, когда я с семьей отдыхал в горах Сьерра, возле нашей палатки неожиданно появился человек в порванных брюках, вид у него был почти безумный —словно он только что увидел гремучую змею,— и вручил мне приглашение поступить на работу в Пентагон. Они хотели, чтобы я занимался изучением последствий атомных взрывов по программе министерства обороны в качестве научного директора Агентства противоатомной обороны.

Я согласился. Главной темой наших исследований было изучение воздействия ядерных взрывов на электронное оборудование, самолеты, компьютерные микросхемы, жилые строения и людей. Но прежде всего — на военную технику. Я знал, что в этой области далеко не все ясно. Мы и понятия не имели, как эта техника и оборудование поведут себя при ядерном взрыве. А это было важно выяснить. В течение последующего года произошло много такого, что в конце концов перевернуло все мои прежние представления.

В середине 60-х годов вы выступали за гонку вооружений?

Я верил в стратегию ядерного сдерживания. В этой вере я находил оправдание своей деятельности.

В письме из Лос-Аламоса своим родителям вы говорили: «Если современные атомные бомбы уже способны превратить будущую войну в последнюю для человечества, а большинство людей все еще не осознают этого, то, видимо, есть лишь один выход: создать такую бомбу, которая не оставит сомнений н и в о д н о й голове». Именно этим соображением вы оправдывали изобре-

[1] John McPhee. The Curve of Binding Energy. A Journey into the Awesome and Alarming World of Theodore B. Taylor (Джон Макфи. Кривая энергии связи. Путешествие в мир Теодора Б. Тейлора — мир ужаса и тревоги). New York, Farrar, Straus and Giroux, 1974.

тение нашей первой бомбы мегатонной мощности.

Мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать, что концепция сдерживания — заблуждение. Очевидная и простая истина состоит в том, что ядерное оружие предназначено для массового уничтожения людей. И даже если считать, что уничтожение вражеских солдат оправданно, никуда не уйти от того, что основными жертвами бомбы будут мирные жители. Работая в Пентагоне, я обнаружил, что там совершенно не владеют ситуацией. В то время — а это был 1965 год — людей больше всего волновала война во Вьетнаме. И я изнутри военного ведомства видел, насколько некомпетентными были акции его деятелей. До сих пор я оправдывал свой энтузиазм по поводу ядерного оружия отчасти тем, что оно якобы сделает войну невозможной. И вот я — в сердцевине Пентагона, а одновременно и в сердцевине того, что некоторые американцы считали самой худшей из войн, в которой их стране когда-либо приходилось участвовать. Я не знал, как мне из всего этого выбраться, а рядом находилось ядерное оружие, представлявшее угрозу, причастным к которой я, конечно же, быть не желал. Я знал, как много оружия мы имеем, каких типов, где оно находится и как предлагается его использовать. Все это вызывало у меня огромную тревогу. Раньше я не представлял, какими запасами оружия мы располагаем. То, что я узнал, просто не укладывалось в голове. Я имел свободный допуск к секретной информации, по работе она была мне необходима, а это означало, что я был вправе спросить что угодно и рассчитывать на то, что получу ответ. Я знакомился с закрытой информацией ЦРУ, военно-морской разведки и разведки министерства обороны, которая в то время находилась в стадии становления. Сталкивался с дезинформацией и с недостатком информации. Возникали опасные инциденты при обращении с ядерным сырьем. Люди лгали. Ежемесячно на совершенно секретных совещаниях начальников штабов я знакомил их с данными испытаний ядерного оружия. Я посвятил их, в частности, в устрашающие подробности поведения «Минитменов» и «Поларисов», о чем они не имели ни малейшего представления. Но когда позднее состоялись слушания в конгрессе, эта настораживающая информация там не прозвучала. Тревога моя становилась все более серьезной. Особенно когда я заметил, что никто не придает значения возможности похищения преступниками либо террористами ядерного оружия или компонентов, необходимых для его изготовления. Я посетил ряд атомных электростанций, чтобы посмотреть, как на них соблюдаются меры безопасности. И однажды обнаружил на территории одной АЭС, в каких-нибудь десяти метрах от ограды склад плутония в количестве, достаточном для того, чтобы вооружить небольшую страну. Грабители легко могли бы преодолеть ограду. Единственный охранник — тучный и очень пожилой человек, вооруженный пистолетом 38-го калибра,— находился в трехстах метрах от склада.

Где это было?

На фабрике по переработке ядерного топлива в Уэст Вэлли, штат Нью-Йорк. Затем я поехал в Нью-Хейвен, штат Коннектикут — там готовится высокообогащенный уран для опытных реакторов. И я обнаружил, что прямо в центре Нью-Хейвена, рядом с жилыми кварталами, матери с детьми в колясках прогуливались вдоль ограды, за которой хранился высокообогащенный металлический уран в количестве, достаточном для изготовления, вероятно, пятидесяти ядерных устройств. Более того, я увидел, что проблема ядерного оружия и ядерного сырья совершенно вышла из-под контроля. После тщетных попыток предпринять что-либо я вынужден был обратиться к общественности. В итоге Мэйсон Уилрич, в ту пору юрист одного из факультетов Виргинского университета, и я решили написать книгу о ядерном терроризме. Проект финансировался фондом Форда. Этой проблемой заинтересовался и Джон Макфи из «Нью-Йоркера». С тех пор и по сей день моя жизнь посвящена задаче поставить под контроль ядерное оружие. Это было твердое, однозначное, осмысленное решение. Никаких слез. Никаких озарений, подобных испытанному святым Павлом по пути в Дамаск.

А какова ситуация сегодня?

Я делаю все от меня зависящее для того, чтобы приблизить полное уничтожение ядерного оружия.

Не мечтатель ли вы? Не считаете ли вы, что в нынешней политической ситуации гонка вооружений является, так сказать, «неизбежным злом»?

Люди считают так потому, что с младых ногтей им внушалась идея, будто выжить можно, только разбив в пух и прах своих противников. Я же смотрю на вещи более оптимистично. Советский Союз объявил, что, если мы возьмем на себя обязательство прекратить ядерные испытания, он вновь прекратит свои. Наши страны ведут переговоры об уменьшении числа тактических ракет и ракет среднего радиуса действия. Все это действительно очень важно. Но я вижу возможность пойти еще дальше. Наибольшие надежды я связываю с усилиями, направленными на осуществление совместных проектов СССР и США, взаимовыгодных проектов, не имеющих военной окраски и никому не угрожающих. В отдаленном будущем это могут быть по-настоящему широкомасштабные программы совместного исследования космоса. Если же говорить о более практических и неотложных делах, то необходимо рассмотреть проблемы, с которыми сейчас сталкивается каждая из наших стран. До настоящего времени мы друг другу, как правило, советовали: «не делайте того-то», «прекратите то-то» и т. п. Например, «прекратите ядерные испытания», «прекратите производство ядерных вооружений», «не осуществляйте прог-

рамму СОИ». Я прихожу к мысли, что самое важное порекомендовать, что́ надо предпринять. Что́ предпринять Горбачеву и возглавляемому им руководству СССР, Рейгану и правительству Соединенных Штатов, промышленникам и ученым обеих стран.

И что же надо делать, например?

Американцам следует изучить проблемы, с которыми сталкивается Горбачев. Советским людям — проблемы, которые стоят перед нами. Потом надо определить общие проблемы. Одной из них является, в частности, отравление запасов питьевой воды. Она серьезна для обеих стран. За последние месяцы все интересующиеся экологией люди, с которыми мне довелось говорить, утверждали, что это вопрос номер один в области охраны окружающей среды. Ну а как его решить? Кроме того, мы должны определить, откуда нам брать энергию, не оказывая при этом негативного влияния на климат и не осложняя положения с ядерными отходами и распространением ядерных материалов. Крупной проблемой в Советском Союзе является строительство жилья. Я рассуждаю следующим образом. Раз нам нравится политика Горбачева и мы хотим иметь дело с Горбачевым, мы должны помочь Советам в деле жилищного строительства. А Советский Союз в свою очередь может оказать технологическую помощь нашей сталелитейной промышленности.

Существует еще одна общая цель, достижение которой будет выгодно обеим странам,— уничтожение всех ядерных вооружений. Если бы мы использовали наши возможности для совместного поиска новых видов энергии, скажем со времен второй мировой войны, я не думаю, что сегодня кого-либо беспокоило бы, в чьих руках находятся месторождения нефти на Ближнем Востоке. А пока мы ждем появления новых видов топлива, давайте использовать уже имеющиеся в нашем распоряжении ядерные реакторы. Кстати, с их помощью очень удобно избавляться от плутония, идущего на военные нужды. А высокообогащенный уран, предназначенный для боеприпасов, можно перемешать с ураном-238 и таким образом сделать невозможным его боевое применение. Полученный уран-235 годен для использования в мирных целях. Для уничтожения с помощью атомных электростанций всего плутония и высокообогащенного урана, заключенных в ядерном оружии, потребуется всего три года. Давайте обнародуем этот проект и начнем его осуществлять — хоть с завтрашнего дня. Для этого не нужно никакого официального договора. Начать можно с 50% запасов с каждой стороны. Если мы проделаем это в качестве эксперимента, причем с гарантиями, что ни одна из сторон не сможет обмануть другую и при этом избежать разоблачения, мы многому научимся.

А как мы убедимся в том, что Советский Союз нас не обманывает?

Существует множество проектов, как это все организовать. Например, оружие, которое находится на подводной лодке «Трайдент», могли бы демонтировать американские специалисты, поскольку США не заинтересованы в раскрытии перед СССР технологии его изготовления. После демонтажа ядерные материалы помещаются в черный ящик. Инспекторы из Международного агентства по атомной энергии, убедившись, что первоначально в черном ящике не было плутония или высокообогащенного урана, измеряют количество ядерных материалов в ящике после загрузки. Затем он транспортируется к месту приготовления топлива для реакторов, топливо помещается в реактор, и дело сделано. Непосредственно перед загрузкой в реактор инспекторы агентства могут проверить, сколько плутония содержится в топливе. Главная роль инспекторов МАГАТЭ будет состоять в том, чтобы не допустить утечки плутония или высокообогащенного урана в процессе перевозки. Процесс демонтажа должен проходить при соблюдении договоренности о прекращении производства нового ядерного оружия.

А как это можно проверить?

Мы спрашиваем: «Не хотят ли русские нас обмануть?» — а русские думают: «Не хотят ли американцы нас обмануть?» Все в конечном счете сводится к этому основному вопросу. Но ведь если сократить количество боеголовок на земном шаре с 50 000 до 500, со стороны общественности идее разоружения будет оказана мощная поддержка. Одновременно будут существовать ясные и недвусмысленные положения международного права, согласно которым производство, приобретение и обладание ядерным оружием окажутся под полным запретом. Это оружие будет рассматриваться как зло.

Даже сторонники наращивания ядерного потенциала могут согласиться, что оно является злом, оно отвратительно и даже аморально — но обязательно добавят, что зло это «неизбежное», ибо они не ждут от русских высокоморального поведения.

На мой взгляд, даже это не аргумент против разоружения. Судя по тому, как обстоят дела сегодня, высока вероятность того, что на протяжении нашей жизни, или жизни наших детей, или жизни наших внуков по вине ядерного оружия мир перестанет существовать. Поэтому оправданно все, что способствовало бы уничтожению этого оружия. А чем же грозил бы нам обман со стороны русских? К чему он мог бы привести?

Они одержали бы над нами верх.

Каким образом?

Сбросили бы бомбу на Манхэттен, еще одну на Лос-Анджелес, а потом выдвинули бы свои требования, угрожая новыми ударами. А у нас не осталось бы никаких возможностей ответить им — мы им доверились.

И что же они могли бы от нас потребовать?

Стать русскими. Вы ведь знаете поговорку: «Лучше быть красным, чем мертвым».

Это бессмысленная фраза.

Так полагаете вы, ваши воззрения на сей счет известны. В своей книге Макфи приводит ваши слова: «Если бы русские начали бомбить Манхэттен, я бы не стал бомбить Москву».

Дело здесь не в доверии к русским. Просто я против массового уничтожения. Вот и все.

Не кажется ли вам, что многие в нашей стране высказались бы за бомбежку Москвы, в случае если бы русские сбросили бомбу на Манхэттен.

Я не вполне в этом уверен. Я спросил как-то одну крайне консервативную политическую деятельницу из нашей округи, готова ли она была бы отдать приказ об ответном ядерном ударе по Советскому Союзу. Она отказалась отвечать. Я спрашивал об этом же «ястребов» из совета национальной безопасности, других конгрессменов. Все считают, что мы должны были бы в этой ситуации действовать взвешенно. Короче говоря, остается гадать.

Вся гонка вооружений строится на том, что мы нанесли бы ответный удар.

Я считаю, что есть основания смотреть в будущее оптимистически. Ведь нынешняя гонка вооружений, взаимное недоверие — это всего лишь результат инерции мышления, унаследованного от старого мира. Для мира сегодняшнего такое мышление неприемлемо. Это может служить фундаментом для обоснованных надежд. Я верю, что большинство людей мыслят достаточно рационально. Ни русские, ни американцы не могут желать убийства десятков или сотен тысяч людей...

Поэтому мы должны сделать все возможное для того, чтобы необходимость в ответном ударе не возникла. Если бы мы сотрудничали с Советским Союзом, не было бы причин для каждой из сторон стремиться к военному превосходству. Эйнштейн сказал как-то, имея в виду способность человечества создать огромные запасы оружия «Мы должны изменить свое мышление, иначе мы скатимся к беспрецедентной катастрофе». Путь к международной стабильности и необходимому минимуму безопасности лежит не через силовое балансирование и взаимные инспекции, а через давление на правительства, с тем чтобы они пересмотрели свои приоритеты и поощряли научные исследования не в сфере создания вооружений, а в областях, позволяющих решить стоящие перед человечеством проблемы, позволяющих двигаться вперед по пути прогресса. К примеру, перед учеными, работающими в области генной инженерии, могут оказаться два пути. Один из них — создание вещества, которое умертвило бы всех белых и оставило в живых черных, или наоборот. Другой путь — разработка препаратов для борьбы с раком. Умственную энергию надо направлять на поиски средств противодействия СПИДу сокращения безработицы в Северной Англии, решения жилищной проблемы в СССР, выхода из водного кризиса в Северной Америке. Попытки создавать все более сложные и разрушительные виды оружия — настоящее сумасшествие.

Позвольте мне еще раз повторить ставшую уже избитой фразу о том, что сегодня на земле накоплено достаточно оружия, чтобы неоднократно уничтожить все живое. Горбачев по этому поводу сказал однажды, что сегодня ядерная бомба может нанести ущерб, в два раза превосходящий все разрушения периода второй мировой войны. Нам есть чем заняться помимо создания оружия: энергетическими проблемами, проблемами продовольствия, охраны окружающей среды, захоронения ядерных отходов. Создатели вооружений должны наконец открыть глаза на мир...

Первый день, который я провел в Советском Союзе, был по-летнему теплым, и мой гид и переводчик, женщина по имени Галина Орлова, предложила мне осмотреть город. Она повела меня на Красную площадь и показала Мавзолей В. И. Ленина и могилу Неизвестного солдата, к которой по обычаю приходят молодожены. Мы видели эти счастливые молодые супружеские пары, празднующие день своей свадьбы.

Она оставила меня одного, а сама пошла заказывать билеты в театр, куда мы собирались пойти на следующий день. Я остался стоять примерно на полпути между Мавзолеем и могилой Неизвестного солдата. И тут на меня нахлынули воспоминания... Это было в ноябре 1950 года, как раз в день рождения моей второй дочери. Я сидел за столом в бараке, который сохранился со времен войны, — в нем работали аналитики из военно-морской разведки. Я первый раз приехал в Вашингтон после начала своей работы в Лос-Аламосе. Все утро я провел над аэрофотографиями Москвы, отмечая циркулем зоны умеренных, сильных и сплошных разрушений, которые возникли бы в случае взрыва над центром города на высоте трех тысяч футов разработанной мной 500-килотонной бомбы. Запомнилась досада, что нарисованные мной круги не покрывали всей территории Москвы...

Я посмотрел по сторонам и увидел несколько пар празднично одетых молодоженов. Вокруг них резвилась ребятня. Группами прогуливались гости Москвы, приехавшие со всех концов страны. На площади было не менее нескольких тысяч человек.

По моим щекам потекли слезы. То, чем я занимался тогда в Вашингтоне, было настоящим безумием. Я вдруг осознал, что судьбы мира зависят от безумцев — ученых и политиканов, стоящих за ними, — от того, будут ли они по-прежнему рисовать зловещие концентрические круги вокруг мест, подобных тому, на котором я стоял. Один взрыв — и все люди, ни в чем не повинные, прекрасные люди оказываются погребенными внутри круга, нарисованного человеком, подобным мне.

Перевод с английского
Б. НИКОЛЬСКОГО

Теодор Тейлор: «Кривая» судьбы ученого

Американский физик Теодор Тейлор, с чьим интервью вы только что познакомились, в феврале нынешнего года был в Москве, на международном форуме «За безъядерный мир, за выживание человечества». В те дни мне не удалось пробиться к нему: продолжалась мужественная голодовка Чарлза Хайдера, и его друг, профессор Тейлор, собирал подписи под воззванием, отвечал на вопросы корреспондентов, словом, был в центре внимания.

Один из создателей американской водородной бомбы. Конструктор самой маленькой и легкой из всех тогда существовавших атомных бомб. И самой большой из когда-либо взорванных. В знаменитой лос-аламосской лаборатории он работал вместе с Бёте и Ферми, Гамовом и Теллером... А сегодня — один из активнейших борцов за ядерное разоружение.

В детстве Тед Тейлор увлекался музыкой, бильярдом и химией; последнее пристрастие привело его в большую науку. Школу он окончил пятнадцати лет, знаменитый Калифорнийский технологический институт (Калтех) в девятнадцать... Год окончания института — знаменательный, 1945-й. Вот отрывок из письма молодого Тейлора родным, отправленного сразу после взрыва в Хиросиме: «Для меня совершенно очевидно, что скоро нас всех ждут революционные изменения. Боюсь, что человечество открыло нечто способное уничтожить всех нас еще до того, как мы это «нечто» как следует изучим. В скором времени, я убежден, это открытие станет общим достоянием всех правительств. И мне кажется, что минувшая война была последней мировой войной в истории — в противном случае в следующей нации истребят друг друга».

Ранние августовские дни 1945-го, пишет девятнадцатилетний юноша, который до того понятия не имел о «расщеплении атома»...

Впрочем, до настоящего прозрения еще путь долгий. Пока что призванный в армию младший лейтенант ВМС Тейлор просит начальство направить его «по атомному ведомству». Вместо этого его посылают в рутинную поездку по островам Тихого океана — сопровождать возвращавшихся домой служащих американских военных баз. Случайно, конечно, но более всего ему запомнился атолл Эниветок в Микронезии. Тот самый, где спустя несколько лет взорвут первое американское водородное устройство, в создании которого молодой физик Тейлор примет активное участие.

Потом — годы учебы в Беркли и, наконец, Лос-Аламос — место рождения бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки.

Из письма Тейлора того периода: «Если современные атомные бомбы уже способны превратить будущую войну в последнюю для человечества, а большинство людей все еще не осознают этого, то, видимо, есть лишь один выход: создать такую бомбу, которая не оставит сомнений н и в о д н о й голове»... Верил ли молодой физик в «миротворческий» характер работы, которую он вел в Лос-Аламосе? Трудно сказать. Но известно, во всяком случае, что он принимал участие в опросах, проводимых Пентагоном с целью выработки оптимальной стратегии в будущей войне против СССР. Тейлор сам изучал карты советской территории, подсчитывал, какой заряд нужно взорвать над той или иной «целью», чтобы стереть ее с лица земли...

К истине вел путь кривой, извилистый. Но в 70-е годы Теодор Тейлор с горечью признал: «Я полагал, что выполняю свой долг перед родиной, что вношу посильный вклад в дело укрепления мира. Сейчас я думаю иначе. Если бы я мог вернуть прошлое, вычеркнуть из него все, чем был занят долгие годы... Это была ошибка. Как ни «улучшай» бомбу, как ни рационализируй ее, она не перестанет быть бомбой — устройством для умерщвления огромного количества людей. Иногда мне кажется, если бы человечество решило поставить всех ученых к одной стенке и расстрелять, я не смог бы протестовать... Теперь меня не покинет убеждение: ядерное оружие не должно быть применено н и п р и к а к и х о б с т о я т е л ь с т в а х. Н и к о г д а. Н и г д е. Д а ж е в о г р а н и ч е н н ы х м а с ш т а б а х... Даже если бы русские начали бомбить Манхэттен, я бы не стал бомбить Москву».

...Друг Теодора Тейлора, журналист Джон Макфи из «Нью-Йоркера», написал о нем книгу, которую назвал «Кривая энергии связи». Есть такой физический термин — «внутренняя энергия» (или «энергия связи»), высвобождение ее и приводит к атомному взрыву.

Но пожалуй, физика здесь ни при чем, речь идет о человеческих судьбах.

Путь многих физиков, теснейшим образом связанных с атомной бомбой, был воистину кривой дорогой. Путь от участия и с о у ч а с т и я в страшных планах уничтожения всего живого на земле к трезвому осознанию: этому должен быть положен конец! — занимал годы, а то и десятилетия. Были на этом пути и личные драмы, и столкновения с властями, и мучительный пересмотр привычных истин.

Теодор Тейлор, хочется надеяться, свою истину нашел. Он ошибался, но нашел в себе мужество признать это. И самое главное, обрел уверенность, что наука и нравственность— могут сосуществовать. И не анафему нужно провозглашать науке (с той же легкостью, с какой еще недавно пели осанну), а продолжать служить ей.

В период с 1958 по 1965 год Теодор Тейлор был буквально одержим идеей постройки космического корабля, приводимого в движение направленными атомными взрывами (проект «Орион») и предназначенного для мирного исследования космических глубин. «Всякая цивилизация,— сказал однажды Тейлор,— должна пройти через атомное испытание. Не выдержит — значит, уничтожит себя. Пройдет испытание — и откроет для себя всю Вселенную»... Судя по всему, Тейлор верит во второе.

ВЛ. ГАКОВ

ДЖОН Я-ОТТО

ПОЛЕ БИТВЫ — НАМИБИЯ

Главы из книги

Перевод с английского Л. СТЕПАНОВА

Редкое свидетельство

Воспоминания Джона Я-Отто, одного из лидеров национально-освободительного движения намибийского народа, написаны с подкупающей правдивостью. Учитель по профессии, он на примере судеб детей — своих учеников — мог наблюдать всю разрушительность последствий южно-африканской оккупации для его родины. И все-таки понадобилась трагедия — избиение в 1959 году сотен африканцев расистами в пригородах Виндхука, административного центра колонии,— чтобы побудить его активно включиться в борьбу. Почему?

Юго-Западная Африка, или Намибия, как называют свою родину патриоты, долгое время была колонией Германии. В 1915 году ее захватили войска соседнего Южно-Африканского Союза, в то время британского доминиона. Германия оставила после себя в этих местах страшный след: подавляя вспыхнувшее в начале января 1904 года восстание гереро [1], части генерала фон Троты почти полностью истребили этот народ. Но и переход под власть ЮАС, позднее ЮАР, не принес коренному населению облегчения.

Новые хозяева Юго-Западной Африки усовершенствовали созданную еще германскими поселенцами систему экономического и культурного порабощения. Они воспользовались пестротой этнического состава населения для его размежевания. Самую крупную этническую группу — овамбо [2], составляющую около 46 процентов всего населения страны,— изолировали от дамара, гереро, каванго и других племен и народностей. Власти ЮАР распространили на Намибию систему апартеида, придав ей более грубые и жестокие формы.

Расизм имеет много разновидностей. Та, с которой в повседневной жизни сталкивался Джон Я-Отто, была лишь оболочкой человеконенавистничества, тупого и злобного, искавшего себе подобие оправдания в различиях цвета кожи. Много страшнее расизм, ставший политикой. Его главная цель — не столько унижение до-

© 1981, John Ya-Otto

[1] Одна из основных народностей Намибии, принадлежащая к группе банту и населяющая преимущественно центральные районы страны. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Крупнейшая народность в Намибии (группа банту), живущая в основном в ее северной части.

ДЖОН Я-ОТТО — JOHN YA-OTTO (род. в 1938 г.)

Намибийский общественный и политический деятель. Один из руководителей Народной организации Юго-Западной Африки (СВАПО), возглавляющей борьбу народов Намибии за независимость. С конца 60-х годов живет в эмиграции.

Книга «Поле битвы — Намибия», из которой взяты публикуемые главы, вышла в США в 1981 году. («Battlefront Namibia. An Autobiography». Westport, Connecticut, Lawrence Hill & Company.)

стоинства отдельной личности, лишаемой самых элементарных прав, сколько стремление обречь на застой и угасание целые народы: развитие и становление их приобретало (подобно тому, как это произошло в Намибии) уродливый, болезненный характер.

В этих условиях меня всегда поражало — и по-человечески волновало — то, что среди «черных» в ЮАР, среди намибийцев чрезвычайно распространено неприятие насилия как средства политической борьбы. Сторонником ненасилия был председатель Африканского национального конгресса Южной Африки, лауреат Нобелевской премии мира Альберт Лутули. Очень глубокое влияние эти идеи оказали и на автора публикуемых воспоминаний.

Думается, психологической подоплекой идеологии ненасилия было чувство человеческой гордости. Униженные и бесправные африканцы как бы говорили своим «белым» угнетателям: вы не считаете нас людьми, а сами ведете себя как звери, насильничая и убивая. И именно мы, отказывающиеся прибегать к силе в межчеловеческих отношениях, достойны называться людьми. Отрицание насилия позволяло африканским патриотам в моральном, нравственном отношении чувствовать себя выше своих поработителей. Не приходится говорить о том, как это было им важно.

Вот почему Джону Я-Отто понадобился мощный, болезненный толчок для того, чтобы осознать необходимость вооруженной борьбы против расистского угнетения. Твердость характера, самоотверженность, преданность делу помогли ему занять руководящее положение в Народной организации Юго-Западной Африки — СВАПО.

В своих воспоминаниях Джон Я-Отто пишет о страшных вещах — полицейском произволе, издевательствах над людьми, преследованиях и арестах. Все это черты действительности, с которой и сегодня сталкивается его родной народ. Подобные свидетельства — редкость, лишь немногим из борцов против колониального ига удавалось и удается взяться за перо. Тем ценнее для нас воспоминания намибийского патриота.

Борьба за национальное освобождение Намибии продолжается. Недра страны богаты ураном и другим стратегическим сырьем. Это побуждает южно-африканских расистов цепко держаться за свои позиции. Но ветер перемен постепенно перерастает в шторм над последней колонией в Африке.

В. ИОРДАНСКИЙ

Побоище в Виндхуке

Грязная площадь являла печальную картину произошедшего накануне ночью погрома. Там и сям виднелись втоптанные в грязь обрывки одежды. Все окна городских учреждений, выходивших фасадом на площадь, были вдребезги разбиты. Груды битого стекла вдоль стен домов сверкали в лучах раннего декабрьского солнца. От прежнего пивного зала Старого поселка осталась лишь куча почерневших листов рифленого железа. Огромные бочки с пивом лопнули от огня, и коричневая жидкость все еще медленно стекала в тлеющую золу. От нее поднимался вонючий пар, стелившийся в это безветренное утро по всей площади.

Двое муниципальных рабочих в комбинезонах пытались вытащить из лужи тело молодой женщины, пролежавшее там всю ночь. Ее голова была повязана полосатым шарфом; верхняя часть голубого хлопчатобумажного платья пропиталась кровью. Вода в луже была темной, грязновато-красной.

Четыре других трупа уже лежали на грузовике. Когда рабочие наконец подняли свою ношу, тело молодой женщины выскользнуло у них из рук и тяжело ударилось о землю. Сидевший в кабине грузовика белый десятник выругался но когда его глаза встретились с моими, он тотчас неуверенно, чуть ли не боязливо, отвел их в сторону.

Старший из двух рабочих взглянул на меня и тихо произнес: «Ублюдки».

Я хотел что-нибудь сказать ему, хотя бы просто выразить согласие, но слова застряли в горле.

Я почувствовал на себе взгляд молодого рабочего: «Скажите, вы один из руководителей кампании бойкота?»

Да, я был им какое-то время, подумал я про себя. Ну а теперь? Бойкот принес лишь одни беды. Если белые способны прибегнуть к убийствам, чтобы изгнать нас, африканцев, из Виндхука, то какой толк в сопротивлении? В какой-то мере я чувствовал себя лично ответственным за трупы на грузовике и на улице. Но в одном я был теперь твердо уверен: люди в Старом поселке были против принудительного переселения в Катутуру. Решительно против.

В Старом поселке было легко заблудиться. Обширные, кишевшие людьми трущобы опоясывали холмы на северных окраинах Виндхука, находящихся на противоположной стороне от «белых» пригородов. На месте колючих кустарников возникли жилища из картона, тряпья, кусков фанеры, расплющенных баков из-под бензина и другого подручного материала, сваленного на первый взгляд в полном беспорядке. Только подойдя поближе, можно было различить лачуги, стоявшие так тесно, что их обитателям было легко дотянуться из своих окон до стен соседнего дома. Семейные ссоры, происходившие за тонкими, дырявыми стенами, немедленно становились достоянием соседей. Все знали друг друга, и чужой быстро превращался в своего. Вы начинали распознавать улицы Старого поселка, безымянные и никак не обозна-

ченные, только прожив там долгое время. Вокруг несимметрично расположенных рядов лачуг петляли узкие и пыльные ухабистые дороги. Когда шли дожди, улицы превращались в бурлящие реки, которые смывали хибары, оставляя позади глубокие вымоины. Лишившиеся крова жили у соседей, пока не удавалось собрать необходимый материал и соорудить новое жилище. Чужому человеку было невозможно разыскать кого-нибудь в поселке, поэтому африканцы, у которых было не все в порядке с пропусками, находили там убежище от полиции. Сами трудности жизни в Старом поселке словно способствовали формированию одной большой семьи, члены которой помогали друг другу.

Вопреки всем трудностям жизнь в Старом поселке, как ни странно, удовлетворяла людей; несмотря на шум и гам, там царила какая-то безмятежность. По утрам раздавалось пение женщин, стиравших белье возле колонки с водой, а дети резвились в лужах, оставшихся после ночного дождя. К полудню удушающая жара загоняла людей в жилища, и в послеобеденные часы было тихо — даже куры и козы искали убежища под навесами. Когда тени снова окутывали улицы, женщины выходили, чтобы снять с веревок, протянувшихся зигзагами от дома к дому, высохшее белье, а дети отправлялись на холмы за хворостом. В предзакатный час дым тысячи костров, на которых готовилась пища, собирался в голубовато-серое облако. Вскоре от улицы к улице эхом разносился звон кастрюль и сковородок. Уже сияли первые звезды, когда домой из города начинали возвращаться рабочие. Они приходили по двое и по трое, медленно поднимаясь на последний холм перед домами; их башмаки все еще были облеплены высохшей грязью, оставшейся после утренней дороги в город. «Пришли! Пришли!» Это слово неслось по улицам, опережая мужчин. Следом слышались пронзительные детские крики и быстрый топот маленьких ног, а затем низкие, приглушенные голоса и смех. Потом раздавался лязг тарелок и ножей, начинались шумные разговоры, за керосиновыми лампами, выставленными в дверных проемах, колебались тени. Затем, когда туман поднимался по склонам холмов, теней становилось меньше: лампы вносили в жилища, и в лабиринте темных лачуг воцарялась тишина. Таков был Старый поселок, когда я впервые с ним познакомился.

Мои коллеги — учителя в школе для гереро — хорошо знали Старый поселок и его проблемы. В школе мы старались делать все, что от нас зависело, понимая, что вне ее стен людям постоянно угрожали голод, болезни и проблемы с пропусками. С приближением лета обозначились некоторые успехи. Мои ученики проявляли любознательность, охотно занимались.

Я проводил много вечеров, бродя по поселку и посещая дома их родителей. Помню, как в одном из первых домов, который я посетил, мать семейства взяла меня за руку, устремив на меня серьезный взгляд: «Митири[1], вот вы руководитель общины. Что вы думаете относительно Катутуры?»

— Дома в Катутуре, может, поновее и получше, чем этот,— вставил отец семейства, оглядывая убогую хибару,— но сколько нам придется выкладывать бурам за жилье? И ездить автобусом на работу будет слишком дорого. Если же мы не сможем за все это платить, то нас вышвырнут оттуда и отправят в какую-нибудь резервацию.

Посещая дома учеников, я снова и снова слышал подобные доводы. Главным преимуществом жизни в Старом поселке было отсутствие постоянного надзора администрации. Здесь люди временно забывали о системе апартеида, которую повсюду стремились насадить буры. В Катутуре же всех мужчин, женщин и детей зарегистрирует комиссар по делам туземцев, который за малейшую провинность может аннулировать разрешение на жительство. А не будет разрешения — не будет и работы; следующий шаг — ссылка в отдаленные резервации для туземцев. В новом поселке уже негде будет скрыться. Государство станет также распоряжаться, получая от этого прибыль, автобусным транспортом, водоснабжением и электроэнергией, если кто-нибудь сможет позволить себе роскошь пользоваться ими. Единственная дорога из Катутуры может быть перекрыта полицией за одну минуту. Короче, мы окажемся беспомощными, как слепые котята, и каждый наш шаг будет виден бдительному оку администрации. Планы буров приводили народ в ярость, на учителей люди смотрели как на своих заступников и руководителей. Я понимал, что не смогу долго оставаться сторонним наблюдателем, хотя никогда не думал, что идеи свободы могут родиться в ходе тяжелой каждодневной борьбы за выживание в Старом поселке.

Общий митинг, назначенный бурами на 2 декабря, был беспрецедентным событием впервые за все время официальные представители расистских властей собирались выступить непосредственно перед жителями Старого поселка. Созыв митинга был своего рода признанием со стороны буров, что наше сопротивление переезду в Катутуру — сила, с которой нельзя не считаться.

Стоя в огромной толпе, ожидавшей Сэма Нуйому и других лидеров ОПО[2], я прислушивался к спорам, не затихавшим, несмотря на полуденное пекло. Некоторые были уверены, что белые собираются лишь в последний раз напомнить нам о выезде; другие упрямо возражали, говоря, что администрация отказалась от плана переселения. Мужчины заключали пари о том, что же все-таки произойдет. Женщины устраивали поудобнее маленьких детей у себя за спиной, проклиная

[1] Митири (язык овамбо) — учитель, наставник. (Переводчик выражает признательность Элине Нуйома и другим намибийским друзьям за помощь в переводе встречающихся в тексте слов и фраз на языках овамбо и африкаанс.)

[2] ОПО — организация народа овамбо, предшественница СВАПО.

белых, которые заставляют их ждать на солнцепеке. В предвкушении решающей схватки тысячи жителей Старого поселка заполнили пышущее зноем футбольное поле.

Когда Сэм и его друзья подошли ко мне, поток людей оттеснил нас от деревянного помоста, где команда муниципальных рабочих устанавливала микрофоны и кресла для ораторов.

На помосте к нам присоединились вождь Кутако и другие члены Совета вождей гереро. Я пытался отыскать знакомые лица в толпе. Казалось, сюда пришли все: рабочие в промасленных комбинезонах и куртках защитного цвета, конторские служащие в белых рубашках с приспущенными галстуками, женщины в ярких шарфах, придававших толпе особую живописность, дети, снующие взад и вперед перед помостом.

Вскоре облако пыли возвестило о приближении черного «мерседеса» мэра. За ним почти вплотную следовал джип начальника полиции. Машины подрулили к краю толпы, и из них вышли четыре официальных представителя властей, которые должны были выступить перед собравшимися. На мэре, комиссаре по делам туземцев и главном администраторе поселка были темные костюмы, которые больше подходили для их оборудованных кондиционерами кабинетов, чем для пышущего зноем пыльного футбольного поля. Только начальник полиции Ломбард догадался одеться по погоде — в шорты и рубашку с открытым воротником. Его глаза прикрывали темные очки. Держа руку на кобуре револьвера, Ломбард повел группу людей с кирпично-красными лицами сквозь настороженно притихшую толпу. Они уже изрядно вспотели, когда достигли помоста и бухнулись на передний ряд кресел.

На мое счастье, буры привезли своего собственного переводчика, худощавого «цветного», к которому я почувствовал жалость, когда комиссар по делам туземцев Брювер Блиньо открыл собрание. Блиньо пытался представить себя нашим другом, говоря, что, хотя нам, возможно, трудно понять это, переселение в Катутуру в действительности в наших интересах. Его разглагольствования настолько не соответствовали настроению толпы, что его попросту игнорировали, молча ожидая следующего оратора — главного администратора Питера Андриса де Вета, который уверенно подошел к микрофону. «Мы избрали название «Катутура», потому что оно означает «мы хотим пойти и остаться там»,— начал де Вет.

Когда «цветной» перевел эту вступительную фразу, толпа внезапно ожила: «Ложь! Ложь! Вы даже не знаете нашего языка». Жители Старого поселка, а не администрация, окрестили новый поселок «Катутура», что означает «нас без конца переселяют». Люди кричали и потрясали кулаками перед растерявшимся де Ветом. На край помоста вскочила женщина «Мы никуда не уедем. Вам придется везти наши трупы в вашу чертову Катутуру!»— прокричала она прямо в лицо буру. Де Вет, который не понял ее слов, но не мог ошибиться в ее чувствах, отпрянул. Пот градом лил с его лысеющей головы.

Хотя представители властей собирались сказать больше, они предпочли выждать. После неловкой паузы микрофон взял Сэм. «Неужели наши друзья не могли придумать чего-нибудь получше?»— начал он, а я перевел на африкаанс. Он продолжал говорить, не оставляя камня на камне от доводов буров в пользу переезда в Катутуру. Толпа начала скандировать: «Мы не уедем! Мы не уедем!» Сэм повернулся к белым, пережидая, пока утихнет шум. «Почему бы вам самим не уехать? — сказал он, когда его голос снова можно было расслышать.— Вы доказали, что не можете управлять нами. Убирайтесь назад в Южную Африку, а мы будем решать свои дела сами».

Я не успел перевести и до половины, как Яап Снёйман, мэр и один из богатейших людей Виндхука, вскочив со своего кресла, оттолкнул меня от микрофона. «Не слушайте этого коммунистического агитатора,— завопил он истерически.— Он вводит вас в заблуждение. Мы знаем, что́ для вас лучше».

Громкий, издевательский хохот прокатился по толпе. Тысячи людей открыто смеялись мэру в лицо. Некоторые начали скандировать на африкаанс: «Буры, убирайтесь в Какамас! Буры, убирайтесь в Какамас!» (Какамасом назывался отдаленный аванпост буров в безлюдном районе Капской провинции Южной Африки; этот лозунг вскоре стал нашим боевым кличем.) Не в состоянии заставить себя слушать, Снёйман с лицом, искаженным от злости, отступил назад, шепнул что-то своим спутникам, и все четверо тесным строем двинулись с помоста с незадачливым переводчиком в качестве замыкающего. Хохочущая толпа расступилась. «Мы еще посмотрим, кто уедет»,— ревела она, когда машины с бурами, поднимая клубы пыли, рванули к Виндхуку.

Успех митинга побудил многих новых добровольцев присоединиться к пикетам у автобусных остановок и пивного зала. Белые приняли ответные меры. Муниципальные полицейские парами патрулировали район. Их «лендроверы» постоянно курсировали между Старым поселком и городом, проносясь по самому краю дороги и загоняя прохожих в канаву. За триумфом массового митинга настала неопределенность — следующий шаг был за бурами.

В тот вечер, чтобы избавиться от тревожного настроения, которое все больше мною овладевало, я заскочил поболтать к друзьям, жившим в дальнем конце поселка. Часов в девять в комнату ворвался один из соседей:

— Там, у пивного зала, началась заваруха. Какие-то люди напали на пикеты, и теперь повсюду полиция. Они избивают народ дубинками. Собралась огромная толпа.

Вскоре мы услышали шум и крики. Когда подошли ближе, до нас донесся звон разбиваемого стекла. Кто-то кричал в мегафон. Мы побежали на шум.

Площадь, где находились муниципальные учреждения, была окружена полицейскими машинами. Сотни разъяренных женщин и мужчин толпились на свободном пространстве, крича и размахивая кулаками. Двойная шеренга полицейских пыталась оттеснить их назад к пивному залу. Дубинки рассекали воздух, обрушиваясь на людей и валя их на землю. Но вопящая людская масса заставляла полицию отступать шаг за шагом и заглушала рев мегафона.

Меня и моего спутника отделяли от толпы шеренги полицейских. Мы укрылись возле одного из джипов. Булыжники летели над нашими головами, грохаясь о стоявшие позади нас машины. Полицейские подбегали и прятались за их сплошной стеной. Офицеры руководили разгрузкой винтовок из фургона, выкрикивая команды: «Gaan hier die kant, en jy gaan daar»[1]. Через считанные секунды с десяток полицейских прицелились из-за машин в толпу.

Я не мог поверить своим глазам. Толпа все еще была на расстоянии ста футов от нас, медленно подступая к шеренге автомобилей. Мегафон молчал. Последние полицейские укрылись за машинами. Офицер, командующий операцией, взмахнул дубинкой: «Gereed en... skiet!»[2]

Три залпа раздались один за другим. Черные фигуры упали на землю. Толпа отпрянула; люди пытались спастись бегством, натыкаясь друг на друга, сбивая друг друга с ног, крича.

Полиция продолжала стрелять в хаотичную массу. Желтые вспышки прорезали темноту. Люди падали, сраженные выстрелами в спину. Пустые гильзы ударялись о машину, которая нас прикрывала.

Оглушительный треск едва не разорвал мне барабанные перепонки, и из машины, стоявшей рядом, взметнулось пламя. Я откатился на открытое пространство перед стрелявшими. Темная тень метнулась на фоне горящего джипа; я в панике последовал за ней.

Выстрела я не слышал. Прямо передо мной моего спутника подняло в воздух, а потом швырнуло на землю. Перепрыгнув через него, я продолжал бежать. Я чувствовал винтовку, нацеленную мне в спину, пулю, готовую меня настичь.

Спасение ждало за первым рядом лачуг. Я юркнул за угол и рухнул на пыльную землю. Люди неслись мимо, рыдая и вопя — но звуки казались далекими, нереальными. Я снова вскочил на ноги и пустился бежать.

Следующие несколько часов я помню смутно. Я встретил Онесимуса Аквенье, Джейсона Мутумбулву и некоторых других своих друзей, и мы провели остаток ночи вместе. «Фольксваген» с двумя белыми пронесся мимо нас по улице, и мы забросали машину камнями, разбив в ней все окна, прежде чем она исчезла. Потом мы забрались на холм позади домов и стали наблюдать за грохотавшим внизу полицейским броневиком. Сноп света с его башни освещал каждый дюйм квартала; нигде не было признаков жизни.

Мы оставались на холме, пока не рассвело. Я покинул друзей и спустился на место побоища. На площади было тихо и почти пусто. Сирены «скорой помощи» больше не завывали. Полиция исчезла. Выстрелы и крики все еще звучали отдаленным эхом в моих ушах, но теперь вместо бушующей толпы перед моими глазами возникла печальная картина: опустошенные здания, разбросанные повсюду камни, несколько трупов, валяющихся на улице, двое рабочих, пытающихся поднять их на грузовик, и белый человек, наблюдающий за ними из кабины автомобиля. Хрустя стеклом под ногами, я подошел к двум рабочим, возившимся с безжизненным телом. А ведь еще до прошлой ночи это была молодая, полная сил женщина! Я стоял, погруженный в свои мысли.

— Эй, вы, случайно, не из организаторов бойкота?

Я молча посмотрел на молодого рабочего. В его глазах было любопытство, а вовсе не осуждение.

Я — один из руководителей бойкота? Едва ли. Во всяком случае, теперь, мне казалось, сопротивление утратило всякий смысл. Конечно, подлинные руководители кампании бойкота поймут это. Движение жителей поселка принесло свои плоды. Оно на время сплотило всех нас, покончив с племенными различиями; оно заставило людей осознать, что у них есть за что бороться; оно показало людям, какими жестокими могут быть белые, когда встречают сопротивление. Но наше движение было сломлено; теперь, я был уверен, бойкоту конец.

Я обернулся к молодому рабочему, чтобы ему ответить, но они оба были уже возле следующего трупа, в котором я узнал своего ночного спутника. Рабочие перевернули тело так, что его открытые глаза вперились прямо в меня. «Разрешите мне пойти с вами,— обратился он вчера ко мне,— там может быть опасно».

Рабочие, должно быть, заметили, как я потрясен, потому что один из них положил мне руку на плечо:

— Вы его знали?

— Немного,— промямлил я, глядя в сторону. Поперек улицы стоял обгоревший каркас полицейского автомобиля, который служил нам обоим кратковременным убежищем. Я почувствовал щемящую боль под ложечкой. Ведь у него была семья — мне казалось, что я слышу, как там, далеко в Старом поселке, плачут его жена и дети. Почему убили не меня? Почему этого человека? Чем он виноват? Во всем этом не было никакого смысла. Жизнь чернокожего ничего не значит для буров. И не важно, выступаешь ты против них или нет. Хотя на этот раз я, слава богу, остался жив, я понял, что моя жизнь может оборваться в любой момент. А раз так, то лучше уж умереть, сражаясь.

— Ублюдки! — сказал я громко, чтобы услышал белый десятник.— Они думают, что это конец. Нет, это только начало.

[1] Заходите с этой стороны, а вы идите туда *(африкаанс)*.

[2] Приготовиться... огонь! *(африкаанс.)*

Двое рабочих промолчали. Я пересек улицу и отправился назад в Старый поселок.

Противоборство

26 августа 1966 года подразделение южно-африканской армии атаковало партизанскую базу СВАПО около Омгулумбаше в отдаленной северо-западной части Овамболенда. Через несколько дней наши бойцы предприняли контратаку, уничтожив два полицейских поста. К концу недели весь север был наводнен солдатами ЮАР, которые при поддержке вертолетов и бронемашин прочесывали буш[1] в поисках партизан, терроризируя население и арестовывая сотни крестьян. Район был полностью отрезан от остального мира, и мы в Виндхуке потеряли всякую связь с нашими товарищами в Овамболенде.

Долгое время я испытывал мучительные колебания насчет допустимости насильственных форм борьбы. Пять лет мирной организаторской работы вызвали к жизни массовое движение, оказавшее сильное давление на буров. Оно помогло нам завоевать признание ООН и других международных организаций.

Буры, разумеется, не колеблясь шли на применение самых варварских методов, но мы в СВАПО должны были показать, что мы морально выше и можем бороться с ними, не опускаясь до их уровня. Не хочу сказать, что мои чувства всегда согласовывались с этим логическим построением. Какой чернокожий намибиец, будь он самым что ни на есть набожным христианином и гуманистом, станет, положа руку на сердце, утверждать, что не испытывает глубокой ненависти к людям, которые сделали нашу жизнь столь невыносимой? Я сам провел многие часы в мечтах о том, как в один прекрасный день отплачу им той же монетой. Должно быть, те же мечты лелеял в душе каждый намибиец; тем не менее во время обсуждения своих задач на собраниях мы старались быть рассудительными и беспристрастными. Лишь незадолго до описываемых событий у меня возникли серьезные сомнения в «стратегии», которая требует, если тебя ударят по одной щеке, подставлять другую. Обо всем этом я думал, стоя в одиночестве среди белых дюн севернее Уолфиш-Бея.

Дело было в начале сентября 1966 года, спустя несколько дней после того, как премьер-министр Фервурд был зарезан каким-то белым в Кейптауне. Это убийство, произошедшее менее чем через две недели после сражений в Овамболенде, привело буров в Намибии в состояние истерии. Группа виндхукских лидеров нашей организации отправилась в Уолфиш-Бей для встречи с руководством. Густой вечерний туман покрыл мою кожу мельчайшими прохладными капельками влаги, которые приятно освежали после гонки по сухой жаркой пустыне. «Блуберд» с перегретым мотором беспомощно стоял позади меня у края дороги.

Атлантический прибой с грохотом обрушивался на берег, как и тысячи лет назад. Это суровое, изрезанное скалами побережье, прозванное европейскими мореплавателями Берегом Скелетов, и раскинувшаяся за ним раскаленная пустыня Намиб на многие годы отсрочили вторжение белых. Но потом открытие алмазов в пустыне и богатые рыбные угодья вдоль побережья стали приманкой для колонизаторов. Почему бы нам не подняться на битву, прежде чем они выкачают из нашей земли все ее богатства? Скоро ли придется взяться за оружие мне? Туман поглотил дорогу и «блуберд», где дремали мои коллеги, ожидая, пока охладится мотор. Дюны вокруг меня казались серыми призраками, плавающими в густой пелене влажного воздуха. Громовые раскаты прибоя и шипение морской пены, оседающей на песке после спада волны, были единственными звуками в волшебной атмосфере ночи.

Я был так погружен в свои мысли, что не слышал позади себя шагов, пока один из подошедших не кашлянул. У меня замерло сердце; я резко обернулся.

— Спокойно, Джонни, спокойно. Мы не хотели тебя пугать,— проговорил, улыбаясь, тот, что стоял ближе ко мне.

Его коллега держал руку в кармане пиджака, где у него был пистолет. Я раньше не встречал ни того, ни другого, но сразу догадался, что они из Специального отделения [1].

— Будь осторожней во время прогулок,— сказал тот, что был впереди.— Ведь ты можешь сгинуть в этом тумане. Исчезнуть без следа.

— Да, совершенно без следа,— повторил его неулыбчивый компаньон. Его глаза в упор смотрели на меня; правая рука оставалась в кармане.

«Блуберд» был погребен в тумане. Из-за шума прибоя мой голос едва ли мог быть услышан на расстоянии даже ста футов. Я стоял неподвижно, ожидая, что дальше сделают буры. Молчал, боясь выдать свой страх. Пожалуй, я мог бы попытаться скрыться в тумане, но ноги словно приросли к земле.

Главный вынул пачку сигарет и предложил мне закурить, но тотчас быстро ее отдернул:

— Ах, я забыл, ты ведь не куришь, верно? Мы знаем о тебе достаточно много. Теперь, я полагаю, ты собираешься вместе с дружками отпраздновать гибель Фервурда.

Сердце у меня наконец успокоилось, так что я мог говорить нормальным голосом:

— А как бы вы себя вели на моем месте?

Мой вопрос, должно быть, прозвучал слишком самоуверенно. В голосе главного послышались резкие нотки, когда он снова заговорил:

[1] Буш — пустынные пространства, покрытые кустарником.

[1] Охранка ЮАР.

— Слушай, ты, дурень, пора тебе кончать в игрушки играть. Мы шляемся здесь в тумане не ради забавы. Многие из моих ребят с удовольствием воспользовались бы случаем скормить тебя рыбам.

Он последний раз затянулся сигаретой и швырнул окурок на мокрый песок:

— Скоро все должно измениться. Убирайся, убирайся отсюда, пока у тебя еще есть время.

Он кивнул своему компаньону, и они исчезли в тумане так же внезапно, как появились. Спустя минуту я услышал, как их машина тронулась с места и направилась в сторону Уолфиш-Бея.

Я тихо выругался; да, я был уязвим, как наседка на яйцах, но будь я проклят, если покину Намибию. Ведь теперь я был семейным человеком, мужем Али Аквенье. Али помогала организовывать митинги, участвовала в кружках, и именно так мы по-настоящему узнали и полюбили друг друга. Наш сын Кеннет — мы назвали его в честь президента Замбии Кеннета Каунды — родился в апреле 1966 года. Так что я пока не собирался расставаться со своей семьей.

Шли недели, и ничего драматического со мной не происходило. Я почти перестал думать о встрече в тумане, полностью сосредоточившись на преподавательской и организаторской работе. Начал строить планы благоустройства своей маленькой лачуги, чтобы Али и Кенни могли вместе со мной переехать туда из дома семьи Аквенье, где мы до сих пор оставались. Но этим планам не суждено было сбыться.

Рано утром 1 декабря три полицейских автомобиля въехали на школьный двор. Был первый день экзаменов, и я раздавал билеты с вопросами, когда машины остановились перед открытой дверью класса. Группа агентов Специального отделения высадилась и оцепила здание. Двое из них заглянули в классную комнату.

— Джон Отто, подойдите сюда.

— Разве не видите, я занят? — сказал я, продолжая распределять вопросы.

— У нас есть ордер на ваш арест. Забирайте свой пиджак и следуйте за нами.

Со мной говорил Диппенаар, ветеран Спецотделения.

Я вышел во двор.

— За что арестовываете?

Я был не столько обеспокоен, сколько раздражен.

— Согласно Закону о подавлении коммунизма.

Диппенаар подвел меня к своей машине.

— Теперь освободите карманы,— приказал он.

У меня екнуло сердце. Среди денежных купюр, рецептов, ключей и монет я по небрежности хранил старую записку от Германа Я-Тойво из Овамболенда, в которой шла речь о партизанских операциях и оружии.

К счастью, Диппенаар меня не обыскивал. Просмотрев содержимое моих карманов, разложенное на капоте, он вернул мне деньги.

— В полицейском управлении займутся этим. Теперь проводите нас к себе домой.

Команде понадобилось целых четыре часа, чтобы произвести обыск в моей маленькой лачуге. За годы там скопилась масса партийной документации: корреспонденция из Организации Объединенных Наций, Дар-эс-Салама, Лондона и Лусаки, письма и отчеты со всех концов Намибии. Были здесь и старые пыльные номера газеты «Юнити уингс», наша пишущая машинка и копировальный аппарат. Мои личные письма и книги были разбросаны по полу так, что было трудно передвигаться по комнате. Опасного, однако, тут ничего не было — все секретные документы, если не считать записки в кармане, я хранил вместе со своей одеждой в доме Аквенье.

Обыск привлек внимание. От водоразборной колонки на другой стороне улицы пополз слух, будто что-то затевается. Женщины, пришедшие за водой, остались посмотреть, что будет делать полиция; другие специально собрались понаблюдать. Через час уже не менее сотни людей толпилось на улице перед моим домом. Одна из женщин — Эва Нгутуа, которая была ранена во время виндхукского побоища в 1959 году,— стала кричать на Диппенаара:

— Зачем вы здесь? Что он такого сделал?

Агенты Спецотделения старались выполнить свою работу как можно быстрее. Они взяли все, включая фотографии подруг моей юности. Вначале они заполнили бумагами мои три чемодана, потом запихнули оставшееся в картонные ящики, которые свалили у входа. Диппенаар не отходил от двери, вглядываясь в галдящих женщин. Случись сейчас какой-нибудь инцидент, он мог бы лишиться как своего пленника, так и изобличающих его вещественных доказательств, которые агенты грузили в машины, прокладывая себе путь через толпу. По мере того как жителей поселка приходило все больше и больше, они окружали дом так плотно, что свободным оставалось лишь небольшое пространство около двери. Люди называли мое имя и приветствовали меня через окно, поднимая вверх большой палец — символ борцов за свободу. Огромный камень пролетел по воздуху и со звоном ударился о жестяную крышу.

В полицейском участке Диппенаар препроводил меня в комнату, где его люди принялись еще раз просматривать и сортировать мои бумаги. Все написанное на английском и африкаанс они прочитывали; то, чего не могли понять, откладывали в сторону. Мои старые любовные письма они приняли за шифрованные инструкции СВАПО.

— Кто эта девушка? Где она сейчас?

Они все время зубоскалили по поводу своих находок, а если находили что-нибудь особенно интересное, передавали друг другу, злорадно восклицая:

— Смотри-ка, теперь он попался. Его непременно за это повесят.

Просмотр бумаг занял двенадцать часов. Агенты по очереди уходили обедать, я же должен был все время стоять стойкмя и не получал никакой еды. Единст-

венной для меня передышкой стала поездка назад в школу, где, к своей радости, Диппенаар обнаружил у меня в столе сочинения Маркса и Энгельса. С того момента, как мы выехали из участка, агенты держали меня под прицелом. Но мысль о побеге не приходила мне в голову. Я был уверен, что мои товарищи наймут адвоката и через несколько дней меня выпустят под залог.

Когда закончился просмотр последних бумаг, было уже далеко за полночь. Усталого и голодного, меня втолкнули в кабинет, где сидел в ожидании, водрузив свое массивное тело на вращающийся стул, другой офицер Специального отделения — майор Котце. На столе около его правой руки лежал револьвер.

— Джонни,— сказал он,— вы такой умный молодой человек. Жаль, что вы стали жертвой коммунистов.

Я был слишком утомлен, чтобы слушать этого старикана, слишком утомлен, чтобы пытаться спорить с ним. Я просто стоял и думал, когда же наконец смогу отдохнуть.

Котце говорил и говорил, пытаясь уловить мою реакцию на свои хитроумные приемы. Вначале он хотел запугать меня:

— Знаешь ли ты, что такое смерть, Джонни? Видел ли ты, как умирают люди? Ну, тогда прими мой совет и приготовься: тебя, может быть, очень скоро повесят...

Потом он старался внушить надежду:

— Открой свое сердце, Джон, как подобает христианину; скажи судье правду, и он простит тебя. Будь честным перед господом, Джон: помни, что воздается только за правду.

Мне уже давно была знакома эта сказочка: мудрый старый бур советует маленькому чернокожему мальчику, что ему лучше делать для его же блага. Единственное, что я узнал от него полезного, это что мои соратники Джейсон и Максуилили тоже арестованы и на следующее утро нас троих отправят на самолете в Преторию.

Старая «Дакота» прилетела из Овамболенда с группой арестованных, которых также везли в южно-африканскую столицу. Я раньше никогда не путешествовал самолетом и поэтому с интересом предвкушал предстоящий полет. Джейсон и Максуилили стояли рядом со мной. Они, как и я, не восприняли наш арест серьезно; мы думали, что буры просто хотят изолировать нас на время, пока не восстановят в стране свой контроль. Диппенаар и Котце говорили в общих словах о «коммунизме» и «агитации», но это были «преступления», в которых нас обвиняли уже не первый год. Несколько месяцев заключения в Претории, думал я, ничем особенно не грозят, и СВАПО, разумеется, продолжит борьбу и без нас троих. Меня больше огорчала разлука с Али и Кенни, которому исполнилось шесть месяцев. С тех пор как он родился, я проводил слишком много времени вдали от дома; возможно, он даже не узнает меня, когда я вернусь.

«Дакота» проползла мимо низкого здания аэровокзала и, дребезжа, остановилась в двадцати ярдах от того места, где мы втроем стояли под стражей. Дверь распахнулась, и, не дожидаясь подачи трапа, наружу выпрыгнули полицейские с автоматами.

Джейсону, Максуилили и мне было приказано погрузить наше конфискованное имущество на самолет. Мы с Джейсоном, продолжая переговариваться, подхватили копировальный аппарат, чтобы поднять его в самолет через узкое отверстие в фюзеляже. Внезапно откуда-то из темного чрева самолета я получил жестокий удар ногой в челюсть. Я скатился назад по лестнице и упал навзничь на жесткую взлетную полосу. С высоты ступенек на меня уставился холодным взглядом человек в зеленой форме и солдатских ботинках:

— Заткнись ты, кафр!

Одного взгляда его глаз было достаточно, чтобы испугать любого; они были красноваты и водянисты от неумеренного питья или от слишком долгого пребывания на солнце и сидели близко друг к другу на морщинистом небритом лице. Широкополая шляпа была надвинута низко на лоб, бугор под рубашкой выдавал пистолет. Это был лейтенант Феррейра, человек, руководивший операциями Специального отделения в Овамболенде. Ему было, по всей вероятности, не более тридцати; в его повадках сквозило презрительное высокомерие, которое я уже встречал у полицейских, привыкших охотиться за африканцами. Феррейра был из тех агентов полиции, которые считали Котце и его виндхукских коллег мягкотелыми либералами, если не прямыми «доброжелателями кафров». Постепенно до меня дошло, что на этот раз я по-настоящему попал в беду.

Пока я грузил ящики на самолет, Феррейра неотступно следил за мной, словно желая вызвать на драку.

— Три месяца в проклятом богом буше, и все из-за вас, ублюдки! Ты заплатишь за это, обезьяна!

Когда я нагнулся, чтобы поднять пишущую машинку, он лягнул меня так, что я вместе с ней полетел на землю.

Внутри неосвещенного самолета, на скамье вдоль кабины сидели, прикованные цепями друг к другу, около двадцати других арестантов. Нас троих из Виндхука приковали вместе с ними. Во время полета Феррейра ходил по кабине, раздавая оплеухи и пинки, осыпая свои жертвы непристойными ругательствами. Некоторые из людей уже были жестоко избиты, на них была рваная и грязная одежда, и они походили на диких зверей, затравленных во время долгой ужасной охоты. Они сидели, безучастно уставившись в пространство. Самолет, рокоча, повернул на юг, преодолевая пятьсот миль над раскаленной пустыней Калахари, которая пролегла между нами и нашей родиной.

Пытки в Претории

Стальная дверь плотно захлопнулась за мной, ключ, скрежеща, повернулся, засов задвинулся. Я был в камере № 14

на третьем этаже Преторийской окружной тюрьмы. Через крошечное отверстие у потолка на высоте двенадцати футов проникал лишь тусклый луч света. Прошло несколько минут, прежде чем я смог хоть что-нибудь разглядеть. Камера была длиной не более двух метров и такой узкой, что когда я прислонялся к стене, то мог легко дотянуться до противоположной стороны. Пол был из черного гладкого бетона. У стены с оконным отверстием стояли два ведра и валялись три маленьких ветхих одеяла.

Долгое время я стоял неподвижно, не зная, чем заняться. Сколько они намерены держать меня в этой дыре? Я вспомнил рассказы о людях, бесследно исчезавших в таких вот застенках. Сквозь темноту доносились только слабые отзвуки голосов в коридоре.

Я был беспомощен, как ребенок. Когда у меня схватило живот, я стал барабанить в дверь. Я кричал. Прошло несколько минут, прежде чем глазок в двери приоткрылся.

— Что тебе надо? — прорычал хриплый голос с трансваальским акцентом.

— Я хочу пойти в туалет.

— Чертов кафр, вали прямо на пол, а когда кончишь, съешь!

Надзиратель захлопнул глазок и, уходя, пнул дверь.

Дело оборачивалось плохо. Я вновь принялся стучать. Через несколько секунд дверь распахнулась. На пороге стоял надзиратель — молодой человек с коротко подстриженными рыжеватыми волосами. Когда он увидел, как я стою, прислонившись к стене, со скрещенными на груди руками, то чуть не лишился дара речи:

— Ты... ты, bliksems donner! [1], черный ублюдок! — последовали грязные ругательства.— Услышав, что я подхожу к двери, ты должен тут же встать навытяжку, понятно?!

Но я еще не расстался с привычками свободного человека и надеялся как-то его успокоить.

— Пожалуйста,— сказал я очень вежливо на африкаанс,— пожалуйста, покажите мне, где здесь туалет. Я обещаю сразу вернуться.

Его ярость обратилась в удивление.

— Эй, малый, ты откуда? Ты что, впервые в таком месте, да?

— Вы правы. Я из Юго-Западной Африки.— Из-за схваток в животе мне трудно было стоять.

— С Юго-Запада; так, значит, ты один из тех парней.

Сузив глаза, охранник оглядел меня с головы до ног.

— Видишь ведро с крышкой? Туда и вали. В другом ведре вода для питья. У тебя здесь есть все, что нужно, и чтоб больше никаких фокусов. Вонючие террористы,— выругался он, выходя из камеры.— Следующий раз, как услышишь, что дверь открывается, становись по стойке «смирно»,— донесся его крик через глазок.

Я провел четыре долгих дня в камере, строя догадки, что собираются делать буры. На пятый день появился надзиратель и приказал мне следовать за ним. Он повел меня, пиная и проклиная «чертовых террористов». Во дворе я увидел Феррейру и капитана Эразмуса, рослого молодого офицера из Специального отделения, одетого в черную куртку южноафриканской полиции. Они приехали, чтобы отвезти меня в «Компол» — штабквартиру Спецотделения. После темной камеры от яркого света закружилась голова, и нахлынувшая слабость не проходила все время, пока наша машина прокладывала себе путь в уличной толчее. Моя белая рубашка стала грязной, а пиджак и брюки — жеваными, так как со времени ареста я носил их день и ночь, не снимая. Тюремные надзиратели отобрали у меня галстук и ремень, так что я должен был придерживать брюки обеими руками. Феррейра толкал меня перед собой по серым коридорам «Компола», пока мы не вошли в кабинет без таблички на двери.

Там нас ждали двое мужчин. О майоре Сванепуле, главном следователе Специального отделения, пресса уже писала как о «специалисте» по работе с политзаключенными из южно-африканского движения Сопротивления. Второй, майор Герике, был офицером, ответственным за операции против СВАПО. Это был тучный, огромного роста человек.

— Кто такой? — прогремел он, когда Феррейра вытолкнул меня на середину комнаты.

— Как твоя фамилия, кафр?

Мой ответ был встречен изумленными взглядами, затем раздался громкий смех.

— Джон Я-Отто? Ты? — Герике подошел и поглядел на меня сверху вниз. Он был скорее мускулистым, чем толстым.

— Значит, ты и есть та горластая дрянь, да?

Он снова оглядел меня с ног до головы, словно выискивая, куда бы вцепиться.

Сванепул тоже выглядел изумленным.

— Ну, ну, вот он, grootmeneer [1] из Виндхука,— шипел он.— И вправду, в чем только душа держится.

Потом он стал кричать мне в лицо:

— Видел ли ты когда-нибудь Манделу или Собукве?[2] Вот это настоящие мужчины. Когда они говорят о свободе, люди их слушают. А ты — повтори, как тебя зовут?

Я уже давно научился не обращать внимания на этот своеобразный бурский юмор.

— Тебя действительно зовут Джоном? — издевался Сванепул.— Да, как только кафр получает хоть мало-мальское образование, он становится англичанином. Тебя ведь зовут не Джон, а Йоханнес, верно?

Мне меньше всего хотелось провоцировать этих зверюг, однако я не научился еще сдерживать свои чувства. Пока Сванепул говорил, в поле моего зрения по-

[1] Разрази тебя гром! *(африкаанс)*.

[1] Большой начальник *(африкаанс)*.

[2] Лидеры освободительного движения в ЮАР.

пала фотография Форстера, висевшая позади него на стене.

— А что же ваш премьер-министр?— выпалил я.— Джон Форстер, значит, англичанин, да?

Последовало долгое молчание. Они тупо уставились на меня.

Наконец Герике подозвал меня к окну и показал на строительную площадку на другой стороне улицы. Там рабочие заливали бетон и ставили леса.

Герике говорил медленно, терпеливо

— Что ты там видишь? Смотри, на каждую бригаду негров-банту — белый десятник. Без белого босса здание никогда не будет построено. У белого человека есть мозги, а у вас их нет.

По мере того как он продолжал, голос его становился все раздраженнее:

— Вы все болтаете о своей «свободе»; все это здание переполнено депешами и донесениями о заразе, которую вы распространяете на Юго-Западе.

Теперь он уже кричал:

— Я знаю, что вам за свобода нужна, насиловать белых женщин — вот что вы хотите!

Они провели меня в соседний кабинет — большую комнату с двумя голыми лампочками под потолком и водопроводными трубами вдоль одной из стен. У другой стены лежала груда картонных ящиков. Два деревянных стола и несколько стульев составляли всю мебель Здесь к четырем белым присоединились четыре африканца Эйно Йоханнес — намибийский агент Специального отделения, сержант Зулу, сержант Саймон и бритоголовый сержант Джордж, который ростом превосходил даже Герике Сванепул встретил их злорадным смешком:

— Эй, ребята, угадайте, кого мы привели?

Африканцы шагнули вперед, рассматривая меня. Никто из них не произнес ни слова.

— Догадайтесь, кто он, ну же,— настаивал Сванепул.

В конце концов он заставил меня назвать свое имя. Ручищи сержанта Джорджа сцепились вокруг моей шеи.

— Grootmeneer Джонни Отто,— прохрипел он,— посмотрим, что ты за птица.

— Haak die bal, Transvaal! [1] — издал Сванепул клич, которым трансваальские болельщики подбадривают игроков в регби, и в следующее мгновение я рухнул ничего не видя вокруг. Должно быть Джордж ударил меня сзади.

Когда я очнулся, то увидел, что лежу на полу; башмак Джорджа пригвоздил мою голову к линолеуму. Я кое-как высвободился, и он поднял меня за воротник. Ноги меня не держали. Тогда Джордж принялся хлестать меня по лицу, пока я не встал, шатаясь и еле соображая. Все восемь человек столпились вокруг, нанося удары руками и ногами и осыпая меня ругательствами. Вопросов никто не задавал.

— Тут Трансвааль, парень, и ты скоро это поймешь,— сказал, откашливаясь, Сванепул.— Мы можем просто прикончить тебя, как других. И твои родные никогда об этом не узнают.

У меня не было оснований думать, что он лжет. Но о чем бы я ни думал, теперь это не имело значения. Удары и пинки сыпались на меня со всех сторон — в голову, в живот, и каждый сопровождался проклятиями и ругательствами. Они пока не били меня в полную силу, но каждый удар должен был причинить мне немного больше боли, чем предыдущий. Через некоторое время я оставил попытки хоть как-то прикрыться. Измученный, я стоял в качестве живой неподвижной мишени, и все в комнате стало постепенно от меня отдаляться, рассудок словно покидал меня. Я видел команду шпиков и ощущал их удары как бы сквозь туман, зная, что происходит, но чувствуя все меньше и меньше.

Сванепул вернулся в комнату, когда африканцы пинали меня ногами по голове.

— Ай-ай-ай, дорогой мистер Отто,— стал глумиться он,— что сделали с вами эти ребята? Как вы можете обращаться подобным образом с одним из лидеров СВАПО?

Он взял картонный ящик из груды, сваленной у стены.

— Ты слышал о Брааме Фишере[1], главном коммунисте Южной Африки? Он думал, что перехитрит нас, замаскировавшись.— Сванепул вытащил из ящика рабочую спецовку из грубой бумажной ткани.— Но мы поймали его; да, парень, мы взяли его, несмотря ни на что, верно, ребята?

Все остальные ухмыльнулись, вспомнив старые добрые времена.

Таких ящиков было по крайней мере двадцать. На каждом была нацарапана фамилия, но я находился слишком далеко, чтобы разобрать написанное. Глядя на ящики, я думал о наших товарищах, которые прошли через все это. Некоторые из них были широко известны, как, например, Нельсон Мандела и Уолтер Сисулу. Их на оставшиеся годы жизни отправили гнить заживо на остров Роббен — печально известный южно-африканский застенок, где холодный туман и сырость помогали тюремным охранникам гасить последние проблески жизни в заключенных. Но большинство жертв Специального отделения были обыкновенными людьми, мужчинами и женщинами, которые незаметно и часто тайно боролись с апартеидом и так и сгинули в безвестности, попав однажды в лапы Сванепулу. Большинство политзаключенных были чернокожими, но встречались также «цветные», выходцы из Азии и белые, принимавшие активное участие в движении, возглавляемом Африканским национальным конгрессом, или в работе других нелегальных организаций.

Я слышал, что камера смертников — одно из немногих мест в Южной Афри-

---

[1] Вперед, Трансвааль! *(африкаанс)*

[1] Имеется в виду Абрахам Фишер (1907—1976)— один из руководителей Южно-Африканской коммунистической партии, приговоренный властями ЮАР к пожизненному тюремному заключению.

ке, где могут находиться вместе белые и небелые. «Компол» был, очевидно, другим таким местом. Когда дело касалось «подрывных элементов», с расовыми различиями считались меньше; агенты Специального отделения одинаково обрушивали свою ярость на всех «врагов государства», независимо от расы. Некоторые были убиты прямо здесь теми самыми людьми, что были сейчас передо мной,— на официальном языке это называется «самоубийством». Единственным вещественным напоминанием о них остались коричневые картонные ящики. Меня ожидает, возможно, такая же участь, думал я. Маленький коричневый ящик наподобие тех, куда упаковывают бакалейные товары в магазинах самообслуживания, возможно, останется единственным свидетельством, подтверждающим, что я прошел через руки этих палачей.

Сванепул снова вышел. Феррейра поставил стол на середину комнаты. Он приказал мне бегать вокруг стола, подняв над головой метлу. Команда собралась в круг и стала дубасить меня палками и кусками толстого резинового шланга. Только один Эразмус бил руками; его рубящие удары в грудь пронизывали меня невыносимой болью. Время от времени я валился на пол, задыхаясь, с готовым выскочить из груди сердцем. Пинками в обнаженный пах они поднимали меня на ноги.

— Покажи нам, как быстро ты умеешь бегать в буше,— язвил Феррейра.— Держи выше свое коммунистическое ружье!

Вскоре я снова впал в прострацию. Шланг оставлял багровые рубцы на мягких частях тела, но я больше не чувствовал боли. Лишь удары Эразмуса, владевшего приемами каратэ, не давали мне забыть о ней — они были как вспышки молнии, от которых перехватывало дыхание. Он стал моим смертельным врагом. Раз уж эта банда намерена в любом случае меня прикончить, размышлял я, почему бы не отыграться на ком-нибудь из них. И Эразмус лучше всего подходил для этого. Он повесил свою куртку на стул и ослабил галстук. Потом засучил рукава рубашки, обнажив волосатые руки с толстыми, грубыми запястьями. Его модные часы посверкивали каждый раз, когда он обрушивал на меня свою ручищу.

Уголком глаза я наблюдал, как он отклонился назад и занес правую руку. Он еще раз ударил меня. Мне едва удалось подняться. На своих нетвердых ногах я кое-как проделал очередной круг, шатаясь и тяжело дыша, но в то же время крепко сжимая метлу и наблюдая за Эразмусом. Когда он подошел ко мне, чтобы нанести следующий удар, вложив в него весь вес своего тела, я повернулся и ткнул метловищем ему в челюсть.

— У-у-уй! — закричал Эразмус, больше от неожиданности, чем от боли. Он отпрянул, а остальные подскочили и повалили меня на пол. Последствия меня не заботили. Для того чтобы увидеть, как эта скотина Эразмус отплевывается кровью и трет ушибленную челюсть, стоило получить целую сотню ударов каратэ. Я выиграл этот раунд.

— Оставьте его мне,— приказал Эразмус африканцам. Он медленно приблизился ко мне, приняв боксерскую стойку. Но меня уже больше ничто не пугало, защититься я и не пытался. При первом же ударе Эразмуса я потерял сознание.

Очнулся я в луже воды. Кто-то завязывал мне глаза мокрой тряпкой. Руки были в наручниках. От цепи между ними к водопроводной трубе на потолке тянулась веревка. Пара рывков, и я повис на запястьях; острые края наручников впились в кожу. Когда я вытягивался, кончики пальцев ног доставали до пола, что приносило некоторое облегчение. Однако удерживаться в таком положении мне удавалось только по нескольку секунд кряду.

Я почувствовал, как что-то привязывают к мочкам моих ушей, и прежде чем успел сообразить, что бы это могло быть, ослепительная вспышка расколола мозг — электрический ток напряжением в 200 вольт пронзил мое тело. Я взвыл. Я брыкался и извивался на веревке, бился головой о трубу на стене. Электрошок длился, возможно, меньше секунды, но я задыхался и весь покрылся холодным потом.

— Вот что нам приходится делать, когда люди отказываются говорить правду,— донесся до меня откуда-то издалека голос Сванепула.— Почему бы тебе не поразмыслить над этим несколько минут?

До нынешнего момента они ни о чем меня не спрашивали. Избивая меня, они утверждали, что я несу ответственность за посылку молодых членов СВАПО за границу для прохождения военного обучения. Это преподносилось как констатация факта, а не как вопрос, я же был просто лишен возможности возражать. Как потом выяснилось, это было единственное признание, которое они хотели у меня вырвать. Если я признаюсь, сказал Сванепул, то все мои злоключения кончатся.

То, что они так усердствовали, чтобы добиться этого единственного признания, навело меня на мысль, что у них нет улик, подтверждающих мою связь с вооруженными акциями СВАПО. Феррейра упомянул некоторых наших товарищей из Овамболенда, в том числе Германа Я-Тойво, которые уже подвергались пыткам, но ни один из них не мог меня выдать. Только двое моих товарищей знали достаточно для того, чтобы свидетельствовать против меня, но в них я был уверен. Так что моя судьба была в моих собственных руках. Но меня все еще трясло от электрошока. Какой смысл сопротивляться? Как долго человек может выстоять под этими адскими пытками? Не буду ли я вынужден все равно сдаться рано или поздно? А если я заговорю, то мне ведь совсем не обязательно впутывать кого-либо еще. Пострадаю лишь я сам... Или я ошибаюсь? Почему я думаю, что Сванепул остановится на этом? Если я

начну говорить о своей работе, он, возможно, еще нажмет на меня и заставит выдать товарищей. Что я этим выиграю? Даже «признавшись», я все равно, видимо, проведу остаток своих дней на острове Роббен.

Я вернусь домой, только если пойду до конца, то есть соглашусь работать на южно-африканские власти. Но к чему я вернусь? Что будет ожидать меня в Намибии, если я предам наше дело? Я никогда не смогу посмотреть в лицо своим товарищам и друзьям. Меня будут бойкотировать в школе. А что я скажу Али? Я не представлял, как буду жить и всякий раз, глядя в зеркало, видеть лицо предателя. Устоять перед Сванепулом — значило оставить по крайней мере проблеск надежды на будущее; капитуляция стала бы началом медленной смерти.

Когда электрический ток пронзает тело, ты не можешь думать, не говоря уже о том, что теряешь дар речи. Я открыл, что в Специальном отделении это была последняя стадия «обработки» узников с целью побудить их к сотрудничеству — последняя пытка перед «серьезным разговором». Видя, что я продолжаю молчать, они сняли электроды с моих ушей и закрепили их у меня на сосках, а затем на члене. Всякий раз мне казалось, что внутри взрывается бомба с тысячью острых игл, раздирая на части кишки, выталкивая глаза из орбит, разрывая на кусочки кожу. Я вопил и барахтался на веревке как сумасшедший, взывая к матери и Али. Моя голова билась о водопроводную трубу; пот лился из всех пор. Но когда они в конце концов выключили свою машину и сняли с меня повязку, моим ответом на вопросительный взгляд Сванепула по-прежнему было молчание. Пожав плечами, он вышел вместе с Эразмусом и Феррейрой из комнаты, оставив африканцев присматривать за мной.

Феррейра забрал меня из тюрьмы рано утром, а сейчас был только полдень. Зулу освободил меня от веревки и приказал надеть трусы. Потом африканцы тоже ушли. Я не мог идти; у меня распухли лодыжки, онемели все суставы. Запястья превратились в открытые раны, запекшаяся кровь образовала в носу лепешки. Левый глаз не открывался, а правым я видел как в тумане. Доковыляв до стула, я сел. Боль обожгла ягодицы, но зато стало легче воспаленным лодыжкам. Я принялся осторожно тереть каждый сустав, и жизнь начала медленно, очень медленно возвращаться в мое раненое тело.

Африканец, которого я прежде не видел, принес рыбу с жареным картофелем и кружку молока. Я с трудом мог жевать — губы стали как две резиновых трубы,— но мне все же удалось проглотить почти всю пищу. Еще никогда в жизни я так не нуждался в отдыхе; казалось, я никогда не смогу встать с этого стула.

Зулу возвратился первым. Он пододвинул свой стул к моему.

— Ты выглядишь сносно,— сказал он дружеским тоном.— Через пару дней будешь в полном порядке. Хочешь курить?

Это проявление симпатии удивило меня. Но когда я взглянул ему в глаза, то увидел, что улыбка его вымученная. Я отвел взгляд и ничего не ответил.

— Слушай, парень,— попытался он снова завязать разговор,— я ведь тоже африканец. Я должен кормить своих детей, мне нужна работа.— Тут он понизил голос: — Не думай, что мне нравится таскать пропуск, куда бы я ни пошел, и лизать задницы белым; мне это не легче, чем тебе.

Он положил руку мне на плечо, словно отец, пытающийся вразумить упрямого сына.

— Джонни, ты молод, умен. Эти игры не доведут тебя до добра. Сванепул опасен; он может убить тебя прямо здесь, если захочет. Скажи ему только, что делает СВАПО. Тебе совсем не обязательно принимать всю вину на себя.

Зулу, вероятно, служил в полиции давно. Может быть, для него это была единственная возможность содержать семью — но какой ценой? То, что он говорил мне теперь, фактически означало: «Стань рабом, и тебе будет хорошо». Я прекрасно знал, какого ответа заслуживает Зулу, но избрал менее опасный путь.

— Пусть Сванепул делает что хочет,— сказал я ему.— Убьют ли меня здесь или повесят позже, мне все равно нечего больше сказать.

Зулу решил сыграть роль «доброго советчика» до конца.

— Ну, что ж, Джонни,— вздохнул он, поднимаясь,— я сделал для тебя все, что мог.

Но я уже его не слушал.

До наступления вечера меня больше не били. Допросом руководил Феррейра. Задавая вопросы, сопровождавшиеся стандартными угрозами и бранью, они перескакивали с одного предмета на другой — с моей личной жизни на проблемы коммунистического движения и вооруженной борьбы СВАПО. Помня о пытке электрическим током, я отвечал, стараясь не раскрыть ничего важного.

— Чем ты зарабатываешь на жизнь? — спрашивал Эйно Йоханнес.

— Я преподаю в школе.

— Правительство платит тебе, а ты выступаешь против него.— Эйно отчаянно пытался доказать, что он тоже чего-то стоит.— Сражаешься за свою страну, задница! — глумился он.— Это и моя страна тоже. Ты думаешь, я соглашусь жить под властью вашего террористического правительства?

В Намибии Эйно считали предателем; всякий раз, когда он появлялся на митингах СВАПО, что-то записывая, его гнали и поднимали на смех. Даже его семья не хотела иметь с ним ничего общего. Но здесь в Претории пришла его очередь насмехаться и измываться над дру-

гими. Он был всего лишь учеником в профессиональной команде Сванепула и поэтому старался выслужиться перед бурами.

Феррейра продолжал допрос:

— Признайся, что тебе было известно о доставке оружия.

— Я уже говорил вам сто раз, что ничего не знаю, ничего.

— Сколько времени вы тренировались в буше? Кто обучал вас стрельбе?

Свои вопросы он задавал, чтобы запугать меня, а не для того, чтобы получить какую-то информацию. Он, должно быть, уже почувствовал, что я не пойду на сотрудничество с ними.

— Когда ты был последний раз в Дар-эс-Саламе?

— Вам прекрасно известно, что я никогда не был в Дар-эс-Саламе. До этого я ни разу не выезжал из своей страны.

— Хватит врать, обезьяний ублюдок! Вас обучали в России. У вас есть русское и китайское оружие.

Допрос не привел ни к каким результатам, и часа через два меня снова отвели в тюрьму. Когда я промыл лицо, вода в моем ведре стала красной. Сидя на цементном полу, я осторожно массировал запястья и лодыжки. Оставаться в одном положении больше нескольких минут я не мог — тотчас нестерпимая боль охватывала все тело. В конце концов, прислонившись к стене, я забылся в полусне. Мне мерещились здоровенные кулаки, которые обрушивались на меня из темноты; откуда-то из подсознания слышались собственные вопли.

Если я надеялся, что команда Сванепула закончила со мной все свои дела, то это было ошибкой. В тот же вечер, как только стемнело, меня разбудили лязг замка и окрик охранника. «Выходи!» В дверях стоял Феррейра, а позади — Саймон и Джордж. Через двадцать минут мы были снова в здании «Компола», чтобы продолжить то, что начали днем.

Воспоминания о последовавших за этим трех неделях до сих пор преследуют меня как нескончаемый ночной кошмар. Дни и ночи пыток чередовались с допросами Феррейры и передышками в камере, во время которых я едва приходил в себя от боли. Я чувствовал, как убывают мои силы. Но это варварское обращение привело к неожиданному результату. Приняв однажды решение не сдаваться, я стал рассматривать каждый допрос в «Комполе» как своего рода поединок. Чем сильнее была боль, тем яростнее становилась моя ненависть к агентам Специального отделения, тем больше я чувствовал в себе решимости. На их стороне была грубая физическая сила, источником же моей силы было чувство собственного достоинства. Каждый сеанс пыток, который мне удавалось вытерпеть, был победой — даже если потом меня переносили в машину на носилках.

Вместо заключения[1]

...К полудню миссия была заполнена людьми, пришедшими, чтобы отметить выход в свет первого издания Библии на языке овамбо. Я и Филипп стояли за занавешенными шторами, в то время как снаружи гости громко разговаривали, прислонившись к нашему окну. Мы хранили напряженное молчание. Когда все закончилось, пастор вернулся со своим коллегой из Энгелы — еще одной миссии, находящейся всего в нескольких милях от границы с Анголой. Пришедший оглядел нас с улыбкой:

— Я не знаю, куда вы держите путь, но будьте спокойны, в Энгелу вас доставлю.

Его микроавтобус, заполненный служителями миссии, ждал нас на улице. Спрятав под сиденьем свой чемоданчик, я затаился с молитвенником на коленях между двумя почтенного вида матронами и глазел на полицейских, проверявших документы водителя у каждого дорожного поста на сорокапятимильном пути до Энгелы. Там нас встретила группа Колли.

До наступления темноты оставалось еще несколько часов. Мы нашли убежище у деревенского лавочника. Из его кладовки был слышен рев южно-африканских военных грузовиков, которые двигались по дороге, проходившей вдоль границы. Когда стемнело, стали видны лучи прожекторов, направленные сквозь редкий лес на север. Владелец лавки набил наши сумки консервами и хлебом так, чтобы нам хватило еды на несколько дней пути через Анголу в Замбию. Один из его работников сказал, что покажет нам место, где можно пересечь границу, а потом перегонит автомобиль обратно в Ондангву. Восемь часов: пора было отправляться.

В черном небе поднималась луна. Колея, проложенная в песке джипами, указывала нам путь. Автофургон трясся и стонал, двигаясь с выключенными фарами на минимальной скорости. Энгела исчезла позади нас. Каждые несколько минут мы останавливались, вслушиваясь в тишину. Я ничего не мог расслышать, но мое сердце сильно билось. После топтания на месте, длившегося, как нам показалось, целый час, колея резко свернула в сторону, и мы спустились в неглубокую ложбину. Колли выключил мотор, мы тихо вышли и оглянулись. На открытой

[1] После долгих месяцев заключения Я-Отто вместе с другими руководителями и активистами СВАПО предстал перед расистским судом. Вместо того чтобы признать свою «вину», намибийские патриоты выступили в роли обвинителей бесчеловечной системы апартеида. За отсутствием прямых улик Я-Отто был выпущен на свободу. Однако сразу после освобождения его отсылают под надзор полиции и местных марионеточных властей в «хоумленд» (резерват) Овамболенд. Там он ведет работу по вовлечению новых борцов в ряды национально-освободительного движения, переросшего к началу 70-х годов в вооруженное сопротивление режиму. Товарищи из СВАПО предупреждают Я-Отто о грозящем ему аресте и рекомендуют ему покинуть Намибию. В организации побега намибийцам помогают сочувствующие им белые миссионеры.

лужайке было совсем тихо. Проволочное ограждение светилось в блеске лунных лучей.

Я поднялся на откос позади машины, и мои ноги утонули в песчаной почве. Зачерпнув горсть песка, я стал просеивать сухие песчинки сквозь пальцы. Вспомнил о своем друге Леви Нганджоне, о том, как мы, бывало, стоя на коленях, так же просеивали песок на священной земле его предков гереро. Что стало с Нганджоне после его высылки? А Карита, где он сейчас? Хорошие люди либо заключены в тюрьму, либо убиты, либо находятся в ссылке. Сколько это может продолжаться?

Два луча света пронизали кустарник. Вдалеке залаяли собаки.

— Митири, дольше здесь оставаться нельзя,— прошептал кто-то.

Все были уже по ту сторону изгороди, и наш проводник развернул машину, приготовившись к отъезду.

Вот так мне и предстоит уехать, спасаясь бегством от буров, прячась от их прожекторов? Ведь Намибия была моим домом. Мое место было здесь, с друзьями, семьей, стариками, воспитавшими меня, со всеми моими товарищами, которые, невзирая на риск, продолжали бороться против расистов.

— Ради бога, старина, они будут здесь с минуты на минуту,— позвал меня Колли из-за ограждения. Автофургон уже уехал.

Я открыл было рот, чтобы ответить, но мне изменил голос. По щекам полились слезы. Я сорвал горстку листьев с ближайшего куста и сунул их в карман.

Патрульный джип приближался, уже был слышен шум мотора. Я взглянул на лучи его фар, потом, глубоко вздохнув, повернулся и зашагал к проходу в изгороди из колючей проволоки. Чьи-то сильные руки помогли мне пролезть. Не оглядываясь, я подхватил свой чемоданчик и присоединился к веренице темных фигур, пробиравшихся через заросли кустарника на север.

◆

СТЕПАНОВ ЛЕВ МАРКОВИЧ (род. в 1929 г.)

Советский востоковед и переводчик. Автор работ по литературе стран Африки, Арабского Востока, Мальты. В его переводе издан роман суданского писателя Ат-Тайиба Салиха «Бендер-шах» (1982) рассказы и повести писателей Египта, Йемена, Сирии, Туниса.

Критика

Слово, язык, общение

Писатели мира отвечают на анкету*

1. Решение каких общечеловеческих проблем представляется Вам самым неотложным?

2. Какова связь между этими проблемами и Вашим творчеством?

3. Над чем Вы сейчас работаете и каковы Ваши творческие планы?

С такими вопросами журналы «Иностранная литература» и «Советская литература» (на иностранных языках) обратились к литераторам зарубежных стран.

В этом номере:

ИВАН СКАЛА — чешский поэт, заслуженный писатель Чехословакии, лауреат Государственной премии ЧССР и Государственной премии имени Клемента Готвальда.

ВЕРЖИЛИО ФЕРРЕЙРА — португальский писатель.

МОХАММЕД ЗЕФЗАФ — марокканский прозаик, драматург, публицист, пишущий по-французски.

ЛУИДЖИ МАЛЕРБА — итальянский писатель, сценарист.

БЕРНАР КЛАВЕЛЬ — французский писатель, член Академии Гонкуров. В годы второй мировой войны был участником движения Сопротивления. Лауреат Гонкуровской и Большой премии города Парижа.

ФАРЛИ МОУЭТ — канадский прозаик и публицист.

ГУСТАВО ВАЛЬКАРСЕЛЬ — перуанский поэт и прозаик, автор книг репортажей, посвященных политическим событиям жизни Перу.

ДОЖООГИЙН ЦЭДЭВ — монгольский поэт, прозаик и литературовед, кандидат филологических наук, переводчик зарубежной поэзии, в том числе русской классической и советской, на монгольский язык (ответ написан автором по-русски).

ДОРОТИ ГРИН — австралийская писательница, критик и литературовед, поэтесса

МАРИО НЕВЕШ — португальский публицист, журналист, дипломат, первый посол Португальской республики в СССР после Апрельской революции президент ассоциации «Португалия — СССР».

АЛЬФРЕДО ПАРЕХА ДЬЕСКАНСЕКО — эквадорский романист, историк, дипломат, бывший министр иностранных дел Эквадора.

КАРЛОС Ф. ЧАНГМАРИН — панамский писатель, поэт и прозаик.

* Окончание. Начало см. в № 5, 6, 7, 10, 11.

«У меня миллионы внуков»

Современный мир перенасыщен непокоем. Наше время — время глобальных проблем, охватывающих всю планету.

Каждый, кому не чуждо нормальное восприятие жизни, ужасается при мысли, что от последствий атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, хотя с тех пор прошло уже сорок два года, все еще умирают люди. Как можно после обычного трудового дня засыпать спокойно, зная, что капиталистические державы провозгласили атомную агрессию своей военной доктриной? Преградить путь ядерной войне — всемирная и общечеловеческая проблема номер один.

У меня четверо внуков, которые ходят в школу, едят пять раз в день, и слово «голод» им известно только из сказок. Но в разных частях земли у меня миллионы внуков, которых чувство голода не покидает, которые никогда в своей жизни не наедались досыта. Им неизвестна и благодатная сила грамоты, основы всей человеческой культуры. Можно ли эгоистически радоваться, глядя на своих внуков, и знать, что каждые две секунды, не прожив и пяти дней от роду, в мире погибает младенец.

Наше время — куда ни посмотри — перенасыщено проблемами социальными, политическими, медицинскими, экологическими, гуманитарными.

Миллионы людей умирают от голода и болезней. Миллионы безработных влачат жалкое существование без надежд, без будущего. Гибнут или истребляются леса, эти кладовые кислорода и плодоносных дождей. В одном конце света стонет захимизованная природа, в другом земля пересыхает от засухи и не родит. Источников питьевой воды становится недостаточно, и смог превращает города в огромные газовые камеры.

Может ли человечество идти путем дальнейшей интенсификации смерти, путем постоянного совершенствования ядерного оружия, способного и готового уничтожить жизнь и еще использовать для этого космические просторы? Путем, ведущим к уничтожению человечества и его цивилизации, путем, над которым зловеще фосфоресцирует надпись из Дантова «Ада» — «Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate»?[1]

Или оно должно твердо встать на путь мирного использования атомной энергии на нашей планете, на которой с каждым годом убывают запасы топлива и которая может вдруг оказаться на пороге вечного холода; на путь решения всех насущных социальных и экологических проблем, на путь использования всех природных ресурсов и достижений науки и техники во имя максимального прогресса человечества, большая часть которого до сих пор голодает физически и духовно?

Для нас, граждан социалистических стран, ответ на этот вопрос однозначен. Он — в колоссальных и все более активных мирных усилиях Советского Союза и других социалистических стран, выражающих волю сотен миллионов людей труда во всем мире. Он — в нашей титанической борьбе за интересы трудящихся.

Решение этих великих проблем — не вопрос филантропии, это вопрос международного сотрудничества, перешагивающего границы, разделяющие нации и государства.

Подземный гул возможных катастроф должен был бы будоражить сознание всех людей планеты. Ведь даже у муравьев, лошадей, птиц и рыб проявляется инстинктивное предчувствие близящегося стихийного бедствия. А что же человек, единственное мыслящее существо, наделенное разумом, интеллигентностью и способностью видеть перспективу своего будущего? Актуальнейшая задача литературы — стучаться во все двери, поднять миллионы людей на совместную борьбу за жизнь и будущность человека, за удовлетворение его материальных и духовных потребностей, за право на радостное мироощущение.

У поэтов слабые плечи, им не удержать на них судьбы мира. Значит, тем более они не должны молчать. То, чем они обладают,— малость, всего лишь голос, но голос может дойти до многих. Поэты не имеют права быть одинокими стражами маяка. Литература не имеет права сосредоточиваться на себе, ограничиваться проникновением в глубины индивидуальной психики, она должна передавать пульс общественной жизни, регистрировать сейсмические толчки, сигнализировать об опасности и мобилизовать людей на ее предотвращение. У меня всегда было именно такое представление о роли литературы, поэтому и в моих последних книгах есть стихи, посвященные роковым вопросам нашего времени, стихи, призванные вызвать в читателях активный отклик.

На моем письменном столе исподволь рождается новая книга стихов. Рождается не на основе продуманного плана. Так же как предыдущая книга, «Календарь», была собранием расположенных в хронологическом порядке стихов, в которых запечатлены пульс времени и биение моего собственного сердца, так из прикосновений к действительности возникает и эта новая книга.

ИВАН СКАЛА
(Чехословацкая Социалистическая Республика)
Май, 1987 г.

«Определяющая черта нашего времени — планетарность»

1. На исходе XX век, второе тысячелетие, и — это неизбежно — мысль о «пороге», «рубеже» все настойчивее тревожит наш разум, наши чувства. Мысль эта все чаще заставляет нас задумываться о будущем, рисовать его в воображении, отталкиваясь от прошлого. Я бы сказал, что будущее определяет наши отношения друг с другом и наши отношения с самими собой. Что касается отношений с другими, то тут нетрудно дать ответ, общее мнение на сей счет однозначно. В самом деле, ведь никто из здравомыслящих людей не отважится

[1] Оставь надежду всяк сюда входящий *(итал.)*.

заявить, что хочет войны. Куда труднее взять на себя личную ответственность за то, чтобы она не разразилась! Андре Жид говорил, что боятся не тех, кто ищет истину, а тех, кто ее находит. Ибо нашедший истину тут же загорается желанием заставить поверить в нее всех остальных. Никто не отрицает права на свободу. Проблема возникает тогда, когда надо установить ее границы. Всякая война, конечно, имеет свои причины, свое объяснение. И все же в условиях нынешнего кризиса идеологий, непрерывной борьбы, конфликтов — при ясно обозначившейся угрозе новых, гораздо более опасных! — мы начинаем понимать, что война способна рождаться из себя самой, питаться сама собой.

Определяющая черта нашего времени — планетарность, поэтому очевидной необходимостью, на мой взгляд, является мирное общежитие людей, которых роднит то, что все они — люди. Мир, как и вся земля людей, не имеет национальности. Свобода же и прочие права человека — необходимые проявления этого общежития.

Если отношения с другими определить сравнительно просто, то наши отношения с самими собой мы склонны либо считать второстепенными, либо переводить в зыбкую область невыразимого, непредсказуемого, запретного, наконец. Человек отнюдь не полностью выражает себя через непосредственную, практическую, «внешнюю» деятельность. По ней одной трудно себе представить его внутренний мир — куда «практичнее» просто отмести или подавить его. Но если человек отброшен в молчание, голос молчания становится беспощаден. И вот тут-то и возникает первый вопрос, который задал себе первый человек... Ницше где-то заметил, что вот уже два тысячелетия не рождается новый бог. Подозреваю, что и не родится. При нынешнем кризисе идеологий вряд ли кому-нибудь придет в голову искать ответ на загадку жизни в новой религии. Как вряд ли придет кому-нибудь в голову, что человечество впадает в детство... Обычно, делая различие между суеверием и религией, забывают, что это одно и то же, разве что вторая — более «цивилизована». Как сможет на это возразить религия? Какое объяснение даст таинству жизни? Или вместо ответа... камень в протянутую руку? Но не дать ответа на загадку еще не значит снять ее. А между тем разгадку следует искать в самой жизни, она же и есть свое собственное оправдание. Сторонники терроризма и те, кто ищет ответа в наркотиках, этого не видят, но, может быть, именно это им и нужно объяснять, если, конечно, все дело в том, чтобы понять... Мир, которого мы желаем в отношениях с другими — ибо война, даже замкнутая на самой себе, это чудовищный абсурд,— этот мир мы жаждем обрести и внутри себя, через полную самореализацию каждого из нас, в лоне жизни, которая принадлежит всем, а не в стороне от нее. По словам Мальро, Сталин якобы сказал де Голлю, что как бы там ни было, а смерть побеждает всегда. А святой Павел, непоколебимо веря в бессмертие, вопрошал: где же торжество смерти? Мы, мечтающие о жизни гармоничной и свободной, о мире на всей планете, об уважении прав человека, мы надеемся, что сможем однажды спросить: где же оно, поражение человека?

2. Евангельскому принципу «не хлебом единым жив человек» я противопоставил другой: принцип, так сказать, насущной, неотложной справедливости — «без хлеба не жив человек». Между этими двумя полюсами — все мое творчество. Как и многие молодые люди моего поколения, я тяжко страдал от социальной несправедливости, угнетения — салазаризм душил свободу не одно десятилетие. Начал я с «насущного», «неотложного», ибо действительность со всей очевидностью доказывала мне —«без хлеба не жив человек». Лишь позже я стал различать «самое насущное» и «самое существенное» (хотя, по правде говоря, насущное всегда существенно). Я поверил в то, что несправедливость можно преодолеть, понял я и то, что «насущное» не есть самое сокровенное и долговечное. Были ли в прошлом великие творения, скользнувшие лишь по поверхности того, что мы есть? Верно ли, что Маркс предпочитал Бальзака Золя лишь в силу «социального содержания» его произведений? Для меня величайший романист всех времен — Достоевский, я бы назвал его абсолютным среди романистов, как Ясперс называл Канта применительно к области философии. Какие же темы избирал Достоевский? Почему его книги и по сей день столько говорят нам?..

В первой, юношеской еще книжке «Дорога — далеко» я пытался слить воедино два полюса. Возобладал первый, голос «насущного», «неотложного» — по зову его я сделал еще несколько вещей, все они вписываются в рамки того, что мы называем «неореализмом», иначе говоря — социальным реализмом. Позже, постепенно (у меня и сейчас еще есть неизданные романы в духе неореализма...) я подошел к темам, которые считаю самыми значимыми, к главной для человека проблеме,— она остается, когда все остальные уже разрешены: назначение человека, тайна, его окружающая, непостижимы. Но человека влечет не то, что легко объяснимо, а как раз то, чему объяснения нет. Есть способ решить проблему, не имеющую решения: избыть ее. Если говорить, говорить, говорить о боли, она словно отделяется от нас, мы страдаем от нее меньше. Как бы то ни было, сегодня, когда, кажется, рушатся все ценности, я знаю: устояла величайшая ценность — жизнь, сам человек. Все же прочие ценности могут существовать лишь постольку, поскольку есть он. Пусть непостижима жизнь, но еще непостижимее было бы поднять руку на нее, на ее высшую форму — человека. Выше я говорил о двух принципах. Чаще всего бывает так, что поборники одного не признают значения другого для человека. Я же принимаю оба, ибо принимаю как неизбежное то, чем являюсь я, чем являемся мы.

3. В настоящее время заканчиваю роман, который, как и многие предыдущие, считаю последним: правда, на сей раз думаю, что мой возраст не позволяет мне питать какие-либо иллюзии. О чем этот роман? Сам точно не знаю. Во-первых, потому, что не перечитывал его... А во-вторых,

потому, что роман (да и любое другое произведение искусства) — это прежде всего отклик, который он в нас вызывает, но, пожалуй, не словами, а тем, что между ними. Объяснить это невозможно. Попробуйте рассказать, о чем то или иное произведение,— и вы увидите: оно ускользнет от вас. Почти так же трудно объяснить музыку или цвет. Роман — вовсе не то, что в нем происходит, а то, что остается после, когда все произошло... Все же могу сказать, что речь в моем романе идет о распаде, столь характерном для нашего времени, и об утверждении — в противоположность распаду — высшей на Земле ценности, жизни во всей ее полноте.

Планы на будущее? Но ведь нужно, чтобы будущее наступило... Не знаю.

ВЕРЖИЛИО ФЕРРЕЙРА (Португалия)
Май, 1987 г.

«Против темных сил»

Наиболее неотложные, на мой взгляд, те проблемы, которые во всем мире волнуют наших современников. Проблемы эти различны, и писателям следует обрисовать их во всем многообразии. Думаю, что современному человеку пока не удавалось в должной мере развернуть борьбу за нравственные ценности — честность и порядочность, процветание и достоинство народов и отдельных людей, взаимное уважение народов друг к другу — борьбу против темных сил, столь долго господствовавших в истории. За долгие века человечеству пришлось пережить немало трагических моментов, но ныне на его долю их выпадает еще больше. Ведь пока существуют циники, правящие ни в чем не повинными народами, будет существовать и деспотизм.

Я призываю прогрессивные режимы: протяните руку помощи народам, ощупью бредущим в потемках!

В романах, пьесах, рассказах я пытаюсь обращать внимание людей на эти проблемы, стремлюсь разложить их на составные части, чтобы подойти вплотную к вопросу о смысле нашего бытия. Зачем живет человек? Неужели всегда суждено оставаться в силе изречению: «Человек человеку волк»? Любое произведение подлинной литературы должно затрагивать такие мучительные проблемы человеческой жизни, как война, голод, болезни... Именно они будут предметом исследования и в моих будущих книгах.

Сейчас я продолжаю работу, которую начал несколько месяцев назад. Речь идет о переводе современной иракской поэзии на французский язык. Пишу также рассказы и сказки для ряда специализированных арабских журналов. В ближайшее время в Каире выйдет сборник моих рассказов. Право выбрать заглавие для него я предоставил издательству.

МОХАММЕД ЗЕФЗАФ (Марокко)
Май, 1987 г.

«К опасной черте»

1. Во-первых, ядерное разоружение и, во-вторых, защита окружающей среды. Эти две проблемы взаимосвязаны: необходимо спасти планету от уничтожения и затем, обеспечив прочный мир, сделать все возможное, чтобы предотвратить ее загрязнение, приблизившееся сегодня к опасной черте.

2. В повести «Сальто-мортале», написанной еще в 1967—1968 годах и опубликованной в русском переводе журналом «Иностранная литература», большое место отведено проблеме загрязнения окружающей среды. В последней моей работе, романе «Голубая планета», проблема атома в центре нескольких глав. Это значит, что на протяжении многих лет эти вопросы продолжают волновать меня.

3. Сейчас работаю над романом, действие которого происходит в эпоху расцвета Византии. Сюжет строится вокруг некоего военного секрета того времени. Всякого, кто становился его обладателем в конце концов насильственно уничтожали. Таким образом, военная тайна зачастую использовалась для ликвидации «неугодных» при византийском дворе.

В некоторых других рассказах я тоже использовал исторические ситуации как «параллель» сегодняшней жизни.

ЛУИДЖИ МАЛЕРБА (Италия)
Май, 1987 г.

«Нужно хорошо знать, что нас ожидает»

Дорогие друзья!

Я с большим интересом прочел ваше письмо и приложенное к нему заявление Иссык-Кульского форума. Вы спрашиваете, каковы, на мой взгляд, наиболее животрепещущие общечеловеческие проблемы. Отвечу так: главная проблема — спасти мир от насилия.

И я слегка разочарован тем, что воля к разоружению не проявилась в Заявлении более явно.

Если даже великие художники современности лишь полагаются на добрую волю «руководителей государств», которая-де должна уберечь нас от ужасной гибели в пламени ядерного взрыва, то разве могут массы народа восстать и потребовать, чтобы их правительства приняли реальное участие в деле защиты мира?

Ваше послание я получил как раз тогда, когда с отвращением читал ответы глав западных государств на предложения Михаила Горбачева о разоружении. Подавляющее большинство населения западных стран одобряет действия избранных ими руководителей. Вместо того чтобы требовать мира, они приветствуют усиление военного потенциала.

Если массы не поймут угрожающей им опасности, если они не захотят принять на себя риск и экономические убытки, к которым неминуемо приведет прекращение производства военной техники, если решительно не воспротивятся сбыту оружия, человечество обречено. И вряд ли оно проживет те пять тысяч дней, о которых говорится в Заявлении.

Да, я удивлен: в нем не сказано, что на деньги, затраченные на производство современной бомбы или строительство военного корабля, можно накормить миллионы несчастных, что лучше проводить медицинские исследования, а не строить самолеты и т. д. и т. п.

Интеллектуалы говорят слишком красиво, в этом их великий недостаток. Зло мы победим не при помощи изысканной литературы, но посредством простых слов и жестоких образов, рассказывая, например, о погибших и искалеченных взрывами в Хиросиме и Нагасаки. Нужно хорошо знать, что нас ожидает.

Пока народы не поймут, что несет им завтрашняя война, пока они будут аплодировать военным парадам, реальной надежды на спасение нет.

Я восхищен мужеством Михаила Горбачева. Если ему удастся довести начатое дело до конца, он останется в памяти людей как один из величайших политических деятелей всех времен. И мне стыдно за тех, кто отказывается пожать его протянутую руку, утверждая, будто в другой он прячет нож.

Теперь я вполне естественно перехожу к вашему второму вопросу: как связаны эти проблемы с моей работой?

Я романист — это главное. Значит, рассказываю разные истории. Если мои убеждения «проступают» сквозь ткань произведения, я этому радуюсь, но не пишу и не хочу писать «программных» романов. Выражая свои взгляды на проблему мира, я опубликовал множество статей и два документально-публицистических сочинения: «Письмо человеку в белом кепи» — небольшое эссе о войне и мире — и «Кто вы, Бернар Клавель?»—ответы на вопросы журналистки Аделины Ривар [1].

Работаю над шестым томом «Северного царства». Есть замыслы романов на другие темы: несомненно, когда-нибудь напишу еще одно эссе об угрозе войны. Ибо на меня постоянно давит сознание опасности, нависшей над миром. Я удручен тем, что люди не понимают абсурдности сегодняшнего положения дел.

Надеюсь, что буду иметь удовольствие снова увидеться с вами. Примите уверения в моих неизменно дружеских чувствах.

БЕРНАР КЛАВЕЛЬ (Франция)
Апрель, 1987 г.

P.S. И передайте всем нашим друзьям в СССР, что я буду очень рад снова встретиться с ними и показать вашу прекрасную страну моей жене, канадской романистке Жозетт Пратт, которая разделяет мои взгляды на проблему мира.

«Против двух опасностей, грозящих планете»

Самые важные проблемы, стоящие перед миром, тесно взаимосвязаны: это — необходимость поставить заслон на пути военной деятельности людей и предотвращение уничтожения биосферы, происходящего из-за безрассудства современного человека.

По-моему, результаты войны ядерной были бы лишь новым этапом необъявленной войны, которую современный человек ведет против природы на всей нашей планете. Технические средства этой войны последовательно, каждый год уничтожают среду обитания и популяции многих видов животных.

Связь между этими проблемами и тем, над чем я работаю, очень тесная. Практически все, что я написал за свою жизнь, включая 28 книг и бесчисленные статьи, направлено против этих двух опасностей, грозящих нашей планете уничтожением.

Сейчас работаю над биографией американки по имени Диана Фосси, которая провела пятнадцать лет жизни в Руанде, пытаясь спасти последних оставшихся там в живых горных горилл, и которую «в благодарность» за эти усилия убили.

ФАРЛИ МОУЭТ (Канада)
Февраль, 1987 г.

«Чтобы спасти человечество»

Уважаемые друзья!

Вернувшись с женой из поездки на Кубу, я получил ваше теплое письмо, а также текст Заявления Иссык-Кульского форума.

Прежде всего мне бы хотелось заявить, что я присоединяюсь к упомянутому выше Заявлению.

А теперь постараюсь коротко ответить на ваши вопросы.

1. Считаю, что главная проблема, которая носит всеобщий характер и требует безотлагательного решения,— это ядерное разоружение и постепенное прекращение гонки вооружений, чтобы спасти человечество от гибели и тем самым спасти высшие достижения цивилизации и ценности культуры.

2. С тех пор как осознал себя гражданином, я всегда выступал в защиту мира на Земле. Уже во втором сборнике стихов, которые я опубликовал, находясь в изгнании («Стихи из ссылки», Мехико, 1954), было стихотворение под заглавием «Легенда о борце за мир».

Моя предпоследняя книга — «Пентаграмма антифашистской Чили» (Лима, 1975) — направлена против кровавого диктатора Пиночета, врага номер один всей Южной Америки.

3. Сейчас работаю над двумя произведениями:

а) «Хроника революции Трухильо (Перу)» и

б) «Сияющая Гавана» — очерки о столице Острова Свободы и о сотрудничестве между СССР и Кубой, СЭВ и Кубой.

С глубоким уважением

ГУСТАВО ВАЛЬКАРСЕЛЬ (Перу)
Март, 1987 г.

«Земля — это наша матушка»

«Если озеро спокойным будет, будут спокойны и утки»,— гласит монгольская поговорка. Понятно, что имеется в виду: мир на земле — это покой в людских сердцах. Между тем сегодня в мире более чем не-

[1] См. «ИЛ», 1986, № 4, с. 253—254.

спокойно. В миллионах сердец — тревога. Всех людей, живущих сегодня на Земле, объединяет первейший и священный долг — защитить от ядерного смерча нашу такую прекрасную планету, спасти величайшую память истории, спасти человеческую цивилизацию, спасти жизнь будущих поколений. Наверняка каждый человек, осознающий реальную действительность сегодняшнего мира, скажет: первым делом необходимо отвести и уничтожить нож ядерной гильотины, нависший над головами младенцев и стариков, мужчин и женщин — всех жителей Земли. Я убежден, что самоуничтожение — удел, недостойный человечества, и делается страшно, когда видишь яростно-методичные приготовления империалистической военщины к войне — к «звездным войнам»! И именно тогда по-настоящему оцениваешь значение миролюбивых инициатив Страны Советов, идущей знаменосцем в борьбе за мир.

Со все возрастающим беспокойством говорят сегодня и об экологической проблеме. Когда идет речь о сохранении природы, о необходимости ее защиты, мне часто вспоминаются слова моего деда Улзий-Очира. Когда я был мальчишкой, ему, наверное, было уже за семьдесят. Он любил нас, ребятишек, часто сажал вокруг себя, рассказывал сказки и легенды. И он неизменно наказывал нам, чтобы мы любили землю, с бережностью относились ко всему, что живет и растет на ней. «Земля — это наша матушка»,— повторял дед. Как-то он взял меня с собой в лес по ягоды. Я был маленьким, мне трудно было дотянуться до веток дикой смородины. Я подпрыгивал и хватал ветки с сочными гроздьями. Хрупкие ветки ломались. Неожиданно раздался суровый окрик деда: «Что ты вытворяешь! Сломаешь ветки в этом году — на следующий можешь сюда не приходить, ягод не будет!» Конечно, наставления моего деда были бесхитростны. Но именно высказанную им простую мысль не могут или не хотят понять сегодня люди, которые насилуют и оскверняют природу. А ведь земля — это наша матушка.

Думаю, честный художник не вправе стоять в стороне от общечеловеческих проблем, тем более если они касаются целости и сохранности нашего общего дома — Земли. Каждый землянин ответствен за мир и порядок в этом доме. Убедить людей в этой высочайшей ответственности, напомнить им о ней — это, считаю, долг современного литератора. Им и руководствовались наши писатели, выпуская книгу «Набат сердца», которая стала их вкладом в борьбу за то, чтобы азиатско-тихоокеанский регион стал регионом без войн и агрессии.

Что касается моих новых книг, то я сейчас работаю над повестью «Шепот родных лугов» (это автобиографическое произведение, в котором я затрагиваю проблемы нашего культурного наследия) и поэмой «Течение прозрачной Толы» Тола — река, на которой стоит наша столица, Улан-Батор. В моей поэме река как бы олицетворяет воду, которая в представлении монгола является одной из святынь.

Творческих планов много. Но не хочу загадывать наперед. Ведь сердце писателя бьется в унисон со временем, с его тревогами, его радостями, и поэтому неизвестно, как отзовется сердце на их бремя.

ДОЖООГИЙН ЦЭДЭВ
(Монгольская Народная Республика)
Январь, 1987 г.

«Если не будет мира, не будет и мира»

Друзья! Сначала позвольте мне выразить уверенность, что процесс демократизации и обновления вашего общества, начатый Генеральным секретарем Горбачевым, заставит Запад отказаться от недоверия по отношению к вашей стране и приблизит дело мира больше, чем что-либо другое. Мир и справедливость для всех людей идут рука об руку.

1. Наиболее неотложная проблема, стоящая перед человечеством,— всем странам научиться жить сообща и обсуждать различия, вместо того, чтобы сражаться друг с другом. Сегодня все ресурсы планеты подчинены одному — убийству. В такой ситуации мы можем пойти двумя путями: истребить себя в ходе войны или самоуничтожиться через пятьдесят — сто лет в результате подготовки к войне. Например, мы расходуем металлы с устрашающей быстротой. Что мы будем делать, когда их запасы кончатся?

С тех пор как во время первой мировой войны появилась военная авиация, национальные границы перестали быть незыблемыми. Мы должны создать мир без перегородок и научиться жить одной семьей. Если мы не сможем добиться этого, Земля нас отвергнет. Слова «peace» и «world» по-русски звучат одинаково — «мир». Мы подошли к такому рубежу, за которым, если не будет мира, не будет и мира.

2. Во всем, что я пишу, эти идеи присутствуют прямо или косвенно. Права человека должны охраняться во всех странах, даже в демократических. По мере того как мы будем убеждаться, что в вашей прекрасной стране серьезно относятся к правам человека, у нас будут исчезать страх и непонимание по отношению к вам. Гласность — единственная возможная основа для цивилизованного государства, и она необходима как моей стране, так и всем другим.

3. Моя профессия — литературная критика, но когда есть время, я еще пишу и стихи. Сейчас работаю над книгой об одном английском биологе, который приехал в Австралию в 1910 году; он научился любить пустыни западной Австралии и аборигенов. Вернувшись в Англию, он написал шесть романов о своих таинственных приключениях в «буше». В моей книге «Музыка любви» («Пенгвин букс», 1984) есть эссе о нем. Эта книга должна быть в библиотеке вашего Союза писателей в Москве.

ДОРОТИ ГРИН (Австралия)
Март, 1987 г.

«Меня всегда вдохновляла идея всечеловеческой солидарности»

1. Полагаю, что общечеловеческие проблемы, требующие неотложного решения, это, вне всякого сомнения, обеспечение прочного мира, прекращение гонки вооружений и уничтожение ядерных арсеналов. Убежден, что, когда эти важнейшие цели будут достигнуты, человечество сможет наконец-то высвободить средства, нужные для того, чтобы жить в полном счастье, не ведая страха, в мире без голода и нищеты и обеспечить всем должный уровень благосостояния.

2. Именно этими великими целями я стараюсь руководствоваться в своей деятельности — в какой бы сфере она ни протекала — на протяжении всей моей долгой жизни. Меня всегда вдохновляла идея всечеловеческой солидарности, я всегда по мере сил своих призывал любить ближнего и обличал насилие, жестокость, репрессии. Этому посвящена предпоследняя моя книга «Бойня в Бадахосе» — репортаж о бесчинствах войск Франко в период гражданской войны в Испании. Те же стремления определили и мою деятельность, направленную на укрепление братских чувств, живущих в сердцах советского и португальского народов, вопреки длившемуся почти полвека горестному отчуждению — его нам навязал установившийся в Португалии фашистский режим. О чувстве дружбы между двумя нашими народами я постарался как можно убедительнее написать в недавней своей книге — «Миссия в Москве». В ней я рассказал о незабываемом опыте, приобретенном мною на посту первого посла Португальской республики в СССР после Апрельской революции 1974 года. Делу укрепления нашего братства и взаимной дружбы я отдаю все силы и сейчас в качестве президента ассоциации «Португалия — СССР» — на этом посту я нахожусь уже несколько лет. Вот почему с огромным удовлетворением как признание своего труда, как великую честь я воспринял решение Президиума Верховного Совета СССР наградить меня орденом Дружбы народов. Меня глубоко растрогало само значение этого ордена.

3. Горячо надеюсь, невзирая на возраст, и впредь идти по пути, который я избрал однажды и на всю жизнь, исполнять все задуманное с удвоенной энергией, чтобы оправдать доверие тех, с кем вместе я борюсь во имя мира и братства всех, без каких-либо различий, народов планеты.

МАРИО НЕВЕШ (Португалия)
Март, 1987 г.

«Не отгораживаться ни от проблем, ни от забот»

1. Проблема, требующая скорейшего решения,— это, несомненно, установление мира во всем мире. Дело, однако, не только в том, что две великие мировые державы — Советский Союз и Соединенные Штаты — обязаны ради существования всего человечества заключить постоянное соглашение о последовательном ограничении производства ядерного оружия, а затем и о полном его уничтожении, ибо производство и даже само существование такого оружия есть подлое, позорное, самоубийственное посягательство на человечество. Я имею в виду также и то, что не менее неотложной и необходимой мерой является запрещение распространения обычных вооружений и продажи их странам экономически менее развитым. Да, да! Оружием торгуют, словно речь идет просто об источнике валютных поступлений для продающего государства (будь то Советский Союз, Соединенные Штаты, Франция, Израиль, Бразилия или любая другая страна, производящая вооружение),— за счет голода и нищеты стран бедных, обираемых могущественными промышленными комплексами, чья протекционистская политика причиняет немалый ущерб слаборазвитым странам — экспортерам сырья и товаров, производимых дешевой рабочей силой.

Напомню и то, что общеизвестно: на мирное сосуществование всех стран мира при соблюдении принципа идеологического плюрализма горячо надеется человечество, живущее в постоянном страхе перед ядерной катастрофой.

2. Все, что я пишу — будь то романы, биографии, эссе или книги по истории,— проникнуто убеждениями, которые я изложил, отвечая на первый вопрос. Я не верю в литературу завербованную, открыто подчиненную политическим лозунгам или корыстным интересам, зато я верю, что литература, оставаясь прежде всего художественным творчеством, обязана сознавать свою ответственность и не отгораживаться ни от проблем, ни от забот и страданий человечества.

3. В настоящее время я работаю над историей Эквадора XIX—XX веков. Затем собираюсь взяться за книгу, которая задумана как нечто среднее между романом и историей. Речь в ней пойдет о людях моего поколения, об их отношениях — от раннего детства до глубокой старости. Действие будет развиваться в моей стране и в тех странах, где мне за мою долгую жизнь довелось побывать. Разумеется, в отношениях моих героев найдут отражение и важнейшие события, имевшие место начиная с первых десятилетий века и до наших дней.

АЛЬФРЕДО ПАРЕХА ДЬЕСКАНСЕКО
(Эквадор)
Май, 1987 г.

«Безъядерная заря XXI века»

1. Нас, панамцев, очень заботит то, что приближается 2000 год: наступить он должен в обстановке, благоприятной для атомного разоружения. Именно это и предложил М. С. Горбачев: чистое небо, безъядерная заря, знаменующая начало XXI века. Такая перспектива весьма важна и для независимого будущего Панамы: по договору, подписанному в 1977 году Торрихосом и Картером, ровно в полночь 31 декабря 1999 года последний американский солдат должен покинуть нашу страну. Однако се-

годня США все еще рассчитывают остаться на нашей территории под предлогом того, что Панама якобы не в состоянии защищать канал. Если народам мира удастся добиться ядерного разоружения к 2000 году, у янки не окажется аргументов, оправдывающих их присутствие в нашей стране. Подлинную безопасность зоны канала обеспечит наш нейтралитет в условиях мира во всем мире.

2. Бóльшая часть написанного мною (это дéсимы) посвящена проблемам, непосредственно связанным с борьбой за наш суверенитет, за национальное освобождение. К сожалению, далеко не все панамские литераторы отдают себе отчет в том, что мир находится на краю ужасной пропасти — я имею в виду ядерный взрыв, который может произойти из-за случайной ошибки какого-нибудь компьютера. Нас возмущают прежде всего пушки империалистов, угрожающие нашему национальному освобождению или тем народам, которые, подобно никарагуанскому, революционным путем берут власть в свои руки.

Военное присутствие США на нашей земле весьма опасно, ибо отсюда американская военно-стратегическая политика распространяется на весь континент — таким образом мы становимся плацдармом империалистических репрессалий. Вот почему мы выдвигаем лозунг: «Канал — для мира, а не для войны!»

3. В настоящее время работаю в нескольких направлениях. Во-первых, пишу о Торрихосе, о его деятельности и значении на фоне борьбы наших народов за национальное освобождение; во-вторых, редактирую роман, написанный в 1981 году (в Москве и Ессентуках), «Здесь никого не убивали», а еще — книгу рассказов для детей «Удачи и неудачи попугайчика». Мои ближайшие планы? Подготовить к печати книгу, включающую произведения разных лет: десимы, рассказы, краткие эссе; завершить сборник стихов о нашем времени, суть которого — борьба народов за мир и национальное освобождение.

КАРЛОС Ф. ЧАНГМАРИН (Панама)
Май, 1987 г.

ВИТАЛИЙ КОРОТИЧ

Общая жизнь. Общая ответственность. Общая надежда

Положение в мире в последние годы, а вернее в самое последнее время заставляет нас глубоко задуматься о том, что же мы должны сделать, чтобы это время и эти годы не стали для человечества последними?

Ощущение не только тревоги, но даже безнадежности стало массовым, оно поражает на Западе души и самых стойких, оптимистичных интеллигентов. Не так давно я был в США и там на каждом шагу слышал тот же вопрос: «Выживем ли?» Алекс Хейли, один из самых известных сегодня американских писателей, автор романа «Корни», строит дома в штате Теннесси: «Пусть друзья приезжают сюда со всего света, пусть живут в моих домах. Мы должны видеться, пока не превратились в радиоактивный прах...»

Впервые за свою историю — и это уже повсюду признают средства массовой информации — человечество оказалось в состоянии уничтожить само себя, причем трагедия может начаться с казалось бы незначительной небрежности.

Как же нам всем вместе выжить?

Именно об этом шла речь на состоявшемся в Москве в феврале этого года международном форуме, на который съехались со всех уголков земного шара известнейшие деятели науки и культуры. Об этом размышляют участники организованного по инициативе Чингиза Айтматова международного Иссык-Кульского форума. Об этом пишут с наибольшей тревогой и настойчивостью и участники еще одного международного «форума» — анкеты, проведенной двумя советскими журналами — «Иностранная литература» и «Советская литература» (на иностранных языках).

Литературные журналы, конечно, в первую очередь интересовали вопросы писательского творчества, и материал в связи с этим собран анкетой богатый — каждый может убедиться, прочтя ее «насквозь». Я же обратил внимание на другое выявленное анкетой обстоятельство, на то, что в нынешних условиях как никогда прежде целеустремленно происходит консолидация сил писателей в борьбе за мир. Эту идею и символизирует удачно предпосланный публикации эпиграф-рисунок Пабло Пикассо, сделанный им специально для журнала «Иностранная литература». Видимо, именно так выдающийся художник XX столетия видел роль и задачу журнала.

Мы с трудом, зачастую на ощупь, отыскиваем пути друг к другу. Мы устали от ненависти, от переполнивших планетный эфир призывов к убийству и войне, столь безответственно исторгаемых иными политиками, а подчас даже деятелями искусств. Как написал в ответе на анкету известный португальский прозаик Фернандо Намора, «зловещий клич «Да здравствует смерть!» и поныне раздается... на нашей многострадальной земле...». Вот почему, видимо, почти все участники анкеты начинают свои ответы с разговора о мире, о том, что можем и должны мы сделать для мира. Все «империи зла», «лица ненависти», «образы противника» давно уже доказали свою реакционность, ибо направлены на непримиримое разделение народов, на то, чтобы оставить людям лишь поле битвы как место для выяснения отношений.

Так жить нельзя.

«Определяющая черта нашего времени — планетарность». С этой мыслью другого португальского писателя, Вержилио Феррейры, нельзя не согласиться. И, именно исходя из этой мысли, мы должны

признать: сегодня всем нам необходимо новое мышление. А новое мышление требует немалого мужества — мужества в принятии решений и в действиях.

Дело в том, что для тех, кто мыслит категориями войны, созданы целые институты, огромные штабы, прекрасные научно-исследовательские заведения, на нужды военных расходуются миллиардные бюджеты. И нужна смелость для избавления человечества от всех этих дорогостоящих и прочно укоренившихся атрибутов приготовления к войне.

Известный французский прозаик, в годы второй мировой войны участник движения Сопротивления, Бернар Клавель убежден, что, если в западных странах не захотят принять на себя риск и экономические убытки, к которым неминуемо приведет на первых порах прекращение производства военной техники и сбыта оружия, человечество обречено.

1986 год был объявлен Организацией Объединенных Наций Годом мира. Но что происходило в том году? Гонка вооружений еще более возросла, стала фактором еще большей разобщенности человеческого сообщества. Во многих регионах правительства и военные еще меньше были склонны внимать голосу прогрессивных деятелей культуры. А ведь сегодня, может быть, впервые так важно, чтобы те, кто отвечают за принятие решений, связанных с нашей жизнью и смертью, со всей серьезностью прислушались к мировому общественному мнению. Взгляните, с какой настойчивостью повторяют все писатели — участники анкеты: проблема номер один — ядерное разоружение. Но мы все никак не можем договориться о повсеместном запрещении ядерного оружия — самого страшного и разрушительного, какое когда-либо создавал человеческий разум. И опасность, связанная с ним, постоянно гнетет нас, сковывая и порабощая сознание. Ведь ядерная ракета, еще не взлетев, начинает убивать, поражая души людей страшным чувством обреченности.

Некий американский генерал во время войны во Вьетнаме пригрозил этой стране, что американские бомбы превратят ее в страну каменного века. Вьетнам страной каменного века не стал. Но в самих Соединенных Штатах есть немало людей с мышлением на уровне каменного века. Есть они, к сожалению, и в других странах Запада. И это их имеет, очевидно, в виду Бернар Клавель, когда пишет: «Я восхищен мужеством Михаила Горбачева. Если ему удастся довести начатое дело до конца, он останется в памяти людей как один из величайших политических деятелей всех времен. И мне стыдно за тех, кто отказывается пожать его протянутую руку, утверждая, будто в другой он прячет нож».

В речи Михаила Сергеевича Горбачева на обеде, который он давал в честь гостившей в Советском Союзе Маргарет Тэтчер, премьер-министра Великобритании, прозвучал тезис: пусть никому не покажутся признаком слабости наши мирные предложения и наша настойчивость в проведении их в жизнь. Мы просто боремся за мир, за мир для всех, понимая, что не может быть мира, отдельного для Америки и отдельного для Советского Союза, не может быть мира, в котором выживет одна сторона и погибнут все другие. Или мы выживем все, или все погибнем.

Советские мирные инициативы, а также огромная революционная перестройка, происходящая во всех сферах внутренней жизни нашей страны, как видно из ответов писателей, интересуют многих. И с ними они связывают надежды на успешное развитие международных отношений в будущем. Эту мысль высказывает, например, английская романистка Айрис Мердок, коста-риканский писатель Хоакин Гутьеррес, Луиш Франсишку Ребелу, драматург из Португалии, многие писатели социалистических стран, другие участники анкеты. Индийский писатель Бхишам Сахни, американские драматурги Джером Лоуренс и Роберт Ли поддерживают идею Иссык-Кульского форума, идею свободного обмена мнениями между деятелями культуры и науки. Причем все это люди самых разных политических убеждений, вероятно, различных религиозных взглядов, философских воззрений, но в понимании того, что, «если не будет мира, не будет и мира», как выразилась австралийка Дороти Грин, они едины.

Разговор о совместных путях к миру и должен вестись людьми разных политических воззрений на всех наречиях человечества, на всех широтах. Процесс борьбы за мир повседневен, и в нем недопустимо забалтывание. Мы должны быть ответственны и неутомимы, чтобы жить вместе, а не погибнуть в одночасье ядерного апокалипсиса.

Думаю, акции, подобные нынешней анкете, важны для собирания сил. Писатели не только высказываются сами, они видят, как много у них единомышленников повсюду: от Филиппин и Австралии до Африки и Соединенных Штатов — география анкеты весьма внушительна.

Вот так и человечество должно все больше осознавать себя единым целым, чтобы выжить на Земле, чтобы решить многие другие глобальные проблемы, перед ним стоящие.

«У меня четверо внуков,— сообщает известный писатель из Чехословакии Иван Скала,— которые ходят в школу, едят пять раз в день, и слово «голод» известно им только из сказок. Но в разных частях земли у меня миллионы внуков, которых чувство голода не покидает, которые никогда в своей жизни не наедались досыта. Им неизвестна и благодатная сила грамоты, основы всей человеческой культуры». Да, в мире сегодня около миллиарда неграмотных, каждую минуту умирают от голода и болезней тысячи людей, но иные ученые и руководящие деятели ряда стран все высчитывают, какое количество ракет необходимо для уничтожения одной страны с территории другой. А ведь — обратимся еще раз к письму Бернара Клавеля — «...на деньги, затраченные на производство современной бомбы или строительство военного корабля, можно накормить миллионы несчастных...» Стало быть, и эти важней-

шие социальные проблемы зависят от мира и разоружения.

Почти каждый писатель, откликнувшийся на анкету, сразу вслед за ядерным разоружением называет проблему загрязнения окружающей среды. «Мы стоим... перед лицом огромной опасности, которая способна оказаться для человечества роковой: нарушение равновесия в природе, наличие ядовитых химикатов в пище, почве, воде и воздухе»,— так формулирует ее финский писатель Вейо Мери. Но и это не все.

«Серьезнейшие проблемы — нетерпимость по отношению к малоразвитым, бедным и малым нациям, политическое, экономическое и идеологическое угнетение, рост бездуховности, расовый, религиозный и национальный фанатизм, СПИД, применение пыток...» (Вейо Мери.)

«Меня тревожит несправедливость и общественное устройство, которое делает возможным и даже способствует процветанию этого зла у нас в стране... Я говорю о таком положении вещей, когда много людей голодает, в то время как горстка других жиреет от обилия яств и богатства». (Франсиско Сионил Хосе, Филиппины.)

«Не скрою, кроме глобальной проблемы перенаселенности планеты меня волнует и такой вопрос: в некоторых высоко- и среднеразвитых странах, в том числе и у меня на родине, напротив, наблюдается уменьшение численности населения». (Габор Гараи, Венгрия.)

И это тоже далеко не все проблемы, тревожащие писателей. Но решение каждой из них все равно зависит сегодня от главного — будет ли мир на Земле, будет ли сама Земля, будут ли на ней люди.

Так что же могут сделать писатели, деятели культуры для мира, для людей?

Знакомясь с этой анкетой, я все время думал о том, какая мы могучая сила, и еще я думал о том, как мы все еще не умеем пользоваться своим могуществом.

Мне кажется, что современная культура еще не выполнила до конца свой долг — оберегать извечные человеческие ценности, будить чувство ответственности каждого перед всеми. Это было в высшей степени характерно для творчества классиков мировой литературы и искусства. Вот почему мы обязаны — пока не поздно — объединиться и вместе искать новую истину вне зоны ядерных взрывов и военных приготовлений. Человечество сегодня сдает главный исторический экзамен, деятели культуры не имеют права в столь ответственный момент стоять в стороне в позе безучастных наблюдателей.

Советские писатели в анкете не участвовали, но я рискну сказать: мы повседневно стремимся к тому, чтобы вообще изъять войну как способ решения международных конфликтов и противоречий из сферы жизнедеятельности человека. И второе: в нашей борьбе за мир мы хотели бы не начинать все сначала, а продолжать и развивать усилия, которые уже предприняты и предпринимаются.

Почти полтора года продолжался советский мораторий на ядерные испытания, который был саботирован Соединенными Штатами, а потому не мог продолжаться бесконечно. В проведении его мы были честны и последовательны. Мы честны и последовательны и в другом моратории, проводимом нами, советскими деятелями литературы и искусства, и продолжающемся несмотря ни на что,— моратории на ненависть к другим странам и народам.

К сожалению, пропаганда ненависти в литературе и искусстве ряда западных стран шла в недавние годы с нарастающей силой, воспитывая отношение к СССР как к врагу, как к «империи зла». Это не что иное, как покушение на убийство души.

Но в самое последнее время я все чаще встречаюсь с деятелями культуры капиталистических стран, активно не приемлющими пропаганду ненависти, противостоящими ей. Нынешняя журнальная анкета тоже свидетельствует, что сторонников разрядки и мира, творцов духовной атмосферы нового мышления становится больше и больше.

У человечества было много возможностей извлечь уроки из своей истории, из прошлого. Европа до сих пор покрыта остатками оборонительных сооружений, зáмков, крепостных стен. И, проезжая мимо них, я всякий раз думаю, что, в сущности, они никогда никого не спасали. Даже более поздние и более совершенные, как, например, линии Маннергейма или Мажино... Даже будучи поднятыми в космос, они не спасут никого. Я думаю, что спасение не в них, а в новом, ответственном и честном мышлении.

Убежден, что если человечеству когда-нибудь будет суждено погибнуть, то это может произойти прежде всего от безответственности — от безответственности политиков, военных, деятелей культуры. Это, пожалуй, главное, о чем следует говорить сегодня, это главное, что я вынес из знакомства с анкетой «Слово, язык, общение».

Время требует, чтобы и в малом и в великом каждый из нас посвятил себя служению делу мира. Сегодня нет идеи, нет миссии более благородной и высокой.

Мы много размышляем о будущем. Помочь во что бы то ни стало спасти его — в этом, думаю, наш святой долг и обязанность.

◆

АШОК ВАДЖПЕЙИ:

«Поэзия в роли оппонента»

Бхопал — особенный город в Индии. Особенный не только потому, что это столица самого большого штата в стране (Мадхья-Прадеш), в котором проживает самое большое количество племен и народностей, не только потому, что в Бхопале самая большая мечеть и самое большое в Индии озеро — его вырыли еще в XI веке по повелению могущественного раджи Бхо, не только потому, что в окрестностях Бхопала — в Санчи — самый большой, прекрасно сохранившийся, всемирно известный буддийский храм.

О Бхопале несколько лет назад заговорил весь мир, потому что здесь произошла трагедия, которую в Индии сравнивают с трагедией Хиросимы — она унесла 2500 человеческих жизней. В декабре 1984 года в результате аварии на заводе американского концерна «Юнион карбайд» из-за преступной халатности администрации в атмосферу вырвался смертоносный газ. «Мы побежали — нас было 150 тысяч,— глаза нестерпимо жгло, мы задыхались, нас рвало, мы побежали, бросив все, бросив даже наших детей»,— вспоминал один из тех, кто пережил эту катастрофу. О бхопальской трагедии и сейчас напоминают выступления газет, полотна крупнейших художников (М. Ф. Хусейна, К. Хеббара и других), памятник погибшим, воздвигнутый в центре города, и конечно, о ней не могут забыть жители Бхопала. Мне довелось видеть большую группу закутанных в сари женщин — жертв катастрофы, сидевших у шоссе и ожидавших министра здравоохранения штата,— он должен был проехать по этой дороге, и пострадавшие надеялись добиться увеличения пособия.

Бхопал известен своей давней приверженностью искусствам. Историки утверждают, что в XIV веке это был город художников и музыкантов, город замечательных архитектурных памятников, в нем нередко устраивались мушаиры — состязания поэтов.

Поэзия, искусства и сейчас в почете у его жителей. Литературной академией штата издается несколько литературно-художественных журналов, имеющих широкое распространение в «поясе хинди», один из них целиком посвящен поэзии. Издаются журналы и книги на урду.

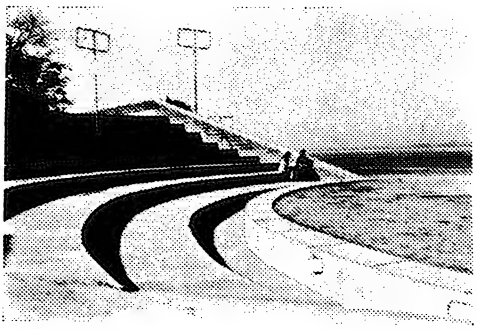
В Бхопале успешно работает центр изучения русского языка. Его основала и уже много лет с любовью и энтузиазмом руководит им неутомимая Вайдья Шакунтала. Здесь тоже проводятся своего рода мушаиры — состязания школьников на лучшее знание литературы и культуры нашей страны. Награда победителю — двухнедельная поездка в Советский Союз.

Но может быть, главная достопримечательность сегодняшнего Бхопала — Всеиндийский центр искусств, торжественно открытый премьер-министром Индии Индирой Ганди 13 февраля 1982 года. Называется он «Бхарат Бхаван», что значит Дом Индии — Дом, где представлено индийское изобразительное искусство, театр, литература, музыка, где широко экспонируется народное творчество племен, проживающих в штате Мадхья-Прадеш. «Все, что создано талантливого в городах, деревнях, джунглях, собирается здесь»,— сказано в проспекте.

«Бхарат Бхаван» — одно из достижений современной индийской архитектуры. Он построен по проекту выдающегося индийского архитектора, ученика Корбюзье — Чарльза Корреа. Это комплекс зданий и террас, больших и малых, каскадом спускающихся к озеру. «Бхарат Бхаван» прекрасно вписывается в ландшафт.

На верхней террасе, залитой ярким, горячим солнцем (конец февраля в Индии — это наш июнь), меня и встретил хозяин дома искусств, Генеральный директор Центра Ашок Ваджпейи, у которого мне предстояло взять интервью.

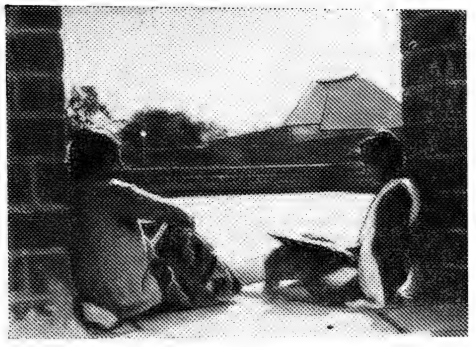
Гостеприимные хозяева провели по выставочным залам, показали библиотеку, мастерские — гончарную и резчиков по камню. После осмотра каждой экспозиции мы непременно попадали — в соответствии с замыслом архитектора — либо на открытую террасу с видом на холмы или на озеро, либо на зеленую лужайку, либо в маленький дворик, засаженный цветами. Чарльз Корреа считает, что посетитель музея, даже самый прилежный, быстро утомляется от обилия объектов, начинает испытывать нечто вроде «музейного шока», его глаза нуждаются в отдыхе, ему нужно время, чтоб



бы несколько минут, чтобы переключиться, пережить полученную информацию. После осмотра комплекса Ашок Ваджпейи приглашает меня для беседы в прохладную крытую галерею с видом на озеро.

Ашок Ваджпейи не только Генеральный директор Центра искусств и один из руково-

дителей Министерства культуры штата Мадхья-Прадеш, он еще известный поэт и критик, главный редактор журнала «Пурваграх», посвященного вопросам литературы и искусства, участник многих международных писательских встреч и форумов писателей Азии. А. Ваджпейи — один из представителей «новой поэзии» хинди, литературного движения, громко заявившего о себе в 60-е



На снимках: Всеиндийский центр искусств в Бхопале.

годы. Журнал «Иностранная литература» не раз обращался к творчеству «новых поэтов», таких как Агьейя, Шрикант Варма, Сарвешвар Даял Саксена, Рагхувир Сахай, Кайлаш Ваджпейи. Ашок Ваджпейи значительно моложе своих собратьев по цеху (он родился в 1941 году), но на родине его знают не только как «нового поэта», но и как теоретика этого движения. Он охотно согласился рассказать читателям нашего журнала о «новой поэзии», ответить и на другие наши вопросы.

* * *

— Один из индийских критиков утверждал, что индийская литература — это пантеон многих богов, причем у этих богов много лиц и много рук. Попали ли в пантеон индийской литературы, действительно такой многоликой, представители «новой поэзии»? Как она зародилась? В чем ее характерные черты и в чем особенности сегодняшнего ее этапа?

— Новое зарождается повсюду, будь то поэзия или любая другая сфера человеческой деятельности, тогда, когда старое уже не в состоянии вместить меняющуюся действительность, справиться с динамикой человеческого развития. В 50-е годы, вскоре после того, как Индия обрела независимость, поэты хинди почувствовали, что их больше не удовлетворяет ни утонченность романтической поэзии, ни риторичность постромантизма. Поэты-новаторы стремились освободиться от исчерпавших себя поэтических условностей и штампов, искали новый язык, новые поэтические средства, чтобы выразить свои переживания, свою причастность к судьбам страны, ее людей. «Новая поэзия» родилась как ответ на новые чаяния и устремления. Революция, начатая «новой поэзией», низвергнувшей гиранию градиционных канонов,— непрекращающаяся революция.

Для «новой поэзии» характерно ошеломляющее многообразие стилей и направлений. Поэзия, взращенная самой землей, эпосом, градициями, соседствует с поэзией отвлеченной, умозрительной, витающей в поднебесье. Поэзия элитарная, утонченная — с поэзией грубоватой, простодушной. Поэзия, призывающая к миролюбию,— с поэзией воинствующей, протестующей. Лирическая поэзия — с поэзией эпического размаха. Поэзия, избравшая своей темой нелегкий труд простого человека,— с поэзией чувственной, эротической, воспевающей страсть и любовь. Поэзия, в которой органично сосуществуют человек и природа,— с поэзией, выявляющей зло в человеке и окружающей его среде. «Новая поэзия» создала новый мир — сложный, многослойный, всеобъемлющий, утверждающий гуманистические идеалы. «Новые поэты», на мой взгляд, вдохновенно и честно работают на то, чтобы не обеднел пантеон индийской литературы.

— Как уживается в «новой поэзии» прошлое и современное, индийское и планетарное? Как относится «новая поэзия» к старой поэтике с ее традицион-

ными художественно-изобразительными средствами? И как вы относитесь к критике «новой поэзии»?

— В индийской культуре, материальной и духовной, прошлое не является достоянием истории, оно живет одновременно с настоящим. Прошлое как бы никогда не исчезало. Оно присутствует в сегодняшнем дне. И хотя на начальном этапе казалось, что «новая поэзия» взбунтовалась против старого, «новые поэты» вскоре осознали, что прошлое, воплощенное в традиции, вечно и что, отказавшись от животворного наследия, поэзия обескровит себя. Поэты начали поиск, заново открывая прошлое, открывая историю страны и эпос, по-новому осмысливая его.

В мире, уменьшающемся с каждым днем благодаря совершенствованию средств коммуникации, развитию техники и межконтинентальных перелетов, представитель «новой поэзии» острее осознал свою национальную самобытность. Особый, индийский, взгляд на человека, его место во Вселенной, на судьбу, предопределенную всей историей, культурой, философскими традициями, все чаще находит отражение в поэзии. Поэзия — память народа. Какова бы ни была ее форма, содержание поэзии — отголоски происшедшего и сказанного до нас. «Новая поэзия» в этом смысле не исключение. Традиционные художественно-изобразительные средства были использованы по-новому для выражения нового смысла. Так, например, у Агьейи, Шамшера Бахадура Синха, Кунвара Нараяна, Рагхубира Сахая в привычные, лирические мотивы привносится новое содержание, на смену традиционному простодушию приходит мучительное чувство едкой иронии. Агьейя обращается к истории буддизма, и это помогает ему исследовать законы борьбы личности с самой собой. Муктибодх использует мотивы, навеянные средневековой историей, преданиями и легендами, изображая бессилие человеческого разума в мире, сотрясаемом социальными катаклизмами. Образы и метафоры Шриканта Вармы, обратившегося к временам буддистских княжеств, передают его отношение к проблемам власти.

Критика выдвигает против «новой поэзии» три основных «обвинения». Первое — подражательство европейской поэзии. Второе — туманность и малопонятность. И наконец, третье — элитарность, оторванность от народа. Что касается подражательства, то присутствие Запада в жизни Индии постоянно усиливается, это нельзя сбросить со счетов ни как фактор нашей истории, ни как фактор современной реальности. «Новая поэзия» действительно подверглась западному влиянию, но ее лучшие представители стремятся осмыслить этот процесс и направить его в нужное русло, противостоят западному влиянию, обращаясь к корням собственной культуры. Случалось, конечно, что «новые поэты» писали стихи неясные, туманные, но такие стихи писались во все времена и быстро забывались. Что же до третьего обвинения — в элитарности,— то поэзия, которая «выражает чувства большинства» или черпает вдохновение в народной среде, не обязательно должна быть упрощенной. Упрощенчество в литературе всегда подозрительно. Муктибодх, например, чрезвычайно сложный и трудный поэт, а ведь он был подлинным «разведчиком душ» в наше время. Его поэзия не просто исследовала человека, она дарила ему чувство достоинства. Я бы сказал, что «новая поэзия» связана с жизнью народа самыми разными нитями, для нее народ не абстракция. «Новая поэзия» стремится заставить читателя по-новому увидеть окружающий мир. Она против всяческих упрощений — народа, мира, личности.

— Есть ли у «новой поэзии» контакт с широким читателем? Справедливы ли мнения, высказанные поэтами, вашими соотечественниками, что «цель «новой поэзии» — не коммуникация, а самовыражение» (Хариваншрай Баччан) и что «новое поколение, которое выросло в стране,— двуязычно неграмотное» (Агьейя)?

— Безусловно, «новая поэзия» расширила круг читателей, она привлекает все больше людей, ищущих в поэзии не только наслаждения, но и глубокого проникновения в жизнь, в окружающий мир. Стали лучше расходиться поэтические сборники, поэтические вечера собирают большие аудитории. Но поэзия не может быть так же популярна, как популярны модные песенки из кинофильмов. «Новая поэзия» решительно отказывается потакать вульгарности, а потому нередко читатель с потребительским, обывательским вкусом выступает как ее противник. Бывает, что поэзия в роли оппонента приносит обществу больше пользы. Именно такую роль играет «новая поэзия».

Я бы сказал, что в «новой поэзии» звучат как голоса, ищущие самовыражения, так и голоса, стремящиеся найти общий язык. Они одинаково сильны и не взаимоисключают друг друга. Вероятно, ни один поэт в процессе творчества не преследует сознательно ни ту, ни другую цель. Талант, постигший искусство самовыражения, в конечном счете получает отклик, художник, общающийся с читателем, так или иначе самовыражается. Коммуникация есть следствие почти неизбежное, поскольку она заложена в самой природе слова.

У нас давно уже говорят о падении культуры в Индии. Утверждают, что двуязычие привело к тому, что молодое поколение не владеет толком ни одним языком. Образование, вместо того чтобы предотвратить падение культуры, способствует этому падению. Новая политика в области образования стремится внести необходимые коррективы.

— Известный индийский поэт и критик Виджаядев Нараян Сахи писал, что «новые поэты» выразили в своем творчестве ответственность за судьбу «маленького человека», оказавшегося в Индии жертвой своеобразного диахронизма — одновременного существования как бы в разных исторических и временных плоскостях. Вы согласны с этим наблюдением?

— Было бы несправедливо утверждать, что поэты чхаявада, символико-романтического направления поэзии хинди (начало XX века), были безучастны к судьбе индийца, «маленького человека». Наоборот, эта тема — центральная в их творчестве. Однако «новая поэзия» исследует ее с большей целенаправленностью, в более явственно ощущаемом социальном контексте. Голос простого человека звучит в литературе отчетливо, его оттенки не нивелируются. Мир, который создает «новая поэзия», не оторван от мира повседневной житейской суеты. Он населен персонажами из обычной жизни.

Да, в Индии действительно сосуществуют, взаимодействуют, сталкиваются различные временные и исторические плоскости. Традиционная концепция цикличности времени, времени без начала и конца, сталкивается с концепцией исторического времени. Это столкновение порождает новые проблемы и новые открытия. «Новая поэзия» или, по крайней мере, какая-то ее часть, исследует этот круг вопросов.

— В 1973 году в алма-атинском издательстве «Жазушы» вышел сборник стихов индийских поэтов «Время открытий» под редакцией Олжаса Сулейменова. Из ваших стихов, опубликованных в этом сборнике, мне особенно запомнилось стихотворение «Отсутствие». Как оно написалось? Расскажите о других ваших стихах, о себе.

— «Отсутствие» — раннее мое стихотворение, оно было написано двадцать пять лет назад, когда я был совсем еще молод. В нем я пытался выразить то, что меня так сильно волновало в те годы,— утрату, отсутствие Бога, ведь я был родом из провинциальной набожной семьи весьма скромного достатка. В таком огромном космополитичном городе, как Дели, где я в то время учился и написал это стихотворение, я мучительно переживал отсутствие Бога. Лихорадочная урбанизация стирала или по крайней мере оттесняла прошлое, старое. В каком-то смысле это стихотворение — крик отчаяния. Поэзия для меня была единственной надеждой. и в то же время меня не покидало трагическое ощущение, что она перестала быть силой, способной изменить условия человеческого существования. хотя должна к этому стремиться. Возможно, в обреченности ее усилий как раз и скрыто ее величие.

Я никогда не любил говорить о своих стихах. Поэт не должен говорить о поэзии, она должна сама говорить за себя. Меня мучают извечные вопросы человеческого бытия, духовной жизни, но быть рупором чьих-то идей, чьих-то чувств я не хочу. Поэзия делает мою жизнь полнее, позволяет мне открыть себя, познать окружающий мир Перед лицом всего отвратительного, перед лицом страданий и лишений она помогает выстоять, сохранить мечту. Мое слово — моя любовь, моя смелость, мое бессмертие и моя смерть.

— Специалисты утверждают, что воспевание женщины (матери, жены, возлюбленной) как постоянного источника тепла и равновесия, надежности бытия — одна из центральных тем «новой поэзии». Есть у вас такие стихи? Не хотели бы вы познакомить с ними читателей «Иностранной литературы»?

— Человеческие взаимоотношения действительно находятся в центре внимания «новой поэзии», но я не думаю, что здесь уместно было бы говорить о воспевании. Я бы сказал: «новая поэзия» исследует взаимоотношения между людьми, столкновения человека с реальностью. В мире, где традиционная система ценностей дала трещину, а новый порядок еще не утвердился, творческая личность не может позволить себе отгородиться от внешнего мира религиозными верованиями или идеологическими доктринами. Она черпает уверенность и вдохновение в реальных человеческих взаимоотношениях, помогающих ей в поисках истины.

Я посвятил много стихов моей матери. В последней книге, вышедшей в декабре 1986 года, опубликовал цикл стихов о дочери. Я всегда писал много любовной лирики. Иногда мне кажется, что я последний лирический поэт. И не то чтобы молодые поэты перестали влюбляться, но они как-то стесняются писать об этом. Вот два моих стихотворения о любви:

МОИ СЛОВА ЕДВА КОСНУЛИСЬ ТЕБЯ

Мои слова едва коснулись тебя
словно ветер
словно солнечный свет

Усохли их клейкие почки
не слышен их нежный запах
не раскрылись слова
на дереве
которое — ты

ОНА НЕ ГОВОРИТ

Она сказала
что у нее маленькое сердце

Так лучи солнца говорят
что у них есть немного света

Так говорит огонь
что у него есть немного тепла

Лучи солнца не говорят что у них есть космос
огонь не говорит что у него есть пламя
она не говорит что у нее молодое тело [1]

Мои стихи всегда связаны с конкретными людьми и событиями. Запомнившееся лицо, эпизод, переполняющее меня чувство и т. п. Моя поэзия — мой ответ миру, такому, каким я открываю его для себя, познавая людей, их взаимоотношения, события. Одни стихи — дань, другие — поиск. Третьи — прославление. В стихах я исследую и прославляю человека.

— Известный американский поэт-битник Аллен Гинсберг несколько лет провел в Индии в 60-е годы он организовал в Джамшедпуре нечто вроде литературного семинара. Один из патриархов «новой поэзии», Шамшер Бахадур Синх опубликовал цикл стихов, посвященных Гинсбергу. Как вы считаете, можно ли говорить о влиянии битников на «новую поэзию» Индии? Есть ли между ними что-то сближающее, роднящее? Или — Запад есть Запад, Восток есть Восток?

[1] Здесь и далее стихи даны в переводах А. Сенкевича, выполненных специально для этой статьи.

— Действительно, американский поэт-битник Аллен Гинсберг жил какое-то время в Индии, и определенная часть «новой поэзии», а именно «антипоэзия» на хинди, «голодное поколение» на бенгальском, поэты «дигембара» («одетые пространством», «голые»), пишущие на языке телугу, испытывали влияние битников. Это воздействие сначала казалось нам весьма сильным, но вскоре оно сошло на нет. Битники изобличали «обнаженную, безумную» реальность капиталистического мира, и их смелость, нетерпение, живая боль пробуждали в нас ответное чувство. Молодому поколению индийцев, как и западной молодежи, были присущи такие черты, как открытость, мужество перед лицом жестокой реальности, тревога за судьбу нового поколения, было и коренное различие между поэзией битников и индийской поэзией. Бунтарство в богатеющем, потребительском обществе и бунтарство в обществе в недавнем прошлом колониальном, которое переживает бурный рост и развитие,— не одно и то же. Это различие, естественно, вскоре стало очевидным, и западное влияние пошло на убыль.

В 60-е годы я был яростным противником битников и их поэзии. Мне были ненавистны ее крайности: чрезмерная драматизация и патологическая эгоцентричность. Мне претила их ненависть и жестокость, проявляемая к женщине, лишающая человека человечности. Много лет спустя я встречался с Гинсбергом. Он оказался душевным человеком и, конечно, прекрасным поэтом.

— Интересуются ли «новые поэты» советской поэзией? Переводят ли ее?

— «Новые поэты» испытывают глубокий интерес к поэзии различных стран мира, в том числе Восточной Европы и Советского Союза. Помимо Блока, Маяковского, Мандельштама, Пастернака, Цветаевой и других, появление таких поэтов, как Евтушенко и Вознесенский, привнесло в поэзию новые веяния, новую свободу, и потому было столь желанным. Меня привлекала сложная поэтика Вознесенского. Я первым напечатал сборник его стихов, переведенных на хинди Шрикантом Вармой. Затем были переведены стихи Анны Ахматовой, многих современных поэтов: Беллы Ахмадулиной, Юстинаса Марцинкявичюса, Расула Гамзатова; большинство стихов было опубликовано в литературных журналах, некоторые вышли отдельными книгами. Переводили их как старшие, так и молодые поэты.

— Что собой представляет «новый театр», «новое альтернативное» кино? Они выросли из «новой поэзии»? Не вытесняют ли визуальные средства информации книгу?

— Было бы неверно говорить, что «новый театр» в Индии вырос из «новой поэзии». Но его появлению, безусловно, способствовали те же факторы, что и появлению «новой поэзии». «Новый театр» уходит корнями в вековые традиции национального исполнительского искусства, фольклорного и классического. Это театр, освободившийся от тирании натурализма и реализма. Он символичен, он говорит «нереалистическим» языком танца и музыки. Возможно, он более поэтичен, возможно, он тяготеет к эпосу. Следует отметить, что в «новом театре» сосуществуют самые разные принципы, самые разные, зачастую диаметрально противоположные тенденции.

Творческое слово сталкивается с новой угрозой, исходящей от аудиовизуальных средств. Несмотря на рост грамотности, к сожалению, отмечается спад интереса к литературе хинди. Люди меньше стали читать. Газеты вместо того, чтобы заинтересовать читателя хорошими книгами, отучают его от них. Письменное слово переживает тяжелое время.

— Скажите, пожалуйста, какие ставились задачи перед Всеиндийским центром искусств, которым вы руководите, и насколько успешно удалось их выполнить?

— Мы хотим сделать две довольно простые вещи: сказать художникам, что они необходимы народу, и сказать людям, по крайней мере тем, кто станет нас слушать, что без искусства нельзя жить. «Бхарат Бхаван» — это выставочные залы, театр с постоянной труппой, центр индийской поэзии и музыкальный центр.

Не так давно под эгидой Центра искусств был организован семинар литературных критиков хинди на тему «Критика и общество». В нем приняли участие почти сорок критиков трех поколений.

В марте 1984 года у нас проходил Международный поэтический фестиваль, в нынешнем году собираемся провести первый в Индии поэтический триенале — смотр, в котором примут участие почти сто поэтов со всей страны. Намечена также встреча писателей и литературоведов с социологами, а затем выставка работ английского скульптора Генри Мура. В 1987—1988 годах мы примем несколько театральных трупп и танцевальных ансамблей из Советского Союза, у нас будут экспонироваться две крупные советские художественные выставки.

В мае 1986 года Центр провел Фестиваль индийской поэзии в семи городах США, на котором было представлено шесть поэтов, пишущих на пяти индийских языках, кроме того, центр координирует программу фестиваля индийской поэзии в Швеции, включающую занятия в семинаре, литературные чтения и поэтические вечера в трех шведских городах. Некоторых успехов мы безусловно достигли, но еще очень многое предстоит сделать.

Натиск средств массовой информации требует от нас непрерывных целенаправленных усилий. Мы стремимся создать образцовый Центр, бросая тем самым вызов серости. И потому постоянно подвергаемся нападкам со стороны посредственностей. Нас нередко пытаются представить как элитарное учреждение, несмотря на то что «Бхаван» ежегодно посещает примерно 13 процентов населения Бхопала. Мы уважаем мнения других людей, даже если они не согласны с нами, но не желаем делать уступки бездарностям, идти на ком-

промиссы за счет качества. Мы радуемся и всячески способствуем развитию самых разных подходов в искусстве, стилей. Наш центр открыт для широкого эксперимента. Не все опыты удаются. И нас спешат объявить формалистами. Находятся люди, утверждающие, что в таком отсталом штате, как наш, искусство — непозволительная роскошь. Мы же убеждены, что искусство — неотъемлемая часть жизни и оно должно развиваться.

Мы знакомим широкую аудиторию со многими замечательными народными мастерами. Профессиональные художники иногда усматривают в этом подрыв своего престижа и не хотят, чтобы их ставили в один ряд с так называемыми умельцами. Мы надеялись, объединив все роды искусств под одной крышей, достичь более глубокого взаимодействия между ними, вывести их из изоляции. К сожалению, за редким исключением нам это не удается. Не все разделяют нашу прекрасную мечту. Но нас утешает то, с какой готовностью и энтузиазмом с нами сотрудничают многие художники, музыканты, танцоры, писатели, народные умельцы со всей Индии. Иногда возникают трения с бюрократической частью нашего истеблишмента. К счастью, эти трудности чаще всего преодолеваются. Мы не унываем: к нам идут люди. И мы по-прежнему не разучились мечтать.

— На афише, расклеенной в городе, объявлено, что сегодня в вашем Центре будут показаны трагедии Еврипида «Ифигения в Авлиде» и «Троянки» в постановке английского режиссера Джона Мартина.

— Да, с Джоном Мартином мы старые друзья. В свои 33 года он исколесил уже полсвета, ставит спектакли во многих странах, пытаясь объединить традиции западного театра с театральным наследием стран Востока. Я вполне разделяю его кредо: «Уважение и понимание между народами, между расами может возникнуть через изучение культур друг друга, через наслаждение культурами друг друга». Сегодня вечером вы сможете познакомиться с Джоном Мартином и посмотреть его спектакль. Я думаю, вы почувствуете, как современно в его постановке звучат «антивоенные» греческие трагедии. Я очень ценю в Мартине-режиссере умение перебросить мостки из древности в современность, из одной культуры — в другую. На сцене «Бхарат Бхавана» труппа играет эти трагедии месяц, а потом повезет их в другие индийские города и деревни.

За годы существования Центра наша труппа поставила уже 20 спектаклей — пьесы Калидасы, Шекспира, Гольдони, Ибсена, Чехова, Сартра, Брехта, Беккета, Прасада, многих современных индийских авторов. Постановщиками выступали известные индийские режиссеры, приезжавшие к нам из Калькутты, Дели, Бангалора, а также прославленные всемирно известные мастера — Питер Брук (Англия), Фриц Бенневиц (ГДР), Энгенио Барба (Дания). Мы хотим освободить театр от многих ограничений, от строгой канонизации, найти какое-то эстетическое равновесие между театром народным и театром экспериментальным. Формально у нас здесь только две сцены, но труппа нашла еще две импровизированные площадки — терраса перед главным входом и открытая веранда. Горы, парк, озеро, предзакатное или звездное небо служат у нас прекрасным естественным задником.

— Традиционные ценности индийской культуры. Какие из них вы считаете сейчас наиболее важными?

— Мне кажется, наболее важная традиционная особенность индийской культуры, та ценность, которую Индия может предложить миру — почитание всего живого и Вселенной. Сегодня, когда человечеству, окружающей среде, нравственным ценностям угрожают силы приведенные в действие самим человеком, единственный выход видится в восстановлении уважения и достоинства всего живого, будь то человек или природа. Во-вторых, мне кажется, стоит возродить веру в человека, в истину, даже если разные люди вкладывают в это понятие разное содержание. Ради истины наши древние предки посмели бросить вызов своему гуру, даже Богу. И еще чувство единения людей и природы в мире, который, похоже, упорно стремится сделать нас всех одинаковыми и одинокими, могло бы помочь возродить нашу человечность, богатство индивидуальностей. И наконец, следует подумать о возврате от преобладающего в последнее время безудержного потребительства со всей его вульгарностью к простой, скромной жизни.

— Ваше стихотворение «Однажды дети» — тоже о почитании всего живого и Вселенной. Мне бы хотелось закончить им наше интервью.

— Я буду очень рад, если это стихотворение прочтут теперь и советские читатели.

ОДНАЖДЫ ДЕТИ

Однажды дети
выйдут
ни у кого не спросившись
в открытый космос
а потом принесут в горстях
плоды с небесных дерев
и звезды
как самоцветы.

Однажды дети
спустятся вниз на землю
по старой лунной дорожке
взвалив на плечи
огромное небо
чтобы поиграть с ним немного.

Однажды дети
захватят царство мертвых
освободят их и будут слушать
открыв удивленно глаза
бесконечно долгий
рассказ
о прожитых жизнях.

Однажды дети...

Беседу записала Л. ВАСИЛЬЕВА

◆

Антирубрика

ЭЛИЗАБЕТ ДЖЕЙН ХАУАРД

КАРАЮЩАЯ ДЕСНИЦА

Перевод с английского ИГОРЯ БАГРОВА

— Вы только посмотрите, как непринужденно она держится! — Миссис Шипп повернулась в кресле так, чтобы Главный (так она величала всех кинорежиссеров, с кем ее сводила судьба) смог по достоинству оценить ее лодыжки.— Ведь крошке и в голову не приходит, что она совершенно необыкновенный ребенок!

И оба воззрились на дочку миссис Шипп. та стояла в дальнем углу огромной комнаты и будто бы невзначай, но с немалым проворством грызла ногти. Теду Сильни — так звали режиссера — подумалось, что в этом (впрочем, как и во многом другом) девочка весьма преуспела, несмотря на свой невероятно малый возраст, что особенно выделяла ее мать.

— Роза, детка, подойди. Ну-ка, поздоровайся с мистером Сильни по-французски.

— Бонжур! — И Роза засеменила к мистеру Сильни. Подойдя, она присела в реверансе и повторила: — Бонжур, мсье!

На ней были красные колготки и синяя с вышитым узором, очень тесная блузка больше похожая на платьице для малышей В таком наряде девочке впору было играть роль беременной карлицы. Длинные льняные волосы рассыпались по спине, на ногах красовались дорогие плетеные туфельки с круглыми носами — такие носят самые маленькие. В ушах крохотными золотыми каплями блестели серьги.

— Коман са ва? — пропищала девочка.

О какой непринужденности толкует ее мать, скучно подумал Тед и перевел взгляд на мамашу: сущий цербер. Сколько он перевидел таких. Для рекламных телефильмов ему постоянно требовались дети.

— Она у меня говорит на пяти языках, знает балетные па, прекрасно отбивает чечетку, танцует и современные танцы. Впервые в кино снялась в три года, сейчас ей уже восемь. Естественно, я уделяю много времени ее образованию. А до чего же она фотогенична! Рекламное агентство, безусловно, предоставит вам ее снимки.

Она на минуту смолкла. Тед ломал голову, как избавиться от миссис Шипп и посмотреть, что девочка умеет делать без маминой подсказки. А миссис Шипп тщилась придумать, что бы такое пустить в ход из богатого дочернего арсенала, дабы пробудить интерес у режиссера. Сама Роза стояла заложив руки за спину, с ненавистью уставившись на свои круглоносые «малышовые» туфли А за окном кружились и падали на землю крупные снежинки.

— А вы знаете, Роза однажды играла снежинку в большом фильме-сказке. Роза, помнишь, ты кружилась тогда в чудной серебристой пачке и пела песенку?

Тед посмотрел на девочку, внимавшую матери, и поэтому не заметил, как свирепо и повелительно кивнула мать дочери.

Роза вдруг преобразилась, заулыбалась:

— Конечно же, мамочка, помню! Я же всегда все помню!

Она отошла от режиссера, чтобы тот получше смог рассмотреть ее представление,

© Elizabeth Jane Howard, 1975.

ЭЛИЗАБЕТ ДЖЕЙН ХАУАРД — ELIZABETH JANE HOWARD (род. в 1923 г.)

Английская писательница. Училась в лондонской театральной школе «Театр масок», играла в театрах Девона и Стратфорде-на-Эйвоне. Начала печататься в 1947 г. Автор многих романов, в том числе «Прекрасная встреча» («The Beautiful Visit» 1950, премия Луэллина Райса), «Долгим взглядом» («The Long View», 1956), «Переменчивое море» («The Sea Change», 1959) «Путеводитель для влюбленных» («A Companion for Lovers» 1978).

Рассказ «Карающая десница» взят из сборника «Мистер Бес» («Mr. Wrong». Harmondsworth, Penguin Books, 1979).

и принялась сноровисто отбивать простенькую чечетку, напевая:

Я — снежинка белая,
С неба прилетела я.
Холодно в далекой выси.
Но мне холод не беда,
Прилетела к вам сюда.

Пение прервалось, ритм чечетки усложнился и убыстрился. Вскорости Роза запела снова:

Долгий-долгий путь я одолела,
Прежде чем на землю прилетела.
Всю любовь свою вам принесла.
Может, и у вас душа проснется
И в ней место для меня найдется!

Пока Роза пела и отбивала чечетку, она успевала еще отчаянно размахивать руками, очевидно изображая полет. Представление свое она закончила реверансом, приложив правую руку к груди. Мистер Сильни, вероятно, должен был принять этот жест за выражение сердечной благодарности. На свою беду, Роза так увлеклась танцем, что перекочевала с паркетного пола на очень дорогой и горячо любимый хозяином ковер. Кланяясь, девочка оступилась и шлепнулась, подтолкнув старинный инкрустированный столик, на котором стояли шахматы слоновой кости. Мистер Сильни подумывал выставить их на грядущем аукционе.

Миссис Шипп вскочила на ноги:

— Господи боже мой! Что ты натворила, дитя!

Она рывком подняла дочь, словно крошки, смахнула с платья шахматные фигуры, не прерывая при этом поток извинений:

— Ах, мистер Сильни, она так переживает! Она понимает, что поступила очень дурно, вот увидите, вернется домой — зальется слезами.— И принялась устанавливать поверженный столик, а мистер Сильни с отчаянием утопающего выхватывал у нее из-под ног драгоценные пешки. К счастью, фигуры не пострадали, мистер Сильни принялся расставлять их в прежнем порядке. Тут за рукав его несмело потянула маленькая худая рука.

— Мистер Сильни, п-простите меня, пожалуйста. Честное слово, я нечаянно. Я больше не буду.

Мистер Сильни с изумлением увидел, как у нее по щекам покатились крупнущие слезы, а взгляд выражал ужас и отчаяние. Заметно потускнел и звонкий голос, она даже чуть заикалась, и мистеру Сильни стало ее жаль.

Расставив последние фигуры, он призвал на помощь все свое добродушие и сказал:

— Пустяки, ты же ничего не сломала.— Он еще раз проверил, все ли фигуры на месте, и повернулся к Розе. О, ужас, слезы не унимались, с каждым всхлипом набегала новая волна.

— Успокойся, Роза, все в порядке. Я уже простил тебя.

— П-правда п-простили?

— Ну, разумеется.

Значит, я получу роль?

Мистер Сильни натянуто рассмеялся, увидев краем глаза, как миссис Шипп напряглась, словно тигрица перед прыжком.

— Ну, ты же понимаешь, что пока я не могу сказать ничего определенного. У меня роль для очень маленькой девочки. Мне нужно посмотреть других ребятишек, посоветоваться с продюсером.— Он повернулся к миссис Шипп и увидел, что ответ ее отнюдь не успокоил.— Миссис Шипп, я сообщу о результатах через ваше агентство.— Он вскинул руку, чтобы взглянуть на часы; надо же, сегодня он их не надел. Взгляда, однако, не перевел, дабы миссис Шипп поняла намек. Долго-долго созерцал он свое запястье, но гостья, судя по всему, либо не понимала, либо не хотела понимать, что пора уходить. Однако он ошибся.

— Ну что ж, я думаю, нам пора идти. В такую погоду, да еще вечером, я Розу на улицу не выпускаю, разве что на съемки. Она у меня девочка слабенькая.— И тут же спохватилась: — Нет, она, конечно, крепкая, но детский организм, сами понимаете...

Пока Тед мысленно старался примирить столь противоречивые оценки детского организма, Роза напялила на себя пончо из искусственного меха с капюшоном, а мать натянула перчатки. Тед зажег на лестнице в прихожей свет и с легким сердцем проводил гостей до двери, дав себе зарок никогда больше без надежного помощника не прослушивать маленьких артистов с мамашами.

— Тогда хоть будет с кем на пару ломать комедию,— усмехнулся он и поднялся наверх выпить виски. Сидя со стаканом в руке, задумался: интересно, неужели всем этим вундеркиндам по душе их необычная, но скучная жизнь? Может, и по душе, ведь дети любят внимание...

Выйдя на улицу, миссис Шипп схватила дочь за руку и сердито потащила к автобусной остановке. Роза уже знала: раз мать молчит — значит, копит злобу, лучше бы уж сразу отругала. А теперь жди взбучки! «Вот бы отстала она от меня совсем!» — думала Роза, и приятные мечты заслонили горькие раздумья.

Взбучка началась, когда они с матерью взошли на верх двухэтажного автобуса.

— ...и с каждым днем ты все хуже. Просто не знаю, что из тебя вырастет! Случись тебе сломать у него эти фитюльки, нас бы бог знает куда упекли!

— Но ведь я же плакала, как ты велела. Долго-долго.

— Только благодаря этому и можно еще на что-то рассчитывать.

— Не буду я больше эту глупую чечетку танцевать! И песенка дурацкая! Мне она уже не по возрасту!

— Чтоб я этого не слышала! Тебе восемь лет, и будь любезна, крепко это запомни! А ты, как назло, растешь не по дням, а по часам. Ведь по твоим ролям ты и должна оставаться маленькой. В этом платьице ты еще по-детски пухленькая.

Роза почесала грудь — мать всегда ее слишком туго перетягивала, а в последнее время соски почему-то набухли и все время чесались. И почему мать не отдаст ее в актерскую школу, как других детей. Сама целыми днями муштрует и муштрует.

— Ничего, все равно узнают, сколько мне лет, когда буду экзамены сдавать,— угрюмо буркнула девочка, как маленькая. На мать можно подействовать лишь детским писком.

Миссис Шипп хмыкнула:

— Сколько тебе лет, всем знать не обязательно. В агентстве не скажут, они и сами

не знают, а начнут наводить справки, мы переедем.

— Я есть хочу,— жалобно протянула Роза. И не лукавила: она и впрямь проголодалась, точнее, она всегда была голодна. Мать не давала ей ни хлеба, ни картошки, даже в конфетах и мороженом отказывала. Дома ее ждет холодное печеное яблоко, два ломтика ветчины и крохотный треугольный плавленый сырок. Да еще стакан грейпфрутового сока. Сейчас ей так хотелось есть, будь у нее жевательная резинка, всю бы сжевала и проглотила. Но жвачку она, как всегда, оставила в тайнике: под лестничными перилами у третьего столбика. Место доступное, а разгадать, что там тайник, невозможно. Но жевать при матери все равно нельзя — заметит. Она видела и подмечала все. Говорят, что только бог все видит, но он, опять же по слухам, в отличие от матери, всегда помогает и никогда не ругает.

— ...ведь деньги на дереве не растут,— продолжала тем временем та.

Вот бы бог взял да и понавесил денег на деревья, что ему стоит, ведь говорят, что для него невозможного нет; тогда бы мать была посрамлена, а Роза впредь во всем бы полагалась на господа, и мать ей тогда не указ!

— Роза хочет есть! — пропищала она, изображая совсем кроху.

— Розу накормят, как только мы приедем домой,— голос у матери смягчился, наверное, она вспомнила, что и ее ждет трапеза: три сдобные, поджаренные на масле булочки, приправленные пряностями; огромный кус венского шоколадного пирога из соседней кондитерской и колечко с кремом. Все это она запивала тремя чашками сладкого горячего чая с молоком. Роза всегда садилась за стол против матери, и меню обеих разительно отличалось. Роза довольствовалась белками и витамином С; мать поглощала углеводы, жиры, сахар. Роза знала, насколько вредно все, что ест мать, но, к удивлению, на ее здоровье это не отражалось: она не болела, не теряла силы, лишь росла вширь и прибавляла в весе. Рука у нее тоже становилась все тяжелее. Роза убеждалась в этом, получая подзатыльники, они тоже становились все увесистее.

Роза быстро управилась со своей трапезой, попросила у матери добавки, но та отказала, хотя и не разрешила выйти из-за стола. Роза сидела и смотрела, как мать уписывает колечко с кремом, как облизывает сахар и крем с пальцев. Интересно, где отложатся все излишки сегодняшнего ужина? Беда в том, что мать не жирела, а наливалась упругой силой. И тело у нее не рыхлое и бесформенное, а мускулистое, как у борца.

Покончив с чаем, мать разрешила Розе немного «поиграть» перед занятиями. «Игры» Розы заключались в том, что она либо сидела на полу с куклами, либо листала книжку с картинками. Мать сама выбирала, чем заниматься, иной раз заставляла дочь довольствоваться книжицами для малышей, будто и сама верила, что Роза еще не умеет читать. И Роза уже запуталась. Не поймешь — притворяется мать или и впрямь забыла, сколько дочери лет. Если напомнить — мать лишь озлобится, лучше уж махнуть рукой. Порой у Розы мелькала (правда, не вызывая никаких чувств) мысль: а может, мать сумасшедшая? Она, например, твердила, что Роза должна больше читать по-французски, блажь, да и только: ведь французских книг в доме не сыскать.

Сегодня вечером Розе было наказано смотреть картинки в книге про слона. Роза смотрела эту книгу уже в тысячный раз и, наверное, выучила наизусть. Вдруг во дворе у черного хода кто-то заскребся и заворчал. Матери в комнате не было, и Роза пошла посмотреть

У двери сидел маленький, в черных, бурых и белых пятнах щенок, насколько могла судить Роза — беспородный. Он промок и продрог, но сразу стал выказывать Розе свое расположение. Девочка впустила его, стащила со стола салфетку и вытерла жесткую шерсть. Щенок то и дело лизал ее — язык его по сравнению с ледяным носом просто обжигал. Был он очень худ, карие глаза смотрели по-доброму. Роза так и не успела вытереть его насухо — салфетка напиталась водой. В эту минуту на кухню зашла мать. Она не успела и рта раскрыть, как Роза подлетела к ней, обняла.

— Мамочка, миленькая, ну, пожалуйста, ну, мамусенька, пусть он у нас побудет, ну, хоть одну ночь. Я буду за ним смотреть, кормить, он же голодный-преголодный. Можно, а?

«Лицо девочки исказилось, нет, изменилось до неузнаваемости»,— вспомнила миссис Шипп где-то читанную фразу, а вслух сказала:

— Ну, разве что на одну ночь.— И улыбнулась так широко, что Роза увидела всю вставную челюсть матери (к слову «челюсть» ее приучила мать, заявив, что неприлично говорить «вставные зубы»).

— Можно я его покормлю?

— Если уж очень хочешь...

— А что ему дать?

— Ну, молока, например, потом — в хлебнице остался черствый хлеб. Больше нечего, разве что ветчину, что приготовлена тебе на завтрак

Зазвонил телефон, миссис Шипп с очень деловым видом удалилась Важнее дела в жизни просто не существовало. Она садилась в мягкое, удобное кресло, закуривала сигарету и поднимала трубку. Для телефонных бесед она приберегала особую манеру говорить.

— Слу-у-у-шаю вэ-эс! — начала она.

Роза достала из холодильника молоко, его нужно согреть. Она налила полное блюдце. Щенок смотрел на нее и тихонько поскуливал от радости, он чуял, что ему готовят еду. Хлеб оказался таким черствым, что его пришлось отмачивать под краном теплой водой. Молоко, наверное, уже согрелось, решила она, достала миску, накрошила хлеба и осторожно, чтобы не пролить, налила молоко Миску она поставила около холодильника. Щенок за считанные секунды выхлебал все и принялся облизывать уже пустую миску. Потом поглядел на Розу, вильнул хвостом, подошел, сел рядом, сунул в протянутую руку лапу, чем несказанно обрадовал новую хозяйку.

А в соседней комнате миссис Шипп вещала:

— Вам-то это к чему-у? На вашем месте

я бы не волновалась. Они сами должны знать, кто во всем виноват.

Роза обняла щенка за шею — ошейника у него, конечно, не было — и прижала к себе. Он ответил ей всем своим существом. Роза спросила, сыт ли он, и враз щенок стал смотреть на нее голодными-преголодными глазами.

— Ну что ж, отдам тебе ветчину,— решила Роза, и щенок тут же лизнул ее в щеку раз, другой, третий. Девочка отдала ему оба ломтика, нарезав их на мелкие кусочки, чтобы растянуть щенячье удовольствие. Оказалось, что ветчина ему весьма по вкусу. Поев, он облобызал Розу и, глубоко, прямо театрально вздохнув, лег, свернулся клубочком и уснул.

Миссис Шипп еще долго обсуждала с подругой дела по телефону (у той была дочь — Перл, ей никак не удавалось получить у режиссера роль в фильме), а придя в комнату, выговорила Розе за то, что та не занимается в студии. Роза успела соснуть прямо на кухне подле щенка.

— Нет, вы только полюбуйтесь! — воскликнула миссис Шипп. Все ее восклицания словно бы предназначались сразу нескольким собеседникам, но отнюдь не дочери.— А кто же будет заниматься, позвольте спросить?

Роза открыла глаза, увидела мать, тут же проверила, на месте ли щенок — он тоже проснулся, когда появилась миссис Шипп.

— А можно он пойдет со мной? — В голосе Розы прозвучала мольба, она не просила, а именно умоляла мать.

— Только сегодня! — уступила миссис Шипп, заранее заготавливая подходящие словечки-штампы для будущих своих речеизлияний: «Они неразлучны!», «Ее четвероногий друг».

В студии щенок сидел тихо и смотрел, как Роза разминалась, как потом делала шпагат; когда она заговаривала, он тут же вилял хвостом. Он спокойно выносил и щелканье метронома, который мать поставила на переносный проигрыватель, и отрывистые, грубые команды: «Не ленись!», «Не торопись!», «Повторить!»

Студия располагалась прямо под квартирой, где жила миссис Шипп, и принадлежала ей, однако она сдавала ее в аренду для занятий танцами и театральным искусством. Сколько детишек научилось в этих стенах чинно вести себя и вежливо улыбаться; отрабатывать восклицательные интонации, призванные внести правдоподобие в не очень-то умелую их игру; выделять логическое завершение фразы, бойко лопотать расхожие слова и выражения на европейских языках. Миссис Шипп такое положение очень устраивало: Роза все время была под присмотром и в надежных учительских руках. Миссис Шипп и сама одно время вела занятия, но вскоре прекратила — не хватало учеников.

Окончив занятия с Розой, миссис Шипп отпустила ее спать, перед сном ей полагалось съесть апельсин, яблоко и банан. Сегодня в дневной распорядок вмешалась собака, но миссис Шипп понятия не имела, как обращаться с животными, поэтому даже не додумалась запретить Розе взять щенка в спальню. Главное для миссис Шипп — не причинять себе ни малейших хлопот, особенно вечером, перед ужином. Итак, Роза беспрепятственно вывела собаку на прогулку (собственно, в саду и не разгуляешься: с одной стороны кустарник, с другой — помойка).

Комната у Розы была маленькая, неуютная, не скажешь, что в ней живет девочка.

Денег мать ей никогда не давала, родных у нее, по всей видимости, не было (отец умер, но, как значительно, и не без яда, говаривала миссис Шипп, и от живого проку от него было столько же): ни дядьев, ни теток, ни даже друзей. Миссис Шипп считала дружбу бессмыслицей: ей доставало собеседников по телефону да встреч с такими же, как она, матерями в рекламном агентстве. Заводить с кем-либо более тесное знакомство — значит непременно приглашать домой, кормить, поить и терпеть еще тысячу всяческих неудобств. «Не стоит чересчур сближаться с людьми»,— говорила она дочери, хотя та едва ли понимала, что подразумевает мать.

Итак, комната Розы была почти пустая: лишь кровать да огромный платяной шкаф, хотя платьев у Розы — раз, два и обчелся. И еще пара-тройка детских книжек. Каждый вечер, перед тем как лечь спать, Розе надлежало принять ванну. На это время мать обычно оставляла ее в покое, впрочем, если в тот день она перевязывала девочке грудь, то вечером снимала «бандаж». Сегодня же Розе подумалось, что неплохо бы выкупать и собаку — от нее попахивало вокзальным дымом и гарью, даже «бандаж» не помеха, главное — успеть искупать щенка, пока мать не заметила.

Ванну она приготовила холоднее, чем обычно, собакам, по ее разумению, не нравилась горячая вода. Поначалу казалось, что они прекрасно уместятся в ванне, вдвоем, но, забравшись в воду, она поняла, что сподручнее вымыть щенка отдельно. Она осторожно окунула его, он жалобно пискнул, поджал хвост, взглянул на нее и задрожал всем телом. Роза поцеловала его и мужественно продолжала: без боя щенок не уступал. Одной рукой она старалась удержать его за загривок, другой — мыла, когда выпадал удобный момент; щенок отчаянно рвался на свободу, он походил на бродяжку-крысенка, но Роза была уверена, что в глубине души он даже рад такому вниманию. Трудней всего пришлось смывать мыло, Роза освободила кружку из-под зубной щетки, налила воды и стала ополаскивать щенка — раз, другой, третий. Наконец, после десятой или двадцатой кружки на нем больше не осталось мыла, зато продрог он до костей. Еще сложнее оказалось вытереть его. Роза и сама вымокла, и со щенка все еще капало — полотенце хоть выжимай. Пришлось брать новое из шкафа. Наконец вся процедура закончена, щенок завернут в Розин халатик. Снизу из кухни доносятся ароматы ужина хозяйки: судя по всему, миссис Шипп готовит яичницу с луком, помидорами и колбасой и жарит картошку! Сегодня этой трапезе завидовала не одна Роза. Щенок вздернул нос, принюхался, выжидательно посмотрел на Розу. Та спросила, хочет ли он еще есть, и прочитала у него в глазах очевидный ответ: очень! Роза собрала всю свою волю и решимость, накинула халатик, приказала щенку не вылезать

из постели и на цыпочках спустилась на первый этаж.

Мать стояла спиной к газовой плите, чуть развернув носки ног, ее на удивление тонкие лодыжки казались еще тоньше по сравнению с мясистыми икрами.

— Мамочка, пожалуйста, сними...

Миссис Шипп обернулась.

— Развяжи, пожалуйста, и сними «бандаж».

Мать убавила газ, тяжело вздохнула и повернулась к дочери:

— Господи! Так ты еще не мылась? Чем же ты так долго занималась?

— Я умывалась, вся-вся. Пожалуйста...— Она запнулась, а мать тем временем развязывала тесемки.— Дай что-нибудь щенку на ужин.

— Ты же только что его кормила!

— Так то еще до занятий

— Поделись с ним фруктами!

— Собаки не едят фруктов. Они им не нравятся.

— Ну вот что, мисс Всезнайка! Если проголодался — съест!

— Я его люблю. Зачем ему голодать?

— Я же тебе говорила: отдай ему тогда свою ветчину.

— Уже отдала. Мамочка, у собак должна быть собачья пища. Ты же знаешь: мясо такое темное, особые хлебцы.

— Ты что же, думаешь, я буду держать в доме эту грязную тварь?!

Роза отчаянно испугалась за щенка и перешла к обороне:

— Он уже не грязный, мамочка, я его вымыла, он чистенький и хорошенький-хорошенький.

— Зачем же ты сюда пришла?

«Да потому что я сама так есть хочу, что и собачьи хлебцы враз бы проглотила. Почему ты наедаешься до отвала, а мне нельзя? Почему нельзя досыта поесть хотя бы несчастной собачке? Почему нам не есть сколько хочется, не веселиться как хочется?»

Но вслух Роза сказала лишь:

— Просто пришла, и все.

И уныло побрела наверх. Как теперь показаться на глаза щенку с пустыми руками?

Но тот очень обрадовался девочке, по-настоящему обрадовался. Не беда, что не принесла поесть, главное — пришла сама! И от радости он чмокнул ее в щеку. Ложиться спать ей уже не столь тоскливо: ведь рядом такой же обездоленный друг. Она выключила свет, щенок немного погодя прыгнул к ней в постель и устроился возле нее, словно всю жизнь ночевал именно так.

Утро принесло куда меньше радости, чем вечер. Началось с завтрака. Перед Розой на тарелке сиротливо лежал помидор, полагавшийся к ветчине. Рядом — стакан молока и половинка грейпфрута. День, судя по всему, выдался холодный, и Розу даже дрожь пробрала при виде столь скудного завтрака. Подумав, она попросила у матери ветчины (в холодильнике много, она сама видела). Но мать не дала. Тогда Роза попросила, нельзя ли сварить яйцо или кашу. «Нельзя,— ответила мать,— у меня не ресторан!»

Из глаз у девочки покатились слезы и закапали на пустую тарелку. Зазвонил телефон, и мать тут же сорвалась с места. Не успела она выйти, как Роза отрезала ломоть хлеба, густо намазала его повидлом. Щенок в два счета расправился с ним, Роза успела даже облизнуть пальцы и стряхнуть крошки с хлебной доски. Тут же, словно дождавшись своей очереди за кулисами, появилась миссис Шипп.

— Мистер Сильни склоняется к тому, чтобы дать роль тебе,— объявила она, широко (даже слишком широко для такой маленькой домашней аудитории) улыбнувшись. Роза видела, что мать довольна. Как бы сыграть на ее хорошем настроении и выговорить что-нибудь для щенка?

— У него неправильный прикус,— сказала вдруг мать, словно угадав, что Роза думает о щенке,— должно быть, во младенчестве перенес корь. В пятницу ему придется расстаться с тобой.

Так, сегодня вторник, может, до пятницы еще удастся уговорить мать и она оставит его? Но его нужно кормить, с ним нужно гулять, нужны и ошейник и поводок, а сколько нужно ласки! Эх, были б у нее деньги! Весь день Роза тщилась задобрить, улестить мать; пусть полюбит щенка, хоть немножко позаботится о нем. Мать принимала повышенное внимание к себе с очевидным удовольствием, но вела себя так, будто щенка и в помине нет. Роза не отпускала его ни на шаг, боялась, как бы мать не навредила ему, но когда он стал рычать на пришедших в студию учеников, ей пришлось запереть его наверху, в своей комнате.

Вечером жить стало еще горше, чем днем. Оставшись без завтрака, Роза мучительно ждала обеда и ужина, да и собака проголодалась. А когда Роза заикнулась об этом, мать сказала всего лишь, что не хочет видеть у себя дома эту грязную тварь. Коли щенок так мил Розе, пусть она его и содержит.

— Но у меня нет денег!

— Ах, вот как! Ты уже и денег требуешь! Сначала тебе нужна собака, теперь — деньги!

— Только ему на еду. Должен же он есть! Не умирать же ему с голоду!

— Это меня не волнует. И оставь, пожалуйста, в покое хлеб. Он еще совсем свежий, скармливать собаке я его не позволю, а тебе его есть нельзя!

Вконец отчаявшись, Роза нарезала на мелкие кусочки два ломтика ветчины у себя на тарелке, развернула треугольничек плавленого сыра и раскрошила его. Щенок проглотил все за секунду, с мольбой уставился на нее и завилял хвостом. Он просил еще!

— Учти, это была твоя порция на ужин.

Роза взглянула на мать и едва поверила своим глазам: та улыбалась! Ее забавляла эта сцена! Невероятно! Ведь впору плакать! Положение просто ужасное! И все из-за нее, из-за матери: всем в доме она отказывает в еде, а сама обжорствует! И все-то ей позволительно: ведь у нее есть деньги и она взрослая! Роза едва не заплакала от собственной беспомощности и запальчиво выкрикнула:

— Тебе придется меня кормить, иначе я так ослабею к пятнице, что не смогу пойти к мистеру Сильни, вот тогда узнаешь!

В ответ мать схватила щенка за загривок и вышвырнула, именно вышвырнула его за дверь, во тьму ночи.

— Ну, хватит! — сказала она.— Допивай сок и марш в постель!

Роза расплакалась. На улице холодно, идет дождь со снегом, а щенку негде укрыться. Голодный, холодный, неприкаянный, он либо попадет под машину, либо замерзнет.

Мать дала ей крепкий подзатыльник. Роза швырнула стакан с соком на пол. Они застыли лицом к лицу, тяжело дыша, прикидывая, что ждать от врага дальше. А дальше миссис Шипп схватила дочь за волосы и выволокла из комнаты. Роза била ногами по толстым икрам, но круглыми носами больно не ударишь, да и за длинные волосы дочь волочить удобно, и миссис Шипп одержала быструю победу. Уже наверху Роза крикнула с лестничной площадки:

— Если не пустишь его домой, я вообще перестану есть, провалюсь на пробах. Вот тогда посмотришь!

— Какую чушь ты несешь! — Мать поднялась следом и буквально швырнула Розу на кровать (порой в ней просыпалась воистину исполинская сила), хлопнула дверью и заперла ее на ключ. Теперь Роза не сможет попозднее, когда мать уснет, тихонечко спуститься вниз и приютить щенка! Всю ночь сидеть ему на холоде, убежит насовсем, если не окоченеет и не умрет! Да мать впору арестовать за жестокое отношение к животным. Убедившись, что та не подслушивает под дверью, Роза тихонько заплакала,— так жалко щенка! Окна ее спальни выходили, к сожалению, на улицу, так что ей даже позвать его не удастся. Может, спуститься по водосточной трубе? Но, на беду, ни одной поблизости нет. Незаметно Роза уснула, а проснувшись, несколькими часами позже, вдруг вспомнила про Общество защиты животных. И как ей раньше в голову не пришло! Ясно было сразу, что мать жестоко обойдется со щенком, разве можно ждать от нее иного!

Мать молча отперла дверь, по ее лицу не догадаться, как обстоят дела. Внизу на кухне уже ждал завтрак. Прежде чем сесть за стол, Роза все-таки подошла к черному ходу и открыла дверь. Щенок сидел на крыльце! Он никуда не убежал! Мокрый, продрогший. Но в его ликующем взгляде Роза не увидела укора. Она схватила его, прижала к груди. Щенок радостно заскулил. Ну, разве не видит мать, какой он прелестный? И она еще раз решила попытать счастья.

— Мамочка, ты только посмотри! Он прождал всю ночь! Ну, можно его оставить, а?

— Ко мне это никакого отношения не имеет,— ровным голосом ответила мать и поставила свою тарелку, над которой поднимался парок, на стол.

— Можно я его оботру?

— Дело твое, только не бери моих полотенец.

Можно подумать, что в доме полным-полно чьих-то еще! Розе пришлось извести пачку бумажных салфеток, но вытереть щенка толком так и не удалось. Хотя он и так был признателен за внимание.

Роза посмотрела на тарелку — ей нестерпимо хотелось есть — и стала нарезать ветчину.

— Если будешь выкидывать всякие фортели, я вообще уберу еду.

Так вот почему мать не устроила ей скандала сразу. Она выжидала, чтобы уколоть дочь этой фразой. Все просто: вздумай Роза покормить собаку, она лишится завтрака. Значит, собаке вообще поесть не удастся. Значит, она умрет с голоду. Нет, это не просто жестокость, это — убийство. Убей мать человека, все было бы проще простого: Роза позвонила бы в полицию, и мать забрали бы. А до животных мало кому есть дело, разве что Обществу защиты.

Роза все-таки съела завтрак: глупо, если он не достанется никому. К тому же ей предстоит многое обдумать, а на голодный желудок не очень-то думается. После завтрака, проведя занятия, мать уходила по магазинам, потом пила кофе с пирожными в обществе какой-нибудь подружки. Попросив разрешения выйти из-за стола пораньше, Роза поспешила к телефону, набрала номер справочной службы (искать номер телефона Общества защиты животных — дело гиблое, Роза еще плохо разбирала сложные слова). Оказывается, официально оно называлось Королевским обществом. Номер телефона Роза запомнила (запоминала она все с лета) и тут же позвонила.

Ей долго не удавалось объяснить суть дела. Сотрудники общества не могли понять: если она находится вместе со щенком, так почему бы ей его и не спасать.

— Я — маленькая,— несколько раз повторила она,— поэтому сама ничего не могу, понимаете, я — маленькая.

Наконец из Общества пообещали приехать.

За обедом то же самое — мать предупредила: если Роза немедленно не сядет за стол, то вообще останется без еды. А пока мать разговаривала по телефону, Роза вытащила из холодильника свой ужин и спрятала — когда мать уйдет, покормит щенка. Она почти не выпускала его из своей комнаты — подальше от глаз миссис Шипп.

Вот она вернулась в комнату.

— Завтра нас принимает мистер Сильни со своим другом,— объявила она,— давай я помою тебе голову.

Процедура сколь знакомая, столь и неприятная. Сначала мать тоненькой струйкой льет ей на голову ледяную (так что обжигает) воду, потом нещадно намыливает волосы, мыло, конечно же, попадает в глаза, но приходится терпеть; потом мать выливает на голову дочери (так что та вот-вот захлебнется) кувшин за кувшином воду, не разбирая, холодная или горячая; остервенело растирает волосы грубым полотенцем, расчесывает железной гребенкой, да так, что Роза едва не плачет; затем накручивает волосы девочки на бигуди, будто вырывает их с корнем, при этом злоба уже переполняет миссис Шипп. Страшнее дня на неделе не придумать. Процедура эта, хоть и занимала меньше часа, казалась Розе вечностью. Покончив со столь важным делом, мать обычно усаживала девочку на кухне и занимала какой-нибудь работой.

На кухне теплее всего, и Розе нравилось там сидеть. Сегодня ей мучительно хотелось, чтобы рядом был и щенок, но позвать его она не решалась: вдруг мать возьмет и снова выгонит его. А еще она ждала, ждала

и боялась, когда придет служащий Общества защиты животных.

Служащий оказался молодым мужчиной. В тот день в студии шли занятия цикла «Будь здоров», и миссис Шипп, услышав звонок, не открыла дверь. Не открыла и Роза. Она напялила шляпу, чтобы скрыть бигуди, но они все равно торчали во все стороны. Урок закончился, ученики стали расходиться, и тут Роза услышала, что кто-то спрашивает миссис Шипп. Она сразу догадалась, кто это, и пошла встретить гостя. Провела его на кухню и попросила подождать.

— Сейчас приведу собаку,— и быстро, но без суеты поднялась к себе. Вдруг повезет, и мать, дремавшая после обеда, не проснется.

Щенок в страхе съежился, увидев инспектора (так отрекомендовался служащий). Впрочем, должность его Розе была не важна. Беда в том, что он задавал вопросы, на которые она не могла ответить. Кому принадлежит собака? Если Роза ее любит, почему не оставит у себя? Или, может, щенок больной? Да нет, вроде здоров, отощал только, что немудрено — ведь дома-то у него не было. И тут на кухню вошла миссис Шипп, на лице застыло самое гнусное выражение, какое Роза только знала. И враз легче стало отвечать на вопросы.

— Моя мать не дает ему есть. Если щенку что и перепадает, то только от моих завтраков и обедов. И мы оба остаемся голодными.

— Что это вы здесь делаете, позвольте спросить?

— Мама, это инспектор по жестокости к животным.

— Я служу в Обществе защиты животных.

— Что-то не припомню, чтоб я вас вызывала.

— Не вы, мадам, а ваша дочь.

Миссис Шипп перевела беспокойный взгляд на Розу, притворила дверь.

— Слушаю вас? — обратилась она к инспектору, усевшись за обеденный стол.

— По-моему, мадам, вопрос совершенно ясен,— смешавшись, ответил молодой инспектор и замолчал.

— Собака приблудная,— отрезала миссис Шипп,— и я к ней никакого отношения не имею.

— Насколько я понял, ваша дочь очень привязалась...

— И моя дочь не имеет к ней никакого отношения. Я же сказала: собака приблудная, просто зашла к нам, и все. Я эту гадкую тварь не приваживала.

— Это я ее оставила, мне собака очень понравилась.

— Ну, хотя бы ошейник у вашей собаки есть? — со слабой надеждой спросил инспектор.

— Ни ошейника, ничего нет! — торжествующе провозгласила миссис Шипп; можно подумать, что собаки носят при себе удостоверения личности с фотографиями.

— Вы не обращались в ближайший полицейский участок?

— С чего бы это? — фыркнула миссис Шипп.

— Разве вы не понимаете? — вмешалась Роза. — Она щенку есть не дает! Я делюсь с ним своей едой, и мы оба остаемся голодными. Возьмите его с собой!

Инспектор замялся. Какой странный случай. Но не сидеть же ему здесь весь день. Он вытащил из кармана ошейник и подошел к щенку. Тот снова сжался в комочек. Девочка погладила его, и щенок безропотно позволил надеть на себя ошейник. Инспектор перевидал тысячи таких дворняжек: в щенячестве они забавляли своих хозяев, потом вырастали, и те избавлялись от них. Бездомные собаки повсюду, в том числе и на дорогах. Сам инспектор глубоко страдал, видя человеческую жестокость.

Пристегнув ошейник, он выпрямился.

— А что вы теперь будете с ним делать? — спросила девочка.

— Ну, постараемся найти владельца, немного подождем, может, за ним кто и придет...

— А если не придет?

Инспектор внимательно посмотрел на Розу. Сначала она показалась ему смешной, но сейчас она совсем другая.

— Мы постараемся отдать его в хорошие руки,— ответил он. Похоже, и этим ответом она не удовольствуется. Так и есть.

— А если не найдется хороших рук?

— Не беспокойся, мир не без добрых людей.— И посмотрел ей прямо в глаза, он всегда смотрел прямо в глаза, когда приходилось обманывать. Рассчитал он правильно: девочка, подумав над его словами, поверила. Но тут влезла бегемотиха-мать и все испортила.

— Даже если вы и не найдете ему новых хозяев, а просто избавитесь от него, невелика потеря! Подумаешь, какая-то дворняжка.

И почти сразу заговорила и девочка:

— Ведь правда же, вы не избавитесь от него? Нельзя же их убивать, только чтоб они не попали к жестоким людям. Вы ведь не убиваете, правда?

Дура-бегемотиха, выругался про себя инспектор, и кто ее тянул за язык? Он выразительно посмотрел на нее: уймись, помолчи немножко. Но встретил такой взгляд, что у самого душа в пятки ушла.

— Конечно, не убиваем,— как мог спокойно и веско ответил он. — Простите, мне пора,— и спешно откланялся: как знать, вдруг бегемотиха еще и драться полезет? — Ты разве не хочешь попрощаться со своим маленьким другом? — Этот вопрос он обратил уже к Розе.

— Нет, то есть да, хочу. — Девочка нагнулась, поцеловала щенка, похоже, он и впрямь привязался к ней. — Желаю тебе найти хороших хозяев.

Насколько смог, инспектор сократил сцену прощания. Он видел, что еще немного — и девочка расплачется, да и мать, того и гляди, выкинет какой-нибудь фокус. Лишь посадив собаку в машину, он вздохнул облегченно и понял почему: ему не хотелось присутствовать при скандале, который, несомненно, разразится.

— ...не спросив разрешения, пользуешься телефоном и устраиваешь подобные сцены! Отвечай, ты что, язык проглотила?!

— Нет, не проглотила, но говорить с тобой не хочу!

— Будешь так себя вести, останешься без ужина!

— Я и так уже осталась без ужина,— потерянно сказала Роза,— я накормила щенка. А сейчас я лягу спать. — И, не взглянув на мать, вышла из комнаты. «Хорошо я отомстила»,— подумала девочка. Мать всегда несказанно ярилась, когда ее угрозы не достигали цели.

В спальне Роза увидела, где щенок устроил себе логово: на одеяле гагачьего пуха еще оставалась вмятина. Роза ничком упала на постель: ей было не страшно, не обидно, а невыразимо тошно. Был бы на двери крючок, она непременно бы заперлась. Какая-то беспросветная у нее жизнь, а щенок этот словно лучик во мгле. А теперь и его нет. А сколькими радостными лучиками могла бы озариться ее жизнь! Живут же другие ребята с мамами, с папами, братьями, сестрами, и никто не запрещает им заводить щенков. Скольких ребятишек перевидала она на занятиях в студии, но ей даже и в голову не приходило сравнить себя с ними. Да и нелепо сравнивать: ее жизнь ни на чью не похожа. А теперь она задумалась: что у нее было доброго в жизни? Один лишь щенок. Да и того лишилась.

Долго пролежала Роза, потом пришла мать, сказала, что приготовила ей яичницу с языком. Роза ответила, что есть не хочет и что ей лучше побыть одной. Удивительно, мать оставила ее в покое, не стала спорить, орать, угрожать.

— Просто я думала, тебе стоит подкрепиться перед собеседованием,— лишь произнесла она.

— Сказала: не хочу — значит, не хочу,— угрюмо повторила Роза.

Убедившись, что мать внизу ужинает и не поднимется к ней, Роза всплакнула о щенке. Она утешала себя тем, что повторяла слова инспектора: «Конечно, мы их не убиваем», но чем больше она над ними думала, тем меньше верила. Что же им делать с собаками, которых бросили люди? По сути дела и ее мать — убийца. Роза даже улыбнулась: забавно, что она так спокойно называет собственную мать убийцей. И не просто спокойно, а с удовольствием. Она всегда чувствовала что-то страшное в душе матери и вот теперь воочию убедилась. Перед сном она сняла все бигуди, расчесала волосы, намочив расческу, так что никаких кудряшек и завитушек к собеседованию не останется.

Утром мать, конечно, подняла крик: «Что ты наделала со своими волосами?!» — но в голосе слышался скорее бессильный страх, а не привычные грозовые раскаты, предвещавшие бурю.

За завтраком Роза отказалась от яичницы с ветчиной. Говорила она тоже по-новому: холодно и угрюмо. К ее изумлению, мать спросила: что же все-таки доченьке приготовить. Чашку крепкого кофе с сахаром, ответила та. Нужно же чем-нибудь подкрепиться, иначе в обморок упадешь, а черный кофе казался Розе самым изысканным и подходящим средством. Кофе ей не понравился, но она заставила себя выпить всю чашку, устремив взгляд мимо матери, мимо самой кухни, в какую-то дальнюю даль, новое свое пристанище, где для матери, конечно, места нет. За столом она вообще не разговаривала, а после завтрака заявила, что не пойдет ни на какое собеседование, если мать не купит ей свитер, джинсы и обычные туфли. Нежданно-негаданно и в этой просьбе мать не отказала! Как все просто! Мать пошла с ней в магазин и купила черный (о таком Роза и мечтала) свитер и красные туфли мягкой кожи. Роза расчесала волосы, собрала их в пучок, не разделяя на пробор, и заколола черепаховой заколкой. Поглядела в зеркало: так куда лучше, только взгляд тревожный, она все думала о щенке, что-то с ним сталось. И чем чаще мысль эта приходила ей в голову, тем проще становилось дерзить матери; раньше она и подумать о таком не смела! Задержавшись в магазинах, они поехали к мистеру Сильни на такси.

В дверь позвонили. Тед Сильни решил, что это спешит на помощь друг Джейк, чтобы вместе проверить возможности Шипп-младшей. Но за матовой входной дверью маячили два силуэта, и сердце у Теда екнуло. Встречаться одному с Шипп-старшей при любых обстоятельствах крайне нежелательно; а вместе с Шипп-младшей, этой полуидиоткой, полувундеркиндом — и того хуже. А если учесть, что на второе собеседование мать пришла, полагая, что роль уже у ее дочери в кармане,— это уж совсем плохо. Конечно, он сам виноват, затянул все дело и теперь расплачивается. А ведь так все удачно шло: он подобрал прекрасных исполнителей на роли старика и пожилой четы, и тут вдруг продюсер стал придираться к сценарию, выискивать какие-то недочеты, и Тед ввязался в бессмысленный и безуспешный спор, начисто забыв, что не успел подобрать исполнительницу детской роли, он и о самой роли-то забыл и вспомнил лишь дней десять назад. За время мучительных поисков он нашел единственную мало-мальски подходящую девочку и — Розу Шипп (Господи! Ну и имечко у нее). Конечно же, мало-мальски подходящая девочка в самый неподходящий момент заболела корью, так что теперь, учитывая, что съемки уже на носу, волей-неволей придется брать мисс Розу Шипп, да еще в придачу с чудовищем-матерью, которая напоминала ему непомерно раздавшуюся учительницу физкультуры с замашками садистки и лесбиянки. Или хищную птицу. Или что-нибудь в этом роде. Открыв дверь, он увидел за спинами миссис Шипп и Розы своего друга Джейка, тот расплачивался с таксистом.

— Вот и прекрасно, все разом подоспели,— обрадовался он.

— Доброе утро, мистер Сильни. Ну-ка, поздоровайся с мистером Сильни!

Девочка взглянула на него холодно и не по-детски угрюмо и бросила: «Привет!» За ее спиной Джейк весьма выразительными знаками пытался объяснить, почему опоздал, и просил прощения. Миссис Шипп обернулась к дочери, Джейк вовремя остановился и застыл на месте.

Гуськом проследовали они в темную прихожую — Тед еще не решил, как и чем

ее приукрасить. Джейк снял замшевое пальто с бобровым воротником, миссис Шипп раздеваться отказалась. Неужели она думает, что в этом огромном бордовом «в елочку» пальто она не так страшна? Ведь сняв его, она будет хоть чуточку меньше в объеме, а может, чем меньше — тем страшнее? Роза просто стояла и ждала, пока остальные поднимутся наверх.

Наверху Тед пригляделся к девочке повнимательнее: она показалась ему выше и старше, чем в первый раз и, что самое важное, в ней угадывалась личность, а не просто «маленькая девочка». Одно из двух: либо она за эту неделю переменилась до неузнаваемости, либо в первый раз наблюдательность изменила ему. Вспомнился номер «снежинки», и он судорожно вздохнул, нет, вроде его глаз по-прежнему зорок: ведь мать же с той самой поры не изменилась, уж за ней-то он наблюдал пристально. Вот она точно так же располагается на диване, так же безобразно выставляет напоказ толстые ноги. Джейк, примостившись на индийском сундучке, с притворным вниманием разглядывал картину Фузели (которого он терпеть не мог, это Тед знал доподлинно), а миссис Шипп чуть подалась вперед, готовая внять любому его слову.

— Если хотите, я вам что-нибудь почитаю, только я бы предпочла без посторонних,— неожиданно выручила его Роза.

Вот это удача! Он об этом подумывал и сам — разве можно упустить такой случай.

— Джейк! Угости-ка миссис Шипп кофе! В столовой вам будет удобнее.

Удивительно, как все стало вдруг легко и просто! Правда, Джейк одарил его взглядом сколь изумленным, столь и мстительным, но заботливо и настойчиво, как пастух упрямую корову, выпроводил миссис Шипп из комнаты, с глаз долой.

Услышав, что дверь столовой закрылась за ними, Тед повернулся к девочке — она, не отрываясь, смотрела на него, и глаза у нее были отнюдь не детски круглые, как запомнилось ему с прошлого раза.

— Неужели тебе всего восемь лет?

— Конечно, нет. Мне уже скоро двенадцать.

— Так почему же мама говорит, что тебе восемь?

— Потому что ей нравится издеваться! Такой вредины на всем белом свете не сыскать!

— Ну-ну, зачем же так.

— А что, скажете, неправда? Вредина она. И жестокая. Ведь должно же быть Общество? Нет, не защиты животных, а защиты людей! Есть такое или нет?

— Есть. Общество защиты детей от жестокости.

— Если им про мою мать расскажете, меня от нее заберут?

— Милая девочка, я не вправе рассказывать что-нибудь о твоей маме. Я просто ее не знаю. Давай-ка лучше займемся...

Он не успел и глазом моргнуть, как она очутилась совсем рядом. Сжав кулаки, она очень наигранно тряхнула руками.

— Вы должны! Вы просто обязаны! Раз вы знаете о жестокости, вы обязаны о ней заявить.

— О какой жестокости? Чем она тебя обидела, а, Роза?

Бедная девочка, наверное, в чем-то она права. А театральность — ну что ж, она не виновата, ее так сызмальства научили.

Роза глубоко вздохнула и задумалась.

— Она нарочно дерет мне волосы, когда моет голову. Вода обжигает, а мыло лезет в глаза. Она не разрешает мне есть пирожные, хотя сама ими обжирается. Она не разрешает мне учиться в обычной школе. Никогда не дает денег. Только и знает, что заставляет меня балетные па разучивать да этим ужасным французским заниматься. А когда улыбается, жди от нее особой пакости! Разве так можно жить!

Тед успокоился. Все дети вечно жалуются на своих родителей, даже его племянники: дескать, мама не разрешает им на пони покататься. Все, что Роза принимает в штыки, может на поверку оказаться лишь излишне навязчивой материнской заботой, более строгой, чем в других семьях, дисциплиной. Очевидно, маленькая злючка не по своей воле пошла по артистической стезе. Мать все решила за нее — такие матери выбирают своим детям стезю и едва не силком тащат их, как им кажется, к единственно достойной цели.

Роза внимательно посмотрела на него и поняла, что не очень-то убедила.

— Она меня бьет! Большой деревянной ложкой! Каждый вечер!

— Прости, Роза, но, по-моему, ты преувеличиваешь. Если хочешь, чтобы я послушал тебя без мамы, давай не будем терять времени. — Он стал перелистывать сценарий, пусть девочка немного остынет. Она коротко вздохнула, почти всхлипнула, но когда он поднял на нее глаза, она смотрела на него совершенно спокойно, как будто ничего и не случилось. Он объяснил ей задание — она слушала внимательно и серьезно, как настоящая актриса.

— Сколько мне лет по роли?

— Лет десять. Вряд ли ты сможешь сыграть девочку меньше.

— Разве что снова стану этой дурацкой снежинкой.

Тед взглянул на нее и поймал быструю недоверчивую улыбку. Неужто и у таких крох есть чувство юмора, поразился он.

— Да, сегодня снега нет. Ну что ж, начнем? Значит, запомни, ты просыпаешься и еще толком не понимаешь, где ты.

— Я лягу на пол, ладно?

— Прекрасно. — И Тед сбросил с дивана подушку.

Она легла, изобразила спящую, потом, как он и наказывал, проснулась в чужом доме, не поняв, где находится.

— Ну, а теперь позови тетушку.

Получалось совсем неплохо. «Проснувшись», она не суетилась, двигалась свободно. И голос звучал естественно — сказались годы занятий. Он попросил ее повторить сцену, только говорить своим обычным голосом, «позови так, как взаправду бы позвала». Она исполнила все заново, оказалось, что и ее собственный, не «сделанный» голос, не так уж плох. Он велел ей сыграть то же и в третий раз, подробнее рассказав об эпизоде. Она сыграла еще лучше, броско и в то же время достаточ-

но глубоко, вникнув в суть роли. Тед чувствовал, что сможет добиться от нее еще бо́льшего.

— Неплохо,— похвалил он после третьего раза. — На сегодня достаточно.

Роза подняла с пола подушку, отнесла на диван. Другой рукой она на ходу приглаживала волосы.

— Так вы берете меня?

— Да, пожалуй,— задумчиво протянул он, хотя принял решение много раньше.

— Отлично. Но с одним условием.

— Только, пожалуйста, Роза, не говори снова, что я должен заявить куда-то на твою маму.

— Нет, у меня другое.

— Что же именно?

— Позовите мать, я скажу при ней.

Перед ним стояла не плаксивая маленькая девочка, а спокойная и решительная актриса. Он позвал Джейка, и вскоре комната наполнилась могучими телесами миссис Шипп.

На мгновение Тед заколебался: а нужно ли все это — похоже, разразится скандал. Зато Роза — прекрасная актриса, с другими девочками не сравнишь. Так что выбирать ему не приходится.

— По-моему, Роза очень подходит для этой роли,— начал он, неопределенно улыбнувшись в сторону миссис Шипп (он боялся встретить взгляд ее бессмысленно-рыбьих водянистых глаз),— она и сама хочет что-то сказать.

Все трое перевели взгляд на Розу, а та смотрела в упор на мать.

— Так вот, у меня была собака, но мама не позволяла мне ее кормить, я отдавала ей свою еду, и мы обе голодали. Мне пришлось вызвать инспектора Общества защиты животных и отдать ему щенка. Но я убеждена, что ему не найдут новых хозяев, а просто-напросто убьют. — Она повернулась к Теду: — Вот вам еще одна жестокость.

— Роза, детка, о чем ты?

— Ты прекрасно знаешь о чем. Я все рассказала мистеру Сильни. Если ты не дашь честного слова, что возьмешь щенка обратно и будешь его хорошо кормить, я откажусь от роли! Я вообще никогда не буду больше играть! А ты корми меня, не корми, все равно я нажалуюсь на тебя в Общество защиты людей. Непременно нажалуюсь! Я все для этого сделаю! — прибавила она для пущей убедительности.

Миссис Шипп встала, улыбнулась, но очень натянуто.

— Вы же понимаете, какие у детей случаются завихрения,— обернулась она к Теду и Джейку. — Она просто очень переволновалась. Да и вообще, знаете, она чересчур возбудима. Пойдем, детка, нам пора.

— Сначала ты позвонишь в Общество. Сейчас же! В присутствии мистера Сильни! Или я не стану у него играть!

Миссис Шипп улыбнулась шире. Джейк как ни в чем ни бывало заметил:

— А почему бы, собственно, и не позвонить? Сейчас я найду номер.

Роза наградила его ослепительной улыбкой, а Теду мысленно представилось, какой она будет, когда вырастет.

— Не понимаю, что на тебя нашло,— подавленно прошептала миссис Шипп.

— Хотите, я позвоню вместо вашей мамы?

— Нет. Она позвонит сама! Благодарю вас. Она позвонит и спросит, можем ли мы забрать щенка.

И миссис Шипп повиновалась! Куда только подевались ее роскошные телефонные завывания и вздохи. Она была разъярена: еще бы, опозорена на людях, поставлена в безвыходное положение. И в голосе слышались и досада и обреченность. А Роза волновалась все больше, пока мать набирала номер. Тед заметил это и подошел.

— Не нужно грызть ногти,— тихонько сказал он,— ты же победила, о чем же ты беспокоишься?

— А вдруг... а вдруг они уже... — И лицо ее страдальчески сморщилось.

— Уничтожили его? Вряд ли. Сначала они постараются пристроить его в какую-нибудь семью.

— И я надеюсь, что он еще жив. — Ее искренняя вера невольно передалась и ему.

Щенок оказался жив. Его можно забрать. Когда миссис Шипп, изобразив на лице благодушие, пришла известить их об этом, Тед попросил у нее трубку. Подошел к окну, захватив телефон, и попросил:

— Привезите его на такси, я заплачу.

Очевидно, ему отказали, и тогда он пустил в ход свое недюжинное обаяние.

Кончилось тем, что он послал Джейка на такси за собакой, и тот, хотя и намекнул, что приносит очень большую жертву, согласился сразу. Роза сидела в дальнем углу большой комнаты. Тед подошел к ней и увидел, что девочка плачет.

— Ты должна радоваться,— как мог добродушно, утешил он ее. Вдруг, словно вспомнив что-то малоприятное, спросил: — Хочешь пока перекусить?

Девочка всхлипнула и так выразительно посмотрела на него, что Тед понял: он попал в точку. И ему стало стыдно, что он раньше не верил ей.

— Колбаса, яичница, ветчина, гренки,— предложил он Розе небогатый выбор.

— Спасибо, с удовольствием.

— Может, твоя мама пока сходит в магазин и купит что-нибудь для собаки? А я тем временем тебе поесть приготовлю. И заодно о роли потолкуем.

Он повелительно взглянул на миссис Шипп, та улыбнулась или, точнее, по обыкновению осклабилась. Она поняла взгляд, обреченно вздохнула, пробормотала что-то о срочных покупках и ушла.

На кухне Розу уже ждала еда.

— А можно мне ложечку повидла? — попросила она.

— Бери, не стесняйся,— Тед пристально взглянул на нее,— чувствуешь себя хорошо?

— Немножко голова кружится. Можно мне той ложкой, что в банке?

— Конечно. Возьми хлеба, а хочешь гренок.

— Можно этот ломтик поджарить?

— Можно и этот, и второй, и третий. — Ведь в этом возрасте дети всегда хотят есть, пристыженно подумал он.

Пока Роза ела, а он жарил яичницу, они молчали.

— Вкусно?

— Еще бы! Я нарочно ем очень медленно, а вот мой щенок все глотает мгновенно. Он даже не успевает получить удовольствия от того, что ест.— И сразу, без перехода и паузы она продолжала: — Я хочу вас кое о чем попросить.

— Еще одно условие?

— Нет, не совсем. Я хотела спросить, не могли бы вы заплатить мне часть того, что я заработаю. Понимаете, если вы заплатите деньги ей, мне ничего не достанется, а ведь у меня собака, расходы немалые. Нужны и ошейник, и поводок, и жетон с адресом, и полотенце, чтоб вытирать щенка, когда промокнет, и мне бы нужны хоть какие деньги. Мало ли что...

— Понимаешь, Роза, деньги актерам плачу не я, для этого есть другие люди. И выплачивать тебе гонорар по частям я просто не смогу.

— Ах, вон оно что...

— Ну-ка, принимайся.— Он поставил перед ней тарелку — ни дать ни взять, реклама изысканного кулинарного блюда.

— Можно прямо сейчас?

— Ешь, не стесняйся!

Снова беседа прервалась. Тед внимательно смотрел на Розу.

— А когда ты последний раз ела? — спросил он.

— Вчера в обед. Она не разрешила мне поделиться с собакой, сказала: если я не съем, то вообще отнимет. А еще она продержала щенка целую ночь на улице под дождем. Я же говорю — она любит издеваться. Вот было бы здорово уйти от нее насовсем, какую-нибудь бумагу написать — и уйти!

Тед закурил. Конечно, миссис Шипп — стерва, каких поискать, однако ему не хотелось вмешиваться в семейные дрязги.

— Тебе никто не разрешит.

— Я знаю.

— Вот, держи — пять фунтов. Купишь собаке все необходимое.

— Спасибо вам, мистер Сильни! Огромное спасибо!

Похоже, ее ошеломил широкий жест Теда. Вот и попробуй не вмешиваться, подумал он.

— Я никогда не забуду, как вы помогли моей собаке!

— А с матерью воевать прекрати, ты ведь победила.

— Это еще только начало! — Она положила половинку помидора на ломоть хлеба и сунула в рот. Жевала она очень сосредоточенно и со смаком. — Раньше я все мечтала, чтоб она умерла. А теперь не хочу. Теперь я знаю, что делать.

— И что же?

Не выпуская из рук вилки и ножа, она заговорила как о самом заветном:

— Я уже не хочу ее убить, пусть живет, и день ото дня жизнь у нее будет все ужаснее. Я стану относиться к ней так же, как и она ко мне Теперь-то я знаю, как мне быть.

Тед вздрогнул и воззрился на девочку. Она улыбалась, но глаза смотрели по-рыбьи бесстрастно.

◆

К нашим иллюстрациям

Искусство Марка Шагала

К 100-летию со дня рождения

С именем Марка Шагала (1887—1985) связано представление об искусстве, в прямом смысле слова переворачивающем с ног на голову традиционные каноны и при этом полном гармонии и красоты. Подобно Пикассо, Шагал дерзко разрушал эти каноны не во имя «дегуманизации». В центре его внимания всегда оставался человек, помещенный в целостный, находящийся в непрерывном движении и метаморфозах макро- и микрокосм.

По сравнению с Пикассо и с другим великим мастером нашего века — Матиссом Шагал как художник был и более непосредственно-эмоционален, и более интуитивен. Отсюда — его связь с фольклором, укорененность в породившую почву, сочетавшаяся с постоянным стремлением выйти за пределы всякого ограниченного места и времени.

Один из шагаловских рисунков 10-х годов представляет человека, несущего на себе свой дом,— образ в полной мере автопортретный.

Шагал провел детство и юность в Витебске, в среде, обладавшей самобытной культурой, которую именно ему суждено будет впервые со всей полнотой (далекой от этнографизма) воплотить в изобразительном искусстве. Мы видим у него не только колоритные еврейские типы, обычаи и праздники начала века, но и характерную национальную пластику, юмор и печаль, наивность и мудрость, а также некоторые глубинные особенности национального мышления.

При этом Шагал отнюдь не был, в силу самой универсальности своего дарования, только «еврейским художником». Еврейская культура в России на рубеже веков омывалась окружавшей ее русской культурой, неотъемлемой частью которой Шагал всегда ощущал себя. Где бы он ни жил, Витебск и русская деревня оставались главной его любовью и объектом изображения. Он чувствовал преемственную связь с Левитаном и Врубелем, своим формированием как художника (и многими образами) был обязан русской иконе и народному искусству, в 10-е и 20-е годы был связан с русским авангардом; Гоголь, Стравинский и Чайковский не раз служили ему источниками вдохновения.

Вместе с тем, называя Париж своим «вторым Витебском», Шагал этим никак не хотел приуменьшить влияния на него французской живописи, многое вобрал он и из европейского художественного наследия разных эпох — с течением времени все отчетливее проявлялась изначально присущая ему способность восходить от национального к общечеловеческому.

Сын рабочего, Шагал прошел в конце 900-х годов недолгую выучку у И. Пэна в Витебске и Л. Бакста в Петербурге. Еще в те годы, создавая одну из самых значительных своих ранних картин — «Смерть», он хотел, по его словам, «написать улицу психологично, но без литературы, выстроить улицу, черную, как смерть, но без символизма». Иначе говоря, ввести литературу и символику в саму плоть живописи. Именно эта задача решалась тогда художниками-новаторами Парижа. «В ту эпоху,— писал Шагал,— я решил, что мне нужен Париж. Почвой, в которой были корни моего искусства, был Витебск, но мое искусство нуждалось в Париже, как дерево — в воде. У меня не было никаких других причин покидать родную землю, которой я оставался верен в течение всей моей дальнейшей жизни».

В картинах, созданных в первый парижский период (1910—1914), «свет-свобода», по выражению художника, заимствованный у парижских улиц и полотен импрессионистов, соединяется с фовистской метафоричностью и силой цвета, кубистической структурностью форм и футуристическим динамизмом. Все это сочеталось у Шагала с пониманием творчества, как «выражения состояния души», с повышенной экспрессивностью, сближавшей его с немецкими экспрессионистами. Однако, соприкасаясь со всеми течениями, Шагал оставался обособленным. Его творчество и в 10-е годы, и в последующие сопрягало противоположности: предельную поэтическую свободу и предметность мышления (как писал в посвященных ему стихах Б. Сандрар, «он берет корову и рисует коровой, берет церковь и рисует церковью»), пластическую обобщенность и конкретный психологизм, иррациональность и организующее начало. Не менее характерным для Шагала было стремление взорвать зрительные стереотипы (что являлось, кроме

всего прочего, одним из источников юмора в его искусстве), показать и внешнюю хаотичность жизни, и наличие в ней глубинных организующих сил. Не случайно именно по его поводу Аполлинер произнес в 1912 году слово «сверхнатурально», из которого спустя десятилетие родится термин «сюрреализм». (К этому течению, с которым у него были точки соприкосновения, Шагал также откажется присоединиться в 20-е годы: для него были неприемлемы и сюрреалистский «автоматизм письма», исключающий разум художника, и сочиненность сюжетов, являющаяся как бы оборотной стороной этого автоматизма.)

Одно из характерных шагаловских полотен 10-х годов — «Я и деревня». Разномасштабность изображенных на ней предметов способствует впечатлению неопределенной широты пространства, в котором верх и низ относительны, благодаря перевернутому изображению женщины на заднем плане. Перед нами и деревня, и подобие универсума, в котором художник выступает вдумчивым созерцателем жизни и ее веселым творцом. Его энергичному профилю противостоит «на равных» кроткая морда коровы, сцена доения изображена как знак служения человеку.

Пожалуй, никто из художников XX века не отстаивал с такой силой, как Шагал, выражаясь словами Хлебникова, «равноправие коров», не писал с такой нежностью животных, воплощая в них и жертвенное начало, и всю загадку жизни.

В его полотнах 10-х годов разработаны и другие темы, которые пройдут затем через все его искусство — такие, как рождение и смерть, любовь и творчество. Его персонажи, которые уже в самых ранних работах забирались на крышу, очень скоро обретут способность отрываться от земли, не теряя ее, однако, из виду. Этот мотив, как и все прочие, имел у Шагала глубокий смысл. Являясь, как почти все в его искусстве, овеществленной метафорой, он означал и свободу, лежащую в основе бытия, и порыв духа к небу, и живые приметы XX века, устремленного в космические сферы.

Особенно существенной для Шагала была проблема времени. Диалектическая связь временного и вечного, живой реальности и символа, истории и мифологии, прошлого и настоящего будет определять не только структуру каждого произведения художника, но и всю его творческую эволюцию. Его искусство, как никакое другое, будет варьировать неизменные образы-архетипы, но вместе с тем чутко реагировать и в стиле, и в образном строе на дух времени. Сильнее, чем кто-либо, Шагал передал апокалипсическую атмосферу предвоенных 10-х годов, а затем полный оптимизма порыв в будущее — в годы Октябрьской революции. В конце 30-х и в 40-е годы он не создал своей «Герники», но воплотил «ужасы войны» и геноцида в образах распятого Христа, горящих деревень, гибнущих людей и животных. Но несмотря на черты гротеска, отражающего реальность мирового зла, основу его искусства всегда составляло чувство красоты и тайны жизни, а также ее единства, источником которого является любовь.

После войны произведения Шагала приобретают более пасторальный характер, хотя искусство никогда не сводилось для него к пасторали. Цветущая природа Средиземноморья, где в то время живет художник, синева моря, горение солнца наполняют его работы. Мягкая живописность, богатство красочных оттенков (или, как он говорил, «химия» цвета) сочетаются в поздних вещах с монументальностью стиля, позволившей художнику успешно работать в области оформления архитектуры. Он расписывает плафон парижской Оперы, выполняет витражи для храмов, мозаики и стенные росписи, работает, как всегда, для театра, создает также керамику, скульптуру, гобелены, многочисленные литографии и другие виды станковой графики. Любой материал, к которому прикасается мастер, служит лишь средством для создания образов, смешивающих радость и печаль и полных необыкновенного очарования.

Нельзя не сказать в заключение о той поистине исключительной роли, которую играла в искусстве Шагала книга. Все его произведения являлись как бы зримой поэзией (дополняемой и словесным творчеством), не случайно о Шагале так много писали поэты. Он — автор иллюстраций к огромному количеству книг. Среди самых значительных его книжных циклов — гравюры к автобиографической книге «Моя жизнь», за которыми последовало около ста офортов к «Мертвым душам». С поразительной экспрессией в них воплотились — при всех неизбежных несовпадениях в видении писателя XIX и художника XX веков — гоголевская метафоричность и динамизм, юмор и гротеск, широта пространства и любовь к мельчайшим деталям.

Вслед за Гоголем Шагал с тем же размахом оформил Лафонтена, все 30-е годы прошли у него под знаком Библии, иллюстрирование которой он продолжил и после войны. Тогда же были созданы рисунки к «Декамерону», феерические по красоте цветные литографии к «Дафнису и Хлое» Лонга и серии литографий «Цирк» — с текстом самого художника, гравюры к сборнику его собственных стихов, к «Одиссее», к шекспировской «Буре», книгам Мальро и Арагона Все эти работы отмечены глубоким проникновением в литературный текст, отразили разные грани творческой индивидуальности мастера.

Н. АПЧИНСКАЯ

◆

Наша почта

Письма, полученные редакцией за последнее время, свидетельствуют о том, что наши читатели — регулярные подписчики и люди, изредка открывающие журнал,— с редким единодушием призывают нас к перестройке. Правда, одни считают, что за последние два года журнал стал хуже, и потому интерес к нему катастрофически падает, другие делятся конкретными соображениями и пожеланиями, третьи ограничиваются крайне невыгодным для публикаций «Иностранки» сравнением с публикациями других журналов.

Конечно, приходят к нам и письма, авторы которых в целом одобрительно отзываются о журнале, дают аналитическую оценку тому или иному произведению. Мне же хотелось бы остановиться лишь на письмах, которые носят, так сказать, программный, методологический характер, в которых задан вопрос: «Каким будет журнал в период революционных перемен?» Постараюсь вкратце поделиться своими соображениями и планами журнала, нисколько не претендуя на глобальные обобщения, поскольку я не главный редактор, а просто старший редактор...

Вот гневное письмо Н. Е. Калайтана:

«Похоже на то, что кроме Грэма Грина (да еще с одной и той же дурацкой фотографией с открытым ртом) у вас в редакции англоязычных писателей не знают. Прочитал подряд 24 книжки вашего журнала и считаю, что у вас неверная стратегия. Нужно выбирать то, что называется «гвоздем сезона» на Западе, и быстро переводить. А так вы насаждаете провинциализм и ложно понимаемый академизм. Везде пытаются улучшить дело, и только редакция «Иностранной литературы» в перестройке не участвует. Это потому, что больше смотрим «за рубеж»?»

Как мы относимся к «гвоздям сезона», я скажу чуть позже. А сейчас о более важном, что имеет к зарубежной литературе косвенное отношение. Отклики, даже резко критические (но не столь грубые по форме, как у кандидата наук Н. Калайтана) — факт положительный: судьба журнала, знакомящего советских людей с мировой культурой, далеко им не безразлична, несмотря на то что круг их интересов переместился сегодня в другую область. Сейчас, когда мы стали наконец вслух говорить о том, что слишком долго держали как бы «про себя», внутри, говорить о том, о чем нужно было в полный голос говорить еще и десять, двадцать и пятьдесят лет назад, когда стали достоянием читателя произведения, лежавшие под сукном в силу «разных» причин, первостепенное, насущное значение приобрели для нас н а ш и отечественные проблемы и — соответственно — произведения, поднимающие их.

При постоянном дефиците духовности, нравственных и эстетических ценностей в годы застоя читатели, естественно, пытались найти ответы на интересующие их вопросы в зарубежных книгах. Теперь мы, не страшась и не таясь, ищем ответов на вопросы, касающиеся экономической, нравственной, идеологической жизни нашего общества, которые совсем недавно задавали шепотом друзьям. Парадоксальность предшествующих лет, на мой взгляд, заключается в том, что, стремясь сказать всю правду «о них», умалчивая многое о себе, советская литература и журналистика очень часто теряли своего читателя, который с большей охотой тратил время на «боевичок с убийствами», чем на наши солидные эпические повествования о комсомольских стройках. Парадоксальность нашего положения заключалась еще и в том, по-моему, что мы больше были осведомлены о жизни, страданиях и надеждах, скажем, республики Мозамбик, об истории Гражданской войны Севера и Юга США, чем о том, что происходило и происходит у себя дома. Теперь ограничения, запреты, порой непонятно кем и по какому поводу наложенные, сняты. С опозданием в пятьдесят лет стали фактом нашей — и мировой! — культуры «Ювенильное море» и «Котлован» А. Платонова, «Реквием» А. Ахматовой. Мы читаем Айтматова, Распутина, Гранина, Трифонова, Рыбакова. Мы обмениваемся книгами, журналами, газетами, мы боимся пропустить, не достать, не узнать... Это не литературный, не книжный, не эстетический голод. Это гражданский и духовный прорыв — к воскрешению памяти, совести, любви к отчизне.

Посудите сами, можно ли укорять сейчас человека, который предпочитает гневную публицистику Бориса Можаева и Виталия Коротича документальной прозе Нормана Мейлера или Мартина Вальзера! Значит ли это, что талант и общественная значимость творчества этих зарубежных писателей меньше, чем Можаева и Коротича?!

Пройдет какое-то время, и все поверят в необратимость перестройки, в то, что нет больше почвы для внутренней эмиграции,

что не надо мимикрировать, улыбаться, тайком читать Василия Гроссмана, пройдет какое-то время — и обретут равновесие, гармонию слово и мысль, слово и дело. Наши журналы (старая российская традиция: лицо литературы, культуры определяли ежемесячные издания, редактировавшиеся А. С. Пушкиным, В. Белинским, Н. Некрасовым) выполняют именно эту миссию.

В силу объективных причин интерес к зарубежной культуре сейчас упал, о чем свидетельствует редакционная почта. Мало откликов на публикации произведений латиноамериканских авторов, писателей из стран Азии и Африки...

Но конечно же, из этого не следует, что мы, редакционные работники, можем спокойно ждать, когда ветер подует в нашу сторону. Он и не должен менять своего направления, просто через год-два читатель сможет с одинаковыми критериями подходить к отечественной и зарубежной культуре, снова вслушиваться в голоса писателей других стран.

А теперь по существу нашей стратегии и тактики: как мы видели, Н. Е. Калайтан посоветовал нам печатать гвоздевые материалы, дабы избежать провинциализма. Но какие «гвозди» интересуют автора? Романы Агаты Кристи, Яна Флеминга, упорно лидирующие годами в списках бестселлеров? Псевдоисторические остросюжетные романы, пользующиеся устойчивым коммерческим успехом? Да, есть читатели, которые хотят именно этого. Но есть и другие. К примеру, Козак В. Н. составил такой рекомендательный список: А. Мердок, А. Моравиа, П. Уайт, М. Этвуд, Дж. Фаулз, Дж. О'Хара, Дж. Апдайк, Дж. Боллард. А читатель, подписавшийся инициалами В. Д., просит напечатать романы Б. Виана, А. Моравиа, Г. Гессе, С. Дельбланка, У. Стайрона, Дж. Оутс, Х. Кортасара, новый роман Гарсиа Маркеса, продолжить знакомство с литературным наследием Д. Г. Лоуренса.

Как никогда высок интерес читателей к жанру публицистики. Процитируем письмо Кузьминой Т. В. из г. Барнаула:

«Прочитала подборку писем читателей в № 7, и меня охватило неудержимое желание написать.

Поблагодарить вас за ответственную работу, за заботу о наших читателях. Последние годы журнал стал интереснее, если раньше ожидание связывалось с публикацией очередного остросюжетного романа, то теперь чтение связываешь с приятной возможностью выполнить любимую работу, дающую «хлеб» сердцу и уму, почву для формулирования собственного мнения, для культурного роста. Особенно нравится то, что материалы подобраны так, что каждый берет себе ровно столько, сколько ему по силам, и при этом не чувствует себя обездоленным.

Не имея в запасе достаточной эрудиции, чтобы высказать свое восхищение работой отдела публицистики, скажу только, что это самое важное, самое интересное для меня. Хотелось бы увидеть освещенной тему «Банкиры Америки и военно-промышленные комплексы», как действует этот механизм? Хотелось бы узнать не изречения политиков, а логически построенные выводы... Чтобы понимать проблемы разоружения не как лозунги дня, нужно знать первопричины».

Далее Кузьмина Т. В. пишет, что самой заметной публикацией года она считает работу Лоуренса Питера «Почему дела идут вкривь и вкось...»: «Вот что хочется читать и перечитывать, как «учебник жизни».

По-моему, Кузьмина Т. В. ответила на волнующий нас вопрос, что же печатать, чтобы это не отвлекало от происходящих у нас в обществе событий, а помогало лучше в них разобраться, ибо наша духовная традиция коренится в литературе гражданского звучания, высочайшие образцы которой до сих пор служат и нашему и зарубежному читателю примером того, как о суровых и пошлых буднях писали Достоевский, Салтыков-Щедрин, Чехов. Книга Лоуренса Питера точно бьет в цель: автор развенчивает современную бюрократическую управленческую систему.

Американский писатель Гор Видал прислал нам свой ответ на анкету, которую мы разослали видным деятелям литературы и искусства. Он пишет, в частности, что «писатель отражает жизнь, и если он делает это точно, общество может изменить направление своего развития. Мы, писатели, должны быть для общества системой сигнализации тревоги...» Наверно, потому с особым доверием относимся мы к писательскому слову, что оно — «сигнал тревоги» о происходящем вокруг нас.

Наша читательница, москвичка Е. Шустер, пишет:

«Очень благодарна вам за публикацию «Бесед в редакции». О творчестве такого видного и всемирно известного писателя, как Габриэль Гарсиа Маркес, нам известно было мало. И не только потому, что его романы достать трудно, но и потому, что и понимать их нам, людям с совершенно другим восприятием мира, не менее трудно.

Однако высказывания в «Беседах» о нем («ИЛ», 1987, № 7) оказались исключительно полезными для этой цели. Разница в концепциях европейцев и латиноамериканцев по основным вопросам жизни была освещена с предельной ясностью. Особенно доходчивым было и с моей точки зрения, и также по мнению целого ряда моих друзей и знакомых — любителей литературы — выступление Л. Синянской».

А. Афонин полагает, что на смену эпическим формам пришли миниатюры, притчи — словом, более сжатые формы:

«В 5-м номере вашего журнала за нынешний год чрезвычайно интересными мне представились китайские миниатюры, опубликованные вами в «Антирубрике», очень любопытная информация и во вступлении, написанном Н. Спешневым.

Главный интерес вызвал сам жанр микрорассказа (очень короткого рассказа). В этой связи хотелось бы высказать редакции пожелание, во-первых, *почаще печатать произведения этого жанра* (места, к счастью, он занимает немного), во-вторых, *хотелось бы почитать об этом жанре хорошую, добротную обзорную статью — каково положение, история, значение этого жанра в*

иностранной литературе, особенно, конечно, современной.

Насколько я могу судить, с учетом всплеска за последние десятилетия короткой формы (ее, пожалуй, нельзя назвать рассказами) в советской литературе (например, «Мгновения» Бондарева, «Камешки на ладони» Солоухина и т. д.), этот жанр вызван самим временем (у Н. Спешнева: «...в конце 1983 — начале 1984 года впервые появились рассказы-миниатюры...»)».

Доцент Кировоградского пединститута Хрипун В. А. отмечает статью А. Парина: «В 4-м номере вашего журнала за этот год в разделе «Вопросы перевода» мое внимание привлекло выступление А. Парина, точнее, та его часть, где говорится о подготовке к публикации лирического наследия великого английского поэта Джона Донна. Разделяю пафос переводчика». Так что упрек тов. Калайтана в «ложном академизме» вряд ли справедлив. Трудность заключается, по-моему, в том, что один периодический журнал зарубежного профиля не может удовлетворять всем вкусам. Что греха таить: многие ли у нас знакомы с поэзией Джона Донна? Георга Тракля? К столетию этого ярчайшего поэта Австрии, современника Рильке, мы готовим публикацию его стихов и статью С. Аверинцева.

Нас часто упрекают в погоне за легким успехом, который мы надеемся снискать произведениями типа «Мертвая зона» и «Челюсти». Да, эта беллетристика вряд ли оставит след в мировой литературе. Но и такое облегченное чтение находит спрос — нас ведь не удивляет, что одни читают «Новый мир», а другие — «Молодую гвардию»?! Будем уповать на перспективу нескольких журналов типа «Иностранки». Теперь о двух письмах программного характера. Упомянутый уже тов. Козак пишет нам:

«Перестройка всех сторон жизнедеятельности человека, очищение общества от страха и бесправия, продвижение новых инициатив — вот дух нашего времени.. Мне бы хотелось узнать, как понимает перестройку редакция вашего журнала? Какие «белые пятна» откроет нам «Иностранка»?»

Думаю, что одним из главных принципов в выработке стратегии журнала станет пересмотр критериев отбора. Мы научились шире подходить к понятию «гвоздевого» произведения: расширили рамки хронологические (ибо век XX не может восприниматься вне контекста мировой культуры нового времени) и — что куда важнее! — эстетические. Мы рассматриваем переводы фрагментов «Улисса» Джеймса Джойса, прозу и пьесы Сэмюэля Беккета, антиутопии Олдоса Хаксли и Энтони Бёрджесса романы Томаса Вулфа, Умберто Эко, Генриха Бёлля, Франца Кафки, Дос Пассоса, В Набокова, произведения, к которым все предыдущие годы мы робко приглядывались.

С другой стороны, конечно же, мы будем гораздо строже подходить к отбору переводчиков (кстати, в одном из ближайших номеров мы собираемся опубликовать «круглый стол» переводчиков, который недавно состоялся в редакции).

Заслуживает, мне кажется, внимания предложение анонимного В. Д. Он, к примеру, пишет, что необходим регулярный, откровенный диалог членов редколлегии (в том числе и главного редактора) с читателями о планах, перспективах развития журнала, возникающих трудностях: «Нужен контакт, который создал бы атмосферу взаимопонимания, помог советской читающей аудитории полнее познакомиться с лучшими произведениями зарубежных поэтов и прозаиков. К сожалению, на сегодняшний день он сводится к ежегодным спискам планируемых публикаций (без комментария, почему то, а не другое)...»

Отдел критики планирует поместить обзор по следам ответов читателей на вопросы о перестройке работы журнала. Может быть, имеет смысл предоставлять возможность отвечать на конкретные письма редакторам отделов журнала и более подробно знакомить с планами.

Упомянутый нами В. Д. — против публикации глав, отрывков из произведений: «Я категорически против поделок от литературы, смакующих порнографию, насилие, и т. п., но я и против того, что одно и то же произведение в одном издании печатается с купюрами, в другом — полностью». В. Д. крайне недоволен тем, что́ мы публикуем: «Серое» количество надежно перекрыло с вашей помощью путь качеству. Возьмем, к примеру, журнал «Новый мир». По одному переводному роману в год, но какому! Там Г. Грин и Г. Грасс, У. Стайрон и Дж. Апдайк, а у вас отрывки из того же Стайрона да иллюстрация низкопробных «Челюстей». Как ваша работа напоминает недавнюю практику приобретения и проката зарубежных кинофильмов!»

Пафос письма был бы понятен, если бы его автор строже придерживался фактов. Почему-то он не заметил «Силу и славу» Грина, переводы из Мюссе и Рембо В. Набокова, романы Н. Саррот, К. Воннегута, В. Мысливского, произведения М. Фриша, К. Хайна, Кристы Вольф... Но не в этом суть, а скорее всего в том, что есть читатели, которые напоминают персонажей сказки, неустанно повторяющих: пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что...

На недавнем совещании советских американистов, состоявшемся у нас в редакции, нам было предложено к публикации много романов ведущих мастеров слова. Но какие пять следует выбрать из них, чтобы не исказить картину американской литературы, удовлетворить запросы читателя, а главное — не оказаться снова в стороне от перестройки? Кто скажет нам, что нужно журналу: «Лолита» В. Набокова или «Песнь палача» Н. Мейлера?! Мне это, простите, кажется легкомысленным — наша миссия не за «гвоздевыми» романами гоняться, а вести последовательную просветительскую работу, чтобы журнал «Иностранная литература» был примером литературного, творческого подвижничества...

А. НИКОЛАЕВСКАЯ

◆

Среди книг

Издано в СССР

СОКРОВИЩНИЦА РУССКОГО ПЕРЕВОДА

Зарубежная поэзия в переводах В. А. Жуковского. Тома 1—2. Составление А. Гугнина. Москва, «Радуга», 1985.

Было время — и не столь уж давнее,—когда над наследием Жуковского тяготела некая полуопала. Из статьи в статью, из монографии в монографию переходил один и тот же бледный и бескровный призрак «тишайшего Василия Жуковского» (как его именовали некоторые исследователи) — обожателя царей, радетеля престола и стародавнего благочиния, бесплотного мечтателя, платонически вздыхавшего об утраченной возлюбленной. Не все в этом облике было ложью, но бывает полуправда, которая хуже заведомой лжи. Историческая ограниченность Жуковского в подобных исследованиях явно преувеличивалась и затмевала его исторические заслуги. Ныне творческий гений Жуковского как бы предстал в новом освещении. Отрадные свидетельства тому — книги о Жуковском Майи Бессараб и В. Афанасьева (она вышла недавно в серии «Жизнь замечательных людей»). В этом же ряду сразу заняло свое место и новое двухтомное собрание переводов поэта.

К концу XVIII века, накануне дебюта Жуковского русская литература все еще отставала от литератур Запада: жесткие каноны классицизма уже были ей тесны, но власть их была велика. И неудивительно: в то время даже при просвещенной государыне Екатерине II государственная власть все же чинила преграды живому духовному общению России с литературами Запада. Обновление пришло с неожиданной стороны — через переводы Жуковского. Он мощно раздвинул духовные горизонты русской словесности, преобразил словарь русской поэзии, ее художественный арсенал и ритмы, органически приобщив ее к творчеству Гёте и Шиллера, Голдсмита и Вальтера Скотта, Байрона и Томаса Мура. В переводах Жуковского были явлены новые жанровые открытия: до его переводов Россия, например, почти не знала баллады. Наконец, Жуковский подготовил своими переводами явление Пушкина и всей пушкинской плеяды, создав новый, необычайно живой и гибкий литературный язык.

Но и этим не исчерпывается значение Жуковского. Он был убежденным приверженцем творческого перевода, смелого «соперничества» с оригиналом. Благодаря его изобретательности, чуткости к новым ритмическим формам, его переводы очень часто опережали время, пролагая пути русской поэзии будущего. Обратим внимание на перевод баллады Роберта Саути «Суд божий над епископом»:

Были и лето и осень дождливы;
Были потоплены пажити, нивы;
Хлеб на полях не созрел и пропал;
Сделался голод: народ умирал.

Как тонко подметил талантливый историк литературы Цезарь Вольпе, погибший в годы войны, Жуковский здесь как бы предвосхищает «Несжатую полосу» Некрасова:

Поздняя осень. Грачи улетели.
Лес обнажился, поля опустели...

Может быть, самый знаменитый перевод Жуковского — «Шильонский узник» Байрона. Еще Белинский писал о нем: «Каждый стих в переводе «Шильйонского узника» дышит страшной энергией... Здесь в первый раз крепость и мощь русского стиха явилась в колоссальном виде и до Лермонтова

более не являлась». Особое мужественное звучание четырехстопных ямбов достигнуто тут четким выделением ударных слогов, которые завершают каждую строку (так называемая «мужская рифма», выдержанная на всем протяжении поэмы), создавая впечатление неослабевающей напряженности. Этот стих «Шильонского узника» воскрес в поэме Лермонтова «Мцыри». Воздействие Жуковского на русскую поэзию продолжается и дальше — вплоть до Бальмонта и Блока.

Еще менее замечено, что переводы Жуковского нередко обогащали русскую поэзию новой и важной для первых десятилетий XIX века общественной проблематикой. Вряд ли это происходило сознательно. Известно, что, восхищаясь Байроном, Жуковский в то же время был несколько встревожен его бунтарским духом и простодушно желал английскому поэту «более религиозных идей», необходимых, по его мнению, для человеческого счастья. Но свойственная Жуковскому-переводчику глубокая увлеченность оригиналом оказывалась сильнее его предубеждений. В его переводах часто возникают темы и сюжеты просто немыслимые в его собственном творчестве. В «Опустевшей деревне» Голдсмита, изображавшей страдания и бедствия разоренных крестьян, русский читатель находил близкие и понятные ему тревоги. В некоторых переводах Жуковского прославляется суровое возмездие неправедным властителям («Три песни» Уланда или тот же «Суд божий над епископом»), причем художественная впечатлительность Жуковского была столь сильна, что в переводе из Уланда тема праведного гнева и возмездия многократно усилена по сравнению с оригиналом.

Новое — и во многом, как мы увидим, уникальное — издание переводов Жуковского является ярчайшим свидетельством творческой мощи поэта, которого Пушкин называл «гением перевода», и редкостного разнообразия его духовных интересов, того «радушия благоволенья», которое зорко подметил Тютчев, посвящая стихи памяти поэта.

Переводы Жуковского собраны воедино, продуманно распределены по странам и авторам, и главное, начиная с Гомера и Вергилия, печатаются вместе с оригиналами. Это делает издание незаменимым не только для исследователей и любителей поэзии, но и для молодых филологов, открывающих для себя мир науки и искусства, для начинающих свой путь поэтов и переводчиков. Мы и сами при этом как бы входим в мастерскую Жуковского, пристально следя за его переводческой работой. Готовивший это издание А. А. Гугнин (ему принадлежит краткая, но содержательная статья и значительная часть комментариев) проявил здесь и глубокие познания, и подлинную увлеченность.

Наследие Жуковского-переводчика почти необозримо, и даже в двухтомном издании необходим был известный отбор. Сюда не вошли, в частности, вольные переводы Жуковского из восточной — индийской и иранской — поэзии. Однако красочная поэтическая панорама двухтомника достаточно обширна. Здесь и поэты Эллады и Рима (отрывки из «Илиады», «Одиссеи» и «Метаморфоз» Овидия), и прославившие Жуковского «Сельское кладбище» Грея, «Замок Смальгольм» Вальтера Скотта, уже упомянутые баллады Р. Саути и «Шильонский узник». Здесь и немецкие поэты: Клопшток, Бюргер, Гёте, Уланд и австриец Цедлиц со зловещей романтической балладой «Ночной смотр». Мы можем оценить также выполненные Жуковским ранние переводы из лирики испанского Возрождения (Сервантес, Лопе де Вега) и таких французских поэтов, как Парни и Мильвуа, позднее увлекавших лицеиста Пушкина. Переводы Жуковского из Гёте, Шиллера, Бюргера вписали новую главу в историю русской литературы. Известна бурная дискуссия о переводе бюргеровской «Леноры», в которой приняли участие Гнедич и Грибоедов и о которой почти двадцать лет спустя вспоминал Пушкин. У истоков русской баллады стоят переводы из Шиллера: «Ивиковы журавли», «Поликратов перстень», «Рыцарь Тогенбург», «Элевзинский праздник» и другие. С подлинным вдохновением воссоздал Жуковский в них свойственное Шиллеру сочетание эпической мощи с неослабевающим драматизмом. Известно, что в наше время появились переводы баллад Шиллера, которые стоят ближе к оригиналу. Лозинскому и Заболоцкому удалось передать и те черты оригинала, которые Жуковский, руководствуясь эстетическими понятиями своего времени, сознательно смягчал или устранял. Таковы жестокие, варварские черты античности, запечатленные в «Поликратовом перстне», или четкая наглядность описаний в «Ивиковых журавлях». Но это не умаляет исторической заслуги Жуковского, тем более что его переводы покоряют нас и до сих пор не только гармонией стиха, явно предвосхищающей Пушкина, но и могучей, доныне непревзойденной силой, с которой поэт передал глубочайшую человечность Шиллера:

Ты ль, Зевесовой рукою
Сотворенный человек?
Для того ль тебя красою
Олимпийскою облек
Бог богов и во владенье
Мир земной тебе отдал,
Чтоб ты в нем, как в заточенье
Узник, брошенный, страдал?

Гуманизм Шиллера и его вдохновенного истолкователя Жуковского отнюдь не стал музейной реликвией. С необычайной силой звучат для нас трагические строфы «Элевзинского праздника», воскрешающие кровавые первобытные времена:

Плод полей и грозды сладки
Не блистают на пирах;
Лишь дымятся тел остатки
На кровавых алтарях...

Это — как бы предостережение людям иного века, которые не должны допустить новых «кровавых алтарей», новой братоубийственной бойни. Несравненная мелодичность стиха Жуковского, венцом которой является его баллада «Эолова арфа», выразилась в его переводах из лирики Гёте («Утешение в слезах», «К месяцу»).

Перевод всегда существует в сложном контексте национальной культуры, он не может не меняться вместе с ней. После-

дующие поколения поэтов, начиная уже с младших современников Жуковского — Тютчева (связанного с ним тесной дружбой и с восторгом слушавшего перевод «Одиссеи» в чтении самого Жуковского) и Веневитинова,— исповедовали во многом иные принципы перевода, но золотая нить той традиции, которую с таким упорством прял Жуковский, не оборвалась и, непрерывно обновляясь, дошла до нашего столетия. Блок и Лозинский, Пастернак и Тынянов, как и еще совсем живые в нашей памяти Левик и Гинзбург, продолжали — в широком историческом смысле — дело Жуковского. Было бы непростительным заблуждением замыкать наследие Жуковского на прошлом, относиться к нему как к архивному достоянию. Достичь величия Жуковского — задача вряд ли возможная, но его пример должен вдохновлять всех, кто честно и ответственно приступает к труднейшему делу поэтического перевода.

Г. РАТГАУЗ

Издано за рубежом

ВЕНГРЫ ВСПОМИНАЮТ

Поначалу я намеревался порассуждать на тему о том, что́ сейчас читают венгры. Мгновенный ответ подворачивается чересчур легко: ничего не читают. Некогда им читать. Даже по неполным статистическим данным, четвертую часть всего времени, отведенного на общественно полезный труд, мои соотечественники отрабатывают, так сказать, «по совместительству», то бишь по окончании основной службы. В конце рабочего дня, удлинившегося таким образом на 33%, человеку дай бог дотащиться до телевизора. Конечно, есть люди, которые читают. Но что именно? Например, специальную литературу: ведь на работе по совместительству требования строже, тут уж нельзя отставать от уровня, заданного конкуренцией. Читают и детективные романы — в качестве отдыха и развлечения — или научную фантастику: плохо ли из сумятицы нынешних времен заглянуть в светлое будущее! Или романы в картинках: текста в них немного, и они чем-то напоминают телепередачи, с той только разницей, что даже нет нужды выключать телевизор, книга сама вываливается из рук, когда засыпаешь.

Однако эти мои мысли вслух — всего лишь нагромождение банальностей, и для того, чтобы услышать их, не стоит прибегать к примеру Венгрии. Дотошные культурсоциологи во всех странах доказали, что мы приближаемся к новому виду неграмотности. Чтением занимается лишь очень незначительное число людей, да и те давно уже охотятся за информацией, а не за эмоционально-художественной встряской, а потому большим страстям предпочитают мелкие, но искусно подобранные факты. Интерес к художественной литературе среди венгерских читателей слабеет, зато немало увлекательных работ выпустили в свет за последнее время экономисты, социологи и историки. А между тем венгерская историография совсем недавно открыла для себя способ изложения, доступный и широкой публике, так что теперь видные профессора с удивлением наблюдают, сколь обширную аудиторию удалось завоевать их работам, посвященным всевозможным периферическим вопросам. Однако это радостное удивление тотчас переходит в другую крайность, когда выясняется, что на общественной арене время от времени появляются добровольные историки, которые вызывают на дуэль профессионалов, невзирая на ученые степени, должности и ранги последних. Ничего не попишешь: история заделалась ходовым товаром, а в таких случаях неизбежно оживляется конкуренция. Венгры в настоящее время приохотились к воспоминаниям.

Не впервые испытывают они это пьянящее увлечение. Некогда, в период буйного расцвета национализма, у нас тоже истолковывали всемирную историю таким образом, что мы оказывались в прямом родстве не только с Адамом или Ноем, но и Геркулесом. Нынешние мемуаристы, однако же, не строят подобных воздушных замков (хотя мода на такого рода сооружения пока еще не совсем исчезла в Европе). Прошла и мода на дегероизацию. Нам удалось постичь, сколь горек процесс, в результате которого мы сначала превращаем людей в кумиров, идолов, а затем низвергаем их в грязь с тем, чтобы впоследствии, подняв их и отмыв от грязи, вновь придать им человеческий облик. Теперешние новомодные историки чуть ли не козыряют своей достойной всяческих похвал объективностью. Единственное, на что им хотелось бы с помощью весьма деликатных аллюзий намекнуть читателю: предшествующие исследователи видели (и представляли читателю) то или иное явление в искаженном свете, и вот сейчас, мол, настал момент восстановить пошатнувшуюся было истину. Не будем ставить это в укор прославленным авторам, ведь без такой убежденности никто не взялся бы за сей поистине сизифов труд: в который раз заново пересказывать тот или иной эпизод, извлекая его из пыльных напластований истории. И скрещиваются воображаемые клинки, ведутся нескончаемые споры о том, действительно ли пыталась сохранить эластичность кожи, омывая себя кровью замученных насмерть крепостных девушек, некогда потрясшая своей жестокостью весь мир графиня Эржебет Батори, или же она пала жертвой концепционного процесса, затеянного претендентами на ее наследство.

Однако почтенной публике, разумеется, не безразлично, о чем именно «вспоминают» писатели-историки. Не так давно чрезвычайный успех вызвала книга Иштвана Барта, воссоздавшего трагический облик кронпринца Рудольфа, наследника Франца Иосифа. Эта незаурядная и в мировом масштабе история наделала шума уже в свое

время; да и в самом деле трудно было оставить без внимания факт, когда наследник региональной мировой державы кончает жизнь самоубийством, ставя нелегкую задачу перед династией, стремящейся сохранить естественную преемственность. Скандальный характер ситуации усугубило то обстоятельство, что post mortem обнаружилось и нарушение супружеской верности, поскольку Рудольфу удалось уговорить свою очередную пассию, семнадцатилетнюю баронессу Марию Вечера, сопроводить его на тот свет. Барт с элегантной скупостью дозирует сенсации, исподволь рисуя при этом картину жизни Австро-Венгерской монархии, где количество самоубийств достигло столь высокого уровня, что и поныне (почти семьдесят лет спустя) государства, некогда входившие в состав империи, возглавляют эти мировые статистические показатели.

В книге Барта все пороки и недостатки загнивающей империи становятся явными. Читателя, абсолютно во всем согласного с автором, с неодолимой ностальгией влечет к себе эта тема. К концу первой мировой войны с невиданной силой взорвалась и распалась на части гигантская империя, удерживать единство которой оказывалось все труднее, и долгое время отовсюду слышались лишь победно ликующие голоса освобожденных народов. Теперь же почти во всех государствах, некогда составлявших Австро-Венгерскую империю, можно уловить ностальгическое стремление отыскать хоть что-то ценное в последних годах существования империи. Жители таких всемирно известных культурных центров, как Вена, Прага, Будапешт, Краков и Загреб, вопреки пройденному с тех пор колоссальному развитию во многих отношениях могут с завистью взирать на прежнее положение своих городов. Тогдашние прогрессивные слои стремились вырваться из относительно цивилизованной тюрьмы, то есть из-под среднеограниченной императорской власти. Однако современные мемуаристы задним числом все чаще пытаются выразить согласие с теми, кто мечтал о демократической конфедерации взамен клетки для народов, натравливаемых друг против друга. Разумеется, все знают, что историю не повернуть вспять, однако уроки ее где-нибудь и кому-нибудь могут и пригодиться.

По странной случайности именно Иштван Барт привлек мое внимание к одной необычной книге; мне кажется, она никогда не будет переведена на другие языки, зато великолепно позволяет обрисовать подлинный характер нашей национальной памяти. Воспоминания Дюлы Ийеша — одного из крупнейших венгерских поэтов и ведущей фигуры в литературе последних сорока лет — вызвали столь же страстное внимание, как и лучшие его художественные произведения. Уйму интереснейших подробностей содержат и мемуары видного поэта Иштвана Ваша, очередная серия которых вновь появилась на страницах нашего ведущего литературного журнала «Кортарш». Я привожу все эти примеры в доказательство того, что и у нас мемуарная литература в моде, нам известны мировые образцы этого жанра: большим успехом пользовалась у нас книга Эренбурга «Люди, годы, жизнь», и вызвали разочарование ретроспекции генерала де Голля, нагоняющие скуку своей солдатской пунктуальностью. Книга, о которой я заговорил, дает читателю нечто иное, нежели позволяет жанр сам по себе. Писатель-мемуарист вообще-то является политиком, стратегом, он знает, каким именно он хочет создать свой облик и заставить поверить в него читателей, а в зависимости от этого и производит отбор деталей, приходящих на память. Если в произведении чрезмерно чувствуется обусловленная такой тенденциозностью самоцензура, то оно становится скучнее; если же автор не стесняется приоткрыть свое нутро, содержание оказывается захватывающим.

Мемуары Андраша Фодора созданы отнюдь не по канонам. Сдержанный, тонкий поэт, переводчик, музыковед неожиданно швырнул бомбу, взорвавшуюся на безмятежной арене литературной жизни. В книгу под названием «Тысяча вечеров с Лайошем Фюлепом» включены воспоминания о крупном ученом, эстете и выдающемся педагоге, который питал к Фодору отечески-дружественные чувства. Андрашу Фодору после войны посчастливилось попасть в знаменитый венгерский коллегиум имени Этвеша, основанный Лорандом Этвешем (всемирно известным изобретателем гравитационного вариометра и в ту пору министром просвещения) в честь своего отца Йожефа Этвеша, видного писателя и столь же видного министра просвещения. Коллегиум на манер французской Эколь Нормаль был призван формировать венгерскую духовную элиту, из числа его питомцев вышли такие мировые знаменитости, как, например, композитор Зольтан Кодай. Фодор становится студентом коллегиума в те годы, когда в результате догматической культурной политики это заведение было ликвидировано как «средство упрочения индивидуализма». Однако возникшие там дружеские связи сохранились, и ученики Лайоша Фюлепа продолжали навещать своего учителя вплоть до его смерти, последовавшей в 1971 году.

Жизнь Лайоша Фюлепа — сама по себе готовый роман. Молодой ученый, выходец из мелкобуржуазной среды начала века, он постоянно путешествует по свету, несколько лет проводит в Италии, где он принят в высшие круги и на правах великосветского человека сражается в поединке на саблях с братом самого папы римского, а затем, после буржуазной революции 1918 года, пользуясь своими связями, развивает в Италии самостоятельную дипломатическую деятельность, покуда обескураженный этим президент республики Михай Каройи не отзывает его на родину. Но о Фюлепе той поры в книге рассказывается относительно мало. Главный герой — сам Андраш Фодор, который с ранних юношеских лет ведет дневник, то есть изо дня в день регистрирует все, что с ним происходит. Для него это не просто дань привычке: титан, под личиной скромности скрывающий гётевское самомнение, за неимением других возможностей берет на себя роль Эккермана и отмечает по крупицам все свои дни, сохранив их для потомков от забвения.

Фолиант объемом в 110 листов — собственно говоря, лишь часть дневника, подвергнутая строгому отбору. Однако чувствительный поэт не в силах отступиться от своего «я», и вскоре мы узнаем о том, кому понравились его стихи, а кто их отверг и кто поскупился на похвалы. И поныне свежей раной горят нанесенные десятки лет назад обиды, ведь Андраш Фодор не вспоминает, а подбирает и переписывает уже готовый материал. Зато масса сухих подробностей превращается в документ несравненной ценности. Но эту книгу нужно читать умеючи. Если читатель не поленится отметить в памяти предыдущие эпизоды, впоследствии из них можно составить великолепные истории, подобные записям на спичечном коробке, какими Паустовский очаровывал читателей. Например, 17 сентября 1962 года (здесь все доводится до читательского сведения с точной датировкой) венгерский писатель Дюла Хернади, который затем в качестве соавтора сценариев Миклоша Янчо станет фигурировать во всех энциклопедиях киноискусства мира, получил обратно свой роман из издательства «Сепиродалми». В сопроводительном письме автор был поставлен в известность не только о том, что договор с ним расторгнут и с него требуют вернуть аванс, поскольку его произведение отличается «антисоциалистической и антисоветской направленностью, глубочайшим фанатизмом, недоброжелательством и изощренной ненавистью»; из письма явствовало также, что директор издательства, заклеймив автора такими обвинениями, в сущности препятствует приему Хернади в Союз писателей. Опасаясь дальнейших враждебных акций, Хернади два месяца спустя отправляется к Беле Кёпеци, тогдашнему генеральному директору Управления издательств, а ныне министру культуры, пожаловаться на сложившуюся ситуацию. Беседа двух на редкость образованных людей вскоре переходит на Ясперса и актуальные проблемы экономики. Во время разговора, как бы мимоходом, генеральный директор, пользуясь тем, что его собеседник — экономист и влиятельное лицо во Всевенгерском плановом управлении, просит его о срочной дотации в десять миллионов форинтов на реконструкцию устаревшей сети книжных магазинов. Хернади, разумеется, с готовностью откликается на эту просьбу, а генеральный директор, продолжив теоретический экскурс, обещает самолично прочесть криминальное произведение. Сама книга ему не нравится (она выходит в свет лишь в 1981 году, оттесненная на задний план прочими, куда более скандально нашумевшими произведениями Хернади), однако дружеский жест не остается без ответа. Когда до учреждения, где работает Хернади, доходят слухи о волновых кругах вокруг его писательской деятельности, генеральный директор заверяет обращающихся к нему за информацией экономистов, что речь идет о проблемах чисто литературных, а стало быть, Хернади ничто не мешает продолжать свои труды на ниве народнохозяйственного планирования.

Перескакивая со страницы на страницу, сотнями выстраиваются в книге подобные истории, а известные деятели отечественной культуры раздраженно вскидываются, столкнувшись со своими давними суждениями и поступками. Андраш Фодор наверняка знал, какие бури он скликает на свою голову. Друзья, в мрачнейшие периоды 50-х годов обнаружив его пристрастие к ведению дневника, пытались склонить его к прекращению этого занятия и уничтожению записей: ведь попади тогда такой документ в чужие руки, и этого хватило бы для долгих лет тюремного заключения упомянутых в нем лиц. Однако даже угроза полного разрыва с друзьями не могла удержать верного Эккермана от дальнейшей регистрации каждого шага великого гения: ведь сей великий гений существовал лишь в его записях.

Ференц Темеши, один из многообещающих представителей молодого литературного поколения, недавно опубликовал первый том романа «Прах». Читатель был честно предупрежден, что ему вручается первая часть двухтомного романа, над второй частью писатель пока еще работает, однако издательство не сочло нужным заставлять публику ждать, лишая ее почти верной сенсации. И чутье не подвело редакторов. Книгу Темеши вмиг расхватали, но те, кто не успел познакомиться с предварительной журнальной публикацией, приступив к чтению, были несколько ошарашены. Дело в том, что содержание излагается не традиционным способом, а книга представляет собою составленный по всей форме лексикон. Словарные статьи следуют одна за другой, как в именном перечне, типографски оформленные соответственно такому роду литературы. В то же время по содержанию книга является семейным романом, действие которого происходит в Сегеде и охватывает жизнь чуть ли не шести поколений семьи писателя. Идея Темеши — великолепная находка. Один из недостатков романа заключается в том, что читатель от развлекательного давнего прошлого слишком медленно добирается до более современных, а потому и волнующих разделов повествования. Словарная структура обеспечивает автору полнейшую свободу передвижения в пространстве и времени, он связан лишь алфавитным порядком статей, а стало быть, и возможным совпадением случайностей. Думаю, что будущим переводчикам книги придется немало поломать голову, однако результат, по-видимому, оправдает все труды.

О чем же вспоминает Темеши? Обо всем и, можно сказать, с большой точностью. По крайней мере он стремится к точности, и поэтому случается, что его бегло расшифрованные герои впоследствии оповещают автора о таких подробностях, о которых даже сам он не знал до сих пор. (Я лично, к примеру, при встрече непременно расскажу, кто однажды ненароком помешал его долгожданному свиданию с девушкой у нее на квартире.) В сущности, если оценивать его произведение по меркам традиционной литературы, то в нем можно увидеть дерзкую попытку начисто отмести все, что мы усвоили и проповедовали относительно создания литературных типов, построения сюжета, развития конфликтов и катарсиса. Однако, по-моему, здесь речь идет совсем о другом. Темеши при помощи своей неповторимо оригинальной идеи пы-

тается передать ту разрозненность, с какою живут в нас воспоминания: в виде кратких и пространных «словарных статей», в виде обрывков воспоминаний, как бы укладывающихся в заглавные слова огромного лексикона нашей памяти, косвенно унаследованного нами от прошлого и пополненного нашими собственными переживаниями. Трудно сказать, позволил ли такой метод читателю всецело погрузиться в стихию романа или же нет. Тем не менее читатели с нетерпением ждали второго тома. Его купили даже те, у кого не было первого. Теперь разрозненные тома и их владельцы в поисках друг друга.

Ясно одно: нынешний венгерский читатель предпочитает «ключевые» романы, предпочитает угадывать за художественным произведением нечто конкретное. А устные каналы информации с параллельной скоростью или обгоняя само произведение, распространяют «ключ» к решению. К примеру, о ком идет речь в рассказе Иштвана Галла «Кафф-ка» [1], я узнал за месяц до того, как смог наконец прочесть его.

Воспоминание не обязательно начинается с процесса художественного творчества, с зарождения писательской карьеры. Петер Эстерхази, в настоящее время наш, пожалуй, наиболее «экспортабельный» писатель, взлетом своей карьеры во многом несомненно обязан семейному прошлому. Среди его предков — блистательная плеяда исторических личностей, из коих наиболее прославился Миклош Эстерхази, в фертюдском дворце которого служил придворным музыкантом Гайдн. Вписывается в эту картину и младший брат писателя, футболист венгерской сборной, который в настоящее время гоняет мяч в Греции. Эстерхази известно, что о нем ходят легенды, он старается поддерживать их, и если источники легенд иссякают, он возрождает их, подбросив какой-нибудь пустячный повод. К примеру, ни с того ни с сего вдруг «отошьет» корреспондентов телевидения, заявив, что он противник всяческих публичных выступлений. Писатель, мол, должен писать, а не языком трепать. И вслед за тем дает интервью западногерманскому телевидению. Однако это несущественные мелочи. Настоящие шутки Эстерхази приберегает для своих произведений. Книги его напоминают симфонии, которые автор оркеструет таким образом, что лишь истинные знатоки способны обнаружить в величайшей какофонии ведущего мелодию. Однако, когда Эстерхази задумал свое лучшее (на мой взгляд) произведение, которое наверняка прочно войдет в фонд венгерской литературы, он попал в трудную ситуацию. Ему захотелось рассказать о смерти и похоронах собственной матери. Здесь неуместны были привычные, оправдавшие себя авторские кривлянья, и Эстерхази изложил эту краткую историю методом чистейшей классической прозы, но для того, чтобы все же не изменить своим принципам последовательного писателя-неоавангардиста, он делит обрамленные траурной рамкой страницы книги на две части: верхнюю, большую часть занимает сама история, а внизу страницы — сплошь крупным шрифтом — помещены всевозможные сноски, которые увлеченный повествованием читатель, как правило, опускает.

Что можно сказать об этой книге, не утомляя читателя пустыми, восторженными восклицаниями? Пожалуй, следовало бы отметить беспощадную хирургическую объективность, с какою Эстерхази в своих воспоминаниях видит самого себя, терзаемого горем, но как бы со стороны. Когда вся семья собирается у одра умирающей женщины, то дети не узнают собственную мать в окруженной капельницами и всевозможными приборами больной, и медицинская сестра «с видом утомленной продавщицы» представляет ее: «Вот ваша мать». Во время похорон ему вспоминается, как в детстве он прислуживал священнику при отпевании, и они, ребятишки, всегда прикидывали, сколько можно «содрать» со скорбящих родственников; он мысленно подвергает такому тесту вдовца-супруга и троих детей. Отец, бывший аристократ, всегда точно знает, кому сколько дать, младший брат — здоровенный детина с чувствительным сердцем — наверняка проявил бы щедрость, сам он долго колебался бы, прежде чем дать какую-нибудь мелочь, а младшая сестра с ледяной твердостью удержалась бы от всяческих подаяний. Обряд похорон — в сущности самозащита. Свершив его, мы делаем первые шаги к тому, чтобы освободиться от памяти об усопшем. Писатель, однако же, кончает свою книгу не на этом. Лишь теперь следуют неизбывные воспоминания: диалоги — подлинные и воображаемые и, наконец, последнее свидание с матерью, когда сын пытается проводить до уборной беспомощную, но по-прежнему не желающую примириться с подкладным судном мать.

Венгры вспоминают. Вспоминают об исторических событиях, о случаях-сплетнях, о жизни и смерти. Говорят, что способность вспоминать — это свойство человеческой натуры. Животное — даже слон — фиксирует в памяти не события, а вызванные этими событиями эмоции: в приятных или отталкивающих запахах, образах. Человеческое воспоминание обладает достоверностью. Писатель способен многое придумать, но вспоминать он может лишь действительность. А точнее, истину. Во всяком случае, истинный писатель.

БЕЛА РИГО

г. Будапешт

Перевод с венгерского
Т. ВОРОНКИНОЙ

[1] Русский перевод рассказа опубликован в журнале «Иностранная литература», № 3, 1987.

◆

Из месяца в месяц

Болгария

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В ПИСЬМАХ

Книги болгарского историка и литературоведа Стефана Памукова пользуются в Болгарии необыкновенной популярностью, а многие из них уже стали библиографической редкостью. Такой успех вполне объясним, если сказать, что главная тема его исследований — это переписка выдающихся деятелей болгарской культуры, искусства, революционно-освободительного движения. Благодаря его кропотливой работе появилась книга «Сто неизвестных писем», пролившая свет на многие малоизученные страницы болгарской истории. Успеху работ способствует и подача материала: оригинал письма, чаще всего не знакомый прежде широкой публике, сопровождается подробным комментарием эрудированного, тактичного исследователя, который нередко привлекает новый, неизвестный материал. Последняя книга С. Памукова «Неизвестные письма Елина Пелина», недавно увидевшая свет в пловдивском издательстве имени Христо Г. Данева, во многом дополняет облик выдающегося писателя-реалиста, посвятившего свое творчество болгарской деревне. За многие годы исследовательской работы Памуков собрал прекрасную библиотеку, украшением которой являются первые сборники стихов Вазова, Михайловского, автографы Е. Пелина, П. Яворова, Г. Милева, З. Стоянова. Сейчас на основе своего собрания ученый готовит экспозицию для широкой публики. На вопрос корреспондента софийского еженедельника «АБВ» о том, почему С. Памуков предпочитает работать именно с письмами, тот ответил: «Это прекрасный мир, позволяющий получать сведения из первых рук. это источник, практически неисчерпаемый в пределах моей жизни».

Венгрия

СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ «САМОГО СЕРЬЕЗНОГО ПИСАТЕЛЯ»

«Исполнилось сто лет со дня рождения выдающегося венгерского писателя Фридеша Каринти, которого поэт Дюла Юхас в свое время назвал «самым серьезным венгерским писателем»,— пишет на страницах газеты «Непсава», критик Карой Цинолтер. Для тех, кто знаком с творчеством Каринти, продолжает он, определение «самый серьезный» на первый взгляд может показаться странным, поскольку этот писатель известен прежде всего как юморист. Однако, характеризуя так Ф. Каринти, Д. Юхас вступил в спор именно с теми, кто склонен был видеть в нем лишь юмориста. Для нас, благодарных потомков, изучающих литературно-художественное и критическое наследие Фридеша Каринти, и сегодня остается загадкой, как одна личность сумела вобрать в себя так много: юморист, прозаик, поэт, драматург, автор удивительных дневников, замечательный критик и эссеист. «Вы пишете так» — самая известная и популярная книга Ф. Каринти, это совершенный образец литературной пародии и одновременно острая критика литературы того периода, считает К. Цинолтер. (В русском переводе отрывки из нее публиковались в журнале «Вопросы литературы», 1985, № 6.) По мнению уже упомянутого нами Дюлы Юхаса, продолжает критик, эта книга стала «роковой» в творчестве Каринти, поскольку она затмила многие другие его произведения. Еще одна вершина творчества Каринти — его проза: романы, новеллы, юморески (см. «ИЛ», 1984, № 7; 1987, № 11). Ныне каждому венгерскому читателю знакомы такие произведения, как «Извините, господин учитель...», «Цирк» и «Встреча с молодым человеком». Последний рассказ, сообщает «Непсава», в этом году был предложен для критического разбора в венгерских гимназиях, более тысячи выпускников выбрали эту тему для сочинения на аттестат зрелости.

В связи со знаменательной датой в венгерской столице было проведено множество мероприятий, посвященных памяти замечательного писателя: был открыт памятник Ф. Каринти, проведен конкурс профессиональных актеров-чтецов, открыта выставка присланных на конкурс лучших рисунков по произведениям Каринти, на сцене театра «Хёкём» была поставлена его пьеса «Волшебное кресло».

Фридеш Каринти.

(Газета «Непсава»)

ГДР

«БОЛЬШОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ»

Исполнилось семьдесят пять лет старейшему писателю Германской Демократической Республики Эрвину Штриттматтеру. В газетах страны опубликованы приветствия Центрального

Телевизионный фильм по мотивам книги документальной прозы Стефана Хермлина «Первая шеренга» снял режиссер Петер Фогель. В фильме рассказывается о шести участниках антифашистского Сопротивления, среди которых была и молодая женщина — Лило Герман. Все шестеро погибают, не дожив до победы над фашизмом.
На снимке: актриса Иоганна Шаль, исполняющая роль Лило Герман, в телевизионном фильме «Первая шеренга».

(Газета «Нойес Дойчланд»)

Комитета Социалистической единой партии Германии, Государственного совета и Совета министров ГДР. Писатель удостоен высокой награды — почетного звания Герой Труда.

Журнал «Нойе дойче литератур» поместил высказывания известных литераторов ГДР о творчестве Эрвина Штриттматтера: Иоахима Новотного, Хорста Безелера, Бенно Плюдры, Герхардта Хольц-Баумерта.

«Тонкий наблюдатель жизни» — так назвал свою статью, посвященную юбилею Эрвина Штриттматтера, в еженедельнике «Зоннтаг» критик Руно Мельхерт. Мельхерт подчеркивает, что романы, повести, рассказы, пьесы, притчи, афоризмы выдающегося мастера слова на протяжении многих лет неизменно привлекают внимание читателей и критики, часто вызывают оживленные споры и дискуссии.

«Штриттматтер прошел большой жизненный путь, он сменил много профессий. То, о чем он рассказывает, часто пережито им самим, основано на его личном опыте»,— отмечает в газете «Нойес Дойчланд» Клаус Шёневерк.

«Эрвин Штриттматтер хорошо знает трудности жизни «маленьких людей», их радости и горести, их мечты и надежды,— пишет газета «Берлинер цайтунг».— В его произведениях сочетаются поэзия и мудрость. Он самобытный философ и большой художник, любящий и понимающий природу».

К юбилею писателя издательство «Ауфбау» приурочило выход второй части автобиографического романа «Лавка». В Лейпциге была организована выставка книг писателя на немецком и иностранных языках. Издательство «Реклам» выпустило серию гравюр известных художников, посвященных юбилею Штриттматтера.

Дания

НОВОЕ ИЗДАНИЕ РАССКАЗОВ ГОРЬКОГО

К 120-летию со дня рождения М. Горького издательство «Тиден» выпустило сборник его произведений «Макар Чудра» и другие рассказы».

Первое знакомство датских читателей с творчеством Горького состоялось еще в 1901 году, отмечает рецензент газеты «Ланд ог фольк» Клаус Ингеманн Ёргенсен: в переводе И. Вейе вышли три сборника рассказов и повестей, куда были включены «Дед Архип и Ленька», «Челкаш», «В степи», «Супруги Орловы», «Старуха Изергиль». Тогда же был издан отдельной книгой и роман «Фома Гордеев».

Поклонником Горького был выдающийся датский писатель Мартин Андерсен-Нексё, продолжает рецензент, он первым увидел в Горьком певца революции, утверждающего пролетарский гуманизм в искусстве. Высоко ценил Горького датский критик Георг Брандес, изложивший свои взгляды на его творчество в известной статье «Сага о Горьком» (1905). Он находил в произведениях Горького «целый мир, незнакомый европейскому читателю», гордую, «ожесточенную» любовь к свободе, восхищался несентиментальным человеколюбием писателя, «поразительной красотой» его женских характеров.

Предыдущее издание сборника ранних рассказов Горького вышло впервые в 1953 году в этом же издательстве, юбилейное издание дополнено переводами других произведений. Рецензент газеты высоко оценивает работу переводчиков Эрика Хоршера, Ханса Серенсена, Гудрун Стернер Петерсен.

Западный Берлин

ФИЛЬМЫ ЭЛЕМА КЛИМОВА

В Академии художеств Западного Берлина был проведен ретроспективный показ кинолент советского режиссера Элема Климова, недавно избранного почетным членом Академии киноискусства США, сообщает западногерманский еженедельник «Цайт».

Кинокритик Карстен Витте, говоря о ранних фильмах постановщика — «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (1964) и «Похождения зубного врача» (1965),— отмечает открытость работ Климова острым общественным проблемам, «очарование его сатиры, не чуждой гротеска».

Фильм «Агония», сделанный режиссером в 1975-м, однако представленный на кинофоруме «Берлинале» лишь в 1983 году, по определению критика,— «уже не летняя баллада о настоящем, но реквием прошедшему». К. Витте считает, что материал фильма — фрески политической агонии Романовых, сопровождаемой деяниями зловещего медиума — Распутина, чрезвычайно интересен. Некое особое измерение придает фильму музыка: «Музыка фильма — как бы одно из его действующих лиц,— пишет К. Витте.— Музыка, звуковой фон существуют на равных с драматическим диалогом».

«Прощание (1983) по В. Распутину — картину, над которой начинала работать жена Э. Климова Лариса Шепитько, трагически погибшая в автомобильной катастрофе в 1979 году,— Карстен Витте называет самой значительной лентой в ретроспективе. «Фильм-плач, фильм-«реквием культуре деревни» рассматривается критиком как сигнал бедствия, которое несет обществу лишенная корней «эрзац-жизнь».

«Можно ли ужас изображать средствами ужаса, не изменив при этом самой теме?» — цитирует критик слова известного западногерманского режиссера Вима Вендерса, говоря о картине «Иди и смотри» (1985) И, как бы отвечая на такой вопрос, К. Витте напоминает, что напряженнейшая «сцена ужаса» в фильме завершается возвышенной музыкой —звучит моцартовская «Lacrimosa». По мнению драматурга ГДР Хайнера Мюллера, подобные контрапункты в картине основаны на «эстетике преодоления».

«В своих фильмах Климов умеет скорбеть»,— завершает критик статью о ретроспективе работ советского кинорежиссера.

Италия

НЕИЗВЕСТНЫЕ ТРУДЫ ЛЕОНАРДО

В скором будущем предстоит увидеть свет значительной части рукописного

наследия Леонардо да Винчи, до сих пор практически неизвестной. Это 12 тетрадей, которые до 1797 года хранились в пинакотеке Амброзиана в Милане и в ходе итальянской кампании армии Наполеона в числе других трофеев попали в Париж. В отличие от так называемого Атлантического кодекса Леонардо, который итальянцам удалось вернуть, тетради — в общей сложности 2000 исписанных и изрисованных гением Возрождения листков размером 15×20 см — почти на два столетия осели в сейфе Института Франции, основного научного учреждения страны, объединяющего пять академий. Текст рукописей был опубликован лишь однажды в XIX веке Шарлем Равэссон-Мольеном в сокращенном виде; ни одного экземпляра этого издания, осуществленного методом фототипии, не сохранилось.

«Самые знаменитые кодексы Леонардо — Атлантический и тот, что хранится в Виндзорской Королевской библиотеке,— были скомпонованы из фрагментов его рукописей Помпео Леони в конце XVI века,— отмечает в еженедельнике «Панорама» Сандро Оттоленги,— а содержание тетрадей из Института Франции нам практически неизвестно».

Тематика записей, делавшихся с 1487 по 1515 год, чрезвычайно разнообразна: они касаются механики и гидравлики, геометрии и оптики, геологии и зоологии, архитектуры и живописи. Часть из них сделана в годы, когда Леонардо состоял на службе у правителя Романьи Чезаре Борджа в качестве военного инженера, и представляют собой хронику военных действий; немало здесь и сведений о жизни миланского двора, о быте и нравах общества, философских размышлений.

Некоторые записи корректируют бытовавшие до сих пор представления о личности Леонардо, проливают свет на его интеллектуальную и профессиональную эволюцию, в частности, позволяют оценить, сколь мала была доля знаний, почерпнутых им из книг, по сравнению с познаниями, добытыми эмпирически.

«Фрагментарность и разрозненность известных ранее рукописей Леонардо, узкая специализация исследователей его трудов привели к тому, что изучались частные аспекты его наследия и терялся из виду весь комплекс его идей. Вновь извлеченные на свет тетради помогут воссоздать фигуру Леонардо во всей ее цельности и многогранности,— сказал в интервью журналу «Панорама» профессор Аугусто Маринони, занятый подготовкой их комментированного факсимильного издания. Оно будет осуществляться флорентийским издательством «Джунти» и завершится к 2000 году.

Канада

ИНТЕРВЬЮ С МАДЛЕН УЭЛЛЕТТ-МИХАЛЬСКОЙ

Журнал «Леттр кебекуаз», посвященный проблемам франкоязычной канадской литературы, опубликовал большое интервью, взятое критиком Жеральдом Годе у известной романистки и поэтессы Мадлен Уэллетт-Михальской (см. о ней «ИЛ». 1984, № 7 и 1987, № 9).

— Почему, на ваш взгляд, современные авторы столь плодовиты?

— Может быть, потому, что мы живем в «обществе перепроизводства». Писателю надо «производить» быстро и много, иначе его скоро забудут.

— Говорят, жители Квебека почти не читают франкоязычную канадскую литературу. Чем вы это объясняете?

— В частности, тем, что книжный рынок в нашей стране завален продукцией крупных зарубежных издательств, прежде всего — французских. Мало внимания нам, канадским авторам, уделяют средства массовой информации. Бывает, откроешь журнал и не можешь понять, куда же подевались наши писатели, где информация об их книгах? И книги и писатели словно стали невидимками...

— А что вы скажете о судьбе «женской» литературы в Канаде?

— На пути у писательниц не только вышеупомянутые препятствия. Ключевые посты в книжном производстве, рекламе, торговле занимают в основном мужчины, которые не знают «женской» прозы, поэзии, драматургии. И только после того, как женщины получают международные премии и признание за рубежом, их произведения начинают рекламировать и печатать большими тиражами на родине...

— Не кажется ли вам, что средний читатель в последние 20—25 лет просто «не поспевает» за все новыми и новыми веяниями в современной литературе?

— Может быть, но ведь известно, что, например, в США и Франции «экспериментальная» литература тоже выпадает из поля зрения широкой публики, и это, по-моему, закономерно. Чтобы иметь о литературе своей страны верное представление, нужно хорошо знать ее историю. Наша, канадская, вовсе не укладывается в четверть века, этот отрезок времени — небольшое звено в общей цепи. Книги этой эпохи не порывают с литературными традициями Канады, напротив, они являются их естественным продолжением.

Мадлен Уэллетт-Михальска.

(Журнал «Леттр кебекуаз»)

Польша

ГАЛЕРЕЯ ХАСИОРА

В Закопане третий год действует Галерея Владислава Хасиора (род. в 1928 году) — выдающегося польского художника, лауреата многочисленных премий, члена Национального Совета по культуре. Галерея, где выставлены важнейшие работы Хасиора, являет собой, по мнению польских критиков, «пример оптимального монтажа экспозиции и комплексной эстетической организации среды с использованием свето-звуковой аранжировки». На фоне «пластических инсценировок» Хасиора здесь проходят спектакли, концерты камерной и хоровой музыки.

Произведения художника трудно классифицировать по канонам традиционной теории искусства. Творчество Хасиора, по его собственному выражению,— «рисование материей». Он создает сложные, символические композиции, пользуясь средствами скульптуры, архитектуры, живописи, графики, фотографии, даже театра. Среди работ Хасиора — ландшафтные композиции, скульптуры и памятники, рельефные коллажи, пространственные инсталляции из готовых предметов, «метафизические пейзажи», маски, куклы, «тотемы», знамена... Художника-новатора, стремящегося к синтезу искусств, как полагают многие критики, невозможно упрекнуть в эстетстве и снобизме. Его работы содержательны, социально и философски насыщены, тесно связаны с современностью. Произведения Хасиора пользуются популярностью и в Польше, и за рубежом (они экспонировались и в СССР).

В интервью, данном недавно журналу «Нурт», Владислав Хасиор сказал: «Я создаю такие «объекты эстетического восприятия», которые призваны не зале-

Владислав Хасиор. Портрет лирика.

(Журнал «Штука»)

чивать, а бередить раны». Хасиор выступает против «усыпляющего» искусства — за искусство, «пробуждающее совесть». Хасиор полагает, что долг художника — «вырвать предмет из круга тривиальных, обыденных ассоциаций», поэтически препарировать вещь, «увидеть ее насквозь». Самому Хасиору, по его словам, помогает в этом метод «подглядывания жизни» — «лучшее средство от притупления восприятия и недостатка воображения». Черпая темы и образы в конкретной реальности, художник неодобрительно отзывается о тех представителях авангарда, в чьих произведениях преобладает умозрительное отношение к искусству и жизни.

Владислав Хасиор в мастерской.

(Журнал «Проект»)

США

ДЖОАН БАЭЗ ВСПОМИНАЕТ

Вышла в свет книга воспоминаний певицы и общественной деятельницы Джоан Баэз «И голос, чтобы петь», пишет журнал «Ньюсуик». По мнению рецензента журнала Кетлин Мак-Гьюган, «воспоминания несколько проиграли из-за чрезмерной серьезности автора». Читатель, считает К. Мак-Гьюган, вправе ожидать от Баэз более ярких и вместе с тем тонко выписанных портретов звезд шоу-бизнеса, с которыми ее сводила судьба, — например, участников квартета «Битлз», Дженис Джоплин. Исключение здесь может составить, пожалуй, лишь детализированный и

Джоан Баэз.

(Журнал «Ньюсуик»)

нелицеприятный портрет Боба Дилана.

Путь Баэз в какой-то мере типичен для поколения американских борцов за гражданские права, выдвинувшихся в 60-е годы: она участвовала и в демонстрациях под предводительством Мартина Лютера Кинга, и в движении против войны во Вьетнаме. Певица, отмечает рецензент, рассказывает и о глубоко личном — об упоении растущей известностью и одновременно неуверенности в своих силах, приведшей к нервному срыву, о несчастливом замужестве.

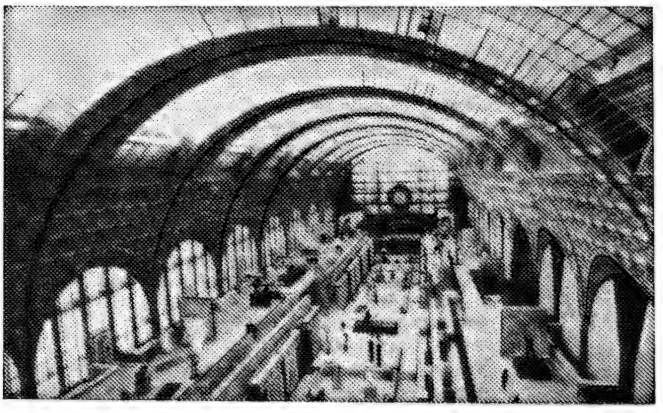
С начала 70-х годов Баэз выступает главным образом за пределами родины, отдавая все свои силы делу помощи жертвам социальной несправедливости. Ее выступления успешно проходят и во Вьетнаме, и в Аргентине, и в Европе. Но в США ее слава меркнет. «Начался болезненный и унизительный процесс прозрения, — пишет Джоан Баэз. — Я поняла, что, будь даже мое искусство вечным, в США мое время прошло».

Однако времена меняются, считает К. Мак-Гьюган, «и для сегодняшних поклонников рок-н-ролла, которые от прежнего эгоцентризма переходят к скромным пока формам социальной активности, голос Баэз опять становится «голосом совести».

Франция

«ВОКЗАЛ ИСКУССТВ»

Западная пресса (французские журналы «Экспресс», «Пари-матч», американский «Тайм» и другие издания) оживленно обсуждает новый парижский «Музей XIX века», недавно открывшийся в реконструированном и переоборудованном здании старинного вокзала Орсе, с конца прошлого века возвышающегося на набережной Сены, в центре города.



Музей Орсе.

(Журнал «Экспресс»)

Вокзал в этой гигантской постройке, сочетающей пышную эклектическую декоративность с пространственным размахом металлических конструкций и сплошным остеклением сводов, просуществовал до 1969 года. Потом здание было решено снести, но в итоге по решению французского правительства оно все же было переоборудовано в огромный музей, призванный демонстрировать широкую панораму искусства XIX века. Новые пространственные ячейки, нигде не замыкающиеся, но свободно перетекающие друг в друга, органически объединились со старинной структурой, не только обеспечивающей максимум естественного света, но и сохранившей неповторимый аромат эпохи.

Сюда полностью переместился Музей импрессионистов, бывший ранее разделом Лувра, часть других луврских коллекций, ряд экспонатов из Музея современного искусства города Парижа, Музея Родена, из частных коллекций и провинциальных музейных собраний. Новые закупки произведений немецкого, английского, американского, скандинавского искусства XIX века позволяют расширить экспозиции. Этому же — по замыслу руководства музея — должны в будущем способствовать временные выставки шедевров изобразительного творчества XIX века из разных стран, в том числе из собраний советских музеев. Универсальный характер нового «музея-вокзала» подчеркнут введением дополнительных разделов архитектуры и художественной фотографии.

Однако принципы показа и отбора произведений Музея Орсе вызывают острую полемику в печати. Признанные шедевры искусства от романтиков до импрессионистов соседствуют здесь с многочисленными образцами помпезно-салонного творчества. «Пусть право выбора остается за публикой»,— подчеркивает в своем интервью журналу «Экспресс» директор нового музея Ф. Кашен. Защищая экспозицию, объединяющую признанную классику с «искусством пожарных» (так принято иронически называть салонный китч в живописи XIX века из-за сходства псевдоклассических одежд и атрибутов с амуницией парижских пожарных времен Третьей империи). Кашен считает, что только таким образом можно показать реальную борьбу течений, динамику развития передовой художественной культуры, утверждающей себя вопреки обывательским вкусам.

Споры вокруг «музея-вокзала» с его романтическим пространственным размахом «во вкусе Пиранези», с его эксцентрическими контрастами высокого искусства и салонной безвкусицы не затихают. Однако уже можно быть уверенным, отмечает «Нувель обсерватёр»,— Музей Орсе стал одной из важнейших новых достопримечательностей Парижа.

ФРГ

ВАЛЬРАФ О «ПРОБЛЕМЕ ВАЛЬРАФА»

Известный западногерманский публицист Гюнтер Вальраф дал интервью журналу «Шпигель», где, в частности, рассказал о том, как повлиял на его повседневную жизнь выход книги «На самом дне», повествующей о бедственном положении турецких рабочих-иммигрантов в ФРГ (см. «ИЛ», 1986, № 8 и 9).

«Со времени появления книги в октябре 1985 года я не знаю, что такое покой, — заявил Вальраф. — Против нее и против меня лично началась настоящая война. Был возбужден десяток судебных процессов, были оскорбительные выпады, подслушивание телефонных разговоров, за мной следили скрытые телекамеры... Книга имела бешеный успех, но из-за нее нормальной жизни у меня вовсе не стало. Я имею в виду дружеские контакты, отношения в семье, мне чаще приходится общаться с адвокатами, чем с самыми близкими мне людьми».

Объясняя столь бурную «реакцию» на книгу, Вальраф сказал: «С помощью хитрости и воображения я довел до сознания общества, что существует «проблема турок», а из нее кое-кто теперь пытается сделать «проблему Вальрафа». Среди власть имущих у нас до сих пор немало людей, для кого мой способ «просвещения» — заноза в теле».

Заговорив об особенностях метода Вальрафа, который, собирая материал для репортажей, меняет свой облик и выступает в разных ролях, репортер «Шпигеля» спросил: «Не считаете ли вы, что у такого человека, как вы, чья профессия уже два десятка лет связана с «маскарадом», этот «маскарад» может стать невольной привычкой, которая будет проявляться и в обычной жизни?»

«Основания для такого вопроса, без сомнения, существуют,— ответил Вальраф.— Я иногда исполнял и отрицательные роли. Худшей из них была роль в газете «Бильд», где я притворялся лжецом. Это была самая грязная роль, какая только возможна, и после нее я долгое время был в тяжелом состоянии. Помню, друзья из моего ближайшего окружения несколько раз говорили мне: «Ты сказал это сейчас так, будто ты — настоящий Эссер!» (Под этим именем Вальраф устроился работать репортером в шпрингеровскую газету «Бильд».) Это значило, что я привык вести себя, как репортер «Бильд»... После этой роли я поклялся никогда больше не доходить до такого полного «отречения» от самого себя...

Свои книги я не сочиняю за письменным столом,— продолжал далее Вальраф.— В ходе своих акций я выступаю одновременно и как режиссер, и как актер... Возможно, в будущем такой метод будет практиковаться журналистами и в других странах... К моему изумлению, на Московском форуме «За безъядерный мир...» некоторые молодые советские коллеги заинтересованно говорили о возможностях метода «ролевого репортажа».

Вальраф сообщил также, что им задумана «новая роль», для которой он должен будет исчезнуть на несколько лет.

◆

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

за 1987 год № 1—12

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

Александропулос Мицос — Панихида на дороге (Вступление и перевод с греческого Н. Подземской), № 5.

Абрахамс Питер — Остров сегодня (Роман. Перевод с английского Т. Озерской и Н. Треневой. Предисловие Геннадия Владимирова), № 10.

ас-Саид Рифаат — Комната на втором этаже (Повесть. Перевод с арабского Д. Фролова), № 2.

Веркор — Волчий капкан (Повесть. Перевод с французского Л. Зониной. Вступление Т. Балашовой), № 5.

Вольф Кристa — Авария (Хроника одного дня. Перевод с немецкого И. Каринцевой), № 12.

Галл Иштван — Кафф-ка (Рассказ. Перевод с венгерского Т. Воронкиной), № 3.

Гейнс Эрнест Дж. — И сошлись старики (Роман. Перевод с английского Л. Беспаловой и Е. Коротковой. Вступление Я. Н. Засурского), № 8.

Голев Владимир — Все сначала (Фрагменты романа. Перевод с болгарского Л. Дмитриевой), № 2.

Грин Грэм — Сила и слава (Роман. Перевод с английского Н. Волжиной. Послесловие С. Аверинцева), № 1, 2.

Гуляшки Андрей — Чудак (Роман. Перевод с болгарского Г. Гореловой), № 9.

Д'Агата Джузеппе — Америка о'кей (Роман. Перевод с итальянского Е. Дмитриевой и Е. Солоновича. Вступление Г. Смирнова), № 1.

Дарувалла Кеки — Дерево и др. рассказы (Перевод с английского И. Бернштейн), № 7.

ИЗ АМЕРИКАНСКОЙ ФАНТАСТИКИ (Вступление Вл. Андреева. Переводы с английского В. Скороденко, Анатолия Мельникова), № 7.

Ирвинг Джон — До Айовы рукой подать (Рассказ. Перевод с английского А. Герасимова), № 4.

Керью Иан — Деревня Рим-Агрикола: фасад третьего мира и скрытые за ним пейзажи (Рассказ. Перевод с английского Андрея Сергеева), № 3.

Лем Станислав — Футурологический конгресс. Из воспоминаний Ийона Тихого (Перевод с польского К. Душенко Послесловие Э. Араб-Оглы). № 7

Макграт Томас — ...кроме последнего (Роман. Перевод с английского и послесловие Г. Злобина), № 11, 12.

Мердок Айрис — Сон Бруно (Роман. Перевод с английского Ольги Татариновой и Игоря Шварца), № 6—8.

Митана Душан — Конец игры (Роман. Перевод со словацкого Н. Шульгиной. Послесловие А. Косорукова), № 5, 6.

Намора Фернандо — Река печали (Роман Перевод с португальского Лилианы Бреверн), № 3—5.

Рид Кит — Синьор да В. (Рассказ. Перевод с английского Анатолия Мельникова), № 7.

Сарней Жозе — Мерисия с берегов реки Пылкой Любви и др. рассказы (Перевод с португальского Людмилы Новиковой. Вступление Юрия Дашкевича), № 6.

Сартр Жан-Поль — Стена (Рассказ. Перевод с французского Л. Григорьяна. Послесловие Вик. Ерофеева), № 11.

Синиор Олив — Баллада и др. рассказы (Перевод с английского Андрея Сергеева), № 6.

Трифкович Ристо — Фатальное происшествие с д-ром Полесковичем и др. рассказы (Перевод с сербскохорватского Т. Вирты, Р. Грецкой), № 4.

Флёгстад Хяртан — У-3 (Роман. Перевод с норвежского Л. Жданова), № 3, 4.

Фостер Алан Дин — На суд зрителей (Рассказ. Перевод с английского Анатолия Мельникова), № 7.

Фриш Макс — Стенограмма одного несчастья (Перевод с немецкого Е. Кацевой), № 2.

Хайн Кристоф — Чужой друг (Повесть. Перевод с немецкого Б. Хлебникова. Послесловие Т. Мотылевой), № 1.

Шарп Том — Дальний умысел (Роман. Вступление и перевод с английского В. Муравьева), № 9, 10.

Шекли Роберт — Поединок разумов (Рассказ. Перевод с английского В. Скороденко), № 7.

Эгурен Густаво — Возвращение (Роман. Перевод с испанского Инны Тыняновой), № 11, 12.

СТИХИ

Агьейя — Взаймы и др. стихи (Перевод с хинди Александра Сенкевича), № 8.

Алечкович Мира — Отец и др. стихи (Перевод с сербскохорватского Натэллы Горской), № 5.

Блай Роберт — Из книги «Любовь к женщине в двух мирах» (1985) (Стихи. Перевод с английского Михаила Дудина). № 1.

Гевьер Даниэл — Мой скверный вкус и др. стихи (Перевод со словацкого Асара Эппеля), № 9.

Годель Ваэ — Друг мой и др. стихи (Перевод с французского Александра Ревича), № 3.

Дамдинсурэн Цэндийн — Дубовые листья (Перевод с монгольского Людмилы Букиной), № 12.

Замбор Ян — Абсолютный рекорд скорости и др. стихи (Перевод со словацкого Асара Эппеля), № 9.

ИЗ МОНГОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ (Перевод Евг. Долматовского и Людмилы Букиной), № 12.

ИЗ ПОЭЗИИ ХИНДИ (Вступление и перевод с хинди Александра Сенкевича). № 8.

ИЗ СЛОВАЦКОЙ ПОЭЗИИ (Перевод Асара Эппеля. Вступление Юрия Богданова). № 9.

ИЗ ЯПОНСКОЙ ПОЭЗИИ (Вступление и перевод с японского А. Долина). № 2.

Мартинес Мануэль Диас — Хроника 1958 года и др. стихи (Вступление и перевод с испанского Бориса Дубина), № 4.

Мэргэн Хасбаатарын — Чавганца и др. стихи (Перевод с монгольского Людмилы Букиной), № 12.

Нацагдорж Дашдоржийн — Луна (Перевод с монгольского Людмилы Букиной), № 12.

Ожуг Ян Болеслав — Ольха и др. стихи (Перевод с польского Владимира Брита-

нишского и Натальи Астафьевой. Вступление Владимира Британишского), № 6.
Оюун Санжажавын — Саксаул (Перевод с монгольского Людмилы Букиной), № 12.
Пандей Горакх — Ода креслу и др. стихи (Перевод с хинди Александра Сенкевича), № 8.
Порта Антонио — Ребенок на экране телевизора... и др. стихи (Вступление и перевод с итальянского Евгения Солоновича), № 4.
Рыбак Йозеф — Выписка из метрики и др. стихи (Перевод с чешского Станислава Куняева. Предисловие С. Шерлаимовой), № 11.
Сахай Рагхувир — Увидел во сне и др. стихи (Перевод с хинди Александра Сенкевича), № 8.
Синх Кедарнатх — Солнце и др. стихи (Перевод с хинди Александра Сенкевича), № 8.
Сомдатт — Дом (Стихи. Перевод с хинди Александра Сенкевича), № 8.
Стражай Штефан — Еще раз и др. стихи (Перевод со словацкого Асара Эппеля), № 9.
Таникава Сюнтаро — Карма и др. стихи (Перевод с японского А. Долина). № 2.
Тивари Вашванатх Прасад — Сновидения (Стихи. Перевод с хинди Александра Сенкевича), № 8.
Фрнд Эрих — Письмо в Москву Михаилу Горбачеву и др. стихи (Перевод с немецкого Б. Хлебникова), № 10.
Хурэлбаатар Бямбажавын — Семь Бурханов (Перевод с монгольского Людмилы Букиной), № 12.
Цудзи Юкио — Весенние проблемы и др. стихи (Перевод с японского А. Долина), № 2.
Цэдэв Дожоогийн — Вершина Отгон Тэнгэр (Перевод с монгольского Евг. Долматовского), № 12.
Эсприу Сальвадор — «Страстная неделя» (Стихи. Вступление и перевод с каталанского Сергея Гончаренко), № 7.
Явуухулан Бэгзийн — Каменная глыба Тайхар (Перевод с монгольского Людмилы Букиной), № 12.
Якобсен Ролф — Деревья осенью и др. стихи (Перевод с норвежского Юрия Вронского. Вступление Л. Горлиной), № 9.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Жоньер Клод — Чары одного вечера (Перевод с французского Е. Шишмаревой. Вступление Ю. Уварова), № 3.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Два перевода Владимира Набокова (Декабрьская ночь. Из Мюссе. Пьяный корабль. Из А. Рембо. Послесловие С. Аверинцева), № 5.
Дебелянов Димчо — Новые переводы. К 100-летию со дня рождения (Вступление и перевод с болгарского Владимира Соколова), № 8.
Крамер Теодор — Ромашка и др. стихи (Вступление и перевод с немецкого Е. Витковского), № 12.
Сеферис Йоргос — Я проснулся... и др. стихи (Перевод с новогреческого Любови Якушевой. Вступление Виктора Соколюка), № 3.
Фрёдинг Густав — Зимняя ночь и др. стихи (Вступление К. Мурадян. Перевод со шведского Т. Бек, К. Мурадян), № 2.

ПУБЛИЦИСТИКА

Василевский Анджей — Восток, Запад и Польша (Перевод с польского А. Ермонского), № 7.
Герзон Марк — Герои, которых мы выбираем. Идеал Мужчины — вчера и сегодня (Фрагменты книги. Перевод с английского В. Воронина. Вступление Ларисы Васильевой), № 3.
Дэвис Хантер — Главы из книги «Славная игра» (Перевод с английского И. Гуровой), № 1.
Ивашкевич Ярослав — Люди и книги (Вступление и перевод с польского Н. Подольской), № 2.
Капусцинский Рышард — Император (Вступление и сокращенный перевод с польского С. Ларина. Послесловие В. Иорданского), № 6, 7.
Кемпинский Анджей и Киляр Збигнев — Кто есть кто в Польше — и н а ч е (Фрагменты книги. Вступление С. Ларина. Перевод с польского В. Селивановой, С. Ларина и Поликарпа Шафеты), № 8, 9.
Керести Андраш — «Чэлленджер»: видеолента (Перевод с венгерского П. Бондаровского и М. Корзинкина), № 9, 10.
Мезеи Андраш — Расставаясь со стереотипами (Перевод с венгерского В. Середы), № 11.
Менерт Клаус — О русских сегодня. Что они читают, каковы они (Фрагменты книги. Предисловие и перевод с немецкого Алексея Григорьева), № 11.
Мяло Ксения — Уроки Эйзеля (В лабиринтах мифа и под солнцем стадиона), № 1.
Олдридж Джеймс — Англичане и Советский Союз (Перевод с английского В. Воронина), № 11.
Питер Лоуренс — Почему дела идут вкривь и вкось, или Еще раз о Принципе Питера (Фрагменты книги. Перевод с английского Л. В. Степанова. Послесловие Е. Амбарцумова), № 1, 2.
Россия победоносная (Беседа с Исааком Макбрайдом. Публикация и вступление И. М. Краснова. Перевод с английского З. Рахлиной), № 11.
Старцев А. — О Джоне Риде. Несколько новых страниц (К 100-летию со дня рождения), № 11.
Шефф Дэвид — Интервью с Теодором Тейлором (Перевод с английского Б. Никольского. Послесловие Вл. Гакова), № 12.
Шнайдер Богуслав — Золотой треугольник (Главы из книги. Перевод с чешского Виктории Каменской), № 3—5.
Я-Отто Джон — Поле битвы — Намибия (Вступление В Иорданского. Перевод с английского Л. Степанова), № 12.

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Григорьев Алексей — Третий в диалоге (Международная встреча журналистов в Яблонне), № 4

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Медведовский Павел — Джованни Пирелли — партизан, антифашист, писатель, № 3.

ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Череш Тибор — Поколения и мода..., № 4.

КРИТИКА

Анастасьев Н. — Феномен Владимира Набокова, № 5.
АРАБСКАЯ ПРОЗА НАШИХ ДНЕЙ, № 2.
Белов Сергей — Эти веселые военные игры (Новые сюжеты массовой беллетристики), № 9.

ГОЛОС АВТОРА И ПРОБЛЕМЫ РОМАНА (О некоторых особенностях современной западной прозы. Д. Затонский, Г. Злобин, А. Зверев, В. Лакшин, С. Микоян, Т. Григорьева, Т. Мотылева, Д. Урнов, Н. Анастасьев. Из бесед в редакции), № 3, 4.

Григорьева Т.— Встреча с Гумбольдтом — встреча времен, № 8.

Засурский Я.— Роберт Стоун: человек и писатель, № 3.

Злобин Г.— Полторы тысячи дней президентства Линкольна, № 5.

Каграманов Ю. — Еще плодоносить способно чрево... («Новый взгляд» на фашизм в западной прозе 80-х годов), № 10.

Кирпиченко В.— Наследие и поиски нового, № 2.

Кош Эрих — О сатире и сатириках (Вступление и перевод с сербскохорватского Н. Яковлевой), № 1.

ЛЮБОВЬ И XX ВЕК (О новом романе Габриэля Гарсиа Маркеса. Из бесед в редакции), № 7.

М. В.— Рассказывают французские поэты Мишель Деги и Ив Бержере (Из бесед в редакции), № 6.

Мотылева Т.— Братья Манн и политика (Полемические заметки), № 8.

Николаев П.— Во имя всечеловеческого содружества (Взгляд на русскую и советскую литературу), № 5.

ПИСАТЕЛИ ЗАПАДА О СОВЕТСКОЙ ПРОЗЕ. Роберт Музиль, Анна Зегерс, Алехо Карпентьер, Томас Манн, Джон Бойнтон Пристли, Альбер Камю, Луи Арагон, Чарльз Перси Сноу, Памела Хэнсфорд Джонсон, Генрих Бёлль (Вступление и составление М. Ландора. № 11.

ПО СТРАНИЦАМ КНИГ ФРАНЦУЗСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, № 6.

Салих Ат-Тайиб — «Выражать сложные идеи, рисуя образы простых людей» (Вступление, перевод с арабского и комментарии Л. Степанова), № 2.

СЛОВО, ЯЗЫК, ОБЩЕНИЕ. Писатели мира отвечают на анкету. Сэнгийн Эрдэнэ, Джером Лоуренс, Роберт Ли, Магда Сабо, Айрис Мердок, Джеймс Рейган, Хоакин Гутьеррес, Пабло Унэус, Бхишам Сахни, Герман Кант, Йозеф Рединг, Луиш Франсишку Ребелу, Эммануэль Роблес, Гэ Баоцюань, Жоржи Амаду, Йордан Радичков, Гор Видал, Рашид Буджедра, Лисандро Чавес Альфаро, Юрий Брезан, Габор Гараи, Вейо Мери, Франсиско Сионильо Хосе, Фернандо Намора, Патрик Дэвис Смит, Юлиан Кавалец, Мирча Динеску, Кэндзабуро Оэ, Уинстон Оррильо, Рубен Мелик, Иван Скала, Вержилио Феррейра, Мохаммед Зефзаф, Луиджи Малерба, Бернар Клавель, Карлос Ф Чангмарин, Фарли Моуэт, Густаво Валькарсель, Дожоогийн Цэдэв, Дороти Грин, Марио Невеш, Альфредо Пареха Дьескансеко (Послесловие В. Коротича), № 5—7, 10—12.

Тимашева О.— Хроники несостоявшихся судеб (О романах Патрика Модиано), № 6.

Уваров Ю.— Как остановить адский поезд, № 6.

Фридштейн Ю.— «Если мы не перестанем быть жестокими — у нас не будет будущего» (Заметки о творчестве Эдварда Бонда), № 1

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Грэм Грин в редакции журнала и новый взгляд на «Силу и славу» (Запись беседы и комментарий Т. Ланиной), № 11

Кнпович Е. — Честно, горько, человечно... (О романе Д. Веллерсхофа «Победителю достанется все»), № 11.

Самвелян Николай — Жаворонок и бесконечность (Раздумья по поводу романа Веслава Мысливского «Камень на камень»), № 1.

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

Богданов Ю. — Владимир Минач: «То, что происходит сейчас в Советском Союзе,— это революция в революции...», № 11.

Федоренко Н.— Любомир Левчев: грани дарования, № 9.

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

Данзулов Савва — Дорога, которую торил Лу Синь (Дневник одного путешествия), № 2.

Дарио Рубен — Из сборника «Песни жизни и надежды» (1905) (Стихи. Перевод Н. Ванханен), № 1.

Кардеиаль Эриесто — Слово о Рубене Дарио (Перевод с испанского Г. Вержховской), № 1.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Литвинец Н.— Гизела Эльснер. В обличье «злой дамы», № 7

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

О высоком искусстве. Из переписки К. И. Чуковского с американскими славистами (Вступление, перевод с английского и комментарии М. Лорие. Публикация М. Лорие и Е. Чуковской), № 8.

Троллоп Томас Адольфус — Что я помню (К 175-летию со дня рождения Чарльза Диккенса. Глава из книги. Вступление, перевод с английского и примечания М. Тугушевой), № 2.

ТРИБУНА ПЕРЕВОДЧИКА

Парин А.— Перевод классики и наше время, № 4.

Сорока О.— Можно ли в Шекспире найти новое?, № 4.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Вагапова Н.— Владимир Герич (СФРЮ): «Мне кажется, я переводил всегда», № 8.

Васильева Л.— Ашок Ваджпейи: «Поэзия в роли оппонента», № 12.

Гвишиани-Косыгина Л.: «Наша коллекция литературы уникальна» (Беседу записала Л. Васильева), № 4.

Морозов Н.— Мирча Динеску: «Вести о весне привели меня в Москву...», № 7.

НАШИ ГОСТИ

Доронина И.— Ибрагим Самель, Хашем Гамшарик, Насер Рахъяб (ДРА), № 4.

Дороднна И.— Любомир Левчев (НРБ), № 6.

Дорри Дж. — Феридун Тонкабони (Иран), № 2.

Истратова И.— Робер Андре (Франция), № 11.

Мещерякова М.— Булаид Дуду и Мулуд Ашур (Алжир), № 3.

Мирская Е.— Нэлида Пиньон (Бразилия), № 3.

Новицкая Ирина — Бенгт Берг и Карин Лаут (Швеция), № 11.

Тогоева И.— Ченджера Хови (Зимбабве), № 4.

Фиш Радий — Демирташ Джейхун (Турция), № 11.

Харлап Л.— Встреча с Максом Фришем (Швейцария). Беседа в редакции журнала «Вопросы литературы». № 8.

Чхартишвили Г.— Кэндзабуро Оэ (Япония), № 6.

РЕДАКЦИЮ ПОСЕТИЛИ — Сомдатт (Индия), № 1, Чон Со Чхон, Рян Нам Ик, Хен Сан Рюль (КНДР), № 3. Бадр аль-Хакк, Али Фазав, Юсуф Абд аль-Азиз (Иордания), № 3 Илпо Тийхонен и Пекка Песонен (Финлян-

дия), № 6, Гюнтер Хербургер (ФРГ), № 8, Аланкараге Виктор Суравира, Сирилал Кодикара, Пьядаса Великаннаге (Шри-Ланка), № 8, Дара Каланья, Пхетдаухыанг Кхамон (ЛНДР), № 8.

К НАШИМ ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

Апчинская Н. — Искусство Марка Шагала (К 100-летию со дня рождения), № 12.
Орлов А. Т.— На коне мечты, № 8.

Соколов М. — «Американские элегии» Эндрю Уайета, № 3.

Соколов М.— Живопись Вернера Тюбке, № 5.

Херсонская Е.— Памяти Ренато Гуттузо, № 7.

Чхартишвили Г.— Нэцкэ, № 2.

АНТИРУБРИКА

Берггрот Керсти — Законный муж (Рассказ. Перевод с финского Таиры Джафаровой), № 3.
Глэнвил Брайан — Спрашиваете, чего я добился? и др. рассказы (Перевод с английского Ростислава Рыбкина), № 7.
Дэн Цзуилян — Вечером ожидается метель (Перевод с китайского Н. Спешнева), № 5.
Если был бы весь мир бумажным. Из английской народной поэзии (Перевод с английского Виктора Лунина), № 4.
Журист Эдуард — Небывалый посетитель и др. рассказы (Перевод с румынского Татьяны Ивановой), № 9.

КИТАЙСКИЕ МИНИАТЮРЫ (Вступление и перевод с китайского Н. Спешнева), № 5.

Ларни Мартти — Интервью и др. рассказы (Перевод с финского Таиры Джафаровой), № 3.
Ли Чжань — Пассажир неопределенных занятий (Перевод с китайского Н. Спешнева), № 5.
Нефф Ондржей — Портонское зелье и др. рассказы (Перевод с чешского Е. Ц. Аронович и И. А. Бернштейн, Т. Осадченко), № 4.
Ориго — Темная сторона финского брака (Рассказ. Перевод с финского Таиры Джафаровой), № 3.

РАССКАЗЫ ФИНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ (Перевод с финского Таиры Джафаровой), № 3.

О'Фаолейн Шон — Не приведи господь! (Рассказ. Перевод с английского Екатерины Коротковой), № 1.
Серп — Как хорошо, что не у нас! и др. рассказы (Перевод с финского Таиры Джафаровой), № 3.
Сюй Цзяньцзюань — Глаза феникса (Перевод с китайского Н. Спешнева), № 5.
Фосетт Брайан — Моя карьера в «Торонто мейпл ливз» (Рассказ. Перевод с английского М. Загота), № 2.
Фэн Синьцзы — Клоун (Перевод с китайского Н. Спешнева), № 5.
Хауард Элизабет Джейн — Карающая десница (Рассказ. Перевод с английского И. Багрова) № 12.
Чжоу Гуйсян — Любовь в изящном переплете (Перевод с китайского Н. Спешнева), № 5.
Чжу Юйци — Ожерелье (Перевод с китайского Н. Спешнева), № 5.
Юй Сунъянь — Нуль (Перевод с китайского Н. Спешнева), № 5.

СРЕДИ КНИГ

Издано в СССР

Абрахманова З. А.— С барабаном и трехстрункой (Лао Шэ. Сказители), № 8.
Алякринский О. — Другой Фрост (Роберт Фрост. Стихи), № 6.
Анастасьев Н. — Что на знаменах? («Называть вещи своими именами: программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX в.»), № 2.
Волков О.— В чреде веков, тысячелетий, эр... (Рольф Эдберг. Письма Колумбу. Дух долины), № 6.
Вольпе Михаил — Кто поведет вперед (Коле Омотосо. Воспоминания о недавнем буме. Фелла делает выбор), № 4.
Гиленсон Б. — Открывая «другую Америку» (Верю в человека. Голоса демократической Америки), № 3.
Дюшен И.— Нехрестоматийный Флобер (Гюстав Флобер. О литературе, искусстве, писательском труде), № 3.
Ермакова Л.— Паломничество души (Нидзё. Непрошеная повесть), № 8.
Ерофеев Вик.— Природа жизнебоязни (Мари-Луиза Омон. Губка. Дорога), № 2.
Заславская М.— Горячих будней торжество... («Из современной поэзии ГДР. Вып. 2»), № 5.
Зернецкая О.— Моральный императив Руфуса Доуза (Маркус Кларк. Осужден пожизненно), № 8
Злобина Е.— Старые фотографии (Сюзанна Пру. Воскресные визиты), № 11.
Климовский Вадим — Праздник в будни (Винцент Шикула. Избранное), № 3.
Мехиа Дуке Хайме — Свежий взгляд на русских классиков, № 1.
Микушевич В. — Мудрость конкретного (В краю белых лилий. Древнетамильская поэзия), № 11.
Мурадян К. — Вопреки «безумию и заблуждениям» (Август Стриндберг. Избранные произведения в двух томах), № 1.
Николаевская Алла — Сатурналии Энгуса Уилсона (Энгус Уилсон. Рассказы), № 11.
Почивалова С.— Тюремный номер 9653 (Ирвинг Стоун. Неистовый странник), № 9.
Прозорова Н.— Мучительное право любить и проклинать (Современная ирландская повесть), № 9.
Прохорова И. — «Бремя нестерпимых мук юности» (Маргарет Этвуд. Постижение), № 5.
Ратгауз Г. — Сокровищница русского перевода (Зарубежная поэзия в переводах В. А. Жуковского), № 12.
Седельник В. — Величие и трагизм художника (Шарль-Фердинан Рамю. Если солнце не взойдет. Дерборанс. Савойский парень), № 5.

Старосельская Наталья — Помни имя свое... (Януш Красинский. Сын Валленрода), № 1. № 1.

Старосельская Наталья — Открывая тайну красоты... (Дзюнъитиро Танидзаки. Избранные произведения в двух томах), № 9.
Топоров Виктор — Рост арлекина трисмегиста (Гийом Аполлинер. Избранная лирика), № 4.
Черкасский Л.— «Спрашиваю себя...» (Поэты Китая и Вьетнама в переводах Л. Эйдлина), № 4.

Издано за рубежом

Ариас М.— Человек в союзе с зеленой травой (Жан Кейроль. Человек в автозеркале. Авторское слово. Стихи-ключи), № 5.
Волевич И.— Возвращаясь к «Дневнику Анны Франк» (Дневник Анны Франк), № 3.
Гулыга Арсений — В поисках братства (Петер Хандке. Повторение), № 6.
Дэвис Хантер — Английские бестселлеры, № 4.
Кобо Хуан — Возвращение к истокам (Марио Варгас Льоса. Кто убил Паломино Молеро?), № 8.
Кобо Хуан — Делибес продолжается... (Мигель Делибес. Любовные письма престарелого ловеласа. Клад), № 1.
Ковалев Ю.— Дочь об отце (Сьюзен Чивер. Домой, пока не стемнело), № 5.
Лорис М.— О Париже стихами и с любовью... (Париж и пригороды. Поэтические прогулки), № 6
Мотылева Т.— О становлении советской литературы (Жан Перюс. Эстетика и политика. Ральф Шрёдер. Роман души, роман истории) № 11.
Мулярчик А.— В защиту «обыкновенной Америки» (Энн Тайлер. Случайный путешественник), № 4.
Мулярчик А.— Что издают и кого читают в Америке?, № 9
Никитин В.— Актуальность прошлого (Жиль Лапуж. Ваграмская битва), № 2.
Риго Бела — Венгры вспоминают (Перевод с венгерского Т. Воронкиной), № 12.
Сорокин А.— В час испытаний — с Советским Союзом (Янке К. Х. В едином строю), № 5.
Степанов Л. — От эпохи мамлюков до наших дней (Гамаль аль-Гитани. Диковинная история султанского брадобрея. Джунгли города), № 8.
Тогоева И.— Мятущийся «герой»? (Чикайя У Там'Си Тараканы. Медузы, или Морская крапива. Ночные бабочки), № 3.
Умнякова Е.— На пути к вершине (Геза Молнар. Странная жизнь доктора Клауса. Растраченное королевство), № 11.
Харлап Л.— Вишневое дерево вновь расцветет... (Юрий Кох. Вишневое дерево), № 1.
Харлап Л.— Через месяц после войны (Эрвин Штриттматтер. Зеленый июнь), № 11.
Шерлаимова С.— Время разводить сады (Йозеф Пушкаш. Сад, в пятое время года), № 3.
Шишкин А.— На пределе вымысла (Том Шарп. Уилт на пределе), № 2.
Эльсола Эрнесто Гарсиа — Сильнее пушек (Мануэль Диас Мартинес. Незавершенные стихи), № 4.

НАША ПОЧТА

Публикацию подготовила А. Николаевская, № 7, 12.

Из писем в отдел публицистики (Читателю отвечает К. Мяло), № 5.

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА В СССР — № 1, 3, 7

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ — № 2, 6, 10

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ — № 1—12

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Т. П. ГРИГОРЬЕВА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, Г. П. ЗЛОБИН, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, В. С. ПЕРЕХВАТОВ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ** (отв. секретарь), **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора).

Художественный редактор **Е. Н. Черняев**. Технический редактор **Е. П. Поляков**

Адрес редакции: 109017 Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 24.09.87. Подписано в печать 10.11.87. Формат 70×108 1/16. Печать высокая 16 п. л. (22,4) усл. п. л., уч.-изд. л. 27,81.

Тираж 455 000 экз (1-й завод: 1 — 405 000 экз.). Зак. 3477.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Автопортрет.

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394